



*“Очередь желающих устроиться в наш батальон была ещё в два батальона длиной, — со всей большой северной страны писали, как под копирку: “Возьмите к себе служить, люди добрые, жена совсем заколебала”, — не без мстительного чувства, я никого не брал: заколебала — мирись. Причины, однако, были другие: нам не давали расширяться”.*

*“Когда с той стороны выкладывали пакет за пакетом “Града” на донецкий ядерный могильник — я находился здесь и видел: они осмысленно хотят устроить катастрофу, чтоб всё живое распалось от радиации. Могильник надёжно, в прежние времена, делали: он пережил “Грады”, а потом ещё “Ураган” — “Ураган” та сторона тоже применила, и с тем же результатом: никаким. Но бойцы ДНР — люди военные: хочешь жить — не ходи сюда; спрячься от сборов, сбеги в Россию, сними форму, заберись под куст. Надел форму — умирай, это долг”.*

В следующем номере нашего журнала читайте новый роман Захара Прилепина “Некоторые не попадут в ад”, ярко и живо написанный под впечатлениями пребывания в действующей армии Донецкой народной республики в качества заместителя командира батальона спецназа.

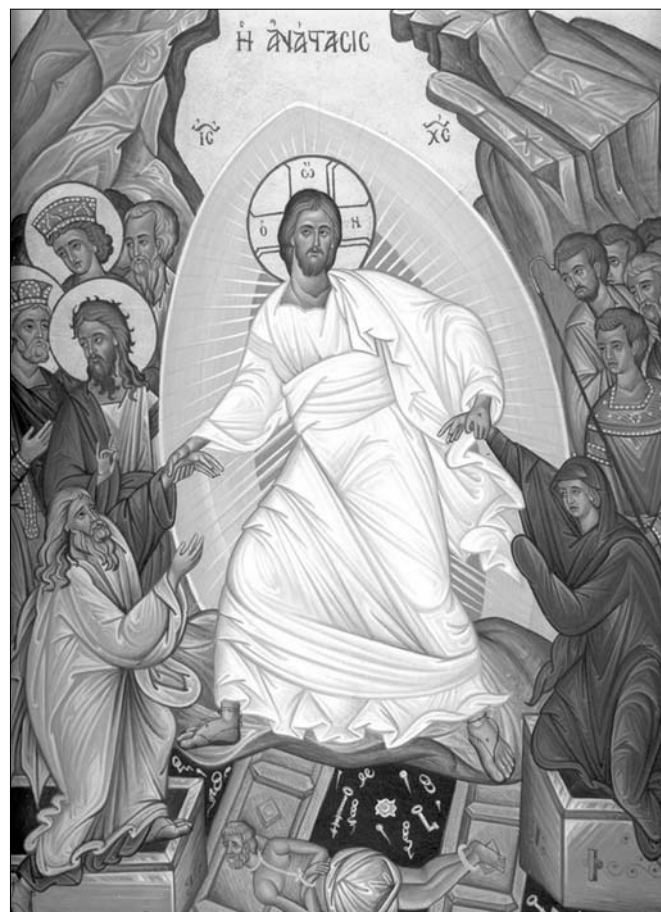
# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 4 2019

Поздравляем читателей с Пасхой Христовой!



*Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смерть разруши.*



*Александр Сегень — 60 лет. И ровно половину из них он связан с журналом “Наш современник”. Ровно тридцать лет назад Александр Юрьевич пришёл в редакцию, по приглашению главного редактора Станислава Юрьевича Куняева и по рекомендации Вадима Валериановича Кожина, возглавил отдел прозы. В то время он уже был известен как автор нашумевшего романа “Похоронный марш”, нескольких рассказов и двух повестей. Именно в годы сотрудничества с “Нашим современником” талант этого замечательного писателя развился в полной мере. Редакция всегда с радостью встречала его новые и новые произведения. На страницах журнала вышли романы Сегень “Страшный пассажир”, “Государь Иван Третий Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Расстрел”, “Знамя твоих побед”, повести “Заблудившийся БТР”, “Гибель маркёра Кутузова”, “Есенин”, многочисленные рассказы. Именно в это “наш-современниковское” тридцатилетие Сегень стал лауреатом множества литературных премий, среди которых такие значительные, как премия Московского Правительства, Большая премия Союза писателей России, Патриаршая литературная, Шукшинская, Гончаровская, Горьковская, Бунинская, имени Александра Невского.*

*Однажды Станислав Юрьевич Куняев сказал: “Сегень — это человек-праздник”. И наша редакция от всей души поздравляет Александра Юрьевича с его славным юбилеем!*



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
В. Г. ФОКИН,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

### Проза

- Александр СЕГЕНЬ  
И нефть, и газ, и чёрная икра.  
Рассказ ..... 11
- Андрей ТИМОФЕЕВ  
Пробуждение. Роман ..... 27
- Николай ИВЕНШЕВ  
Трепет тайны. Рассказы ..... 87
- Владимир УРУСОВ  
Белый соболь. Повесть ..... 109
- Александр СМЫШЛЯЕВ  
Навсегда ухожу к медведям.  
Рассказ ..... 124
- Даниэль ОРЛОВ  
Борода. Отрывок из романа ..... 144

### Поэзия

- Андрей ЛОГВИНОВ  
Адамово дело ..... 3
- Карина СЕЙДАМЕТОВА  
Вереск и солнечный мёд ..... 7
- Татьяна БРЫКСИНА  
Доживём до утренней звезды ..... 20
- Александр ПОШЕХОНОВ  
И душеньку заблудшую  
спасаешь ..... 24
- Евгений ГУСЕВ  
Годы канули в волжские воды ..... 82
- Игорь ВИТЮК  
Жду Пасхального  
воскресенья ..... 85
- Прозрение Микеланджело ..... 102
- Ярослав ВАСИЛЬЕВ  
А небо сегодня – такая синь... ..... 141

### Очерк и публицистика

- Они обживают землю ..... 108
- Сергей МИРОНОВ  
Из полевого дневника  
геолога ..... 156
- Вячеслав ВЬЮНОВ  
Блики ..... 162
- Иван ШЕВЫРЁВ  
КМА – железное богатство  
России ..... 168
- Татьяна МИРОНОВА  
Свои и чужие  
в русской картине мира ..... 175

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
*первый заместитель  
главного редактора* —  
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —  
*заместитель главного  
редактора,  
зав. отделом критики* —  
(495) 625-02-81

*Отдел прозы* —  
(495) 625-30-47

К. К. Сейдаметова —  
*зав. отделом поэзии* —  
(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
*зав. техцентром* —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

А. А. Жуков —  
*юрист* —  
(495) 625-57-45

Александр ПРОХАНОВ  
Вихри русской мечты ..... 194  
Игорь ИЗБОРЦЕВ  
Там, где встречаются миры ..... 205  
Алексей ВАСИЛЬЕВ  
Зов пустыни ..... 218

### Память

Сергей КУНЯЕВ  
Вадим Кожинов ..... 222  
Владимир БЕРЯЗЕВ  
О жизни человека ..... 230

### Критика

Павел РУДЯКОВ  
Борис Олейник: славянская  
страсть и сербская грусть ..... 214  
Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ  
“Русский вопрос” ..... 238  
Александр МОТОРИН  
Юрий Кузнецов:  
путь ко Христу ..... 246

### Среди русских художников

Галина ОРЕХАНОВА  
“Выхожу один я на дорогу...” .... 267

### В конце номера

Обращение к деятелям  
культуры, политикам,  
предпринимателям России ..... 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

**Юрист редакции оказывает юридическую помощь читателям журнала**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 01.04.2019. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 0089-2019. Тираж 4000 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarph.ru e-mail: kr\_zvezda@mail.ru

## ПРОТОИЕРЕИ АНДРЕЙ ЛОГВИНОВ



## АДАМОВО ДЕЛО

### АФОНСКИЕ ЛАСТОЧКИ

И солнышко лучи не мечет.  
Лишь звёзд лампадки в небесах...  
А ласточки уже щебечут  
со звонкой силой в голосах.

Чтоб день грядущий был не беден —  
пока вселенная молчит —  
их оглушительный молебен  
с надеждой детскою звучит!

Для них сокровище раскрылось!  
Хоть далека ещё заря,  
ликует их крылатый крылос,  
за жизнь Творца благодаря.

Как в чёрных мантиях монахи,  
лишь Божьим не обделены,  
звенят стремительные птахи,  
весёлой свежестью полны.

---

*ЛОГВИНОВ Андрей Николаевич родился в 1951 году в Новосибирской области. Окончил истфак Новосибирского пединститута. Учителем в школах Новосибирской области, был директором сельской школы. С 1983 года, после переезда в Вятку, работал церковным чтецом, псаломщиком. Окончил Московскую духовную семинарию. С 1991 года живёт в Костроме, где служит протоиереем в храме Иоанна Богослова. Автор десяти поэтических сборников. Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий им. Н. Заболоцкого, "Имперская культура" и др.*

Такая в птичьем пенье сила!  
И так с души сгоняет сон!  
Меня всё это впечатлило  
не менее, чем сам Афон.

### ПРОСТО ПТАХА

Есть птицы,  
что поют до света,  
когда и света  
в мире нет,  
и ни просвета  
хоть бы где-то,  
но тьма на весь  
на белый свет.

В них — ни сомнения,  
ни страха:  
вдруг да навеки  
темнота?..  
Учись, душа,  
как просто птаха,  
в ночи вселенской  
петь Христа.

### САМАРЯНКА

Прошибает враз до слёз,  
как рассказ начнётся:  
самарянка и — Христос.  
Встреча у колодца.

Хоть была она грешна,  
да душой — глубока.  
За смирение она  
увидала Бога.

Будто в ней — душа моя!  
от духовной жажды  
Вечный Кладезь Бытия  
обрела однажды.

И века в краю берёз  
и лесных полянок  
просветлял сердца Христос  
русских самарянок.

И когда случился час,  
что дошли до точки,  
веру кто сберёг у нас? —  
женские платочки.

И века до наших дней  
ждать душа готова,  
чтоб сказалося и о ней  
Благодати слово.

Посреди любой беды  
сердце вновь забьётся,  
зачерпнув живой воды  
из того колодца.

## ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

К Заповеди Первой, словно тросом,  
я привязан, маясь и скорбя.  
Вновь и вновь я задаюсь вопросом:  
— Господи, люблю ли я Тебя?

Приковав себя к земному раю,  
превратив себя в земную тлю,  
разве духом я не умираю?  
Господи, Тебя ли я люблю?!

Ведь любовь — она наружу рвётся,  
и огню подобна, и ножу.  
Если ж сердце — как на дне колодца,  
чем любовь к Тебе я докажу?

И не будет мне в итоге смысла,  
сколько здесь удачи ни лови,  
если Заповедь в душе прокисла,  
если не найдёшь во мне любви.

Заповедь Твоя — моя победа,  
оправдание моё и путь.  
Рычагу подобна Архимеда:  
и себя, и мир перевернуть.

## АДАМОВО ДЕЛО

Адама библейского я воспою!  
В Творении новом  
какое служение нёс он в Раю?  
Работал со словом.

Работа такая от Бога дана:  
премудро и смело  
давать всему сущему имена.  
Адамово дело!

Стал слово пасти, словно пастырь овцу,  
в дерзанье весёлом.  
А творчество в слове приятно Творцу:  
мир создан Глаголом!

Да только... слетела, как с крыльев пыльца,  
с души позолота.  
Стал хлеб зарабатывать в поте лица.  
Земная забота!

Под хлебом насынным прогнулся Адам:  
земное — сурово!  
Как сон, вспоминал он к преклонным годам  
про горнее слово.

Но как-то раскрыл он глаза на цветок...  
вот малость, казалось!  
Но — вспыхнуло в нём озаренье, как ток,  
И — слово — сказалось!

\* \* \*

Могу я любоваться долго-долго,  
чуть только до простора доберусь:  
как женщина, таинственная Волга,  
и Волга — как таинственная Русь.

А там, на глубине — и мощь, и сила,  
а там за глубиною — глубина,  
которая наш путь определила,  
где Бог определяет времена.

### ЗЕРКАЛЬЦЕ

Не приму сужденье ваше скорое:  
никаких во мне достоинств нет.  
Я всего лишь — зеркальце, которое  
отражает внутренний ваш свет.

Оттого такая радость встретиться,  
друг ко другу тянет за версту,  
что глаза мои — всего лишь зеркальца —  
вашу отражают доброту.

Станет главным нашим достижением:  
сторонясь реклам и мёртвых схем,  
сделать сердце — Божьим отражением.  
А затем его зеркалить всем!



КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА



## БЕРЕСК И СОЛНЕЧНЫЙ МЁД

\* \* \*

В бренном мире подлунном — но лучшем из всех миров! —  
Между призрачных целей как истинную отличить?  
...Он, рождённый казачкой Анной, не лучшим был из отцов,  
Он навеки меня оставил, а ему б ещё жить да жить!..

Но даровано Господом ему было лишь шестьдесят —  
Шесть десятков шальных, но громко прожитых годов.  
Так уходят мужчины, покидая житейский ад,  
Оставляя навек безутешных детей и вдов.

Наш отец, кем ты был для меня, срезанный в поле мак,  
Исполинскою силой, что недругам не одолеть,  
Будто вышел из прошлых веков атаман Ермак  
И давай свои ратные песни во поле петь...

...Как в холодные ночи в верховьях подмёрз Иртыш,  
И не пахнет уже увядшей травой в лесу,  
В грешном мире подлунном (к войне ли) настала тишь,  
И багульник отцвёл неизвестно в каком часу...

---

*СЕЙДАМЕТОВА Карина Константиновна родилась в 1984 году в Самарской области. Автор поэтических сборников "Позимник", "Соборный свет", "Вольница". Стихи печатались во многих всероссийских бумажных и электронных общественно-патриотических изданиях: журналах "Наши современники", "Москва", "Подъём" (Воронеж), "Дон" (Ростов-на-Дону), "Гостиный Двор" (Оренбург), "Волга XXI век" (Саратов), "Коломенский альманах" (Коломна), "ВЕЛИКОРОССЬ" и др. Лауреат премии и.м. Ю. П. Кузнецова (2011), "В поисках правды и справедливости" (2018). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

\* \* \*

Мудрость постигается с мала:  
Плачь-рыдай, а не сдавайся, выстой!  
Хвойная душистая смола  
Покатилась вниз слезой лучистой.

Свежий срез древесного ствола  
Вязкая слеза заполонила,  
Солнечным сверканием легла  
Так, что мгла невольно отступила.

Лиственницы льют смолу, как кровь,  
Жизни сок по капле источая.  
Плачь, рыдай, а всё ж не прекословь —  
Горевая нежность вековая

Времени, бегущая навстречь,  
Ярая таёжная живица  
Свет поможет хрупкий оберечь —  
И кровавым ранам заживиться.

Грубая шершавая кора  
Срезана коряво при подсочке...  
Жизнь подобна взмаху топора  
С остриём особенной заточки.

Чудо постигается с мала:  
Первый шаг и первый путь — тернисты...  
Только проступившая смола  
Разгоняет мглу слезой лучистой!

\* \* \*

О, Святителю Лука!  
Твоя милость велика...  
Покачнула колыбельку  
материнская рука.

Чтоб коварная беда  
не встречалась никогда,  
нам поможет зоревая  
искромётная вода.

Ты водиченька, врачуй,  
душеньку сыновью чуй,  
берега оберегая,  
сторожи, дневай-ночуй.

Пела-пела, пела мать:  
любо колыбель качать!  
Колыбельку — лодку жизни  
по земным морям пускать.

\* \* \*

Месяц сверкнёт золотым плавником  
И удалится за склон  
Русского мира, где испокон  
Всяк неподсудно влюблён.

Скоро ль рассвет возвратится домой,  
Неркой на нерест придёт?  
О вожденное лето зимой —  
Вереск и солнечный мёд.

Если я снова тебя позову —  
Дни не устанут светать!  
Два океана хранят синеву,  
Сиятся не расплескать.

Проще разгадывать сны у воды,  
Гладить прибрежный кипрей,  
Нежели спрашивать у рыбаей  
Тайны небес и морей...

Русского мира, где испокон  
Всяк неподсудно влюблён.  
Месяц сверкнёт золотым плавником  
И удалится за склон...

\* \* \*

Око масленицы широкой  
заглянуло в окно зимы.  
Под живительным солнцепёком,  
мир пронзая голодным оком,  
поедая блины с припёком —  
напитались блинцами мы!

Мать-маслёнушка, ты горазда  
на забавы и на пиры.  
Солнце маслом небо умастит,  
и зарница весенней масти  
скоро грянет во все двory.

Нелегко избежать участия:  
сердце ёкает: скок да скок!  
Не пора ль помечтать о счастье,  
напушая на все напасти  
с гор горящее колесо!..

Но пока ледяная горка  
не растаяла — прочь катись  
от беды, от печали горькой,  
вечера променяв на зорьки,  
улащая блинами жизнь.

\* \* \*

В метельной запредельной замяти  
Любви положено случаться!  
Спешите жить! Духовный маятник  
Сначала должен раскататься...

Спешите жить... И пусть отчаянно  
Цветущим вишеньем ворвётся  
В квартиры к вам не ночь-печальница —  
Но утреница званым солнцем!

Затеplit в окнах ожидание,  
Качнёт цвет вишенный любовно  
От исповеди к покаянию  
Незримый маятник духовный.

И вспомнится земная истина  
Назло метели запредельной,  
Что этот маятник таинственный  
И есть несомый крест нательный!

В метельной запредельной замяти,  
Когда и слов уже не надо,  
Из детской белопенной памяти  
Взрастёт душа вишнёвым садом!

С метельным солнцем легче дышится  
Душе влюблённой и смятенной...  
Спешите жить в цветущем вишенье,  
Под белокипенным цветеньем!

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



## И НЕФТЬ, И ГАЗ, И ЧЁРНАЯ ИКРА

РАССКАЗ

*Лучше водки хуже нет.*  
В. С. Черномырдин

Подобные истории почему-то случаются только с пьяными писателями. Однажды в канун Нового года прозаик Александр Егерь задержался в Союзе писателей, где выставили угощенье. Бутербродов и огурцов с помидорами, как водится, оказалось мало, и они быстро кончились, водки — очень много, и она еще некоторое время прожила после похорон закуски.

А главное, шли интереснейшие литературные споры, какое еще имущество бывшего Союза писателей СССР захапали себе те или иные руководители разных новых творческих организаций. Но и эти высокодуховные беседы иссякли. Тут Егерь вспомнил, что его пригласило на предновогодний банкет руководство издательства “Романное время”. Он глянул на экран мобильного и увидел, что там всё уже полтора часа, как началось, и он поспешил. Другой прозаик Сергей Сахалинцев смело заявил, что составит ему компанию, дабы с Егерем ничего не случилось.

— Куда едет Сашка Егерь, там всегда интересно, — сказал он.

— Так что у тебя с глазом-то? — по пути настойчиво добивался правды собрат по литературному цеху, поскольку в конце декабря, причем не

---

*СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Доцент Литературного института им. А. М. Горького. Прозаик и кинодраматург. Автор книг “Похоронный марш”, “Страшный пассажир”, “Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Господа и товарищи”, “Митрополит Филарет” и “Алексий II” (серия ЖЗЛ) и многих других. Живет во Внуково.*

солнечного, а вьюжного, человек в темных солнечных очках, как у спайдермена, выглядел весьма подозрительно.

— Ну что ты придолбался! — с неохотой открывая правду, проскрипел своим скрипучим голосом Сахалинцев. — Ну дома я не ночевал вчера и... сам понимаешь.

— Кулаком?

— Да нет, вот так вот наотмашь хряснула, а на пальце перстень. Который я сам же ей, дурак, и покупал на пятнадцатилетие свадьбы. Бровь рассекла. Кровища...

— Понятно. Высокие у вас отношения. Я имею в виду, что она тебе не в пах и не в коленку, а в бровь.

— Выше только лобешник, — мрачно усмехнулся Сахалинцев, и снова поглядел на свои часы, коими весьма гордился.

— А я вот терпеть не могу ничего на руке носить, — сказал Егерь. — Хорошо, что теперь мобильники есть, можно по ним время узнавать.

— А если зарядка кончится?

— Это ты прав, у меня, кстати, на последнем зубчике.

Настроение у обоих, даже несмотря на черные очки, становилось все лучше и лучше.

— “Романное время” должно неплохо проставиться, — сообщил Егерь. — Их какой-то банк взял под свое крыло.

— Банкиры эти... Народные кровососы. Не зря таких в семнадцатом... — Вид у Сахалинцева сделался еще более злоецим. И без того он был из тех красавцев, которые в фильмах обычно без жалости крошат других персонажей, а те воспринимают это как должное.

— Кстати, семнадцатый не за горами, еще семь лет, и... — развил тему Егерь, внешность у которого тоже была не ангельская, крутой затылок, тяжелая челюсть, но рядом с Сахалинцевым он выглядел добрым дядей, а в кино мог бы вполне удовлетвориться ролью того, кто заказывает человеку в черных очках очередное убийство.

— Во-во, мы еще покажем этим буржуям недорезанным! — хмыкнул спайдермен.

— Однако, водочка-то действует! — бодро воскликнул Егерь и процитировал известное изречение русского Конфуция — Виктора Степановича Черномырдина, настолько весело его шатало и расплывало в этой мутной и нереальной предновогодней действительности. — Что-то не могу припомнить, какая там именно Брестская...

С этими Брестскими по приезде на место и началась дьявольская путаница. На Маяковку поехали подземным транспортом.

— Такси ни в коем, — сказал Сахалинцев. — Еще больше развезет. — Я лично всегда в метро трезвею. Приедем, как стеклышки.

— То есть остекленевшие, — припомнил Егерь классику барда с Таганки.

В тот вечер погода задалась нелетная. Ледяной и одновременно влажный ветер шрапнелью колючего снега стрелял в лица двух друзей.

— Держись, Санек! — кричал Сахалинцев.

Егерь полез в карман за мобильником.

— Погоди, Серега!

— Что такое?

— Да я забыл, какая именно Брестская. То ли Вторая, то ли Третья.

— По-моему, вообще Четвертая.

— Нет, не Четвертая. Погоди.

Егерь набрал номер приятеля из “Романного времени”, приложил лдышку мобильника к окоченевшему уху.

— Алло! Андрюша, это мы. Мы уже подгребаем.

— Где вы, ёпэрэсэтэ! — прозвучал в лдышке горячий голос.

— Да мы уже мимо Владимир Владимировича прошли.

— Какого еще Владимир Владимировича? Путина? Вы что там, нажратые?

— Маяковского мы прошли! Андрюша, какая Брестская? Вторая или Третья?

— Ну вы и впрямь, как видно... — начал приятель, и на том его миссия завершилась.

— Блин! — крикнул Егерь ветру и снегу, а главное — льдышке. — Мобила, сволочь, села! Доставай свой мобильник!

— Нету, — мрачно ухмыльнувшись, сказал человек в черных очках.

— То есть?

— Я ее на днях потерял. Я, как напыюсь, всегда мобилку теряю. Или еще хуже — возму и в сугроб зашвырну зачем-то.

— Зачем, зачем! Чтоб жена не звонила! Пошли так, горе мое!

И они отправились дальше разгребать руками ветер снегопада. Егерь помнил, что надо с Брестской свернуть в первый двор, и там в каком-то углу будет скромная вывеска “Ресторан”, без каких-то иных условных знаков. Но когда продуваемые всеми невзгодами приятели свернули в первый двор, там можно было наблюдать любые подробности современной русской жизни, кроме ресторана. Кто-то дрался, кто-то смеялся, кто-то лаял, по всей видимости, собака, но никакая лобезная вывеска не предвещала продолжения веселья.

— Значит, Третья, — сказал Егерь.

И дальше началось нечто подобное тому, когда чорт украл с неба луну и щирые предки нынешних майданутых парубков шастали по предрождественской малороссийской пурге. Ветер становился все злее и злее, будто мстил двум клятым москалям за голодомор. Снег, словно изготовленный из колючей проволоки фабрики “Добрый гулаговец”, царапал им лица, ноги вязли в снежном крошеве и отказывались служить в качестве вездеходов.

— Ничо, зато протрезвеем, — ревел сквозь вьюгу Сахалинцев.

— В сугробе! — стучал зубами Егерь. Несмотря на длинное кожаное пальто, ему становилось все холоднее и холоднее, уши отваливались. Приятель и вовсе был в довольно легкой куртке, и его следовало первым в операционную, сразу на стол. В мареве пурги белое лицо Сахалинцева в черных очках светилось, как череп и кости на “Веселом Роджере”.

— О! — вдруг сказал Веселый Роджер. — Саня, мы спасены. Девушка! Девушка! Да куда же вы?

Но девушка оказалась весьма благоразумной, да и следовало быть полной дурой, чтобы откликнуться на зов человека в черных очках.

— Дура! — воскликнул прирожденный убийца.

— Умная, — засмеялся Егерь, удивляясь, что в нем начало просыпаться остроумие. — Глянь, Серега!

Они остановились перед какой-то витриной, в которой тускло светилось зеркало, и глянули на себя.

— Ни дать, ни взять, крупный мафиози со своим телохранителем.

— Еще ты в этом пальто похож на штурмбарфюрера, — сказал Сахалинцев.

— Штурм-бан-фюрера, — поправил его Егерь. — О, я, кажется, трезвею. Могу такие слова произносить.

— Молодой человек! Сто рублей даю! Одну минуту с вашего мобильного позвонить!

— Этот тоже не враг себе.

И они снова двинулись искать в снежной разноголосице Брестских улиц тот заветный дворик с вывеской “Ресторан”, сулящей тепло, спасение, жизнь.

— Слушай, Сань, это, кажется, уже Восьмая Брестская.

— Какой-то патриот-белорус строил тут дома.

— Козел он, а не патриот! Неужели нельзя было назвать одну улицу Брестской, другую Минской, третью Литовской, четвертую Шауляйской?

— Пятью — Шаляйваляйской. Вообще-то, этих Брестских только четыре.

— Но мы уже ходим целый час в этих четырех Брестских соснах!

— Зато трезвые, как сволочи.

Неожиданно нарвались на врага самому себе. Какой-то добрый и не пуганный гражданин подверг свой мобильник риску и даже отказался от предложенных ста рублей. Но счастья это не принесло.

— Надюш, Надюш, не бросай трубку, пожалуйста! — заговорил Сахалинцев, изыскивая в своем скрипящем голосе не самые царапающие нотки. —

Мы тут с Саней Егерем не можем на конференцию попасть. Ее Андрюха Точкин организует. У тебя ведь, кажется, есть в твоём мобильнике... Ну зачем же так!.. Мы тут замерзнем на фиг!.. Спасибо большое, извините за беспокойство. — Он горестно вернул средство связи неосмотрительному прохожему.

— Что она тебе сказала? Шедевр ораторского искусства?

— Сказала: “Катись к той, у которой ночевал”. Но ведь речь шла не об этом.

— Сочувствую. Скорее всего, ты ночевал у Снежной Королевы. Она вот-вот распахнет нам свои объятия.

И несчастные штурманфюреры, как некогда под Москвой и Сталинградом, снова пустились месить ногами коварный русский снег, разгребая руками безжалостную пургу.

И вдруг снова:

— Саня! Мы спасены!

В очередном дворе они увидели... Нет, не вывеску “Ресторан”. Двоих официантов. Эти два ангела в черных брюках и белоснежных сорочках, на которые под горло приземлились синие бабочки, стояли на крыльце и курили.

— Саня, я все понял! Надо было не от Маяковки, а от Белорусской площади топать.

— Судя по местонахождению, да. Здравствуйте, мы к вам.

— Здравствуйте. — Оба официанты подчеркнуто вежливо вытянулись вверх на своих ангельских крылышках, но из-за упитанности не смогли взлететь. — Вас там уже заждались.

— Еще бы! — воскликнул Егерь и вдруг ощутил, как от нахлынувшего счастья в него бурным потоком стало возвращаться мощное опьянение.

— А где ваша машина? — спросил один из официантов, распахивая перед обмороженными эсэсовцами дверь.

— Сломалась, — махнул крылом Егерь. — Фигня, ща позвоним, новую купим.

Тепло-о-о! Оно распахнуло свои объятия, как сделал бы рай, если бы Господь Бог вдруг отменил приговор Адаму и Еве и добродушно позвал их обратно. Егерь и Сахалинцев полными легкими вдохнули в себя спасительную смесь из запахов пищи и сигаретного дыма, валившего им навстречу из огромного зала, в котором застолье шумело так, как может оно шуметь на третьем часу своего течения.

— А вот и мы! — воскликнул Егерь, на секунду заглянув в пасть развеселого пиршества.

— Урррраааа!!! — закричала пасть. — Наконец-то!!! Скорее!!!

— Слава тебе, кончилась чертовщина, — проскрипел Сахалинцев, вместе с приятелем подходя к гардеробу и с трудом стягивая с себя куртку окоченевшими пальцами. Тотчас к ним подбежали услужливые служащие, помогли освободиться от верхней одежды, повели в спасительный зал.

Опьянение, казалось бы, навсегда ушедшее во время блуждания по Брестским улицам, теперь навалилось с чудовищной силой, да так, что у Егеря в глазах стало, будто его поместили в аквариум. Черные очки Сахалинцева и вовсе ничего не видели, потому что вмиг в тепле запотели, а снять их и протереть Серега стеснялся — сил не было придумывать героическую историю получения блямбы под бровью.

Столы стояли буквой П. Вдалеке за верхней перекладиной нетрудно было различить, хоть и распылчато, Андрюху Точкина. Рядом сидел некто, похожий на знаменитого актера Божкова, сыгравшего стержневые роли в таких эпохальных фильмах, как “Миллионер” и “Форточник”. Приятно, что и Андрюха, и этот псевдо-Божков встали и дружескими жестами поприветствовали Егеря и Сахалинцева, скрестив кулаки и помавая ими над головой, как бывало делали члены политбюро ЦК КПСС, стоя на трибуне Мавзолея во время демонстраций.

Новоприбывших посадили на правой ноге буквы П, тотчас прильнули официанты:

— Чего изволите?

Пьяная наглость, поселившаяся в Егере, ответила:



— Водки самой лучшей, сразу стакан. Икру. Сигару.  
— Икру какую?  
— А что, есть и черная?  
— Имеется.  
— Ее.  
— Сигару какую?  
— “Ромео и Джульетта” есть?  
— В больших количествах.  
— С ума сойти.  
— Мне все то же, что ему, — мрачно произнес убийца в черных очках. — Видать, и вправду банкиры, блин.

Когда через минуту перед ними образовалась бадейка черной икры, в бокалы полилась серебром водка, а по правую руку возникли пепельницы и квадратные блюдечки с кубинскими сигарами, стало окончательно ясно, что они оба уснули в сугробе, и все это — лишь блаженный предсмертный бред. Тем не менее, и в бреду человек способен чокнуться с приятелем, махнуть полный бокал водки и закусить черной икрой. Оп-па! Нет, погодите...

— За наших самых долгожданных гостей! — воскликнул похожий на Божкова, опрокинул в себя изрядную порцию напитка и скомандовал: — Здравную цыганскую!

И все застолье вмиг разразилось лихим и громогласным:

*Хор наш поет припев старинный,  
Вина полились рекой.  
К нам приехал наш любимый  
Александр Палыч дорогой.  
Саша, Саша, Саша!  
Саша, Саша, Саша!  
Саша, Саша, Саша, Саша,  
Саша — пей до дна!  
Пей до дна, пей до дна, пей до дна!*

И, выливая в себя стакан водки, Егерь со смехом подумал: “Вот дураки! — я же Юрьевич!” Тотчас он приземлился на стул, схватил кусок лаваша, густо намазал его черной икрой, закусил. Точно, черная, и не поддельная, а самая настоящая, астраханская, милая наша, забытая-перезабываемая. Будто ушедшая молодость вдруг заглянула, чтобы проведать, как ты тут, в своей зрелости.

— Охренеть! — сказал Сахалинцев. — Сто лет ее не ел.

— Да? — развалился на стуле, с презрением спросила поселившаяся в Егере наглость. — А я каждый день ее жру. Надоела. Хочу чего-нибудь с трюфелями.

— С трюфелями у нас есть бланбидюль, — тотчас прожурчал под ухом любезный голос официанта.

— Валяйте ваш бланбидюль, — заявила наглость.

— Простите, а вас как величать? — спросил Андрюха, обращаясь к Сахалинцеву.

— Ну ты даешь! — воскликнул Егерь. — Это же Серега Сахалинцев. В очках, что ли, не узнал? Видать, уже крепко накатил.

— А по отчеству?

— Сергеич.

— За нашего второго гостя! — произнес Андрюха, и Егерь вдруг усомнился, а Андрюха ли это?

Хор снова запел припев старинный, вина полились рекой, к нам приехал наш любимый Сергей Сергеич дорогой... И так далее, до дна.

— Надо было мне сразу свое отчество Точкину напомнить, — проворчал Егерь, махнул, но теперь только полстакана, по-видимому, великолепной, но какой-то безвкусной водки, снова закусил черной икрой, а ему уже и бланбидюль подали. И тоже какая-то безвкусная, эта бланбидюль. Нет, лучше и дальше черненькой закусывать, пока дают.

— До чего же этот хмырь рядом с Андрюхой на артиста Божкова, — толкнул Егерь Сахалинцева.

— Ты только не падай со стула, — мрачно отозвался спайдермен. — Это и есть Божков.

— В смысле?

— А рядом с ним не Андрюха Точкин, а режиссер Дерюжкин.

— Дерюжкин?

— Ну да, который “Подробности русской бани”.

— Погоди, Серега... Но...

Егерь стал внимательно всматриваться и теперь уже точно видел, что во главе стола сидят Божков и Дерюжкин, известные люди отечественного кинематографа.

— Пипец! Мы не туда попали, — все больше мрачней, сказал Сахалинцев.

— Да не может этого быть!

Хорошо, что играла музыка, и никто не слышал, как двое представителей литературы медленно вслух постигали реальность.

— Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, — сказал философ Кант, на секунду присевший неподалеку и тотчас растаявший в своей философской вечности.

С величайшими трудностями отодвигая плечом опьянение, Егерь продолжал всматриваться в то, куда они попали. На крыше буквы П и впрямь сидели знакомые по экранам актер Божков и режиссер Дерюжкин, их облепливали и облапливали пьяные киномузы, целовали их, шептали им что-то на ухо. Много мест на левой и правой ноге буквы П пустовало, поскольку то, что должно было быть пустые места заполнять, теперь танцевало под грохочущую музыку.

— Нас приняли за каких-то богатых спонсоров, — произнес мрачный Сахалинцев. — А если придут настоящие, нам кобздец.

— Не гунди, я уже и без тебя все понял, — ответил менее мрачный Егерь. — Как бы то ни было, перед смертью черной икры нажремся.

— Надо лиять.

— Брось ты. Судя по всему, они меня принимают за босса, а тебя за телохранителя. Ты же хотел в кино сниматься. Пойдем, я тебя представлю элите современного кино. Попрошу за тебя.

— Дурак.

— Отчего же? Будешь играть суперкиллера. Он ходит по завьюженной Москве, просит мобильники и убивает, убивает...

— Лиять, говорю, надо.

— Икру доедим, и слиняем.

— Поздно будет. Санек!

— И как ты через свои очки все первым увидел?

— Санек, очухайся. Лиять! Мы деловые люди, нам подолгу нельзя засиживаться. Нас ждут партнеры, чемоданы с баксами.

Егерь хорохорился, но белка испуга суетливыми прыжками все же проскакала по его веткам. И от этого почему-то забурлило в животе.

— Что-то у меня газы... От икры, что ли?

— Чего?

— Я говорю, у меня в животе опера Пуччини.

— Какая именно?

— “Филио пердугто”.

— А разве такая есть? А, понял. Сходи в тубзель.

Егерь устремился к туалету. Но дойти до него не смог. Его вдруг подхватила одна из танцующих:

— Разрешите потанцевать с вами?

И дерзко закружила его в танце. Танцуя с ней, он озирался по сторонам.

— А почему у вас девушки танцуют отдельно, а мужчины отдельно?

— Потому что это не мужчины.

— В смысле?

— В определенном. У вас, в вашей отрасли, должно быть, такого не бывает.

— Какого? А, понял. Что, неужели и впрямь?

— А вы как думали! Да нет, шучу, не все. Но частично.

— По-моему, это противно.

— По-моему, тоже. Но в нашей среде к подобному привыкли. Вот вы, сразу видно, мужчина. О вас ничего такого не подумаешь. Скажите, вы — нефть?

— Я? Нефть?

— Ну да, так вроде бы о вас говорили.

— Что ж, и нефть, и газ, и черная икра... Но в данный момент я в большей степени газ, — ответил Егерь.

С трудом дотанцевав, он попросил извинить его и устремился в тубзель. Там заперся в камере, в которой не было ни кровати, ни стула, а лишь один унитаз. Избавляясь от оперы Пуччини, Егерь беспшашно размышлял о том, что если появятся настоящие, как-нибудь все сойдет с рук, ну не все же бандюки сразу везут таких, как они, заливать цементом и ставить в качестве одной из стен новостройки, которую столь вождельно ждут вкладчики-дольщики, изнывающие под игом ипотеки. Ну, поржут, потом прогонят. Вынесут и — раз-два-три — швырнут в московские сугробы.

Кто, блин, придумал эти Брестские! Вот бы накостылять тому белорусу!

Выйдя из мест временного заточения, Егерь наткнулся на очередного услужливого служителя.

— Позвольте вам показать, там для вас приготовлены подарки, — сказал он шоколадным голосом и повел Егеря еще куда-то. За открывшейся там дверью писатель увидел стойку бара, высокие стулья с круглыми сиденьями, и сидящих на тех вращающихся стульях девушек разного сорта, но одного и того же предназначения.

— Вот, — сказал обладатель шоколадного голоса. — Можно в любое время. Здесь есть специальные помещения. Качество — супер-евро.

Девушки тоже стали вращаться, поворачиваясь фасадами в сторону высокого гостя, улыбаясь ему, как будто попали в передачу “Жди меня” и их неожиданно нашли.

— За кого вы меня принимаете! — решительно отсекся от греха Егерь.

— Понимаю, не сейчас, — сказал служитель. Возможно, сутенер. — Позже.

— И позже тоже. Можете объявить классу, что урок окончен. Пусть идут домой делать уроки.

Оставив за спиной разочарованного торговца живым товаром, мнимый заправила газовыми богатствами страны отправился искать своего телохранителя.

— А вот и он! — воскликнул Сахалинцев, предлагая Егеря актеру Божкову и режиссеру Дерюжкину. Они стояли на фоне танцующих и, видно, ожидали его, желая что-то перетереть. — Позвольте вас познакомить с моим боссом.

— Очень приятно, — пожал Божков руку Егерю.

— Рад с вами познакомиться, — пожал Дерюжкин.

— Александр Павлович, вы нас извините, — ласково произнес Божков. — Нам пора ехать. Вы привезли?

— Деньги? — догадался Егерь. Не зря все-таки инженер человеческих душ. Он сунул было руку во внутренний карман пиджака, где лежало портмоне с тремя тысячами рублей, но мгновенно спохватился, что речь, очевидно, идет совсем об иных суммах, которые приезжают в чемоданчиках, их открывают с приятным щелчком, там обнажаются зеленоватые пачки с одним из первых американских президентов, или лиловые пятисотенные еврики в кубиках, запечатанных в прозрачную пленку. Эту пленку взрезают ножом, берут на кончик ножа крошечную горстку, далее — на язык, пробуют, важно кивают: настоящие.

— Простите, но мы, кажется, договаривались, что завтра подвезут прямо в ваш офис, — от фонаря забормотал Егерь, но наглость взяла слово вместо него: — Вы что же это, голубчик! Не солидно как-то, знаете ли.

— Завтра? — спросил Дерюжкин и жалобно заморгал глазами на Божкова.

— Хм... — замылся великий актер современности. — Простите. Вероятно, и впрямь какая-то недопонимаемость.

— Посерьезнее надо относиться к таким делам, милый мой, — продолжала наглеть наглость. — Суммы-то немалые. А вы, как я вижу, привыкли все нахватом брать.

Егерь глянул на своего телохранителя и увидел, как у Сахалинцева едва не свалились с бледного лица черные очки.

Божков внутренне возмущился, и видно было, каких трудов ему стоило не швырнуть в морду нового русского что-нибудь неслыханно дерзкое и столь же непоправимое.

— Я понял. Приношу свои извинения. — Играя по-киношному желваками, промолвил он.

— Извинения... Стойно вам, деятели культуры, — продолжала наглость. Такого от нее Егерь и сам не ожидал. — Просите немереное баблище, да еще ставите тут свои условия. Вот захочу... Ладно, не бойтесь, гражданин Смоктуновский, я пошутил. — И безудержная наглость размашисто похлопала Божкова по плечу.

— Лестно, — зло, сдерживая себя, произнес Божков.

— Что лестно?

— Что вы меня со Смоктуновским сравнили.

— И, кстати, я не Александр Павлович, а Александр Юрьевич.

— Простите, но на вашей визитке, которую мне передали...

— Мало ли что там на визитке! Так надо.

— Значит, завтра?

— Мое слово — закон.

— В таком случае, разрешите нам откланяться.

— Не при царях живем, чтобы кланяться тут. Давайте быть проще. Айда на посшок дерябнем.

— Извольте. — Видно было, что смелый артист едва сдерживается, чтобы не начистить новое русское рыло. Он с Дерюжкиным и Сахалинцев с Егерем подлыбли к поляне.

— Я сам налью, — сказал Егерь, взял бутылку водки и налил по полному стакану Божкову и Дерюжкину. Взял другую и наполнил себе и Сахалинцеву. — И без закуски, товарищи. Предлагаю выпить за нефть и газ! До дна. По полному стакану. И за черную икру!

И он стал медленно переливать в себя стакан водки. С ненавистью глядя на него, Божков тоже вышел. Дерюжкин поперхнулся на полстакане. Сахалинцев, молодец, справился безупречно. Но жалобно спросил:

— Точно, что без закуси?

— Точно! — рявкнул Егерь. — А вы, режиссер, допейте, допейте. До дна. Как там в вашей цыганской.

Дерюжкин беспрекословно выполнил требование мнимого спонсора.

— Ну вот, а теперь можете нас покинуть.

— Всего доброго, — пробормотал Дерюжкин, протягивая руку, но наглость махнула крылом: вали уж, мол, так, без дурацких этих рукопожатий.

— Ждем завтра. Всего доброго, — произнесли злые желваки, и оба кинематографиста покинули арену цирка.

— Ну ты даешь, парень! — глядя им влед, восхитился Сахалинцев. — Даже от тебя не ожидал такого. Нам, брат, тоже пора валить. Я, представляешь, после этого стакана за нефтегаз трезветь начинаю.

— А ты как думал, — отозвался Егерь уже откуда-то из убегающего от него пространства и времени.

— Ты закуси, Сань, закуси, — видя, как на глазах обмякает приятель, всполошился спайдермен.

— Танцевать! Танцевать! — тотчас спрыгнула к ним откуда-то с лиан та обезьянка, которой Егерь сообщил, что он газ. И музыканты громко заиграли, и все закружилось в танце, в котором было так весело и одновременно страшно.

— Педики! — кричал Егерь юношам.

— Педики, — весело кивали те, будто в них угадали геологов или строителей Братской ГЭС.

И как совсем еще недавно пробирались сквозь пургу, так теперь Егерь и Сахалинцев раздирали тайгу танцевального марева, плясали весело и тревожно, отплясывали за нефть и газ.

— Саня, пора рвать когти, — время от времени орал в ухо приятелю Сахалинцев, но сам при этом никуда не спешил, что-то вкрикивая сквозь музон приглянувшейся ему актриске.

— Мы с моим боссом прошли и Крым, и Рим, и Кагалым, — слышал Егерь голос Сереги. — А скоро вся нефть наша будет.

— И газ! — добавлял Егерь. А наглость теперь уже шла на попятную и заклинала его: — Вали отсюда, Сашуля, вали, милый!

Потом сидели за столом, и Сахалинцев рассказывал:

— Босс посылает меня к должникам. Я обычно просто прихожу, смотрю на них и спрашиваю: “Вы всё поняли?” Потом снимаю очки, дышу на стеклышки, протираю и снова надеваю. Потом медленно разворачиваюсь и медленно ухожу. А к вечеру должок уже на столе у босса.

— А снимите очки!

— Не положено. Только в исключительных случаях.

И снова танцевали. И снова уговаривали самих себя, что пора, давно пора валить отсюда.

И потом — как и полагается по замыслу великого творца комедии “Ревизор” — немая сцена. Но совершенно в новой режиссерской трактовке. Сквозь пьяное сознание до Егеря дошло, что приехали настоящие. Точнее один. Довольно воспитанный мужчина, он потирал ручки в предвкушении встречи с представителями творческой кинематографической элиты. И вовсе не кабан какой-нибудь, а вполне даже интеллигент. А Сахалинцев, в общем-то человек добрейшей души, стоя перед ним в позе Шалыгина, объявлял:

— А я тебе говорю: катись к той, у которой сегодня ночевал!

— Я не понял, вы, кажется, пьяны и зачем-то стоите тут передо мной. А где господин Дерюжкин и господин Божков?

— Господа все за границу сбежали. Не за горами семнадцатый год! — говорил голос Егеря, словно отдельно от своего владельца.

— Вот именно, — рычал Сахалинцев. — И ты проваливай! Скоро таких, как ты, всех расстреляем.

Потом помнилось, как они схватили у гардеробщика кожаное пальто до пят и продуваемую куртку, накинули это на себя — метель нам ни по чем! — вышли из спасительного тепла, увидели, как матерый бритоголовый убийца направляется к ним навстречу. И бежали, бежали, бежали, сквозь пургу, сквозь сорок тысяч Брестских улиц, мимо памятника Маяковскому, как миноносец с миноносцей, и лишь на эскалаторе метро, оглянувшись и не видя страшной погони, смогли выдохнуть:

— Ну, ё-о-оперный театр!

— Кажись, спасены! Босс!

ТАТЬЯНА БРЫКСИНА



## ДОЖИВЁМ ДО УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ

\* \* \*

Половецкие пляски раскосых ночей —  
То гроза во всё небо, то ливень над садом,  
Глухо падают яблоки в мутный ручей,  
Руки льда холодней, кипятка горячей,  
И душа зависает меж раем и адом.

Это — август! Не ворог, не ворон, не вор...  
Я сама заманила лихого гостёчка —  
Пусть уводит меня хоть в калмыцкий шатёр,  
Хоть на съезжий базар, на последний позор —  
Лишь бы не солгала августовская ночька.

И окно занавешу, и яблок в подол  
Наберу, не шарахаясь молний и грома.  
Будет облаком плавать по комнате стол,  
Будут яблоки биться о вымытый пол  
И ежи топотить по дорожке вдоль дома.

---

*БРЫКСИНА Татьяна Ивановна родилась на Тамбовщине, работала на Урале мастером по производству твёрдого ракетного топлива. Окончила Высшие литературные курсы. Автор десяти книг поэзии, книги прозы "Трава под снегом", стихотворной книги для детей, двух книг переводов с грузинского. Член Союза писателей. Лауреат Всероссийской литературной премии "Сталинград" и премии "Хрустальная роза Виктора Розова". Живёт и работает в Волгограде.*

Кто уйдёт, кто вернётся — загадывать зря!  
И в тоске не насуплю шмелиные брови...  
От июльской светлыни до лун сентября  
Прогорит эта ночь, и очнётся заря,  
Словно брошенка, губы кусая до крови.

\* \* \*

Он не боится умереть,  
Но, видимо, боится,  
Что отпущу его без слёз,  
Вослед не поспешу...  
И я смотрю в его глаза —  
В них детский страх таится:  
— Не сокрушайся, милый друг, —  
Прощающе прошу.  
Ещё не знаю, что страшней —  
Уйти во тьму иль выжить,  
Но говоренья городить  
Бессмысленно, увы...  
Любовь глумливая смогла  
Клеймо на сердце выжечь,  
Все наши скорби от её  
Беспутной головы.

Но если кончится запал  
Словами жечь бумагу,  
Ночными тапками шуршать  
И пить валокордин,  
Его по-царски положу  
И тенью рядом лягу —  
Мол, не бойсь, родимый мой,  
Ты будешь не один.  
Заплакать легче, чем стерпеть  
В глазах его бессилье...  
— Не сокрушайся, — говорю, —  
Не накликай беды.  
Ночь опускает за окном  
Изломанные крылья,  
Он отвечает: — Доживём  
До утренней звезды.

### ТОЛЬКО ТЫ У МЕНЯ...

Деревенские ночи  
Дождями серебряно льются,  
Ничего не хочу,  
Кроме радости зябкой одной —  
Ледяными коленками  
В сон твой горячий уткнуться  
И согреться, и спать,  
Забывая о жизни дневной.

Наконец-то сошлись  
Воедино премудрые смыслы  
Сожаленья и жалости,  
Нежности, неги, тоски...

Пусть года за спиной  
Перевешивают коромысло —  
Лишь бы мысли о прожитом  
Не были слишком горьки.

Ничего не хочу,  
Никого не боюсь, и отныне  
Кто бы в дом ни вошёл —  
Пусть не слишком вольготно гостит!  
Только ты у меня,  
Только я у тебя — без гордыни  
Сердце к сердцу прильнёт  
И дневные обиды простит.

### ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Когда последняя песчинка  
В стеклянном горле просвистит,  
Души двукрылая пушинка  
Покружится и отлетит.

Не изумляясь, как бывало,  
Словам и едкой тесноте  
Судьбы, что жизнью называла  
По неразумной простоте.

О, я ли не любила знойно  
Края отеческих могил,  
Уверься, что душой достойна  
Защиты их небесных крыл!

Казалось, ход часов песочных  
На вечных пишется листах,  
Что время на котурнах прочных  
Стоит, как мир на трёх китах.

Но горсткою песка Господня  
Жизнь оказалась — лишь вздохнуть!  
Не обижай меня сегодня,  
Я собираюсь в дальний путь.

### ПОСЛЕДНИЕ ПТИЦЫ

Окликнет ли небо просторное,  
Пронижет ли холод ночной,  
Земля,  
Моя матушка чёрная,  
Без гнева сомкнись надо мной.

Шершавая, травная, стылая —  
Просёлок да две колеи, —  
Прости мне, заступница милая,  
Все правды-неправды мои.

И вздорная, и беспризорная,  
В чужом наметавшись краю,



Иду, как черница соборная,  
В слепую обитель твою.

По обе дорожные стороны  
Над пажитью кружат родной  
Сплошные воробьи и вороны,  
А ласточки нет ни одной.

Не слышу! Не вижу! Не ведаю!  
Не те это птицы, не те,  
Чьё пенье душой унаследую  
На самой последней версте!

И ты, золотая и чёрная,  
Смыкая кленовую тишь,  
За сердце моё непокорное  
Мои прегрешенья простишь.

---

*Сердечно поздравляем с юбилеем нашего многолетнего автора Татьяну Ивановну Брыксину и вместе с ней её мужа и друга поэта Василия Макеева, которому, по существу, и посвящена эта подборка стихотворений!*

АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ



И ДУШЕНЬКУ  
ЗАБЛУДШУЮ СПАСАЕШЬ...

\* \* \*

Конец апреля сер и скучен,  
День тихо тлеет, словно трут.  
Чуть выйдет солнышко, а туча,  
Зануда-туча тут как тут.

Дождь тонконогий всюду бродит:  
И вдоль путей, и без пути.  
Ни в поле, ни на огороде  
Сухого места не найти.

Сидишь без дела у окошка,  
Уж к делу сердце не лежит.  
И только непоседа-кошка  
То в дом, то из дому бежит.

Сидишь, былём разводишь думу.  
Потом ладонь прижмёшь к печи.  
Потом подумаешь угрюмо:  
Совсем остыли кирпичи...

---

*ПОШЕХОНОВ Александр Алексеевич — автор более двадцати книг стихов и афористической прозы. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского в номинации “За верность поэтическому образу России”.*

Накинешь куртку-веселуху,  
Дров принесёшь, растопишь печь,  
И будешь слушать дождь вполуха,  
И будешь сумерки стеречь!..

\* \* \*

Прекрасным днём в саду своём  
Росточки-яблоньки сажаю.  
Своим неспешным бытиём  
Себя невольно поражаю.  
А был я крут, нетерпелив,  
На суд был скор и на расправу...  
Теперь — задумчив, молчалив,  
Уверовавший в Божью Славу —  
Живу в отеческом краю,  
Колю дрова, копаю гряды,  
И нынешнюю жизнь свою  
Воспринимаю так, как надо:  
Грехи своих минувших дней  
Не возношу, не отвергаю,  
Теперь стараюсь жить ровней  
И даром время не ругаю.  
С зарёй встаю, с зарёй ложусь,  
В урочный час молюсь и каюсь.

И Родиной своей горжусь,  
И от отцов не отрекаюсь!..

\* \* \*

И дождик, и осень, и строгий покой,  
И солнце глядит скуповато.  
Жизнь мирно проходит — не надо другой:  
Ни ласковой, ни хамоватой.

Всему своё время на этой земле,  
Я щедро плоды пожинаю:  
Картошку пеку в рыжеватой золе  
И прежние дни вспоминаю.

Кус хлеба в тарелке да соли щепоть,  
Да кружка холодной водицы...  
Чем мог, наградил меня в жизни Господь,  
И мне — ни жалеть, ни гордиться.

На век мой хватило воды и огня,  
И медные трубы — знакомы.  
Всё было, всё будет, всё есть у меня:  
И золота блеск и соломы!..

## ИСПОВЕДЬ

Чем чаще исповедь, тем зрimee грехи,  
Ползут из прошлого, как черви дождевые.  
Не веселят заслуги боевые,  
И в редкий день глаза мои сухи.

Ах, сколько дров наломано вчера,  
Ах, сколько слов безумных прозвучало,  
Ах, сколько раз пытался жить сначала...  
И молишься, и каешься с утра.

И через весь змеинный тарарам,  
Почувствовав, что сердцем угасаешь,  
Спешись, летишь на крыльях в Божий Храм  
И душеньку заблудшую спасаешь!

### ВСЁ БЫЛО, МИЛАЯ...

Всё было, милая, всё было:  
Весна, надежды, страсть и пыл...  
Меня ты, милая, любила,  
Тебя я, милая, любил.

Порой любовь по швам трещала,  
Ты — обижалась, я — шалел...  
Меня ты, милая, прощала,  
Тебя я, милая, жалел.

А жизнь — то стыла, то кипела,  
И заедал тревожный быт...  
Меня ты, милая, терпела,  
А я был мрачен и сердит.

Как всё изменчиво на свете:  
Уж полон счастья, кто роптал...  
И подрастали наши дети,  
Да и достаток подрастал.

Иные радости и звуки  
Теперь главенствуют в судьбе...  
Тебе в любви клянутся внуки,  
Я в ноги кланяюсь тебе.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

## ПРОБУЖДЕНИЕ

РОМАН\*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

II

В Россию пришла война. После Одессы и Мариуполя переломили об колено слабое древко флага “русской весны”, ослабел воинственный и победный поток с телеэкранов, и чем чаще в сводках появлялись сообщения о погибших мирных жителях, обстрелянных очередях на пропускных пунктах через границу, тем бессмысленнее становились громкие политические заявления.

Новости приходили сумбурные, и не понять было, что правда, а что — отчаянно желаемое или просто лживое, но отсюда, с расстояния в тысячу километров, казалось, что там всё это время делается одно большое дело, и каждый шаг каждого человека продуман, подчинён единой мудрой воле. Что выбирается лишь момент, самый лучший, самый внезапный, чтобы обрушиться на новую киевскую власть и смести её одним ударом. Но жертвы продолжались, и сопротивление постепенно вязло в болоте, а худощавый усатый человек в армейской форме, на которого все так надеялись и чьих регулярных сводок из Славянска ждали каждый день, сначала бодрился, говорил о глупости украинских военных, об их нежелании воевать с собственным народом, а потом вдруг стал всё чаще повторять, что ополченцев не так много, что оружия не хватает и что помощи ждут, но она не приходит, а помощь уже катастрофически опоздала.

Постепенно на той стороне оправились. Все эти митинги и протесты только ожесточили их, и теперь они навалились всей своей ржавой военной машиной: их войска больше не бросали бронетранспортёры, не убегали от мирных жителей, а с экранов рекой потекла кровь, и мы увидели и разрушенные бомбами дома, и убитых детей, и толпы беженцев — всё то, что несколько месяцев назад и представить было невозможно.

Впрочем, долгое время ещё непонятно было, чья берёт. Мы знали, что к Славянску стянуты большие войска, что они регулярно обстреливают жилые дома, громят блокпосты вокруг, захватывают близлежащие сёла, но в сам город войти по-прежнему не могут. Две силы вгрызлись друг другу в глотки: одни напирали, другие, хоть и проседали, но не сдавались окончательно, оттягивая время для кого-то там, в тылу, в Донецке, кто должен был

всё организовать и подготовить для дальнейшей борьбы. И уже столько раз говорили на украинских сайтах, что Славянск взят, что ополченцы бегут, но всякий раз опять появлялся ролик, где тот же худощавый человек медленно и монотонно говорил, сколько атак отбили, сколько техники повредили, и объявлял свои условия для начала переговоров: спокойно, с превосходством, как если бы сила была на его стороне. И тогда нам становилось понятно, что маленький полуразрушенный город уже никогда не падёт, что какая-то сила охраняет его и лишь мы, находящиеся бесконечно далеко от передовой, неправильно понимаем ситуацию. Но потом те собрались, выиграли время в бесплодных перемириях и, наконец, обрушились всей своей звериной ненавистью, и тогда, оставив Славянск, ополченцы отступили к последнему оплоту сопротивления — Донецку, и вся страна замерла в ожидании кровавого штурма миллионного мятежного города...

Тем временем те же люди текли по московскому метро, тот же душный воздух был повсюду, те же пыльные прилавки с ненужными никому одеждой, едой, газетами, и лишь в заголовках газет мелькало возбуждённое — санкции, санкции. Москва стояла каменно-равнодушной, взирая на лежавшую под ногами привокзальную грязь и на привычный человеческий поток, текущий в подземку. Она считала свою жизнь веками, и ей не было никакого дела до страданий и смертей отдельных людей, она делала вид, что знает своё, глубокое и важное, скреплённое тысячелетней мудростью, далёкое от людской сентиментальности, и сердиться на её холодность было так же бессмысленно, как бить кулаком в кремлёвскую стену.

В тот день я ехал провожать Рому, который на неопределённое время улетал в Таиланд. Зачем, почему — я так и не смог понять, знал только, что на работе он договорился, что будет программировать удалённо, а сама поездка эта представлялась ему приятной и интересной авантюрой. И пока я поднимался по переходу из метро, пока бродил по огромной площади у Киевского вокзала в поисках выхода к аэроэкспрессу, я никак не мог избавиться от мысли, что есть в этом какая-то глубокая справедливость — именно в тот момент, когда на Донбассе идёт гражданская война, украинец уезжает в Таиланд. “Нет у него теперь Родины, — думал я, — страна разрушена, и от неё нужно бежать без оглядки”. Но, разумеется, ни о чём таком я не заговорил с ним, во-первых, потому что его отъезд, конечно же, никак не был связан с Донбассом, а во-вторых, сказать такое вслух было, как ударить в спину.

Мы стояли у кассы аэроэкспресса, потому что оставалось ещё много времени до его отправления. Рома был одет в футболку и шорты, а у ног его лежала небольшая спортивная сумка.

— Вот, всё моё добро, — сказал он, разводя руками. — Остальное выбросил. Начинаю новую жизнь, Володя!

Вокруг толпились люди, ожидая, когда откроют массивную дверь, перегородившую турникетом с красной лентой, лениво мерцали настенные часы, неожиданно шумно заработал кофейный аппарат неподалёку. И уж совсем иллюзорной сейчас представлялась эта его будущая жизнь — какой-то Таиланд, пальмы, развлечения — такое могло быть только на чужих фотографиях, да и то нарисованных с помощью специальных программ на компьютере.

— И что тебе не жилось здесь? — спросил я, только чтобы что-нибудь спросить, ведь это был совершенно нелепый вопрос сейчас.

— Ну как, там солнце, новые места, новые знакомства, — ответил он, и мы посмеялись в тон его ответу, но без радости, потому что оба понимали, что многое меняется теперь.

Перебросились ещё несколькими обрывистыми фразами, но разговор упрямо уходил от Роминого виртуального будущего сюда, к настоящей некрасивой жизни. Вспомнили об Андрее и Кате.

— Ты отдал им деньги за июль? — спросил я, зная, что у них были разногласия по этому поводу.

— Да, отдал, — весело махнул рукой Рома, — не стал упираться... Конечно, изначально была ошибка — заселяться вместе, чего уж теперь ругаться по ерунде.

Я кивнул, потому что именно таким весёлым и немелочным любил его всегда.

— Эх, помню, как вы с Катей приходили к нам с Борисом, — заговорил он с неожиданной ностальгией. — Хорошие были времена, только их и буду вспоминать из этой жизни. Так-то я к Кате хорошо отношусь. Это этот, ячеичный, — закончил резко, не выдержав благостной интонации. Я вздохнул, но с улыбкой, понимая его упрямый характер, с которым Рома и сам не мог ничего поделать.

В это время из толпы у входа вынырнул Борис. Он был загорелый, будто сам только что вернулся с юга, и, несмотря на жару, с лёгким ярко-красным шарфиком на шее.

— Слышали, говорят, Путина скоро уберут, очень многим он мешает, — сразу же заговорил он, ещё пожимая нам руки.

— Белоленточникам? — усмехнулся я.

— Да нет, почему, не только. Все теперь недовольны, как прижимать-то стало: зачем этот Крым, кому он нужен, санкции. Ты не в то время уезжаешь, Рома, тебе бы подождать, вдруг ваши начнут побеждать, вот тут самое интересное и начнётся.

— Да какое там интересное, всё равно тоска сплошная... на работу, с работы, — возразил ему Рома.

— Да, понимаю, — торопливо поддержал его Борис, — надоедает эта спокойная жизнь, хочется разнообразия, свободы...

Я знал, что он ёрничит — просто хочет беззаботно поболтать, вроде как о важном, но в то же время ни о чём. Но сегодня меня задевал этот его нарочито деловитый, а на самом деле едкий тон. И как можно было говорить, что тебе надоела спокойная жизнь, когда совсем рядом идёт война и умирают люди...

— Да зачем нужна такая свобода, — с досадой воскликнул я, цепляясь за его последнее слово, хоть и понимал, что Борис не упустит возможности поехидничать над моим искренним негодованием.

— Да, да, ты прав, — сразу же подхватил он, — надо быть в тренде, все эти заморские свободы и демократические ценности — вчерашний день, и нечего на сторону смотреть. У нас теперь железный занавес и духовные скрепы.

Ожидаемо засмеялся, а потом махнул рукой.

— Да, ладно, Володь, понимаю тебя. Всё развалили, Донбасс не взяли, струсил, теперь вот мнутя. Не власть, а бараны, — и я удивлённо посмотрел на него, потому что эта его горечь была настоящей.

Тем временем мужчина в форме свернул красную ленту турникета и распахнул тяжёлые двери, ведущие на перрон, и мы медленно двинулись в вязком потоке людей. На перроне было свежо. Где-то там, на улице, начался сильный дождь, потому что железный навес над поездом нервно скрипел от крупных и частых ударов. Обнялись на прощанье, Рома вошёл в вагон аэроэкспресса, а мы с Борисом через окно смотрели, как он успел занять свободное двойное сиденье и с удовольствием опустился в одно, а на второе положил сумку, а потом обернулся к нам и показал большой палец.

Ещё несколько минут мы стояли на перроне, дожидаясь, пока экспресс тронется.

— Я слышал, ты теперь тоже в “ячейке”? — спросил Борис, опять с лёгкой насмешкой.

— Не совсем ещё, — смутился я, — где-то рядом.

— Не ожидал от тебя, думал, ты окажешь большее сопротивление.

— Да я и сам от себя не ожидал...

Он хитро поглядел на меня, кажется, знал, но не спросил прямо, а сам я и не стал рассказывать. Наверно, потому что тогда бы он ещё меньше понял, почему я теперь хожу к ним, — свёл бы всё к личным причинам, хотя на самом деле это было не совсем так. Впрочем, попрощались мы довольно тепло. Борис пожал мне руку и спустился с платформ прямо в метро. Я же прошёл через холодные коридоры вокзала, чтобы опять оказаться на площади, где всего полчаса назад блуждал в поисках нужного входа.

Только что закончился короткий, но сильный дождь, и теперь повсюду лежали рваные лужи. Необыкновенно насыщенными и густыми, как на четкой контрастной фотографии, казались машины, фонари, дома вдалеке. Прямо передо мной остановился пузатый жёлтый автобус, куда торопливые промокшие люди ещё пытались спрятаться от дождя, которого уже не было. Другие по-прежнему укрывались за колоннами у входа в вокзал. Но вот постепенно стали оправляться, медленно, неуверенно выходили из укрытий, подставляя ладони, проверяя, правда ли шквальный ливень прекратился, и пока я шёл вдоль здания вокзала, всё вокруг вновь закипело — торопились прохожие, бодро и задорно зазывали таксисты, гортанно кричали отовсюду кавказские женщины: цветы, цветы надо, розы, тюльпаны. А я двигался сквозь освобождённую взбудораженную толпу, по сверкающему под ногами асфальту и широко улыбался тому, что действительно могу сейчас купить большой букет, и это не будет нелепым озорством, потому что мне есть кому его подарить. И в то же время покупать этот букет мне было совсем не обязательно — я мог действовать так, как подсказет случайный порыв беззаботного вдохновения. И уже выветрилось из моей памяти досадное воспоминание о разговоре с Борисом: у меня была собственная жизнь, пронзительная и счастливая, и разве не всё равно мне было, кто и что об этой моей жизни сейчас думает...

У выхода на платформы пригородных поездов скопилось множество народа. Люди неловко перетаптывались, медленно продвигаясь вниз по лестнице, ведущей от касс к турникетам, а с верхних ступенек мне были видны их растрёпанные головы. Но никто, кажется, не злился вдруг образовавшейся толкучке: в этот тёплый июльский день всем было приятно постоять вот так, отдыхая от душного метро, и просто подышать пьянящей свежестью. Иногда что-то тихо и неразборчиво объявляли вдалеке. В электричке же эти мокрые красивые люди неуклюже и немного смешно садились на деревянные лавки, стараясь не задевать друг друга тёмными подолами плащей; некоторые счастливики держали в руках собранные, но не связанные ленточками зонты, оцетинившиеся, как букеты колючих роз; другие вытянулись, как вешалки, на которых сохнет насквозь мокрая одежда. А на ближайшем ко мне сиденье, неловко согнувшись, спал молодой охранник, приклонившись головой к окну. Июльское солнце пекло в его беззащитное детское лицо.

Я смотрел то на людей в глубине вагона, то на промышленные постройки и гаражи, пронесившиеся за заляпанным коричневыми потоками стеклом, и рассеянно думал, что вот ещё несколько минут назад здесь проезжал Рома на своём аэроэкспрессе, и, может, видел в окно то же самое, но для него это были только грязные гаражи, которые он хотел бы поскорее забыть. Он предвкушал свою поездку в Таиланд, надеялся, что его жизнь сейчас изменится, но всё это было иллюзией — от себя-то не убежишь. А я почему-то сейчас любил эти гаражи и этих красивых людей, и спящего охранника, и это полнокровное чувство казалось мне единственным настоящим в мире. Но с другой стороны, возражал я себе, может, и я ошибаюсь, может, моё всепоглощающее счастье — тоже иллюзия... Я вышел на платформу, миновал турникеты, а последняя неожиданная мысль навязчиво последовала за мной по пятам.

Мне нужно было попасть в парк Победы. Там я договорился встретиться с ребятами — в актовом зале музея Великой Отечественной войны на Поклонной у них проходило внеочередное собрание, связанное с последними событиями на Донбассе, только для членов организации или кандидатов — я же пока не был ни тем, ни другим и обещал просто подождать их у входа. Чтобы добраться до музея от Киевского вокзала, разумно было проехать одну станцию на метро, но я придумал воспользоваться электричкой и подойти к Поклонной горе с другой стороны. Так было и дольше, и даже менее удобно, но вполне в стиле моего сегодняшнего настроения делать не как рационально, а как хочется. Я вышел к подножью и устремился вверх, туда, где в самом центре неба виделся крылатый шпиль победного обелиска, а навстречу мне по ступеням текла вода, выплёскиваясь прямо в мои промокающие насквозь ботинки. Шагнул на огромную открытую площадку перед



музеем и оказался в середине “Колизея”, под взглядами тысяч невидимых глаз. Остановился на кончике бледной тени от обелиска, сел на корточки и стал ждаться. Между неровными квадратами мостовой тѣк ручеёк, иногда прерываясь, и никак не мог ни обрести полную силу, ни прекратиться.

Наконец, на пороге музея вдаль стали появляться люди, постепенно скапливаясь у дверей, перемешиваясь, видимо, прощаясь друг с другом. А потом три фигурки отделились от всех и, почти сразу же заметив меня, двинулись навстречу. Андрей и Катя, кажется, продолжали увлечѣнно о чём-то спорить на ходу: Катя размахивала руками, а Андрей только настойчиво наклонялся к ней в такт каждой фразе. Варя же шла немного отдельно, но тоже смотрела не на меня, а под ноги. На шее у неё развевался крошечный белый платок, тоненький, как она сама, и только когда до меня оставалось лишь несколько шагов, вскинула взгляд.

— ...откуда ты можешь знать точно, может, Стрелков и не предатель? Пишут же, что окружение, — не сдавалась Катя.

— Окружение было неполным, наши так писать не могли, это как выстрелить себе в ногу. Тут одни из просяковских подпевал, — отрезал Андрей, и на расстоянии нескольких метров уже видно было, как сильно он скривился при упоминании о таинственных подпевалах. — Приду — напишу статью. Падаль надо вскрывать!

Они приблизились, так что белый платок оказался вдруг совсем рядом со мной. Я мягко поцеловал Варю в тонкие губы. Это было так необычно, я всё ещё не привык, и она, кажется, тоже не привыкла, и мы секунду стояли, не зная, что же теперь делать.

Варя провела рукой по моим волосам:

— Я боялась, ты попал под дождь, — и принялась приглаживать взъерошенный клок.

Андрей с Катей чуть задержались, как бы давая нам необходимое время, а потом подошли, и мы встали у скамейки вчетвером, поглядывая друг на друга и слегка улыбаясь.

— Ну, как собрание, что было? — спросил я.

Варя задумалась, стараясь точнее сформулировать. Андрей тоже хотел было ответить, но всех опередила Катя:

— Я тебе скажу, что! Вчера он у них был герой, а сегодня уже предатель, и его дружно поливают грязью...

— Ну, раз он и есть предатель, — возразил Андрей.

— Но ты-то, ты откуда знаешь? Ты сам видел, как он предавал? — накинулась Катя, но в этом уже не чувствовалось прошлого надрыва, как у актѣра, в сотый раз выходящего на знакомый спектакль. Нет, переживала она всерьѣз, но в самой глубине души её было спокойно — у них с Андреем, кажется, всё окончательно наладилось, а всегдашние проблемы так и остались ранками на теле, залепленными пластырем: вроде бы касаться и больно, но крови и опасности уже нет.

Пошли по огромной аллее, они о чём-то говорили, а я всё ещё находил себя в своих мыслях и переживаниях. Вокруг было невероятно просторно, куда ни глянь — лишь голубая гладь да толща свободного воздуха, и повсюду пульсировали огненные блики: на стеклянных кособоких небоскрѣбах Новой Москвы вдаль, на переливающихся вуалях фонтанов, а один, густой, как молоко, смешанное с мѣдом, перекачивался по мокрой широкой мостовой. Но я не видел этого огромного мерцающего пространства вокруг — и только Варина влажная рука в моей руке связывала меня с миром вокруг.

Мы с Варей встречались уже второй месяц, но я всё не мог сжиться с ощущением невероятной полноты жизни, которое то и дело наполняло меня в её присутствии. Иногда во время таких приливов я с удивлением смотрел на себя со стороны: вроде бы вот совсем недавно мне могла ещё нравиться Катя, а теперь у меня есть уже другая девушка. И ведь с одной стороны — это было настоящее чудо, а с другой — и обыкновенное легкомыслие: тот, кто слишком сильно ищет любви, тот всё время и находит, к кому привязаться. Но нет, всё по-другому, спорил я сам с собой, сейчас я не вторгаюсь в чужое, это уже моё и это настоящее...

— Очевидно, задача была — свалить в Россию и тут на волне недовольства устроить майдан в Москве, — тем временем горячился Андрей. — И тут или сразу сместить Путина, или устроить гражданскую войну. Кургузов это доказал, как дважды два.

Из-за деревьев с правой стороны открылась коренастая, вросшая в землю, как нора сказочного зверя, кафешка со стеклянными окнами от пола до потолка и манила заглянуть на полчаса, съесть что-нибудь вкусненькое, выпить кофе. Мы вошли в томительный запах ванили и корицы, а где-то сбоку, встречая нас, недовольно забурчал кофейный аппарат. Внутри оказалось прохладно и приятно пусто — почти все столики были свободны. Лишь кое-где вдоль стен сидело по одному или по два человека, а между спинками стульев со смешной неуклюжестью бегал мальчик лет двух. Со всего хода он врезался в Катю, та весело ойкнула и ласково потрепала его по голове, а он разом смутился и, закрыв лицо руками, не разбирая дороги, побежал куда-то в глубину кафешки, где, видимо, сидели его родители. И хотя было уже часа три дня, во всём чувствовалась особенная утренняя беспечность. Мы расположились за самым удобным столиком на мягких диванах, сделали заказ, и постепенно нас разморило от ленивого ожидания, и даже Андрей немного расслабился. Иногда ещё они с Катей опять начинали всплеском спорить о чём-то, но надолго их не хватало — в воздухе кафешки, как в молоке, вяз любой слишком резкий всплеск.

У столика напротив оживлённо болтали три девушки, слова произносили неразборчивым шёпотом, но смеялись громко, и эти звонкие переливы доносились до нас. Варя наливала мне густой оранжевый чай из прозрачного заварника, а я из озорства дотрагивался до огонька маленькой свечки, которая должна была этот заварник подогревать, стараясь перебить пламя на секунду, но не затушить совсем. Мы сидели в уютном зале, пили карамельный капучино и вкусный облепиховый чай, ели мягкие сдобные колечки, пропитанные кремом и шоколадом, молодые счастливые люди, и ничто не могло развеять наше лёгкое беспечное счастье.

— Виделся сейчас с Борисом, — опять вспомнил я, — он тоже следит за новостями и переживает, — но сразу же заметил, как Андрей скривился:

— Борис — типичный хохмач, для таких людей нет ничего святого.

— Да нет, — заторопился я, — Борис не либерал какой-нибудь. Он просто не рисуется, не хочет свой патриотизм выпячивать...

— Было бы что выпячивать, — усмехнулся тот. — Скажем так, Борис просто спит. У нас много таких, спящих. Такие люди нашему ядру не нужны, пока они не способны пробудиться. А патриотизм — это не просто переживания, а способность к действию.

— Андрей, подожди, не горячись так, — вмешалась Варя, и я уже знал, что в любом случае она встанет на мою сторону, и с удовольствием наблюдал, как это происходит. — Может, ты и прав — такие люди не горят, они не могут быть в ядре, но могут быть на периферии, почему нет? Но терять их нельзя, они тоже важны. Надо не отталкивать, нужно всех использовать!

— Да, да! — Катя схватила Андрея за плечо, повисая на нём: — Вот видишь? Ви-идишь...

А он с улыбкой отмахивался:

— Окружили, демоны!

На выходе из кафешки нам нужно было попрощаться: Катя с Андреем снимали теперь жильё здесь рядом, в десяти минутах ходьбы, а нам с Варей предстояло ещё ехать в метро на нашу новую квартиру на востоке Москвы. Весело попрощались и разошлись, а Катя ещё иногда оборачивалась и махала нам рукой.

Но едва мы с Варей остались вдвоём, нам сразу стало неловко, словно бы мы должны были сейчас сказать друг другу что-то важное, о чём не могли заговорить в присутствии Кати и Андрея. Но, как нарочно, Варя вспомнила политическое, а я заторопился ответить ей заинтересованно, а потом уже до метро шли молча, и оба, кажется, чувствовали неестественность этого молчания. И всё-таки почти у самого подземного перехода Варя вдруг взяла меня под руку и прислонилась головой к моему плечу,

и опять вернулось то ощущение близости, которое мы потеряли несколько минут назад. “Какая же она молодец, — обрадовался я, — вот что значит девушка...” И сразу же стало спокойно — в этот тёплый июльский день моё счастье никак не могло быть иллюзией.

## 12

В середине мая, буквально на следующей неделе после того, как Андрей с Катей помирились, Катя случайно обмолвилась, что Варвара интересовалась мной, спрашивала у Андрея, чем я занимаюсь, где работаю и хорошо ли он меня знает. Я не придал этому большого значения, но уже через несколько дней она подошла к Андрею ещё раз и попросила пригласить меня на следующее собрание “ячейки”. Всё это было очень странно, но и Андрей, и даже Катя восприняли этот разговор очень серьёзно, будто бы и речи не могло быть о том, чтобы не прийти.

Я был удивлён и, конечно же, напридумывал себе много всего перед тем, как в следующую среду в третий раз отправиться на собрание в Коптево. Но ничего особенного там не произошло — весь вечер я просидел в последнем ряду, слушая длинные доклады и уже привычные споры, никто не обращал на меня внимания, и только в самом конце Варя подошла к нам с Катей и Андреем и спросила, правда ли, что я работаю на телевиденье. Я стал путано объяснять, что это не совсем телевиденье, а всего лишь частное новостное агентство. Она слушала внимательно, но холодно, а потом объяснила, что им нужен человек, который умеет снимать на камеру, потому что хорошо было бы выпускать небольшие ролики о каждом пикете, который проводит организация, а в “ячейке” нет никого, разбирающегося в видеосъёмке.

Она, видимо, ждала от меня быстрого ответа, может, даже резко отрицательного, но я всё молчал, и ей приходилось говорить ещё — о необходимости подобных пикетов и вообще о патриотическом воспитании общества, особенно молодых людей. Наконец, она остановилась и недовольно сжала губы:

— Я помню, ты тогда обвинил нас, что мы все здесь болтуны и никого не любим... Я считаю, ты неправ категорически. И не стала бы тебя просить, но нам кровь из носу нужен оператор, только поэтому. Если тебе интересует оплата, мы можем обсудить. Хотя в нашей организации это не принято.

На щеке её виднелись два прыщика, ещё сильнее проступавшие, когда она сердилась. Она говорила, как героиня плохого советского фильма, и мне стало стыдно за неё.

— Извини, — зачем-то сказал я, — хорошо, я согласен.

Она, кажется, настраивалась на горячий спор, а тут как-то потерялась, поспешно кивнула, потом ещё сильнее нахмурилась:

— Подумай. Если не хочешь, можешь не приходиться, — повернулась и зашагала вглубь зала.

Пикеты проводили в людных местах, обычно у входа в метро. Несколько ребят в уже знакомых мне с мартовского митинга красных куртках собирали несложную железную конструкцию, на которую вешали большие матерчатые листы с картинками, фотографиями и убористыми буквами текста. А когда стенды были уже готовы, участники начинали раздавать листовки прохожим, чтобы вступить с ними в осторожный, но настойчивый разговор.

Я обычно стоял несколько сбоку, иногда снимал то, что было нужно, а в остальное время прохаживался рядом, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и по несколько раз читая уже знакомые тексты на стендах. В основном, все они были посвящены зверствам бандеровцев в Великую Отечественную войну и современным украинским нацикам. Несколько раз за день приезжал Паша, неумело распорядился и сразу уезжал осматривать другие акции, проводившиеся параллельно в этом районе.

Варвара находилась на пикете постоянно и руководила процессом — она зачитывала вступительный текст для ролика и задавала вопросы на интервью, она вступала в особенно тяжело складывающиеся разговоры с прохожими и определяла время начала и окончания выставки. А когда однажды

к стендам подошёл мужчина в штатском и потребовал разрешение на пикет, именно она с плохо скрываемым возмущением, как злейшему врагу, протянула ему обёрнутую полиэтиленом бумагу и торжествующе смотрела, как тот разглядывает букву через неровные складки мятой обёртки.

Люди появлялись разные.

— Молодцы, ребята, просвещайте нас неразумных, — говорила полная женщина и ласково похлопывала по плечу одного из парней, стоявшего рядом.

— Ничего не надо, — проходили мимо усталые нахмуренные прохожие, вытягивая вперёд руку, желая заслониться от нас.

— Вы путинисты, что ли? Наши? — спрашивали молодые задиристые подростки, стайками перелетавшие от уличных рокеров, игравших неподалёку, до наших стендов и через мгновение готовящиеся лететь дальше. Варя кричала вслед что-то про молодую политическую силу, но они её не слушали.

Помню, на плече её рюкзака была повязана маленькая георгиевская ленточка, это выглядело так естественно и ненавязчиво, и мне нравилось изредка подглядывать на этот рюкзак. Сама же Варвара относилась ко мне равнодушно — изредка делала замечания, но всегда коротко, глядя куда-то в сторону. Честно говоря, я и не знал толком, зачем прихожу на эти пикеты, но неудобно было отказаться, раз уж тогда сказал, что согласен, — и решил для себя, пусть пройдёт хотя бы месяц, и потом уже подойду к ней, скажу: изменились обстоятельства, стало больше работы...

Что-то странное случилось между нами на третьем пикете.

Разместились в тот день на просторной площадке перед главным входом на ВДНХ. Дул сильный ветер, и хлипкую железную конструкцию шатало во все стороны. Прохожих было мало, ребята скучали, посильнее укутываясь в казавшиеся теперь тоненькими красные куртки. Андрей и Катя в этот раз тоже были с нами, но часто отходили подальше и долго стояли обнявшись.

Варя же с самого утра ходила вдоль стендов, напряжённая и расстроенная. Пикет срывался — из-за плохой погоды интересующихся было мало, листовки почти не брали, а она не могла с этим смириться и бесцельно гоняла заторможенных ребят. Ей хотелось, чтобы, несмотря на погоду, все находились в постоянной боевой готовности, будто вот-вот в одну секунду должен был успокоиться ветер и должно было выглянуть солнце, а там, за поворотом, ждали этой секунды сотни прохожих — и тут же вышли бы из своих укрытий и разом двинулись бы к выставке, и потому мы не имели права ни расслабляться, ни, тем более, куда-то отходить.

Мной она, казалось, была особенно недовольна: то я слишком долго настраивал камеру перед интервью, то брал не тот план, какой ей хотелось. Раньше я спокойно принимал её резкие замечания, как особенность характера, с которой ничего нельзя поделать. Но сегодня это были уже не просто замечания, а совершенно нелогичная и злобная несправедливость, словно бы это не я добровольно помогаю им, а напротив — они мне сделали одолжение, и теперь я виноват, что не оправдываю высокого доверия. Остальные беззаботно махали руками — ничего страшного, не обращай внимания, а высокий светловолосый парень по имени Вася Покровский, которого я запомнил ещё с первых приходов в “ячейку”, объяснил, что все уже привыкли к Варе и не обижаются и что я скоро тоже привыкну — ему-то легко было говорить: ни на кого из них она не срывалась так сильно, как на меня, видимо, чувствуя, что я в любом случае не стану ей отвечать.

К вечеру не распогодилось, наоборот — начался надоедливый дождь. Остальные ребята отошли под защиту огромных ворот Выставочного центра, и на всей пустынной площадке у плакатов осталась одна только Варя, последняя защитница промокших, перекошенных от ветра святынь. Да ещё я медленно ходил рядом, как бы желая показать, что не боюсь продрогнуть и не отлыниваю и что теперь нет, да и не может быть никаких претензий ко мне.

Но едва я ощутил особенное удовольствие от всей этой ситуации и своего положения в ней, как вдруг увидел Варвару, подскочившую ко мне:

— Ты хочешь испортить камеру? Почему ты под дождём?

От неожиданности я не смог ничего возразить. А она, разозлившись ещё сильнее, вдруг схватила меня за кашпош и буквально потащила под навес.

Я подчинился, но и сам разозлился по-настоящему — и потом, стоя под бетонными воротами вместе с другими вымокшими людьми, думал, что после такого нельзя больше оставаться добреньким и что больше я уже никогда не пойду на эти их странные мероприятия. А когда вечером прощался со всеми, на Варвару даже не посмотрел, и не потому что пытался показать ей, что она виновата, а просто не хотелось даже касаться этого сгустка злости.

А вечером следующего дня, когда я уже немного успокоился, ко мне подошла Катя. Осторожно подседа рядом и вдруг спросила, не хочу ли я завтра пойти в кино вчетвером — они с Андреем, я и Варя. Это было самое нелепое, что я мог услышать, — с чего это нам было идти в кино, да ещё и таким странным составом. Оказалось, что после митинга Варвара говорила с ней обо мне, признавалась, что перегнула палку, что сожалеет, и спрашивала, как бы извиниться. А я слушал Катю и морщился от досады, будто в комнате летала пчела, а мне нужно было сидеть на месте вместо того, чтобы выгнать её в окно.

— Да ладно, это не обязательно. Я приду снимать следующие пикеты — скажи, чтобы она не волновалась, — махнул я рукой.

— Нет, ты не понимаешь, она и правда переживает! — вспыхнула Катя. — У неё очень трудный характер, с ней почти никто не общается, а если какие-то парни начинают, то сразу убегают. А она очень расстраивается, потому что получается, что она такая плохая...

— Да нет, она не плохая, — возразил я, — она же там у них всё организует.

— Ну вот, к ней и относятся как к организатору!

А я почти и не злился теперь на Варвару, но идти в кино вчетвером было просто неуместно. И не знаю, почему я согласился, может, из глупой привычки никому ни в чём не противоречить, или потому, что Катя очень настаивала, а когда человек настаивает, то любые его предложения кажутся не такими уж и глупыми.

Зачем-то я пришёл к кинотеатру заранее, просто не догадался, что лучше бы опоздать. Здание кинотеатра светило разноцветными и яркими огнями, как в праздник, хотя никакого праздника сегодня не было. Варвара пришла второй, мы встали рядом и долго и неуютно молчали, стараясь не глядеть друг на друга.

— Извини, я тогда накричала на тебя, была на нервах из-за пикета, — сказала она слишком громко. А я никак не ожидал, что она станет вот так вот прямо говорить мне об этом, и удивлённо повернулся в её сторону.

Она была нарядно одета, глаза подведены, губы тёмно-красные — я никогда раньше не видел её накрашенной, и это опять-таки выглядело странно. Я обрывисто кивнул. А она стояла, морщась, тоже ощущая неловкость. Я хотел было сказать ей: ничего страшного, не волнуйся, я понимаю, но почему-то ничего не сказал, просто не знал, как можно разговаривать с ней — кажется, простые человеческие слова не годились. И потому она, наверно, считала, что я всё ещё злюсь на неё. А когда, наконец, подошли Катя с Андреем, весёлые, о чём-то болтающие, и заговорили с ней, и пошли вверх по крупным мраморным ступеням ко входу в кинотеатр, я двинулся вслед за ними и подумал, что теперь-то будет легче.

Помню ещё, как стояли в очереди в кафетерии, чтобы купить воду и попкорн, а я сразу отдал Кате деньги и просто переминался рядом, разглядывая неестественно высокий потолок и серые разводы на нём. А когда вошли в зал, опять стало напряжённо, потому что сели, конечно же, самым худшим образом: сначала Андрей и Катя, потом Варвара, а потом только я, и получилось, что мы с ней рядом и у нас одно ведёрко попкорна на двоих. Уже подошло время, а свет всё никак не выключали. Она держала злосчастный попкорн у себя на коленях и не взяла ни разу, а затем неловко поставила ведёрко на подлокотник между нами и чересчур тонким, не своим голосом спросила:

— Будешь?

И чем дольше мы сидели так, брали попкорн по одному карамельному пёрышку, тем отчётливей ощущалась невозможная двусмысленность эдакого

двойного свидания, раньше ещё только угадывавшаяся, спрятанная за яко бы примирительным походом в кино. Фильм уже начался, а я всё нервно размышлял: если это идея Кати, то здесь всё ясно — всего лишь неловкое сводничество. Но если вдруг это не просто идея Кати, значит, когда Варвара звала меня снимать пикеты, она уже смотрела на меня по-особенному, но что тогда значила её вчерашняя злость...

Варвара сидела прямо, боясь повернуться или наклониться, даже когда нужно было поднести ко рту бутылку с водой. Краем глаза я рассматривал её силуэт в полутёмном зале, выточенный, как из лунного камня, ободок, державший волосы. Иногда на экране что-нибудь вспыхивало, и тогда её губы начинали блестеть. О чём она думала сейчас, я не знал, но чем ближе становилась развязка фильма, тем сильнее охватывала меня нервная дрожь.

Когда сеанс закончился, мы выходили из зала, всё ещё оглушённые громким звуком, как бы не в этом мире. Она шла рядом и держала один локоть чуть согнутым, и в этот момент мне почему-то так отчётливо показалось, что она хочет, чтобы я сейчас взял её за руку. Я мог бы поклясться в этом, хотя, конечно же, ни за что на свете не сделал бы такого движения: если бы я угадал неправильно, это был бы позор, но и потом — я и сам не хотел такого ненужного сближения. Но уже через секунду она обречённо вытянула руку вдоль тела и больше уже не сгибала локоть. И едва я заметил эту обречённость, мне вдруг стало жалко её — невыносимо было, что рядом со мной идёт человек, которому сейчас больно, и что эту боль причинил я. Впрочем, вот мы толкнули тяжёлые двери кинотеатра и вышли в майский вечер, и морок фильма рассеялся, и я вдруг удивился: ну, что же я так расстраиваюсь — даже если я нравлюсь этой странной девушке, что с того?

Они заговорили о газете для школьников, которую издавало движение, и о том, что Варя ответственна за её распространение в Северном округе.

— Рядом с моей работой есть школа, — зачем-то сказал я.

Варя молчала, зато Катя сильно оживилась:

— Да? Значит, ты можешь занести туда газеты.

— Могу, — с готовностью согласился я.

— Варя может тебе их дать, правда? — настаивала Катя.

Это звучало так намеренно, что и сама Варя смутилась и ответила неохотно:

— В школу попасть постороннему не так-то просто, хотя можно... Если хочешь, можем наладить этот канал. Но сейчас у меня нет с собой газет, они в общежитии. Ехать туда далеко...

Я кивнул. Катя молчала — я чувствовал, что она хотела бы сейчас сказать, что ничего, что ехать далеко, Володя может тебя проводить, но это было уже слишком, и она наверняка тоже это ощущала. Разговор остановился, как кабинка на колесе обозрения в наивысшей точке — ни в ту, ни в другую сторону. Варя шла, глядя себе под ноги.

И тогда я сказал, желая сделать ей приятное:

— Я не спешу. Можем заехать сейчас.

И тут уже и Катя заторопилась: да, да, конечно, съездите.

— Тебе точно удобно? — переспросила Варя.

— Да, всё хорошо, — ответил я и дотронулся своей рукой, не до ладони, конечно, но до рукава её куртки, и она удивлённо посмотрела на меня.

Почти не помню, как ехали в метро — кажется, Варвара села на освободившееся место, а я стоял перед ней, изредка поглядывая вниз. Руки её лежали на коленях, а ногти были почему-то не покрашенные, кое-где даже подгрызенные, как у школьника-подростка. И только через несколько станций она спрятала их, сжав ладони в кулаки. А когда шагали от метро, заговорили о Кате и Андрее, как давно я их знаю, и вроде бы с ней можно было общаться не только о политике. Я не следил за тем, куда мы идём, на какие улицы сворачиваем, в какие кварталы углубляемся. Неожиданно подошли к высотному кирпичному зданию с рядом широких балконов, пересечённых чёрными перьями лестниц по диагонали, а внутри неожиданно холодному, как каменная пещера. Остановились в небольшом фойе у поста охраны.

— Ты хочешь зайти? — спросила Варвара спокойно, а я, всё ещё настроенный на то, чтобы вести себя с ней мягко, кивнул.

Она взяла мой паспорт и надолго ушла оформлять пропуск. А я стоял, прислонясь к стене, и постепенно всё вокруг обретало для меня очертания, будто бы я опять выходил из зала в кинотеатре, только теперь отступающий из моего сознания фильм был не про то, как мне неловко с этой странной девушкой, а про то, чтобы не обидеть её.

Женщина лет тридцати в зелёных облегающих лосинах и в домашних тапочках стояла напротив меня, поочередно хлопая по полу картонными подошвами, видимо, поджидая кого-то; парень в чёрной кожаной куртке вошёл внутрь с сигаретой во рту; охранник внимательно и равнодушно взглянул на это; часы с запylённым циферблатом висели над турникетом и, кажется, показывали неправильное время. Что же я делаю сейчас здесь, в неизвестном мне месте, в каком-то общежитии на краю Москвы, почему мне так надо было прийти сюда, если я этого совсем не хотел? И с чего я вдруг решил, что она влюблена в меня, может, ей тоже показалась нелепой идея идти в кино вчетвером, а когда я поплёлся за ней сюда, подумала, что это я пытаюсь ухаживать и что именно я попросил Катю всё устроить, и теперь просто принимает мои ухаживания, потому что у неё никого нет, а быть одной для девушки не очень-то и приятно... Всё так запуталось, и как теперь было разобраться...

Потом поднимались в лифте, шли по длинному коридору, и встречавшиеся люди смотрели на нас равнодушно, словно не было ничего странного в том, что мы идём вместе.

— Подожди здесь, пожалуйста, — сказала Варвара строго, когда мы остановились у её двери. — У меня соседка растяпа. Поэтому наша комната мало похожа на жилище девушек... — быстро повернула ключ в замке и, протиснувшись в маленькую щель, захлопнула дверь передо мной.

То ли она преувеличивала, то ли так быстро прибралась, но, когда минут через пять я вошёл-таки внутрь, увидел чистую и уютную комнату. Кровати в углу — одна над другой, письменный стол, зеркало, в котором мелькнуло моё растрёпанное лицо. На туалетном столике стояла большая икона Богородицы, а перед ней в стопочках, но чуть вразнобой — религиозные книги, я успел заметить несколько названий на обложках и вспомнил, что Катя говорила, что Варвара — верующая. И это тоже придавало комнате теплоты и домашности, как в деревенском доме у какой-нибудь набожной женщины. И только знакомые красные корешки кургузовских книг, какие стояли в комнате у Андрея и Кати, выдавали, что здесь живёт активист политического движения, да и то можно было подумать, что это обыкновенные институтские учебники.

Я шагнул вперёд и увидел над письменным столом рисунок неровными карандашными линиями: высокий человек несёт чёрное сердце в руке, а за его спиной — люди, все сгорбленные и озирающиеся по сторонам, и вот в этом-то рисунке уже было что-то действительно чужое, кургузовское.

— Проходи, располагайся, — сказала Варвара, всё ещё напряжённо оглядываясь по сторонам — переложила с одного места на другое кухонное полотенце, убрала со спинки стула тонкое ажурное платье, поставила чайник. Была ли она влюблена в меня или же просто стеснялись малознакомого человека в гостях, но движения её казались взволнованными. Она ещё искала вокруг непримечное, лишнее и вдруг заметила, как я осторожно наступаю на пол влажными носками, чуть подгибая ступни.

— Ты промок? Простудись. Снимай носки, я дам тебе свои.

Я махнул рукой и пытался было возражать, но она не обращала внимания на мои слова, словно, попав сюда, я уже стал частью её мира, в котором она могла распоряжаться всем. Нашла в шкафу круглый махровый комочек, настойчиво протянула его мне, с каждым движением обретая уверенность и силу. Потом заставила завернуться в толстый шерстяной плед и вышить горячего чаю с вареньем. В этом не было слащавой мамочкиной заботы, скорее, просто привычка в определённой ситуации поступать определённым образом и искренняя уверенность, что иначе просто недопустимо.

А я сидел, отхлёбывая чай из кружки, с удивлением наблюдая за ней, и мне самому приятно было ощутить себя частицей этого упорядоченного мира: я мог расслабиться, принять свою роль подчинённого и её роль хозяйки — и, кажется, нам обоим было проще играть эти роли, чем придумывать новые.

Она показала мне газету, стала рассказывать о каждой статье, напечатанной в последнем номере. Слова ничего не весили, лишь смазывали шершавую пустоту между двумя чужими людьми, но я заинтересованно кивал и даже иногда спрашивал о чём-то. А когда собрался уходить, она опять взволнованно вскочила и, как зверь, прошлась по комнате от стены к стене.

— Я тебя провожу. Газеты не тяжёлые, но неудобно нести две пачки, — произнесла надтреснутым голосом, и я понял, о чём она думает сейчас и зачем хочет спуститься вместе со мной.

У лифта стояла та же женщина в облегающих зелёных лосинах и, отвернувшись к стене, неловко вздрагивала, поднимая и опуская острые плечи. Мы прошли мимо неё, шагнули через пост охраны и остановились в предбаннике между внутренними и внешними дверями, отделяющем фойе общежития от улицы. Это было именно то, что она хотела: прямо перед расставанием, наедине, но всё равно как бы невзначай — я обернулся, и мы поцеловались. Она прижалась ко мне так сильно и жадно, как если бы это было обычно для неё, и я удивился, потому что у такой девушки, интересующейся политикой, вроде бы вообще не должно быть парней.

Я возвращался домой, а внутри меня тяжелел наглухо запечатанный сосуд, в котором бурлило, но я ещё не мог понять, сладкий ли это сок или жгучая кислота. Всё было так странно и стремительно, так непохоже на то, что было у меня раньше, с Катей или с другими девушками, — не подготовлено мечтательными восторгами, не пронизано длительным обдумыванием и самокопанием. И вроде бы это должна была быть радостная стремительность, эдакая вспышка настоящего чувства, но я-то знал, что это не так и что эта внезапность — скорее, сумбурность и человеческое непонимание. Мне казалось, когда мы встретимся в следующий раз, то будем прятать друг от друга глаза, и это будущее смущение мучило меня.

Машинально я достал телефон и быстро набрал её номер — на расстоянии проще было говорить важные слова.

— Привет, — сказал осторожно.

— Привет, — удивлённо ответила она.

— Знаешь, я так и не понял до конца, что произошло.

— Что ты, маленький что ли, — засмеялась она, и я подумал, что ещё час назад она ни за что не позволила бы себе так пошутить, словно теперь, после нашего поцелуя, обрела силу не только над моими носками, но и вообще надо мной.

Но потом добавила серьёзно:

— Я тоже не поняла, если честно...

— Это хорошо, — сказал я и по лёгкому звуку в трубке догадался, что она опять улыбнулась.

— Ты придёшь завтра на собрание?

— Да, конечно.

Помолчали.

— Я рада, — вдруг сказала Варя, и я почувствовал, что тоже рад чему-то.

А когда вернулся к себе домой, то не стал включать в коридоре свет и принялся медленно разуваться, боясь неосторожным движением повредить зыбкое равновесие в окружающем мире. Так же мягко, шелестя лапами по скрипучему паркету, появился из темноты Маркиз и по-дружески потёрся боком о мои ноги. В комнате Кати и Андрея слышны были голоса за закрытой дверью. Я постарался проскользнуть к себе, чтобы они не услышали, я просто не знал, что говорить Кате, если бы она стала меня сейчас спрашивать, а она обязательно стала бы. Одиноко мерцала красная точка на ноутбуке. Я включил настольную лампу и удивился знакомым предметам вокруг. А просыпаясь на следующий день, расслабленно и глупо улыбался



в потолок, даже не из-за Вари самой, а просто от ощущения, что впереди ждёт что-то новое и непохожее на мою обычную жизнь...

На общем собрании “ячейки” я пришёл за полчаса до начала и стоял на лестнице у закрытой двери в зал. Потом снизу раздался звук шагов, мы встретились на узком пролёте и сразу поцеловались. Варвара открыла дверь. Мы вошли в гулкий пустой зал, как в целую жизнь, и растерянно ходили между рядами стульев. А потом сели вместе, она что-то рассказывала, а я гладил её по спине.

В тот день мы ни слова не говорили о нас, не называли друг друга ласковыми именами — от двора в Коптево до метро шли с остальными ребятами; в метро молчали, стоя у закрытых дверей вагона, и только иногда целовались; по пути к её общежитию говорили о чём-то незначительном. “Соседки не будут до позднего вечера, поднимешься?” — спросила Варвара в фойе у поста охраны. Она ушла делать пропуск, но почти сразу же вернулась. Мы поднялись на лифте, вошли в комнату, она закрыла дверь, потянулась ко мне, а потом быстро разделась — и её внезапная нагота в свете дневной лампы была почему-то не совсем приятна мне...

Потом мы лежали в обнимку, но лицами далеко друг от друга. Варвара в запоздалом томлении ещё водила головой по подушке. На стене висела икона, которая привлекла моё внимание в прошлый раз, и было неловко, что женщина, изображённая на ней, видела всё происходившее между нами. Я посмотрел на Варвару и удивился: ведь она же, кажется, верующая — эта икона, стопки религиозных книг, да и Катя говорила об этом, — так почему же она так легко отдалась мне? И странно было осознавать, что случившееся не сделало нас ближе, а наоборот, всё усложнило: я по-прежнему ничего не знал об этой девушке, и то, что я сжимал в руках её тело, по большому счёту не прибавляло к моему знанию ничего — будто оно было и не её вовсе, а просто безличное женское тело с лицом Варвары.

Я боялся, что сейчас она буднично заговорит со мной, и тогда все эти сложности и непонимания затвердеют, и придётся тащить их дальше, как тяжёлый груз. А ещё боялся того, что если она заговорит о “ячейке”, то я вроде как не имею теперь права не соглашаться, раз уж пришёл сюда и раз мне дали это тело. Но Варвара ничего не сказала, только припала к моей груди, и я почувствовал её мягкую щеку. Кажется, она совершенно не понимала, что случившееся между нами было неестественно и не вовремя...

Может, ей просто нужен любовник, так, на некоторое время, предположил я вдруг, а я уже размышлял о высокой любви. И от этой мысли мгновенно стало неприятно и захотелось уйти. Но с другой стороны, что она скажет — получил своё и бежит. Мне было стыдно, словно меня вынудили совершить подлость, и теперь вместо того, чтобы злиться на себя, я злился на того, кто вынудил, и понимал, что это неправильно, но оттого ещё сильнее злился... Но не могу же я из-за стыда с ней встречаться, это будет ещё большим обманом.

— Мне надо идти, — сказал я как можно мягче.

— Да, да, — неожиданно оживилась Варвара, — а то вдруг соседка придёт, не хочу, чтобы пошли слетни.

Оттого, что это она меня торопит, мне было гораздо легче уходить. Оделись, молча спустились на первый этаж, коротко поцеловались на прощание. Я шагнул на порог общежития и остановился, пытаюсь отдышаться. Неподальку курил охранник, плотный человек лет тридцати с угреватым лицом, иногда с силой сплёвывая на испещрённый точками асфальт. И тогда я вдруг подумал, что ей мог бы понравиться не я, а, например, вот этот человек, а может, и нравился или даже не просто нравился, откуда же я знаю... Я стоял, напряжённо разглядывая громоздкую фигуру и неприятное лицо, а тот повернулся и посмотрел на меня, кажется, с усмешкой, как если бы знал мои мысли. Я поспешно отвёл взгляд и двинулся вперёд, к метро, но в душе вырастали новые и новые сомнения, и хотелось разом выскрести их, как угри с лица. Можно было бы опять позвонить Варваре, как вчера, всё выяснить, успокоиться, но повторяться не хотелось, да и зачем мне было звонить, что бы я сказал ей? Спросил бы, любит ли она меня или любила ли

она кого-то ещё до меня, но ведь я и так уже знал ответ на этот вопрос, да и в любом случае это выглядело бы глупо...

Не позвонил я и на следующий день, проверяя, что же теперь она будет делать, и чувствовал, что виноват, но не мог заставить себя заговорить с ней как ни в чём не бывало. А через два дня Варвара позвонила сама. “У меня до утра свободна комната, я договорилась с комендантом, ты можешь остаться на ночь”, — слишком весело сообщила она, и я догадался, что нет, она не так рада, как хочет показать. Сказал, что приду, но на душе было тошно.

И когда шёл по знакомой дороге до общежития, в третий раз за последние несколько дней, ощущая только усталость от собственных назойливых мыслей и желание всё забыть и начать сначала. Но потом подошёл к порогу и вспомнил, как тем вечером стоял здесь охранник, и опять разозлился. Ну и пусть, решил я с каким-то мстительным удовольствием, тогда для меня это тоже просто так — никаких лишних мыслей и чувств.

Позвонил, сказал, что уже приехал, стою внизу, как бы даже с некоторым недовольством, что мне приходится ждать её. А когда Варвара вышла, небрежно притянул её к себе и поцеловал, как имеющий право. Она поддалась, но потом рассеянно кивнула и первой пошла к лифту, будто не была рада моему приходу или я обидел её своим грубым обниманием.

В комнате тоже молчали. Варвара подошла к столу, стояла спиной ко мне, стуча кулаком по краю. Я хотел просто обнять и начать целовать её, но это было бы уж слишком, хотелось всё-таки понять, на что же она обиделась, что именно я сделал не так.

— Что-то случилось? — спросил я участливо, но всё равно вышло недовольно, с вызовом.

Но она, кажется, не заметила этого, повернулась и мелко и торопливо закивала.

— Мне только что позвонили из ростовской “ячейки”, там, в Донецке, беда... Никто точно не может объяснить конкретно, что произошло, но всё очень плохо.

Я вопросительно поднял глаза, а она схватила со стола альбомный листок бумаги и начала рисовать размашистые линии:

— Смотри, это примерный план аэропорта, я посмотрела. Укры были здесь, наши вошли... Они не хотели стрелять. Они пришли без тяжёлого вооружения, конечно, это непростительная халатность, за это надо под трибунал, но я их понимаю... Это такая честность, которая не может предвидеть подлости! Но теперь мы уже не будем такими наивными, теперь всё, хватит прощать. Это враг, к ним теперь — только как к врагу! Теперь с ними разговор будет только в Киеве...

Я слушал, и сначала мне было досадно, словно у меня пытались вызвать участие запрещёнными приёмами, хотелось перебить её и сказать, что я и так знаю, что там война, и тоже переживаю. Но потом сам смутился этим неуместным недовольством и принялся вслушиваться в её слова. За ними было не успеть, и я не разобрался во всех деталях — просто понял, что произошло страшное, какое-то большое поражение, о котором пока ещё почти никому не известно, но которое может перевернуть течение этой войны.

— Я тебе сейчас покажу, — Варвара стала торопливо дергать мышкой, стараясь найти в своём ноутбуке нечто важное. — Вот!

Включила видео, и я увидел краешек большой площади и стоящие на обочине дороги большие машины, полные людьми в военной форме, — люди машут руками, а народ на площади воодушевлённо приветствует их. Видео плохо грузилось, часто прерывалось и, наконец, замерло совсем, превратившись в размытый серый кружок.

— Снимали всего пару дней назад. Это добровольцы из России, у всех — боевой опыт, — стала объяснять она. — Их можно было использовать для сложных операций, а их бросили туда, как пушечное мясо. Украинцы просто разбомбили собственный аэропорт. Все эти люди погибли, представляешь??

Видео опять запустилось и теперь уже пошло без остановок. Лиц военных нельзя было различить, просто много людей в кузовах грузовиков. А потом

ролик закончился, а мы всё сидели, не решаясь закрыть вкладку, как отойти от человека, который умер, но вдруг ещё вздохнёт и оживёт.

— Давай не сегодня, ладно? — сказала она виновато, имея в виду близость.

И тогда меня вдруг как пронзило — она так просила, словно сама не имела права решать, будет ли между нами сейчас что-нибудь или нет. А я и представить себе не мог, что можно вот так вот просто свалиться в кровать, будто ничего не случилось, ведь это было важно и для меня, но даже если и нет, в любом случае — это было важно для неё, и как я мог просто наплевать на это...

Я сказал — конечно, конечно, а Варвара посмотрела с благодарностью, но я заметил, что она была готова и к другому. Какие же у неё до этого были отношения, неужели находились какие-то люди, которым она была обязана позволять близость в любое время и в любой ситуации... И это поразило меня сильнее, чем всё остальное. Я вглядывался в её лицо и видел несчастную задавленную девушку, которую хотелось изо всех сил обнять, но я не мог даже коснуться её, вдруг бы она решила, что я всё-таки начинаю приставать. И безумно стыдно было за то, что ещё полчаса назад я ничем не отличался от этих не известных и отвратительных мне людей.

— Давай тогда ляжем спать, я очень устала, — попросила она, и тут же встрепенулась: — Ты как?

Потом мы ещё некоторое время ходили по комнате, как лунатики, — по очереди умывались, чистили зубы, ждали друг друга. Наконец, опустились на кровать, и прежде, чем заснуть, Варя сама обняла меня судорожным движением, как обнимают плачущие дети.

А я ещё долго лежал где-то между явью и сном, вдыхая запах её волос, изредка осторожно проводя кончиком носа по чёрным прядям, и думал, какой же была её жизнь до меня, а ещё о погибших людях с видео. И странно и горько было понимать — но то, что у Варвары раньше кто-то был, значило для меня сейчас гораздо больше войны и смерти тех людей. Или так и должно быть, сомневался я, но ведь не должно... И от этих мыслей ещё сильнее хотелось, чтобы у нас с ней всё сложилось, чтобы мы нашли друг в друге спасение от любого зла и несправедливости, последнее пристанище в разрушающемся мире...

Мягко пролился в окно рассвет.

Тонкая косая граница отступающей полутени медленно двигалась в сторону двери — то проходила по зеркалу, то по рисунку с Данко и чёрным сердцем, то изогнулась, встретившись с книжной полкой.

Мы лежали, изредка поворачиваясь и неосознанно касаясь друг друга. Ближе к утру я в очередной раз пробудился оттого, что рука моя под Вариной спиной онемела, но не двигалась, с рассеянным любопытством прислушиваясь к бегающим от локтя к плечу мурашкам. Кончиками негнущихся пальцев я мог осторожно касаться её груди через футболку, и хоть уже видел Варю голой всего два дня назад, но это крошечное касание было в десять раз пронзительнее и важнее для меня.

То ли я громко выдохнул, то ли неловко шевельнулся, но она вздрогнула и неожиданно откликнулась на моё прикосновение, и мы долго целовались, но потом пугливо отстранились друг от друга, боясь нарушить вечернюю договорённость о том, что близости между нами в эту ночь не будет.

— Встали ни свет, ни заря, и за работу, — усмехнулась Варя, и мне даже понравилось, что это прозвучало не так возвышенно, как вроде бы должна была звучать первая фраза в такой момент.

Внезапно резко прозвучал будильник на её мобильном телефоне. Я вздрогнул, не меняя положения, дотянулся до него и поспешно нажал на кнопку отключения, чтобы тот не смел нарушать хрупкую нежность этого утра. Но она уже вскочила с кровати, не одеваясь, скользнула к столу и привычным движением включила чайник.

— Просыпайся, соня, — воскликнула она бодро. — Я в душ.

Я поднялся, медленно, лениво, ещё в томительном полусне, машинально раздумывая о том, всегда ли она так встаёт или, может, просто боится, что вернётся соседка и пойдут сплетни, как она сказала мне два дня назад...

— Расскажи мне про себя, — просил я её в один из следующих дней.

— Да что про меня рассказывать, обычная жизнь...

Но я настаивал, мне хотелось перестать воспринимать её странной политической активисткой, или женщиной, принадлежавшей другим мужчинам, или же источником моего вдохновенного восторга — и в том, и в другом, и в третьем было лишь моё искажённое восприятие, а хотелось узнать, какой она была на самом деле. Или хотя бы прикоснуться к этому знанию, как я касался её тела. Варя заговорила сначала неохотно, стыдясь своей откровенности, а потом всё увлечённее. Она многое рассказала мне о себе в те первые дни...

Она росла младшей дочерью в большой семье, где всё время не хватало внимания и заботы, и, не сознавая этого, страдала от жгучей потребности в родительской любви. Мать её торговала на городском рынке и тянула семью на себе, приходила домой поздно, принималась готовить ужин, каждый раз с надрывом ругая тяжёлые времена и постылую жизнь, которую приходится терпеть ради детей. Отец — добрый, но слабый и наивный человек, которого Варя очень любила, — по инерции с советских времён работал начальником смены на машиностроительном заводе, где платили мало и с задержками. По вечерам, отдыхая от работы, смотрел телевизор с раздражённым ожиданием, что его сейчас потревожат и заставят что-нибудь делать. Иногда ещё он возился со старшими братьями, помогая им с уроками и привычно ворча на их невнимательность. У Варвары же не было проблем в школе, так что с ней вроде как и не надо было заниматься — она старалась учиться ещё лучше, чтобы обрадовать родителей, чтобы они похвалили её, но оттого получала ещё меньше их времени. Мать часто упрекала отца за мечтательность и неумение разбираться в жизни; Варе же, наоборот, нравилось, когда отец придумывал что-нибудь необычное: игру или шутки. Ей запомнилось, как они вдвоём с отцом ездили на огромное бескрайнее поле, за которым стеной стоял лес, а рядом был пруд, где вроде бы нельзя, а вроде бы и можно было купаться, и папа несколько раз спрашивал, нравится ли ей здесь. Она отвечала — конечно, нравится, а он ещё долго ходил по траве, лихорадочно хлопая себя ладонями по ногам и повторяя: “Что я, семью не прокормлю, что ли...” Но Варя уже тогда понимала, что ничего не зависит от них двоих и ничего не решится, если мать будет против покупки. “Ты ещё не сказал маме?” — спрашивала она потом у него каждый день, а отец отговаривался тем, что занят или ещё не время. А через несколько недель в ответ на её очередной вопрос виновато поморщился: “Да нет, дочка, ерунда всё это, не получится...” И увидев, что она расстроилась, растеряно добавил: “Не сердись на папку...”

Она не корила отца, она привыкла жалеть его и любить. И только иногда, ближе к окончанию школы, непонятное раздражение охватывало её, и на минуту она вдруг начинала смотреть на отца глазами матери, а потом чувствовала себя виноватой перед ним.

— Ты такой же добрый, как он, — сказала Варя, проводя ладонью по моей щеке. — Но и решительный... Ты тогда на собрании так нам сказал, я неделю не могла успокоиться!

Я подумал, что это произошло случайно, но побоялся её разочаровывать.

Мать она тоже очень любила, но это была, скорее, задавленная любовь-страх. Я видел, как Варя разговаривает с ней по телефону — первые слова произносит с жадной нежностью, но голос всё время дрожит, а рука нервно сжимает телефон, словно бы она боится неожиданного удара.

— Твой Володя молодец, он работает, а ты своей ерундой занимаешься, — пересказывала Варя мне потом слова матери, и было странно, что та относится ко мне с такой симпатией, хотя почти ничего обо мне не знает, а к дочери и её деятельности — с таким пренебрежением.

— Это не потому что она либералка, — грустно объясняла Варя. — Просто, чем бы я ни увлеклась, это всегда для неё было неважно и неинтересно. Она называла нас с отцом мечтателями, говорила, что мы не знаем настоящей жизни.

— Вот станешь депутатом, тогда она поймёт, — подсказывал я вариант, который мог бы и удовлетворить приземлённую женщину, твёрдо стоявшую на ногах, и одновременно вдохновить Варю, дать ей ощущение собственной силы и значимости.

— Нет, я никогда не стану депутатом, — возражала она убеждённо. — Это Паша может, а я — нет...

Родители Варвары считали себя людьми неверующими, и в церковь она попала первый раз в восьмом классе. Просто шла мимо, увидела ребят у здания воскресной школы, заинтересовалась и записалась в группу. В обычной школе всё было понятно и привычно, а здесь что-то новое. Единственное, что её сильно возмущало, что ученики были расслабленные и безответственные: они могли, например, не прочитать евангельский отрывок, которые задавали на дом, или не помнить того, что проходили в прошлый раз. А преподавательница, бледная сухая женщина с тоненьким причитающим голосом, никогда никого не ругала и никогда не выделяла Варю, которая всегда была готова к уроку. Ей было обидно, но она всё равно продолжала посещать занятия. А потом стала бывать и на службах — так получилось само собой, без каких-то сомнений: раз уж она училась в воскресной школе, то и в церковь ходить тоже было нужно.

Существование Бога, который всё видит и знает, примиряло её с настоящей жизнью. Она видела, что мир вокруг ужасно несправедлив: её родители работали целыми днями, но почти ничего не могли купить; или, например, она училась лучше всех в классе и при этом каждому готова была помочь, и помогала, но её почему-то не особенно любили ни учителя, ни одноклассники. И мысль о том, что где-то есть Бог, и он запоминает всё, что происходит, а потом, после смерти, каждому воздаст по заслугам, придавала Варваре сил и уверенности. Хотя, конечно же, такое устройство мира казалось ей чересчур сложным: жизнь была бы яснее и понятнее, если бы расплата не откладывалась на большой срок, когда человек уже и забудет, что и почему делал и кому какое причинил зло.

— Я по ночам плакала и просила Бога, чтобы он исправил все несправедливости, — рассказывала она мне, отчего-то сильно ожесточаясь, — я не могла понять, почему всё так неправильно устроено? Почему люди безнаказанно делают зло и даже не понимают, что это зло? Я бы хотела — вот, ударил человек кого-нибудь, и у него сразу рука отсохла, хотя бы на несколько дней. Сказал что-нибудь плохое — язык отнялся. Вот тогда бы он подумал, прежде чем в следующий раз говорить!

— Все были бы калеками, — вставил я беззаботно, но она вдруг посмотрела на меня так, будто рассказывала не о давнем детском желании, а о настоящих своих мыслях.

— Мне кажется, ты чересчур строго судишь людей. Или наоборот, недостаточно строго, — выговорила она резко, но через секунду покачала головой и вздохнула с сожалением. — Но сейчас я так не думаю, конечно, всё гораздо сложнее в жизни...

В воскресной школе Варя проучилась год и ещё почти два после этого каждую неделю посещала службы, пока не пришла пора усиленно готовиться к поступлению в институт; но, перестав ходить в церковь, она не чувствовала вины — это было рационально, а значит, правильно, а значит, вполне одобряемо Богом. Подготовка к экзаменам, сами экзамены и приезд в Москву на какое-то время целиком заполнили её жизнь. Но достигнув желанной цели и поступив в московский вуз, Варя вдруг обнаружила себя совсем одинокой в столице — раньше она даже не могла представить, насколько же ей будет здесь тяжело и тоскливо.

Её влекло в родной дом, в его воображаемое тепло, но когда она звонила матери, из трубки веяло лишь ледяным равнодушием — там, в городе, который внезапно перестал принадлежать ей, было много забот: у старших братьев, которые успели к тому времени жениться и развестись, росли дети, и их воспитание и конфликты с непутёвыми невестками занимали родителей гораздо сильнее, чем дела младшей дочери, у которой, как они считали, всё складывается успешно. И оттого Варя опять казалось, что тех, проблемных,

они любят больше, чем её. Сами братья были поглощены своими делами, да и до сих пор относились к ней несерьёзно, как к маленькой. И даже учёба, которую Варвара всегда считала своей сильной стороной, вдруг оказалась гораздо труднее, чем в школе. Она училась изо всех сил, но это позволяло ей лишь держаться в середняках.

В это время неожиданно для себя Варя принялась опять ходить в церковь. Вокруг неё всё сменилось: вместо уютной комнаты — четыре соседки и невозможность побыть одной; вместо маминой еды — скудные и дорогие обеды в столовой; вместо уверенности в своих силах — вечная нервозность на занятиях, а в маленькой московской церкви была та же атмосфера и распорядок утренних и вечерних служб, к которым Варя привыкла у себя в городе. И в то же время ей совсем не хотелось изучать новое, читать религиозные книги, глубже погружаться в церковную жизнь — словно, однажды узнав в школе, что земля круглая, она уже не могла подвергать сомнению такую очевидность, но и углублять это знание не считала нужным, ведь оно было таким ясным.

Я удивлялся, насколько же спокойно она говорила о вере. У меня с этим всегда был связан детский восторг, воспоминания о мечтательных разговорах с Катей, о чтении религиозных книг. У Вари же не было никакой экзальтации: ровное твёрдое убеждение и, по-видимому ответственное исполнение всего необходимого без лишних терзаний и тревог. По крайней мере, так мне казалось до того момента, когда однажды в ответ на мой осторожный вопрос она неожиданно сбилась и стала, морщась, подбирать непослушные слова.

— Я тебе как-нибудь в другой раз расскажу про одного человека, который сделал мне много зла, — произнесла, наконец, она. — Из-за него я столько грешила, что теперь у меня самой должно всё отсохнуть до конца жизни. И даже если вот сейчас не отсыхает, то потом обязательно припомнится... Я долго искала ему замену, но они все оказывались похожими на него. А ты совсем другой.

Она больше не сказала мне ничего ни об этом человеке, ни о грехах, которые должны будут ей припомниться, ни о мужчинах, в которых она искала того, первого, а я отчаянно ожидал этих рассказов и в то же время боялся их. Мне было обидно, что она оставляет часть своей памяти закрытой, хотя только что так подробно рассказывала обо всём остальном. Но едва я начинал представлять, что вот сейчас она заговорит, и в напряжённой тишине зазвучат чьи-то имена, и эти воображаемые мужчины станут реальностью, как мне становилось невероятно тоскливо, и я прекращал всякие расспросы.

А однажды, глядя на рисунок с Данко, спросил:

— А что за картина?

— Это мне Паша подарил, — легко ответила она и улыбнулась. — Пытался меня мотивировать...

— Паша? — и удивился новой болезненной догадке. — А у вас с ним тоже?

— С Пашей-то? Нет, конечно, — откликнулась Варя и рассмеялась так, как если бы я сказал сейчас невероятную глупость, и от этого искреннего настоящего смеха на душе стало свободнее. — Паша просто хороший друг.

— Вроде бы у вас с ним много общих интересов, — уточнил я.

— Да, я очень благодарна Паше, он настоящий лидер, он многое мне объяснил. Вернее, объяснил Сергей Владленович, но я лучше всё поняла, слушая именно Пашу, а главное — глядя на него. Он же на самом деле не такой уж и твёрдый человек, он довольно слабый, романтичный парень. Но стал работать над собой, делать из себя личность историческую...

— Паша же только говорит красиво. Я ему не верю, — решил я копнуть ещё глубже, но она вдруг вспыхнула с неожиданным ожесточением:

— А кому ты веришь?

— Тебе.

— Ерунда, — смутилась и поморщилась она, но сразу же опять стала мягкой:

— Ты не прав. Паша искренний человек, не осуждай его. Он единственный из нас, кто так сильно и по-настоящему верит. Его концепция —

это же практически борьба с грехами. Он горит сильнее, чем многие христиане, — и я удивлённо взглянул на неё. — Да и вообще, — продолжала, на секунду задумавшись, — я знаю, что Паша *childfree*, но не вульгарный, как сейчас принято. Ему просто кажется, в нынешнее военное время быть патриотом важнее, чем воспитывать детей. Мне это не близко, но всё равно достойно уважения, — она опять остановилась, а потом заговорила, постепенно увлекаясь, от Паши переходя к делам “ячейки”, потом к политике, а я слушал её, не прерывая вопросами, радуясь, что по счастливой случайности мы опять свернули с большой темы о прошлых мужчинах...

Общественная работа стала для Варвары единственным утешением после болезненного расставания с тем человеком, о котором я так ничего и не узнал. Организация Кургузова привлекала её тем же, чем когда-то в школе привлекла и церковь, — ответственностью и стремлением к справедливости. Но здесь речь шла уже не о личной справедливости (которой не жалко было и пожертвовать), а о судьбе страны, и ощущением важности и святости этой тяжёлой задачи можно было раздавить собственное горе. Более того, теперь, после пережитого, отношение её и к общественной работе, и к церкви стало сложнее — появилось чувство жгучей вины за свою несправедную страсть, и эту вину ей отчаянно хотелось искупить добрыми полезными делами. Но чем больше она делала, тем яснее и мучительнее отливались в ней это чувство вины, так что никакие достижения не могли удовлетворить его до конца, требуя достижений ещё больших. Сначала Варя просто ходила на заседания только что сформировавшейся “ячейки” Северного округа, потом взяла на себя обязанность оповещать участников о теме предстоящей встречи, наконец, стала определять темы и назначать участников — и вскоре все считали её главной в “ячейке”. Хотя когда появился деятельный Паша, она спокойно уступила ему лидерство: Варю совершенно не интересовало, кто из них будет руководить.

Идеи “ячейки” вошли в неё так быстро, как сыворотка в кровь, и вскоре не отличить было, что — Варино личное, совпадающее с её характером и желаниями, а что — чужое. Хотя если, как она сказала про Папу, каждому нужно сделать из себя личность историческую, то, наверно, и правильно было так — срастись с чужим, но полезным для общества, надеть чью-то хорошую маску и не думать о собственном лице. Но как бы она ни пыталась стать последовательным исполнителем исторической необходимости, от пережитой страсти к мужчине и убеждения её приобретали ту же страстность и бескомпромисность израненной женщины — и это чувствовалось даже сейчас. Едва я однажды осторожно начал возражать, что коммунизм ведь так и не смогли построить, Советский Союз распался, значит, там что-то было не так, Варя вспыхнула и инстинктивно схватила меня за руку:

— Да, да, ты, прав! Но это вина тех, кто был коммунистами в то время, они же давали клятву и предали страну! Дружно подняли ручки, когда враги нанесли удар... А теперь мы должны ответить за это!

— Ты имеешь в виду отомстить? — переспросил я.

— Нет, не только. Главное — ответить! Чтобы враги знали: мы не такие слабые, как раньше. Мы можем за себя постоять. И мы не забыли наше поражение.

Она и не родилась ещё, когда распался Советский Союз, откуда же в ней такое острое восприятие этого события, будто оно имело отношение лично к ней, удивлялся я. И почему же её так тянет к советскому, если она не могла помнить, как было там, а значит, сравнить с тем, как сейчас здесь.

— Почему? — удивлялась она моему вопросу. — Это же было замечательное время! Случались ошибки, трагедии, но самое главное — все стремились к добру и справедливости. Сейчас у нас возрождается интерес к тому времени, и это хорошо... Я почти год вела в Facebook’е группу советских плакатов, и видела, сколько там молодёжи. Ты не заходил туда? Теперь её ведёт Катя.

— Катя? Нет, не заходил.

— Она делает это гораздо лучше меня и на самом деле вкладывает душу.

— А ты разве не вкладывала? — спросил с едва заметной улыбкой.

— У меня очень мало души, — грустно ответила Варя, и я мгновенно пожалел о своём неуместном вопросе.

Она ещё много всего рассказала мне — и о своих убеждениях, и о том, как болезненно воспринимает происходящее сейчас на Украине и в России. Майдан и Крымские события оказали на неё сильное воздействие: многие в “ячейке” были воодушевлены происходящим, но ей было очень тревожно. Потом ситуация становилась всё хуже и хуже, а после случившегося второго мая в Одессе она впала в изматывающее томительное ожидание. И хотя Сергей Владиленич и говорил, что он против ввода войск, что нужно помогать оставшемуся Донбассу силами гражданского общества, а не власти, она до последнего надеялась, что на Девятое мая будет какое-то грандиозное событие — или придут, наконец, наши, или просто вышлестутся на улицы украинских городов толпы людей и единым порывом сметут ненавистную фашистскую власть.

— А когда увидела, что нацгвардия творила в тот день в Мариуполе, как убивали мирных жителей, я не знаю, что было со мной... я всю ночь плакала, потом просыпалась и опять плакала.

— И в этот момент появился ты, — произнесла она резко, сжимая губы от волнения. — Сначала я считала, что ты враг, и очень злилась, думала, ты приходил к нам, чтобы что-то выведать. Потом решила, что ты просто слабый человек, и тоже злилась. Прости меня, — и в голосе было столько горечи, вроде как после этого честного признания я должен был возненавидеть её навсегда.

— Ничего, — растерянно выговорил я.

— Если честно, я никогда бы тебя не выбрала, ты был совсем не такой, какого я хотела. И я не знаю, что со мной случилось. Но после того пикета на ВДНХ я проснулась утром и почувствовала... как будто тебе дарят подарок на Новый год, но не тот, какой ты хотела, и ты сначала расстраиваешься. Но потом понимаешь, что для тебя этот подарок гораздо лучше того.

— Значит, я твой подарок? — усмехнулся я, ласково обнимая её, ощущая собственную силу и необходимость защищать её теперь от любой тревожной мысли или чувства.

Варя была странной — кажется, её никто никогда не любил искренне: она привыкла быть сильной, постоянно двигаясь к новым достижениям, доказывать это, прежде всего, матери и, видимо, тому мужчине, о котором я почти ничего не знал, а в их лице — и всему миру; со мной же на первых порах она не знала, как себя вести. Я с удивлением и даже гордостью понимал, что во мне она встретила человека, который любил её просто так, ни за что, тоже принимая все её качества как подарок, который нельзя рассматривать придирчиво, чтобы не обидеть дарителя. Но она всё равно не могла поверить, что этот подарок принадлежит ей сам по себе, а не за какие-то заслуги: старалась отчаянно заботиться обо мне, готовить что-нибудь вкусное, соглашалась на все мои предложения — была со мной испуганно-ласковой, никогда не ругалась и даже не раздражалась, может, только внутри себя, но, видимо, сразу же давила это чувство. Она очень боялась меня потерять, и это было даже не от недоверия ко мне, скорее, от недоверия к самой жизни, к её высшей справедливости, по которой человеку ничего не даётся просто так.

Впрочем, проходило время, и иногда она как бы смирялась с необходимостью доверяться мне целиком, и тогда, желая испытать свой новогодний подарок по-настоящему, становилась целиком беззащитной и уязвимо-нежной. Но я знал, что если я вдруг предам её, то она никогда больше не решится так довериться человеку — навсегда закроет свою душу не только от меня, но и от всех людей на свете.

Разве что в близости она могла позволить себе быть резкой со мной: подходила, иногда в самый неподходящий и неромантичный момент, например, после просмотра новостей, садилась ко мне на колени, лицом к лицу, и начинала жадно целовать. Только так она могла выплеснуть свои подавленные чувства. Но и здесь всё было не так просто: ближе к концу июня начался Петров пост, и Варя стала просить меня воздерживаться от близости в это



время. Я удивлялся, вроде бы мы и так не женаты — в пост или не в пост, какая разница, когда грешить, но для неё это было очень важно. “Это моя борьба со страстями, — говорила она мне. — Но ты-то тоже верующий, ты меня понимаешь”. Потом объясняла подробнее, так что выходило, будто бы от её победы или поражения в этой воображаемой борьбе зависели другие события в мире, а значит, если бы она смогла перебороть себя, то, может, где-то далеко не погибли бы люди, а может, и вообще — мгновенно закончилась бы война. И хоть я и не понимал ничего, но просто соглашался, чтобы поддержать её.

Но она не выдерживала сама, набрасывалась на меня, а после этой неожиданной близости долго плакала, как жестоко обиженный ребёнок.

— Почему, почему? Что не так? — спрашивал я, но она только всхлипывала и со злостью сжимала губы.

— Мы же любим друг друга, Бог всё прощает, — пытался я найти верные слова.

— Нет, нет, неправда, — морщилась Варя, словно я говорил какую-то глупость.

В следующий раз я пытался остановить её, отстранялся, говорил: давай перетерпим, ты же потом сама будешь расстраиваться. Она соглашалась, но целый день после этого стремительно шагала по комнате, громко ставила чашку на стол, не слышала моих вопросов; а мне было неудобно и тревожно, я не мог терпеть, когда между нами нарушалась эмоциональная связь, подходил к ней, стараясь смягчить. Она сначала недовольно водила плечом, а потом поворачивалась, впивалась мне в губы, и я поддавался, стараясь взбудоражить своё расслабление тело, — но это яростное желание не спасало её от подавленности и раскаяния после.

И когда, отлепившись от меня, она опять лежала, разбитая, наедине со своей нелепой виной, мне казалось, что дело вовсе не в ответственности и войне, а в тех проклятых людях, которые трогали её раньше, словно бы она каждый раз отдавала дань похоти этих людей и успокаивалась. И когда я думал об этом, мне и самому хотелось заплакать, даже не от ревности, а скорее, от жалости к ней и к себе. И почему же я не встретил её раньше, где-нибудь на первом курсе, как Катю, я бы тогда сохранил её от всего плохого, что было с ней: и дело было, конечно, не в эфемерной чистоте, а в том, что душа её не испытала бы той боли, которую никак не могла изжить в себе и с которой я со своей любовью и нежностью справиться не мог...

Я заранее знал, что через полчаса после этого приступа опустошённости Варя встанет с кровати и начнёт ожесточённо писать блог или смотреть ролики Кургузова на двойной скорости. Я к тому времени тоже немного успокоюсь и смогу сделать что-то по дому, помыть пол, посуду, просто полежать и отдохнуть. В такой день Варю лучше было не тревожить до поздней ночи — в этой буйной деятельности, охватывающей её после запрещённой близости, было нечто ещё даже более страстное, мучительное, высасывающее все силы без остатка. И иногда я даже думал, что, может, причина всех этих приступов вообще не в физиологическом влечении: может, ей просто нужно было извести себя невыносимой мыслью о том, что нам сегодня нельзя, потом броситься в пропасть, а упав, напиться своей яростной виной, прощение которой возможно было заслужить лишь кипучей деятельностью, а значит — она сама неосознанно стремилась к такому ритму, позволявшему ей перелопачивать огромное количество материалов и следить за деятельностью всей “ячейки” своего округа.

Уже потом, поздней ночью, когда я спал, она приходила ко мне, уставшая, по-детски ласковая. Сквозь сон я осторожно прижимал её к себе, боясь, что одно неловкое движение, и она опять вскочит — и тогда либо горячая близость, либо сразу за компьютер к делам “ячейки”. Но в ней уже не было ничего яростного, а только то затаённое, кошачье, что выдавало в ней моменты полного доверия и расслабления.

Бог всё прощает, машинально повторял я свои слова, а она торопливо кивала и просила: давай прочитаем молитву. Я, конечно же, соглашался, и в сумраке нашей комнаты её тихий и нежный голос шептал: “Отче Наш...

да святится имя Твое...” Я повторял одними губами, а к концу засыпал, чувствуя благодарную теплоту в сердце, то ли к Богу, давшему мне Варю, то ли к самой Варе. И эта коротенькая молитва казалась мне в сто раз важнее наших с ней невоздержаний и вообще всего остального на свете. А потом всё опять возвращалось к привычному течению жизни, словно бы и не было никаких страстных порывов и слёз, и если бы на следующий день меня спросили, нет ли у нас проблем, я беззаботно и честно ответил бы, что всё хорошо и мы очень счастливы.

## 14

Но ни разу за эти два первых наших месяца Варя не позвала меня в “ячейку”. Сама она часто занималась чтением, подготовкой к собраниям и ведению своего политического блога, много рассказывала мне о проблемах движения, но всегда говорила об этом как об исключительно своём деле. Иногда ещё я ходил с ней на собрания, но тоже как бы лишь сопровождая её, ведь почему бы нам не сходить куда-нибудь вместе. Ребята из “ячейки” постепенно привыкли ко мне и даже считали полностью своим (ведь не мог же парень Вари быть не своим!), но на самом деле никакого отношения к Сути я не имел — не читал их газеты, не смотрел политические ролики, у меня не было собственного блога, где я писал бы что-нибудь об украинском фашизме или о том, как либералы извращают советское время.

Впрочем, когда однажды у меня на работе зашёл разговор о Кургузове и его движении, я слушал, не вмешиваясь, но с затаённой ревностью в душе.

— Да это кремлёвский проект, откуда деньги у этого сумасшедшего? — отрезала начальница Галина Евгеньевна, и мне стало как-то обидно, будто задели знакомого мне хорошего человека.

В июле, уже после отъезда Ромы в Таиланд, когда мы уже жили с Варей вдвоём в съёмной квартире на востоке Москвы, к нам часто заходил Паша, и они с Варей обычно подолгу обсуждали, что нужно сделать в ближайшем будущем, какие мероприятия провести. Костяк “ячейки” в последнее время разъехался по Москве, но всё равно никто не ушёл из отделения Северного округа, и все занимались его делами, кажется, ещё больше, чем раньше.

Варя и Паша ничего не скрывали от меня, я мог бы сидеть с ними и даже участвовать в разговорах, но мне и не было особенно интересно, а кроме того, неудобно всё время находиться рядом, словно я боюсь оставить их наедине, и я под каким-нибудь предлогом уходил на кухню. “Вот, Володя, есть познавательная статья, не хочешь почитать? — иногда лукаво спрашивал меня Паша. — Может, она придаст тебе смелости?” Но я каждый раз отшучивался. Меня не обижали его миссионерские попытки, скорее, неприятно было, что в такие моменты мы с Варей становились уже не двумя близкими людьми, к которым пришёл в гости третий, а тремя отдельными, одного из которых, маленького и недоразвитого, обступали двое других. Варя никогда не участвовала в этих уговорах, и только в её молчании иногда чувствовалось затаённая поддержка Паши — вроде как она и не против была, чтобы я сильнее погружался в политику, но не хотела давить на меня, ожидая, что я дозрею до этого сам. Впрочем, Паша уходил, а вместе с ним пропадало и это неприятное ощущение.

Но у Сути были и реальные дела: несколько десятков добровольцев из движения воевали на Донбассе, а “ячейки” со всей страны собирали гуманитарную помощь, закупали лекарства — и это было действительно настоящее и полезное, в чём хотелось участвовать. И когда Варя обмолвилась при мне о гуманитарной помощи, я сам предложил ей взять из моей последней зарплаты сорок тысяч и отдать от нас двоих. Она с благодарностью посмотрела на меня, обняла и надолго приникла к моей груди — ей очень хотелось принять участие в сборе, но родители присылали мало, а сама она должна была ещё учиться год в институте и пока только искала подработку на лето.

— Лучше не деньгами, деньги перехватывают в банках Украины. Я куплю бронжилет, — оживилась она.

— Ты разбираешься в бронжилетах? — удивился я.

— Всегда увлекалась милитаризмом, — пошутила она смущённо.

А ещё один раз нужно было забрать большую сумку-холодильник с инсулином у Васи Покровского, дружелюбного паренька, который нравился мне больше всех в “ячейке”, и отвезти к автобусу в Луганск — я как раз в тот день был свободен и вызвался помочь. Меня тогда поразило, что на автостанции Тёплый Стан среди десятка других автобусов стоял обычный фирменный “икарус”, какой поехал бы в любой город, в Тверь или Орёл, и только табличка на нём указывала, куда он направляется. Возле автобуса привычно курил немолодой загорелый водитель, а рядом стояли две женщины, разговаривали о чём-то невоенном и смеялись, будто ехали совсем не в осаждённый Луганск. И мне почему-то неприятно стало от их смеха, захотелось уйти и не стоять больше рядом, но человек, которому нужно было передать лекарство, ещё не появился. А потом прошли мимо двое коренастых мужчин в распахнутых рабочих куртках, и один, наверное, в сотый раз проговаривая привычное, произнёс, как смачно плюнул:

— Кондиционер, мать вашу...

По-видимому, это касалось последней бомбардировки города, о которой я читал, что её жертвы украинские телеканалы объясняли взрывом кондиционера. И мне как-то спокойнее стало оттого, что именно такие слова я и ожидал здесь услышать.

Тот, кого я ждал, оказался щуплым молоденьким парнем в очках. Он смущённо поздоровался и сказал:

— Передайте большое спасибо! Вася — человек! У меня мать в Алчевске с диабетом. Там таких ещё двести человек, — добавил он ожесточённо, а я торопливо кивнул, не зная точно, на кого он ожесточён — на украинцев ли, на ополченцев или вообще на всю войну — и потому не понимая, как мне лучше отвечать ему.

А когда мы уже попрощались, я увидел, что к автобусу идёт женщина лет тридцати пяти с маленькой девочкой, обе так легко одеты, что им, наверное, зябко этим прохладным вечером. Девочка тряхнула белокурыми волосами, посмотрела на меня в ответ и, кажется, замедлила шаг, но женщина потянула её за руку — они уже опаздывали к отправлению. У женщины были усталые глаза, но лицо ещё очень красивое. Куда же они едут сейчас, удивился я, и почему с ребёнком, туда — с ребёнком. И что за жизнь у этих людей, о которой я не знаю и не могу знать... “Икарус” догнал меня у метро, медленно, грузно переваливаясь.

А однажды мы и сами ходили работать на пункт приёма гумпомощи, который находился в одной из московских библиотек. Хорошо помню то утро. Было ещё прохладно, но в воздухе чувствовалась сковывающая горло сухость будущего жаркого дня. Мы шли с Варей, взявшись за руки, она чуть впереди, как молодая решительная мамаша, ведущая за собой ребёнка, и мне было весело от этого сравнения, и я даже чуть сдерживал шаг, чтобы наши руки сильнее натянулись.

Наши встречались на крыльце библиотеки. Когда мы подошли, собрались уже почти все, кроме Паши, он опаздывал — ранним утром у руководителей московских “ячеек” должна была состояться внеочередная встреча с Кургузовым. И пока ждали Пашу, толпились на ступенях и, подобно водной глади на ветру, колыхались, когда кто-то переступал с ноги на ногу или подходил к другому, чтобы перекинуться парой слов. Не было ни новеньких, ни Петра Петровича — только близкий круг, костяк. Влад Щукин по прозвищу Щука, хамоватый паренёк с гортанным утиным голосом, ходивший в “ячейку” вроде бы даже дольше Вари, артистично и со вкусом травил анекдоты, а остальные смеялись во весь голос. Двое неразлучных друзей — Юрка и Петька — ожесточённо играли с мелкими камешками, поочерёдно пиная их так, чтобы сбить несколько других, как пацаны во дворе. С краю, на перилах замерла незнакомая мне рыжеволосая девушка, приходившая несколько раз на собрания с Васей Покровским, а сам Вася стоял рядом и иногда целовал её в лоб. И только в углу высокий полный парень с густой щетиной, Лёша-поэт, благопристойно беседовал с Андреем о чём-то политическом.

— Говорят, он человек Ахметова, но это чушь, — журчало с их стороны, — был бы предатель, после аэропорта все бы от него разбежались. А раз нет, значит, верят...

— Спланированная кампания, всех героев хотят очернить!

Катя стояла рядом и, увидев нас с Варей, оживлённо помахала ладошкой.

— Варь, привет, — оживился Влад Щукин, когда мы осторожно приблизились и остановились рядом с компанией, — слышала последние новости из цирка? Этот чудик из Северо-Западной под шумок забрал у родителей пятьдесят тыщ и купил теплоприцел, — только это был уже не анекдот, а кажется, вполне реальная история. — Его отец пришёл к Паше, а тот говорит: “Что мне теперь, теплоприцел на рынке продавать? В армейском его обратно не примут...”

— Этот человек — идиот, — сразу же включилась Варя. — Вот из-за таких людей и начинаются разговоры, что Суть — секта.

— Да ну, ты чего, правильно сделал мужик, нашим помог, — вмешался Лёша-поэт, мгновенно отвлекаясь от разговора с Андреем.

Наконец появился Паша. Он шагнул из-за угла, весело подпрыгивая на ходу, как бы пританцовывая, и принялся обходить собравшихся, стараясь каждому уделить хоть пару секунд, — словно бы резкая струя ворвалась в человеческое озеро, и оно забурило вокруг. Долго и игриво разговаривал с девушкой Васи Покровского. “Ну, ты, Катюша, у нас теперь Роза Люксембург”, — сказал Кате, а та непонимающе усмехнулась, и я увидел, что ей по-прежнему не нравился Паша, но это стало уже привычным и не вызвало у неё тех сильных эмоций, как раньше.

— Как там Владленч? — спросил кто-то.

— Говорит, будем издавать книгу устроит Стрелкова. Тамошние надеялись, раскрутят его, а он свалит в Россию и устроит Майдан, но мы им не позволим!

Все мгновенно перестали болтать о постороннем, словно бы вспомнив, что они политическая сила, сгучились вокруг Паши, а потом хлынули вслед за ним в библиотеку, оглядываясь в непривычной обстановке, заполняя одну комнату за другой...

В целом работа напоминала приём товара в магазине — изматывающая и однообразная. Лёша-поэт заполнял большую тетрадь, какие бывают у кассиров в торговых киосках, а остальные таскали коробки с тушёнкой, лекарствами и снаряжением и сортировали их. Работница библиотеки, маленькая пугливая женщина, призраком перемещавшаяся повсюду, смотрела на нас, вздрагивая и ахая, — она вроде как и понимала, что делается доброе дело, но всё равно как бы боялась чего-то.

Товары встречались разные. Было много пятилитровых бутылей с водой, соединённых по две в полиэтиленовый кокон, как близнецы в животе матери. Разве там нет воды, удивлялся я, не дешевле ли было закупить её поближе к границе. Часто попадались блоки сигарет, а в одной из комнат в углу мы нашли огромный новенький сноуборд.

— Ничего так доска, да? — рассматривали его Юрка и Петька, но в этот момент подскочила работница библиотеки, и выяснилось, что это никакая не гуманитарная помощь и трогать его нельзя.

В коридорах попадались незнакомые люди, наверное, из других “ячеек”. Но сильнее всех выделялся поджарый загорелый мужчина лет тридцати-сорока, которого все называли Чёрным, — говорили, что он воевал на Донбасе, но по ранению находился сейчас в Москве. Он действительно немного прихрамывал, на сутевцев почти не смотрел, ходил повсюду, постоянно поплёвывая, и выискивал в груди вещей ему одному известные предметы.

— Бронежилеты четвёртого класса, берцы, разгрузки с подсумниками, противогазы, — шептал он вслух, словно бы у него в ухо была встроена рация, по которой он докладывал кому-то.

А если ему нужно было перетащить что-то тяжёлое, брал сам, не прося никого, да никто и не рещался предложить ему помощь. И только женщина-библиотекарка, по-видимому, испытывающая к Чёрному особенное уважение, однажды попыталась схватиться за краешек большой картонной коробки, когда тот принялся поднимать её, но Чёрный мотнул головой — сам.

Впрочем, когда мы переносили упаковки с едой или воду, нам он тоже не помогал, а только выкрикивал куда-то в сторону:

— Грузите, грузите, щенки, — и все делали вид, что это нормально, а может, даже предназначается и не нам вовсе.

Уже ближе к обеду я проходил мимо одной из комнат, заставленной книжными стеллажами, в которой он сидел в груде железа и разочарованно разглядывал массивные резиновые сапоги.

— Не, с таким говном мы до Киева не дотопаем, — сказал он мне так, будто я тоже разбирался в военных делах и мы раньше говорили с ним на эту тему. Я старательно кивнул ему и поспешил дальше по коридору.

Работа постепенно подчинялась своему размеренному ритму, и я уже не вглядывался в содержимое коробок и ничему не удивлялся, просто носил или выполнял чьи-то поручения, и лишь отслеживал путь по лабиринтам библиотеки, то в одну, то в другую сторону, то с заходом в небольшой аппендикс, где складировали медикаменты, то без.

Машинально вслушивался в обрывки чужих разговоров.

— Я читал этого Дубина, он просто фашист...

— Они мечтали, чтобы русские залезли...

— Видели, Покровский с девушкой пришёл.

— Уведёт она Васеньку!

— Ну, за такой можно и уйти, а чего?...

На самом деле, я уже понимал всё, о чём они говорили, и слышал от Вари об этом самом Дубине, и знал, что руководители хунты хотели, чтобы русские ввели войска, и тогда бы Запад ввёл туда свои, и о Покровском мог бы весело пошутить — я был способен поддержать любой разговор, но мне всё ещё было неловко с ними, и я, как кусок сена на ветру, мотался то туда, то сюда, не говоря никому ни слова. Девушки работали отдельно от парней, и даже Андрей почему-то ходил другими маршрутами, так что мы с ним почти не пересекались, а остальные были для меня совсем чужими. Один раз мы случайно столкнулись в коридоре с Катей и остановились перекинуться парой слов, оглядываясь вокруг, как заговорщики, будто бы по законам “ячеечного” общества нам нельзя было говорить наедине.

— Ну, как вы? — улыбаясь, спросил я, имея в виду их отношения с Андреем.

— Да вроде хорошо, — смутилась она. — С Соней недавно встречались, но мало поговорили, у меня был пикет. Она замуж выходит, представляешь? — и погрузилась.

— Да ладно, вы тоже поженитесь скоро, — попытался я успокоить её, как раньше.

— Конечно, поженимся, — ответила поспешно. — Но сейчас это уже не так радостно...

— Тебе не угодить, — перебил я её, и мы вместе рассмеялись, а потом разошлись.

В помещении становилось душно, все ходили взмокшие от пота, а когда к внутреннему входу библиотеки подъехали две “газели”, и нужно было загружать их, каждый старался лишнюю секунду задержаться на крыльце — там, под широким козырьком, защищавшим от солнца, можно было даже поймать случайное дуновение свежести и попытаться с жадностью вдохнуть его ускользающий след. Утреннее беззаботное настроение выдохло, ощущались только усталость да накапывающее волнами раздражение.

Лёше-поэту наскучило заполнять кассовую тетрадь, он достал полторалитровую пластиковую бутылку, и они с Владом Щукой начали по очереди отхлёбывать из неё. Работа не прекратилась, но оба стали заметно хмелеть.

— На выборах — кто угодно, только не нынешний, — настаивал Щука, — просто надоел этот застой. Интересно посмотреть, что будет!

— Так выборы только через десять лет, — устало шутил проходивший мимо них Юра.

— Через двадцать, — подхватывал Петя, и уже через секунду они с грохотом выскакивали из комнаты, неся новые громоздкие коробки и стараясь обогнать один другого.

А Шука вливал в себя новую порцию, а потом, поднимая груз, багровел и по-стариковски кряхтел. Лёша-поэт ставил неровную пометку и, не дожидаясь друга, делал внеочередной глоток. А в одно из моих появлений в комнате я застал их вместе с Андреем.

— Я тебя привезу на передовую, прямо к окопам. Скажи, ты поедешь со мной? — ярился Лёша.

Андрей стоял рядом, злой и подавленный.

— Скажем так, я хотел бы поехать... Но пока не могу сказать точно.

— Нет, ты ответь, мужик ты или нет, — настаивал тот. Но мне уже нельзя было больше стоять и слушать, не привлекая к себе внимания, и нужно было нести новую порцию, а когда я вернулся через несколько минут, Андрея уже не было.

А во время одного из перекуров, когда мы сидели прямо на полу, откидываясь на груду вещей, и ели отмеренный каждому из нас сухпаёк, в комнате появился Паша. Он ворвался вихрем, торопливо оглядел комнату, продолжая говорить с оставшейся на пороге пугливой работницей библиотеки.

— Человек, способный на подвиг, когда-нибудь этот подвиг совершит. Он будет, например, бухгалтером... Совсем негероическая профессия, да? Но будучи не нытиком, а потенциальным героем, он... Ну, не знаю... Займётся хотя бы альпинизмом... А если к нему в бухгалтерию придёт бандит с пистолетом и заставит отдать все деньги, то он отнимет пистолет, а бандиту на костылях... И не потому, что такой у него служебный долг, а потому, что у него героическое естество...

Деловито заглянул в тетрадь, поднял блок сигарет, сиротливо лежавший под ногами, отброшенный второпях из общей кучи.

— А Стрелков героем не был, — сказал, обращаясь уже не к женщине, а к нам, — хотел погонять украинских офицеров и чуть-чуть погеройствовать... Типа реализуется крымский сценарий, и его примут в новую структуру. А не вышло! — развёл руками и шагнул обратно в коридор.

— Героизм мы воспитываем через лекции и собрания. Но самое главное — на школах в базовом лагере в Васильевском. Отличное место! Там реально куётся человеческий характер... — его назойливый царапающий воздух голос ещё долго доносился откуда-то издалека. А мы вставали, взваливали на себя новый груз и шли, и шли по длинным коридорам, не вдохновлённые, а скорее разозлённые его воодушевлением.

Погрузка заканчивалась. Юрка и Петька небрежно забрасывали последние коробки с консервами в кузова газелей, отчего те расхлябывались на глазах. Лёша-поэт поскользнулся на ступенях и завалился едва ли не под задние колёса — Шука помог ему подняться. Наконец, “газели” уехали, ребята зашли обратно в библиотеку, а я на минуту задержался и оказался на крыльце один.

Стало уже прохладнее, но дышалось по-прежнему с трудом. Из чёрного зева библиотеки раздавался пьяный смех. Я машинально двинулся в темноте вперёд по знакомому маршруту, но в последний момент задержался и свернул куда-то вбок, в одно из ответвлений лабиринта — там обнаружилась лестница, а с пролёта второго этажа свисал косой луч света. Я поднялся и заглянул в приоткрытую дверь: в большой комнате среди множества книжных стеллажей за приземистым столиком, над которым горела яркая настольная лампа, сидели Варя и Катя и перебирали несколько таких же тетрадей, какие заполнял сегодня Лёша-поэт. Андрей стоял рядом, опершись на стену, и рассеянно смотрел на книжные корки на ближайшем стеллаже.

— Если я пойду в церковь, то меня сразу должны отлучить: я не ходил в армию, я откупился, это грех, — ожесточённо сказал он.

— Да нет же, — мгновенно расстроилась Катя.

— Нет? Тогда я не понимаю вашу церковь.

Они опять спорили о вере, дорогие мои Катя и Андрей... Я остановился на пороге, напитываясь человеческим теплом, которое и не надеялся найти в этом чужом месте.

Тем временем, оживилась Варя. Она держала в руках планшет, машинально ещё занося над ним распластанную ладошку, но уже не нажимая на электронные кнопки.

— Андрей, ты во многом прав, но зря упрекаешь всё христианство, — начинала она мягко, но с обычным спрессованным напором в голосе. — На самом деле, настоящий социализм первый раз появился в Иерусалимской общине, это было самое справедливое общество в мире, — один локон волос падал ей на лицо, она быстро поправляла его теми же растопыренными пальцами, не сжимая, словно бы, когда она держала их так, незримая работа на планшете продолжала выполняться.

— Это уже в прошлом, — отозвался Андрей. — Посмотри, что сейчас!

— Сейчас капитализм везде проникает, и в церковь тоже, — легко согласилась Варя. — Но мы должны не разъединяться, а работать вместе.

— Вот именно — работать! Ты же знаешь, православные сейчас вообще не участвуют в общественных делах... Например, ювенальная юстиция...

— Православные должны участвовать, если они по-настоящему православные! — перебила его она, несколько раз коснулась экрана и отложила планшет.

Андрей с силой выдохнул, Варя принялась складывать в стопку тетради. Катя же молчала и смотрела на них с возмущённым ожиданием — она любила, когда Варя спорила с Андреем о вере, потому что её, Катю, взгляды Андрей воспринимал как причуду, досадное недоразумение, с которым нужно просто смиряться, а вот религиозность Варвары была для него действительно серьёзным доводом. Но то, что говорила Варя сейчас, не устраивало Катю своей мягкостью по отношению к Андрею, слишком “по-ячеечному” это звучало, и Катя пыталась подобрать слова по сильнее, но никак не могла.

— Ладно, это ваши темы, я в них не вникаю, — отмахнулся Андрей, и Катя вздохнула с привычным возмущением:

— Вот всегда так... Когда же ты поймёшь, что это не клуб по интересам!

— Душно здесь, пойду, проветрюсь, — сказал он ожесточённо и протиснулся между сходящихся стеллажей куда-то вглубь комнаты, где притаилась узкая балконная дверь, распахнул её и сердито затворил за собой.

Катя сжала губы и отвернулась к стене. Варвара, не придавая большого значения их спору и уходу Андрея, схватила кучу тетрадей разом, с трудом удерживая равновесие, шагнула к двери и увидела меня:

— О, это ты, подержи!

А когда я подхватил тетради, ловко перевязала их откуда-то взявшейся верёвкой и кивнула на свободное место в одном из стеллажей у двери, чтобы я положил их туда. А потом, смутившись, на секунду прильнула ко мне:

— Я всё время занята. Не сердись?

— Нет, ты чего, — ответил я вроде как с удивлением, хотя мне и понравились эти слова.

Я мог бы посидеть с девочками, но тогда получилось бы, что Андрей на балконе, а мы здесь, в эдаком своём религиозном кружке, а это было неловко. Но и возвращаться на первый этаж к Паше и остальным мне не хотелось, и потому, потоптавшись, я отправился вслед за Андреем.

Надвигались бледные летние сумерки. Крошечный балкон, на котором двое могли поместиться лишь вплотную, не был застеклён, и потому, войдя, я сразу попал в густую листву огромного клёна, как бы припадавшего ветвями к стене здания. Лишь слева остался небольшой прогал в листве, и сквозь него был виден раскинувшийся вдаль город, неожиданно низкий, вроде бы и не Москва вовсе. Андрей не удивился мне, только подвинулся, освобождая место. Я переступил с ноги на ногу, чтобы удобнее устроиться на узком пространстве. Осторожно взглянул на него — Андрей стоял, локтями опершись на балконные перила, а правой рукой произвольно водил по собственной груди.

— Сердце болит?

— Иногда. От духоты.

— Надо к врачу, наверно? — но он только недовольно двинул плечом.

Мы помолчали. Под ногами лежали строительные материалы и мешки, а рядом — железяки; к стене была примотана изолентой пепельница со скрученными тельцами окурков внутри. Я перестал подбирать, что бы сказать,

и просто отдался мыслям и чувствам о сегодняшнем дне. Раздражение после тяжёлой погрузки ещё ощущалось, но уже сменялось удовольствием от законченного большого дела. И было приятно, что стал сегодня причастен к важному делу и что загруженные нами “газели” с сотнями других машин поедут к измученным войной людям, и среди всех продуктов и лекарств — наш бронезилет, который, возможно, спасёт чью-то жизнь. Потом подумал о “ячеечных”: Щуке, Лёше-поэте, Юрке и Петьке, и даже о Паше. Ну, интересуются политикой, хотят быть коммунистами, почему нет. И может, так и надо, разделяю я убеждения Кургузова или нет, какая разница для тех людей, которые получают эту гуманитарку, и какая разница для меня — не в президенты же мне с этими убеждениями баллотироваться...

— Володя, ты ведь не служил в армии, да? А почему?

Я опять повернулся к Андрею и растерянно пожал плечами.

— По зрению негоден.

— Ты молодец, — неожиданно похвалил он меня. — А я вот заплатил военкомату. После института. Мать настояла, но я сам виноват, что согласился.

— Ну, это обычно дело, ничего страшного...

— Нет, страшно, — возразил он, ожесточаясь. — Теперь я ничего не умею, случись мне оказаться в бою, от меня никакой пользы не будет. Я даже не смогу проверить, трус я или нет. Меня должны были бы посадить в тюрьму за дезертирство. Да, сейчас не сажают, но я-то сам знаю, что виноват.

Он переживает после сегодняшнего разговора с Лёшей-поэтом о передовой, догадался я. И сразу неловко стало за наивность Андрея и за то, что он так близко к сердцу принимает чью-то беспечную болтовню.

— Вот мы живём здесь обычной жизнью, — продолжал Андрей, — не поднялись в 1993-ем году, хотя могли бы спасти страну. И сейчас не поднимаемся... единичные герои, а остальные — ничего. Мы все слабаки.

— Но вот помогаем, собираем гуманитарную помощь, — возразил я, не чтобы возразить, а скорее, чтобы подбодрить его.

— Это и женщины могут делать, — ответил Андрей недовольно. — А есть люди, которые едут туда, и я виноват и тоже должен ехать...

Я удивлённо повернулся к нему — это была неожиданная мысль, вырвавшаяся из привычного круга “ячеечных” тем. Краем глаза я посмотрел сквозь стекло: там, в комнате, Варя и Катя стояли рядом, а Катя взмахивала руками. На балкон почти не проникали звуки, но мне хотелось думать, что они сейчас обсуждают отношения Кати и Андрея или наши с Варей, и это было приятно, и хотелось скорее уйти с балкона в теплоту женских разговоров о чувствах и о церкви.

И потом, когда мы уже возвращались из библиотеки, я ещё вспоминал слова Андрея про Донбасс, но всё больше не само желание ехать и воевать, а то, как бы восприняла это Варя, если бы так сделал я. Я вглядывался в её лицо, пытаясь понять — стала бы она переживать или, наоборот, гордилась бы мною? Фантазировать на эту тему внезапно оказалось очень легко. Я останавливал себя, ругал, повторял: ну, и дурак же ты, спрятался бы от первого же взрыва, но от беззаботных ребяческих мыслей на душе становилось весело, и хотелось рисковать собой и даже погибать, но чтобы она обязательно знала — стояла бы в чёрном траурном платье, может, даже в слезах, а к ней подходили бы и утешали, а она плакала, но вместе с тем — и уважала бы меня, как никогда раньше. Хорошо, что мы остались вдвоём, думал я, и хорошо, что сегодня не пост, и не среда или пятница...

## 15

Мы вернулись в квартиру, я сразу шагнул в ванную и долго, с наслаждением, умывался после напряжённого дня. А когда вошёл в комнату, Варя сидела за компьютером и смотрела видео, на котором несколько мелких людских фигурок разбирали развалины жилого дома — одна его часть стояла нетронутой, можно было закрыть рукой половину экрана и увидеть обычную



старую пятиэтажку с однотонными синими балконами; другая же часть была аккуратно срезана, как ножом по маслу, превратившись в огромную бетонную грудку, по которой, как по горе, можно было забраться наверх, к последней уцелевшей стене. По развалинам двигались спасатели в синих комбинезонах и обычные мужики, одетые кто во что.

Я осторожно подсел рядом.

— Это сегодня?

Она кивнула.

Работали медленно, многие стояли, рассеянно оглядываясь, один парень присел на корточки на плиту, а когда её принялись сдвигать, торопливо отпрыгнул и начал толкать, как и все. Долго возились с толстой проволокой, на которой, как тяжёлые бусы, висели крупные бетонные куски. Ничего было не понять толком. Камера выхватывала среди развалин вещи — большую женскую сумку, настенные часы, пересечённые ровной трещиной. Неуклюжий уставший трактор за цепочку оттаскивал ярко-салатовую плиту, засыпанную мелкой крошкой, — под ней был человек, и его пытались достать, но камера опять перескочила. Машина “скорой помощи” с длинной украинской надписью на боку стояла, тревожно подрагивая огоньками мигалки на крыше. Потом показали осколок другой плиты, на котором кляксой запеклась кровь.

— Давай не будем смотреть, — попросил я.

— Нет, надо смотреть, — ответила она с остервенением. — Надо смотреть всё, что выкладывают. Чтобы потом не забыть, кто виноват.

Видео закончилось, и она запустила следующее, но вместо разрушенного дома на экране появился мужчина в яркой клетчатой рубашке с высунутым языком, который, танцуя, вертел в руках бургер — это началась реклама перед новым просмотром. Варя торопливо застучала по клавиатуре, сильно убавляя звук.

— Десять человек погибло, а может, и больше. А знаешь, что самое страшное? Везде предательство. Ростовские говорят — оружие пропало. Я даже после Одессы так не расстраивалась, там понятно — враги, а тут оказывается, что враги — свои. Они делают на этом деньги, представляешь? Выродки, они даже хуже бандеровцев...

Реклама кончилась, и на экране немым кино вспыхнули взрывы сквозь зелёную листву, воронки на взрыхлённом асфальте, кровавые тела. Кажется, это была одна из первых бомбардировок, не меньше месяца назад, мы тогда только начали встречаться — то ли это видео случайно попало вместе с сегодняшними, то ли Варя нарочно просматривала самые жуткие эпизоды, чтобы сильнее ожесточиться. И странным было, что этих взрывов и истекающих кровью людей уже нет, а разрушенный дом, показанный минуту назад, есть, и кто-то, может, ещё жив под обломками, и вот в эту самую секунду кричит и умирает, а мы здесь вполне можем перепутать одно с другим, и только даты под видео отличают для нас настоящее от прошлого.

Я повернулся к Варе и вдруг подумал, что ведь и она ещё недели две назад узнала о пропавшем оружии и переживала тогда, но не так сильно, как сейчас, или, может, держала это в себе, — и в этом несовпадении внезапно вспыхнувших человеческих эмоций и реального происшествия тоже было что-то неестественное.

— Не все же такие, как ты говоришь, — возразил я ей, раздосадованный этим несовпадением.

— Их много, много. Ты даже не представляешь, сколько врагов среди нас... Я ненавижу их всех, всех этих дубиных и просяковых... И этого труса Стрелкова. Их нельзя прощать, это грех — прощать таких!

— Давай прочитаем молитву, — сказала вдруг тихо и уверенно.

Я вскочил, обрадованный тем, что сейчас она хоть немного успокоится и станет мягкой и умиротворённой, как бывало с ней всегда, когда мы молились на ночь, засыпая после наших страстных воздержаний. Она поднялась медленно, переделась в ночную рубашку, сложила одежду в шкаф, взяла со стола несколько лежавших там вразнобой книг и поставила их на полку, по пути не забыла накрыть салфеткой клавиатуру ноутбука.

Встала прямо перед иконой, почти что лицо в лицо, а я неловко примостился рядом, втискиваясь между ней и краешком стола.

— Живый в помощи Вышнего, — начала она совсем не то, что мы читали обычно, — в крове Бога Небесного водворится.

Она продолжала дальше, ровным монотонным потоком, лишь иногда с напором выделяя отдельные слоги, как заколачивая деревянную крышку. Тяжёлые старославянские слова, вырываясь из неё, наполняли комнату и, не находя здесь свободного места, теснились уже вплотную, толкаясь.

— Оружием обыдет ты истина Его... стрелы, летящая во дни... беса полуденного...

Я испуганно стоял рядом, не зная, повторять ли мне за ней или нет. Иногда ещё мне хотелось остановить Варю, но я боялся, потому что тогда не только на этих далёких врагов, но и на меня обратился бы её гнев.

Наконец, слова закончились. Она ещё несколько секунд стояла в напряжённой тишине, которой уже не нужен был её голос, чтобы пульсировать ожесточённой молитвой. Повернулась, а я постарался отвести свой взгляд. Потом ушла в ванную, и я услышал, как кто-то методично чистит там зубы. Варя вернулась, мы выключили свет и легли на кровать. Я повернулся на бок и не мог пошевелиться, глядя на едва видный силуэт её головы и плеча.

Ночь постепенно скывала сном, но я не давал себе уснуть раньше Вари. А когда уже стало совсем невмоготу, поднялся, виновато улыбнулся её лицу в темноте. В ванной включил холодную воду на полный напор и сунул под него голову — брызги хлынули по стенам, зеркалу, потекло по плечам. А потом с силой вытерся, вернулся в кровать и ещё долго лежал в молочной темноте.

В ту ночь мне снился небольшой пятиэтажный дом в пару подъездов, который мы только что видели на записи, то ли ещё не разбомбленный, то ли чудесным образом воскресший из обломков. В маленьком городке, где он стоит, нет ни газа, ни воды — и мужики в синих спасательных костюмах с ведрами ходят к реке, а остальные развели костёр прямо на асфальте у входа в подъезд и по очереди пекут в золе картошку. В толпе я замечаю и ту женщину с маленькой белокурой девочкой, которую встречал пару недель назад у автобуса в Луганск, и щуплого мужчину в очках, и его мать, больную диабетом, для которой Вася Покровский передавал через меня инсулин. А с краю, за спинами, в куртке защитного цвета — Андрей. “Тоже здесь”, — удивляюсь я и не знаю, радоваться ли мне этому или печалиться. На скамейке расстелили белую скатерть с праздничной бахромой и нанесли из квартир, у кого что было, — соленья, половину копчёной курицы, яблоки. И вот измотанные непрерывным сидением в подвалах люди стоят, обступив костёр, передают друг другу печёную картошку, разливают по стаканам родниковую воду, и в эту секунду уже не думают о том, что было и что будет...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

### 16

Седьмого ноября Кургузов устраивал на Краснопресненской заставе большой митинг, посвящённый годовщине революции. Я приехал на “Баррикадную” за полчаса до начала. Уже сгустились ранние, почти зимние сумерки. Дул ледяной ветер. На выходе из метро люди инстинктивно съезживались и закрывали лица руками. Железные ограждения, отделяющие пространство будущего митинга, как пьяные, качались под порывами ветра, мерно позванивая, а за ними, у деревянной сцены, уже собиралась красно-чёрная толпа с флагами и транспарантами. У рамок металлоискателей бродили активисты движения и лихорадочно, почти наобум, протягивали прохожим политические газеты. Вокруг площади тёк яркий поток машин.

Наша “ячейка” договорилась встретиться не у памятника, а в “Шоколаднице” неподалёку, и когда я вошёл внутрь, меня мгновенно разморило от

тепла, запаха свежих булок и тесноты — множество людей спасалось здесь от непогоды, набившись, как в трюм корабля в надежде переждать шторм. За дальним столиком в углу я заметил своих. Были уже все, кроме Паши и Варвары, которые должны были сегодня выступать и потому изначально собирались в другом месте с Кургузовым и руководителями московских “ячеек”. В центре стола вместо кофе и десертов лежала большая куча пластиковых бейджиков и спутанных жёлтых верёвочек к ним, а Катя старательно отделяла одну верёвочку от другой, то и дело резко вырывая какую-нибудь из змеиного клубка. Увидев меня, она приветливо замахала ладонью и протянула приготовленный заранее бейджик. Андрей сидел рядом и расчерчивал на квадраты большой альбомный лист.

— А у меня “пресса” написано, это нормально? — недовольно спросил у Кати Влад Щука.

— Да, да, просто было распоряжение минимум троих от “ячейки”, и я тебя вписала тоже...

Беспрерывный шорох человеческих голосов мешался с навязчивой музыкой. Рядом со столиком протискивались люди. Андрей окликнул меня и протянул сбитую в ком и перетянутую спортивным жгутом красную куртку, а я принялась неловко переодеваться, прижимая к себе локти, чтобы никого не задеть.

— Кать, идём? — наконец, спросил кто-то, и все двинулись к выходу, протискиваясь, задевая по пути чужие плечи, неловко выставленные в проход стулья. Вывалились на холод и нестройной толпой зашагали вперёд, пересекли оживлённую дорогу, а потом муторно проходили через рамки металлоискателей, то и дело останавливаясь, дожидаясь, пока полицейские выпустят каждого следующего из своих цепких рук. А я шёл следом, подчиняясь общему движению, сильнее кутаясь в просторную куртку от хлеставшего со всех сторон шального ветра.

Наша колонна должна была располагаться в центре, почти прямо перед сценой. Мы построились в ряды по пять человек, как и было положено, и встали в ожидании начала. То и дело из наших ртов вырывались клубы пара, наверное, со стороны мы походили на войско маленьких драконов. Тяжёлое небо нависло над головами железных статуй памятника героям 1905-го года, осторожно выглядывающих из-за самодельной деревянной сцены. Я находился в третьем ряду, и мне хорошо видны были доски, из которых была сделана сцена, две стойки микрофонов и даже неровный отрез картонки, заботливо подложенный под них. Внизу, у лестницы на сцену, собирались люди. Среди них я заметил и Варю. На куртку ей падал мерцающий свет огромного прожектора, направленного на сцену, и ласковыми волнами гладил по плечу, а я даже залюбовался ею, как в те первые наши весенние встречи, когда мы ещё почти не были знакомы. А потом все быстро скрылось за сценой, и от воспоминаний и оставшейся пустоты мне стало тоскливо.

Чуть сзади построение нарушалось, и в ряду могло оказаться по шесть и даже семь человек. В узком прогале между нашей и соседней колонной притаилась маленькая старушка в белоснежном льняном платке, из-под которого выбивались пряди седых волос.

— В 1993-м году ходила я на Горбатый мост, вот там было страшно, родные мои, — тихо причитала она. — Вы не застали, вы ещё маленькие были, а мы-то видели всё... А я потом слегла с воспалением лёгких, и только ящик проклятый смотрела, Бог меня уберёт...

Вася Покровский, стоявший рядом, держа в руках свою меховую шапку, был на две головы выше, старательно наклонялся к ней и слушал, ему, видимо, было неудобно перебить — слова старушки тонули в монотонном шуме, и только иногда доносился до меня тоненький надтреснутый голосок.

Андрей был командиром нашей колонны, ходил перед первым рядом и взволнованно вглядывался в нас, желая найти изъян в каждом, а иногда ещё нервно поглядывал на часы в ожидании начала. Потом откуда-то справа по рядам передала приказ: красные куртки вперёд, кто в обычном — перейти в задние ряды, и я подумал: неплохо, что Андрей в последний момент нашёл для меня куртку — с крымского митинга прошёл уже почти год, и они

становились редкостью. Наконец, все заняли нужные места, ряды выровнялись. И уже почти перестали разговаривать друг с другом, лишь одобрительным гулом встречали любое шевеление возле сцены в предчувствии скорого начала.

Было слышно, как Вася Покровский тихо, но настойчиво говорит старушке:

— Мы выросли, бабушка.

— Нет, вы ещё не выросли, — отвечала та, и, обернувшись, я увидел, как сокрушённо качает она головой.

Наконец, быстрым, почти танцевальным шагом по ступенькам лестницы поднялся Кургузов, края его расстёгнутой, несмотря на холод, куртки то и дело распахивались, как крылья; шапку он держал в руке; красный клетчатый шарф был небрежно намотан вокруг шеи; в петлице подрагивала георгиевская лента с пятиконечной красной звездой. А когда встал у микрофона, его лицо — напряжённые глаза и сжатые губы — показали на огромном экране над сценой.

— Товарищи... — голос его, как обычно, хриплый, не сразу вырвался наружу, и пришлось повторить ещё раз, выгаливая его силой: — Товарищи... Мы собрались здесь в наш день, в день Великой Октябрьской социалистической революции... Тот день стал началом великих свершений, началом начал... В тот день мечта, сопровождавшая человека от самого истока его существования, впервые стала реальностью. Равенство и братство перестали быть сюжетом для утопических романов. Чудес не бывает, но чудо произошло... Я поздравляю вас, товарищи!

Ему ответили надрывно, изголодавшись по крику. Я тоже крикнул, но как-то неуверенно, стесняясь своего голоса, который звучал глухо, не сливаясь с общим хором. Кургузов дал нам возможность закончить, кивнул, довольный хорошо выполненной работой. Я впервые видел его близко: лицо, покрасневшие от холода щёки, глаза. Он говорил без бумажки, слова рождались будто бы сейчас, прямо в хрипящем горле, а потом, разрываясь, падали в толпу.

— Тогда, почти сто лет назад, большевики подхватили больное умирающее русское государство, разрушенное либералами и ввергнутое ими в пучину гражданской войны... И за двадцать лет превратили поставленную на колени страну в мощную индустриальную державу, способную победить сильнейшую армию на земле... Но дело было не только в особых организаторских талантах большевиков. Дело было в том, что русский народ сердцем принял учение о коммунизме. Принял потому, что оно было созвучно его тысячелетним мечтаниям о справедливости и о целостности...

Когда он замолкал на секунду, чтобы сглотнуть, было слышно, как совсем рядом кто-то монотонно колотит древком флага об асфальт и как сзади всё так же причитает старушка. Спереди и чуть справа от меня, скривив лицо, чему-то усмехался Влад Щукин. Андрей, стоявший перед первым рядом, иногда резко оборачивался и нервным взглядом обжигал всех.

— Русская миссия состоит в том, чтобы принести справедливость и целостность и подарить её человечеству, — Кургузов больше не напирал, а как бы ткал свою речь, чтобы теперь не воодушевление и не страсть, а мысль вела за собой собравшихся. — Это спасительный для человечества дар. И принести его в мир могут только русские в силу определённых их способностей, сформированных за тысячелетия. Они страшно дорого заплатили за это. Они лишили себя очень и очень многого. Но, принеся огромные жертвы, они сформировали в себе эту способность, — и эта его мысль вдруг понравилась мне. — Замысел по уничтожению русских созрел у тех, кто не хочет, чтобы русские подарили человечеству целостность. Врагу не нужно это. Абсолютному, метафизическому врагу. Враг хочет, чтобы человечество не получило никогда дар под названием целостность. И не перешло на новый уровень, а, напротив, низверглось в бездну...

Вегер ударял Кургузову прямо в лицо, искушая надеть шапку, неловко схваченную за край, но он заставлял себя терпеть, и это вызывало во мне уважение. Я стоял, слушая не столько сами его слова, сколько их пульсирующую

силу, и ощущал, что в них на самом деле есть правда — да, может, правда в стиле Вари или Андрея, но всё равно. Потом я оглядывался вокруг и думал: нет, не только из-за Вари я пришёл сюда, а потому, что сам чувствую необходимость быть с этими людьми, стоять в одном ряду, плечом к плечу, защищать наш город, как ополченцы в Донецке защищают свой. И пусть эта мысль была слишком возвышенной, и может, и не моей вовсе, но я уже не мог теперь думать иначе. И было радостно, оттого что вечером я расскажу об этих своих мыслях Вале, и это понравится ей, и, может, сегодня наконец-то мы будем счастливы.

— Но не внешние враги развалили нашу страну... внешние лишь способствовали этому. Наше великое государство разрушил вирус потребления, пошлого мещанства, попавший в советский строй, мы продали свои идеи за чечевичную похлёбку... Сначала, когда большинство из вас только-только родилось, номенклатура, бездарная элита способствовала разрушению государства. А пока вы росли, они добивали всё советское, пытаясь вытравить его из нашей памяти, обливая помоями... Но самое страшное, что тамошние — это даже не банальная пятая колонна, не агенты влияния, не креативный класс, соблазненный комфортом... Тамошние — это обычные люди, которые с унылым фанатизмом повторяют, что в их стране никогда не было и не будет ничего хорошего... Люди, для которых западничество — своего рода религия... духовное быдло, крысы, замороженные дудочкой флейтиста... Тамошние правят сейчас Россией. Но Россию мы им не отдадим!

“Россию им не отдадим, — нестройно поддержали его колонны, не сразу поверив, что настал черёд отвечать, но потом, собравшись, ударили мощным гулом: — Россию им не отдадим... Россию им не отдадим...” Я тоже крикнул, а в следующую секунду — ещё раз, сильнее, отчаяннее, больше не сдерживаясь, желая выкричать всю свою подавленную злость и боль.

— Запомните это, запишите в своём сердце, дорогие соратники, — сказал Кургузов вдруг вместо “товарищи”, и колонны вздрогнули, как большое ровное озеро под внезапным порывом ветра, отзываясь на это обращение. — В каждом человеке есть огромные силы. Но многие почему-то берегут их, не хотят использовать. Но берегут они их для могильных червей... Главная проблема нашего времени в том, что русские пребывают в нирване. Это можно назвать сном на бегу и, увы, сном без пробуждения, без решимости меняться. И пока это так, глобальная катастрофа неминуема. Это не значит, что нужно опускать руки, а значит, что эти силы необходимо активизировать — сегодня, сейчас. Либо мы успеем создать то, что окажет противодействие окончательному обрушению России. Либо нет, и тогда всё закончится в ближайшие годы...

— Вы, неспящие люди, должны знать: раньше, поодиночке, вы были слабыми, вы были белыми воронами, но теперь нас тысячи, и мы уже настоящая сила. Вместе мы новое войско, новая армия. Вместе мы — народная интеллигенция, которая создаёт организацию нового типа, организацию пробудившихся. Вместе мы построим русский мир... настоящий русский мир в интересах не только России, но и всего человечества, — ветер хлестнул ещё сильнее, распаясь в ответ, стараясь перебить его, так что слова Кургузова из колонок иногда действительно терялись, но их общее движение уже было не остановить: во всё колокольное горло звенели железные ограждения, каракатицей переливались огни от мерцающего экрана, даже памятники за сценой оживились. А Кургузов продолжал биться с взбудораженной стихией, выкрикивая в нашу огромную живую площадь:

— Что должно питать вас? Страсть! Страсть — это любовь в высшем её проявлении, это огонь, способный переплавлять людей, придавать им новые качества. Надо уяснить себе: если в тебе есть страсть, если ты готов платить по очень крупным счетам, ты можешь всё! Что такое платить по очень крупным счетам? Это работать по двенадцать часов в день, недополучать, лишать себя элементарных удовольствий. Если ты на это готов, то сможешь стать частью настоящей силы. И это не вопрос проектов или элитных игр. Это вопрос твоего таланта и твоей страсти. Россия ещё не капитулировала перед смертью. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи!

Я видел, что он был раскован и одновременно сосредоточен, им владело то сильнейшее вдохновение, которое позволяет быть свободным и в то же время с опытностью мастера рассчитывать, сколько секунд протянуть паузу: здесь — лёгкую синкопу, здесь — акцент, здесь — глубокий вдох, а на следующую фразу обрушиться всей мощью. Я понимал, что он уже не чувствует ни ветра, ни жгучего холода, всё было подавлено и побеждено, он ощущает только трагический дух истории, сопутствующий самым страшным и судьбоносным её моментам; этот дух наполнял сейчас сцену, площадь, его самого, человека, который в этот краткий миг стал во главе важнейших мировых процессов, — он ведёт историю вперёд, он творит будущее. Я вдруг вспомнил, как услышал однажды от кого-то, что Кургузов связан с властью и спецслужбами и что на самом деле все его слова — это игра, и подумал: не может быть, никак не может этого быть...

— Через неделю состоится наша ежегодная осенняя школа высших смыслов. Это важная часть нашего общего пробуждения, построения нашей организации. Мы работаем вместе круглогодично, но фундамент закладывается именно там, на школе! Две недели мы с вами будем жить бок о бок, заниматься политическим образованием, напиваться страстью, без которой невозможны великие свершения. Мы говорим: со школы вы вернётесь другими. Вы научитесь тому, чего не знаете. Вы сможете вести политическую войну. Вы станете центрами сосредоточения духа и воли, станете способными сломить ситуацию, дать отпор врагам и, в конце концов, спасти Россию...

Площадь окутали сумерки. Когда он сошёл со сцены, никто больше не торопился подняться туда. Никто не двигался. Мы стояли в тишине, и было слышно, как отрывисто хлопают флаги, будто из них выбивают пыль.

## 17

Промёрзшие и усталые, мы ввалились обратно в уютную “Шоколадницу” и, как тяжёлые спелые груши во время урагана, попадали на диванчики возле того же столика в углу, где ещё два часа назад Катя разбирала жёлтые верёвочки с бейджиками. Нас было меньше, остались только самые близкие, девять человек со мной и Варей. Хотелось уже вдоволь напиться горячего капучино и съесть чего-нибудь сытного. Я не стал дожидаться официанта и решил сразу идти к кассе за кофе.

— Тебе взять? — спросил у Вари, но она только покачала головой. — Ладно, я быстро.

И пока стоял у стойки, глядя, как снуют туда-сюда работники в бурых фартуках, как ловко управляются с замысловатым механизмом, аккуратно счищают кофейную труху с ситечек, вертят в руках кружку, вырисовывая карамельное сердечко на сливочной поверхности, меня постепенно размариовало, и я сам погружался в ту же мягкую молочную пену, как в сбитую перину. Потом схватил два горячих стаканчика, с силой сжимая их подушечками пальцев, потому что касаться голой ладонью картонной поверхности было невозможно, и весело, как эквилибрист, играючи исполняющий сложный номер, поспешил к столу.

Все ждали меня и молчали. Видимо, они уже сделали заказ, потому что лишь одно меню с синей кожаной обложкой сиротливо осталось лежать на краешке стола.

— Я купил тебе латте, — сказал я, застенчиво улыбаясь. Варя не протянула руку, и я поставил стаканчик перед ней.

Она сидела у стены, на дальнем диване между Пашей и Владом Щуккой; с левой стороны стола расположились вплотную друг к другу Лёша-потэт, Андрей и Катя; с правой — Юрка и Петька, оставив с краю местечко и для меня.

— Володя, мы хотели с тобой поговорить, — начал Андрей, пока я ещё устраивался.

Я кивнул беззаботно.

— Скажи, ты обещал в этот понедельник съездить на суд у Покровского? Ты говорил, тебе вроде бы близко?

— Да, — ответил я, ещё не чувствуя опасности. — Думал, будет время, но не смог.

— Просто смотри, мы рассчитывали на то, что ты поедешь, — продолжал он тоном доброжелательным, но в то же время настойчивым, — а теперь выяснилось, что репортажа из зала суда у нас нет.

Я удивлённо посмотрел на него. Летом я несколько раз ездил вместе с Васей Покровским на ювенальные суды по детям, которых хотели забрать из неблагополучных семей — Суть старалась защищать родителей в таких процессах, — но с тех пор съёмкой начали заниматься Юра и Петя, и я перестал в этом участвовать. А неделю назад мне действительно звонил Покровский, звал на суд в Реутов, но мне показалось это необязательным, а так просто, для компании.

— Скажем так, получилось, что мы проиграли это локальную войну. Это не так страшно, но всё-таки неприятно, — подвёл итог Андрей.

— Да я не занимаюсь ювеналкой, я не знал, что нужен репортаж, это вообще не моё дело, — возразил я ему.

— Нет, подожди, ну, это же связано с твоими убеждениями, — настаивал Андрей. — Ты же разделяешь принципы христианства, а в христианстве разве не семья — главная основа?

— Вообще-то нет, — я и сам удивился, как едко это вышло.

— Андрей имеет в виду, что силы, которые разрушают семью, уж точно против христианства и против русских, — мягко вступила Катя.

Я понимал, что Катя вовсе не собирается меня осуждать и только поддерживает Андрея, да и сам Андрей относится ко мне хорошо — просто им отчего-то важен этот злосчастный суд, на который я не пошёл. Но мне было неприятно. А ещё досадно, что Покровский не объяснил, что к чему, а потом не позвонил и не разобрался со мной лично, а рассказал другим. Хотя ситуация не казалась очень серьёзной — сейчас я скажу им, что всё понимаю, что целиком на их стороне в войне за семейные ценности, произошла ошибка — и всё сразу станет хорошо.

Но тут ледяным голосом вмешался Лёша-поэт:

— Короче, этим судом занимался Покровский, а значит, наша “ячейка”. Для тебя всё шуточки. Ты дал слово и не сдержал, значит, предал. Считай, бросил свой первый коктейль Молотова.

— Я не бросал никаких коктейлей!

— Ну, я же образно говорю.

Подошёл маленький официант с двумя полными подносами, ловкий, как я пять минут назад, и принялся выкладывать на стол картошку фри, напитки, несколько крупных гамбургеров. Щука дотянулся до своего стакана и принялся жадно заглатывать колу, так что набухли вены на его бычьем горле. Варя сидела, глядя перед собой. Кофе, который я принёс, она не отпила ни разу и даже не открыла крышку стакана — из маленькой дырочки тоненькой струйкой поднимался наверх пар, как дым от индейского костра над вигвамом. Она знала, что я виноват, а когда человек виноват, то справедливо его ругать. Но в то же время я был её парнем, а значит, во всём, в чём виноват я, виновата и она, и ей было стыдно за себя, а значит, она раздражалась сейчас на меня за свой стыд...

— Я никого не предавал. Это просто характер. Ты говоришь, что у меня плохой и слабый характер, да согласен, спасибо, я и сам это знаю, — и понял, что говорю это не для Андрея или Лёши, а для Вари, как бы продолжая наш с ней давний и обидный для меня спор.

— При чём тут характер? — разозлился Лёша. — Мы тебя не понимаем, ты какой-то скользкий. Скажи, какую политическую программу ты представляешь? Коммунист или нет? Ответь: да или нет? — и я мог бы поклясться, что они с Пашей украдкой переглянулись в этот момент.

— Разве можно сказать точно...

— Да чего ты выёживаешься, просто слушай, — резко вмешался Щука, и наступила нехорошая пустая тишина.

Молчали минут пять. Лёша кривился, желая ещё что-то сказать, но сдерживался. Щука монотонно стучал пачкой сигарет по столу, ожидая

конца сцены, чтобы выйти покурить. Юрка и Петька приветливо улыбались мне — дескать, косяк, да, но не принимай близко к сердцу, но мне были неприятны их весёлые улыбки, ведь это они сейчас должны заниматься съёмкой, а судят почему-то меня. Поднос с двумя большими брикетами с картошкой фри стоял в середине стола, и я с запоздалым сожалением подумал, что зря сразу пошёл к стойке за быстрым кофе, сделал бы заказ вместе со всеми и ел бы спокойно, а теперь уже нельзя как ни в чём не бывало запустить свою руку и захватить горячие хрустящие картофельные палочки — слишком вызывающим мог бы показаться этот жест после произошедшего.

В этот момент в углу завозился Паша, привлекая к себе внимание перед тем, как заговорить.

— Мы тебя не ругаем, это просто на будущее, задумайся, — начал он проникновенно, по-кошачьи. — Я тебя понимаю, я тоже был таким вот ветхим человеком... Но так нельзя, надо менять себя. Это дружеский совет.

Я ожидал, что он выскажет что-то обличительное, и сначала потерялся от его ласкового тона, но потом мне стало ещё противнее: он получался со всех сторон хорошим, а я выглядел неразумным новичком по сравнению с ним.

— Посмотри, что было бы, если бы все поступали, как ты, — продолжал он ещё вкрадчивее. — Чиновники отнимали бы у родителей детей, когда им это выгодно. Пойми, ювенальная юстиция и фашизм на Украине — связанные вещи. Надо сопротивляться комплексно. Нужно принять для себя решение, сделать выбор, с кем ты, — в конце он всё-таки сбился на пафосный тон.

— Но это уже слишком, давайте закончим, — вмешалась Катя возмущённо. И даже Андрей закивал, соглашаясь с ней.

Они ещё разговаривали о чём-то другом, забыв обо мне, а я сидел, потухший. Несколько раз натянуто улыбнулся Кате и Андрею, чтобы они не заподозрили, что я обижаюсь на них, но ничего не говорил, да и не слушал других. Думал, как бы нам сейчас не ехать домой вместе с Варей, и встрепенулся, когда услышал, что ей нужно ещё согласовать с кем-то списки “ячейки” на осеннюю школу, и только не знал, лично ли согласовать и надолго ли она поедет к этому кому-то, или будет это делать из дома по сети. Мои несъеденные картофельные перья остались разбросанными по подносу, как деревья после урагана.

Всей компанией мы вышли из кафе. На площади, где недавно закончился митинг, осталось ещё довольно много людей. Несколько человек грузили в машину тяжёлые колонки. Двое с камерой у сцены записывали запоздалое интервью с женщиной в красной куртке. Мы зачем-то остановились у входа в метро, я откинул капюшон и огляделся: как же хорошо было стоять здесь, на просторной площади, отдалённым от других завывающим историческим ветром, и наедине с самим собой переживать хлёсткие слова Кургузова, но в то же время ощущать себя единым с остальными, такими же, как ты, так же мечтающими менять историю, спасти страну. Я же не врал там, я искренне пытался быть с ними, за что же мне тогда всё это... Они просто не любят меня, подумал я с обидой, если бы любили, простили бы. И как мне быть с ними, и как же им всем быть со мной...

Я что-то отрывисто и неразборчиво сказал, стараясь не смотреть на Варю, и устремился к метро, запоздало понимая, что если Варе не надо куда-то ехать сверять списки, то мой побег выглядел для них совершенно нелепо. Эскалатор подхватил меня, неотвратимо отдаляя от момента, когда можно было ещё всё исправить; я соскользнул с последней ступеньки и ещё долго стоял у железной перегородки, мешая людям. Может, повернуть назад, отшутиться, сказать, что всё понимаю и раскаиваюсь? Ведь если я уеду, моя вина отпечатается на мне окончательно... Но не мог сделать шаг на соседний эскалатор.

В вагоне метро, угрюмо глядя в нервно вздрагивающую темноту за окном, почему-то вспомнил о родителях. Моя мать жила с отчимом, неплохим в общем-то человеком, который относился ко мне, как к сыну. Там, в уральском городке, их жизнь была размеренной и понятной: работа, огород и поездки к родственникам на юбилей и свадьбы детей. Я мог бы неожиданно приехать, и мне были бы рады, но вряд ли я поделился бы с ними тем, что



меня волновало. Я наперёд знал те простые рецепты, которые они дали бы мне, — или это было потому, что я никогда не пробовал воспользоваться ими? Ещё можно было бы поговорить с друзьями. Но Рома находился далеко, да и ему пришлось бы писать, потому что болтать о таком по скайпу было неловко. Оставался Борис, но к Варе и “ячейке” он относился предвзято. И только с Катей я мог бы поделиться, тем более у нас были похожие ситуации. Но Катя... тоже была в кафе, и тоже видела мой позор, и даже участвовала в нём. К тому же ей сейчас тоже было непросто с Андреем и “ячейкой”, и я бы только встревожил её...

Когда я вошёл в нашу с Варей съёмную квартиру, то на минуту остановился, вслушиваясь в пустоту. И почти сразу же сзади раздался скрежет ключа, и я мгновенно расстроился, что Варя вернулась так быстро и нельзя посидеть спокойно, отдыхая от всего этого.

Она молча вошла, положила на тумбу тяжёлую сумку, как немой упрёк, что я не догадался забрать её с собой, когда мы расходились. Принялась снимать сапоги. Я не понимал, в споре мы или нет, и потому не знал, что говорить.

— Сверила? — спросил я невнятно, а Варвара рассеянно подняла глаза:

— Что?

— Списки сверила?

Она кивнула недовольно и шагнула в ванную, а я зачем-то двинулся туда же, а когда вышла, проследовал за ней в комнату. Она стала с ожесточением переодеваться, не глядя на меня, — долго снимала через верх чёрную обтягивающую кофту, старательно выгибаясь, и было видно, как двигаются мышцы на животе. Кофта закрывала лицо, и оттого обнажённое тело выглядело и напоказ доступным, и равнодушным, не чувствующим моего взгляда.

Близости у нас не было уже почти месяц, да и до того близость вспыхивала лишь по случайному стечению обстоятельств — исчезла лихорадочная страстность, истощавшая её летом, когда Варя пыталась воздерживаться во время постов и постных дней. Теперь она притаилась и ждала от меня того же, а меня обижала эта затаённость и мысль о том, что к тем-то прошлым мужчинам её страсть не потухала никогда. И оттого мне ещё меньше хотелось прикасаться к ней, я и понимал, что это не мужское поведение, но ничего не мог с собой поделаться.

— Ты красивая, — сказал я сейчас, словно надеясь, что эта дурацкая похвала может её смягчить или привлечь.

— Спасибо, — ответила со спрессованной едкостью, посмотрела коротко и зло и мгновенно оказалась одетой и окончательно недоступной. Я смотрел на неё пристально и не мог понять, то ли она действительно равнодушна, то ли напоказ, а внутри бурлит ядовитый водоворот. И хотелось, чтобы водоворот, ведь это значило бы, что мы просто оба, как немые: и могли бы сказать друг другу что-то, пусть даже обидное, но искреннее, но у обоих из горла не вырывались слова.

Я ушёл на кухню и стал греть суп, но знал, что она не будет есть именно потому, что его разогрел я. А может, наоборот будет, чтобы показать, что ей неважно, я ли разогрел этот суп, но в любом случае — и то, и другое окажется плохо для нас. Но она не приходила, и я опять осторожно заглянул в ванную, откуда слышался звук воды. Варвара мыла сапоги, тщательно натирая края подошвы старой зубной щёткой и не оглядываясь на меня. Потом большой сухой тряпкой, бывшей моей рубахой, принялась вытирать их насухо. Я вернулся на кухню и снова остался один. Мне было горько от этого одиночества, но ещё сильнее — от слабости и вины.

Я не помнил точно, как получилось, что всё настолько натянулось между нами. В первое время Варя, оглушённая недоверчивой женской радостью, многое прощала мне, лишь бы я находился рядом и не обманул её. Но постепенно настоящая жизнь возвращалась в неё, и прежние правила мира, в котором каждый должен терпеть и работать, распространялись уже и на меня, а то, первое, оказывалось только начальным послаблением, и досадно ей было, что я не оценил его, неблагодарно решив, что так будет всегда. Если я мало занимался информационной войной или пропускал собрание

“ячейки”, она почти не упрекала меня, но становилась подавленной, не отвечала на расспросы, не смеялась шуткам. И в этом, кажется, не было позы, она не пыталась специально мучить меня, просто сразу оказывалась как будто виноватой за меня и прожигала себя этой виной.

Проходило время, мы по-прежнему смотрели каждый день новости, по-прежнему ходили на собрания, но события на Донбассе не разворачивались уже так стремительно, как раньше, ополченцы не оставляли и не захватывали крупные населённые пункты, объявили перемирие, линия фронта замерла. Все вокруг, даже люди из “ячейки”, стали постепенно уставать от надрывного состояния войны. Уставала и Варя, но вместе с тем злилась на себя и других за эту усталость. Бывали вечера, когда она приходила, накрученная, с силой бросала на пол сумку и принималась рассказывать, какие отвратительные и слабые люди вокруг, даже в соседних “ячейках”, даже в нашей, как они не держат своего слова или врут, как мало делают. За такой вечер она могла раза два-три сходить в ванную — ей хотелось отмыться от их душевной грязи, словно бы прилипавшей к ней на самом деле. Я соглашался и поддерживал её негодование, и это сблизало нас в тот момент. Но потом, через день-два, сам оказывался в чём-то виноват, и тогда мне казалось, что она идёт сейчас мыться, чтобы очиститься от прикосновений ко мне...

Неожиданно Варвара сама вошла на кухню.

— У меня есть предложение. Давай помолимся, чтоб поездка на школу пошла тебе на пользу, и ты смог отказаться от себя.

Она очень редко заговаривала со мной во время ссор, и это не несло нам ничего хорошего. Я помнил о завтрашней поездке в Васильевское на две недели и даже ждал её с интересом, но теперь, после разговора в кафе и вот этих Вариных слов, школа представлялась мне курсом лечения в больнице или тюремным заключением.

— Так проблема во мне?

— А в ком? — она любила так вот спрашивать, как если бы моя вина была очевидна. Выходило, что она права, но от этой правоты было противно.

— Разве я хуже других? Это Юра должен был снимать, а Покровский ничего не объяснил...

— Ты никак не можешь понять, — начала она, проговаривая слова чётко и внятно, — нельзя смотреть на других. Есть идеальное, абсолютно-правильное поведение... ты должен сравнивать себя с идеалом. Да, мы часто поступаем не так, но в таком случае ты должен ощущать, что не прав, что поступил плохо... и должен отдавать себе в этом отчёт. Вот, теперь ты даже молиться не хочешь, это показатель. Ты разве не видишь, что с тобой происходит?

— Ты должен, должен! Почему я всё время должен?

— Потому что обещал, и тебя никто не тянул за язык.

— Я делаю, что обещал. Сходил на митинг, еду на школу.

— Это из-под палки. А нужно всё делать с любовью, — это было её фирменное выражение, после которого слова теряли смысл: нечего было доказывать, ничего уже не зависело от меня.

— Я тебя и так люблю, — сказал я, пытаюсь поймать краешек ускользающей нити.

— Ты не меня любишь. Всё самое главное в моей жизни — для тебя пустой звук.

Она отошла к раковине и принялась мыть тарелки и аккуратно ставить их в сушилку, висевшую рядом. Тарелки были одинаковые, с крупными розочками, мы покупали их летом, когда переехали на эту квартиру. На Варе был домашний халат, который нравился мне раньше. Он скрыл её тело, которое полчаса назад я мог хотеть, и остался только домашний халат, и наша общая кухня, где журчала вода, и тарелки, ровным рядом ложившиеся в сушилку, — как иллюзия того, что у меня есть свой дом и любимая женщина, и всё у нас хорошо. Вот только к самой этой женщине я, кажется, действительно ничего не чувствовал...

Постепенно Варвара стала уходить в себя всё чаще, уже без видимого повода, и я не мог угадать, когда это случится. При любом подозрении ходил

по квартире осторожно, боялся заговорить — вдруг что-то скажу не так, подавляя себя необходимостью заслужить её прощение или разжалобить. И уж конечно, нельзя было даже надеяться на близость в такие дни, хотя в этом был и выход: лишив меня близости, она чувствовала, что я понёс необходимое наказание, и опять примирялась со мной, словно из копилки моих грехов вынимали один за время терпения. Безопасно было ездить по воскресеньям в храм: во время службы достаточно было расслабиться и просто стоять, думая, о чём хочешь, и это засчитывалось как праведное дело. В храме мне обычно становилось жаль её и себя, и я выходил, расстроенный, а Варвара принимала это за восприимчивость к молитвам и очень ценила, так что вечер воскресенья был обычно самым тёплым временем нашего недельного круга. Но начиналась неделя, ждала меня новая порция видео, обязательных к просмотру, газеты, обязательные к прочтению, в среду — собрание “ячейки”, в пятницу — общее московское собрание, а там — чёрные и белые люди, одних нужно было вместе с ней презирать, других слушаться беспрекословно.

Я знал, что сам виноват, что не в силах поддерживать ту степень напряжения собственной жизни, которую каким-то образом поддерживает она, и что во мне мало той самой страсти, о которой говорит Кургузов, и что, может, именно поэтому у меня так мало страсти к ней как к женщине, но ничего не мог с собой поделать. Я и хотел бы стать крепким и уверенным в себе, и может быть, если бы я пробудился, как мечтали люди из “ячейки”, то смог бы и Варю вырвать из её ада. Но если бы я был, как они, то и не хотел бы вырываться, растерянно поморщился я, не зная, что же это значит и о чём же мне думать дальше...

Вдруг Варвара шагнула ко мне и провела рукой по плечу, внимательно глядя в моё лицо, а я с ужасом смотрел на неё в ответ. Почему, почему она теперь сама подошла ко мне, лихорадочно думал я, неужели потому, что я напомнил, что был на митинге и завтра еду на школу, или потому, что сказал, что люблю, а она холодно ответила. Или ей просто плохо от нашей ссоры. Но нельзя было показать, что я не рад этой внезапной ласке, чтобы она не расстроилась и вдруг не решила, что я гоню её, — и тогда я осторожно притянул Варвару к себе. А она прижалась губами к моим губам и даже не целовала, просто приникла и тяжело и сильно вздыхала, словно бы хотела вытянуть из меня воздух.

Я поддался, опять боясь не оправдать её надежд, и повалил её на узкий кухонный диван, как если бы испытывал сильную похоть, но неловко прижал рукой волосы, отчего лицо её вздрогнуло.

— Прости. Больно? — спросил я виновато, но она ещё сильнее содрогнулась и нетерпеливо встряхнула головой:

— Нет, нет, давай...

И это нетерпение сначала сковало меня (опять я сделал что-то не так), но потом засов внутри расцепился: я мог быть уверен в её желании, а значит, и сам имел право распахнуть равнодушный халат и остаться наедине с телом, которое так притягивало меня недавно, и нельзя было обвинить меня в том, что я ласкаю его, ведь это же потому, что я хочу её, а хочу, наверное, потому что люблю...

Варвара закрыла глаза и лежала так до конца. А в последний раз коротко дёрнувшись, подалась вперёд, чтобы поцеловать меня в грудь, но не дотянулась, а лишь провела по ней кончиком носа. И этот жест, неловкий, произвольный, уже ненужный ей для достижения своего, почему-то тронул меня. Всё ещё продолжалось, она лежала, слегка улыбаясь, глядя на меня, а я думал: неужели же мне трудно поехать с ней в Васильевское, если она так хочет. И я даже понимал, что мысли мои чересчур наивны и что я нарочно нагнетаю собственное воодушевление ими; мне лишь хотелось бы чувствовать так и на этом порыве преодолевать все трудности. Но я понимал и эту наивность, а оттого нарочитые мысли мои становились тяжелее, и уже были не просто сентиментальным бредом и могли даже не выветриться после моего последнего движения.

Мы лежали рядом, неуклюже скрючившись на неудобном диване, я запрокинул руку, чтобы оставить больше места для наших тел, а Варя горячо дышала мне в локоть и иногда так же бесцельно и приятно целовала его.

— Я бы не выдержала ещё две недели, — сказала она весело. Я удивился, но потом понял, что она имеет в виду: на школе парни и девушки будут жить раздельно. И обнял её, потому что мне показалось, что я бы тоже не выдержал...

Потом мы ели тот же суп; как и много раз до этого, ложились спать; а наутро пролился в окно тот же запоздалый и уставший за полгода рассвет. Варя спала непривычно безмятежно. Под одеялом было горячо от её раскалённого сном тела, а снаружи — холодно, но, выбравшись и замёрзнув, я не забирался обратно, чтобы не потревожить её. Иногда ещё поворачивал голову и следил, как от Вариного дыхания кольшется нечаянно воткнувшийся в одеяло волос, похожий на чёртика из проволоки. Озорной чёртик, он сопротивлялся смешно и играючи, ему было приятно, что Варя дует на него. Я опять пытался рассуждать о том, как просто отдать две недели жизни, а может, и всю свою жизнь человеку, который тебя любит, и Родине, которую любишь сам, но проговаривал я это с всё большим надрывом, отчаянно убеждая себя, не давая себе усомниться в спасительной окончательности такого вывода, как нащупанного дна под ногами. Осторожно просунул под одеяло ступню, но только на чуть-чуть, и жара не чувствовал, а только остывающее тепло простыни под ногой...

— Я написала тебе доклад, — услышал я её бодрый голос, когда разлил глаза. — Только надо его выучить.

— Спасибо, — виновато улыбнулся я и приподнялся с кровати, сонно наблюдая, как Варя стремительно ходит по комнате, занятая сбором книг, распечатанных листов, аптечки, одежды, и с увлечением перебирает мои вещи.

— В дорогу наденем вот эту, шерстяную, там будет холодно. А рубашка праздничная, её можно на открытие...

Я медленно оделся и пошёл в ванную, но на полпути остановился и сел за компьютер, принялся бесцельно “кликать” на случайные страницы. Варя не беспокоила меня, иногда ещё на секунду присаживалась на кровать, принося ко мне, а потом торопилась дальше. И вроде бы всё было хорошо, и, кажется, мы всё-таки любили друг друга, но мне досадно было от её радости и от того, что ей так важна будущая школа у Кургузова, а мне нет, и даже долгожданная близость ничего не изменила между нами. Почему же я так не хочу туда ехать теперь, неужели же исключительно от обиды, но ведь это же глупо! Если нужно ехать, то нужно, если они правильно верят и правильно говорят, и я верю в то же самое, то я должен быть с ними.

На стене, над нашим столом, по-прежнему висел карандашный рисунок с человеком, поднявшим своё чёрное сердце. На него так хотели быть похожими Паша и все остальные. Он висел так же, как в Вариной комнате в общежитии, когда я приходил туда первый раз. И я подумал, что пройдёт ещё полгода, и ничего не изменится, и мы не станем ближе друг к другу, может, только иногда, вдруг устав от одиночества, всплеском приникнем к человеку рядом, напьёмся его теплотой и, утолив жажду, опять откинемся на безопасное расстояние, чтобы в который раз осознать, что каждый из нас — один, и не понять нам человека рядом, и не быть понятым им никогда. И как же это они в “ячейке” хотят сделать счастливыми всех, установить справедливость для всех, если даже один, вроде бы так сильно любящий человек не может понять и осчастливить другого, вроде бы любимого...

— Я заварю зверобой? Он для работоспособности, будем пить в поезде, — Варя заглянула в комнату и принялась доставать из ящичка в шкафу пузатый термос.

Я кивал послушно и обречённо. И чтобы она не догадалась, что мучает меня сейчас, подошёл к ней сзади, взял руками за острые локотки и поцеловал в голову — и задохнулся от травяного запаха её волос и собственного отчаяния.

Встречались с остальными на “Киевской”-кольцевой. Стояли в центре зала, перегорев проход, со здоровенными рюкзаками, как туристы. Но самый большой был у Щуки.

— Что это там у тебя? — со сдержанным восхищением спросил Андрей и похлопал по боковой кармашку, но там неожиданно звякнули вразнобой стеклянные бутылки.

— Надеюсь, это газировка, — строго посмотрел на него Андрей, и не понять было, то ли он серьёзно, то ли строгость его так, для проформы. — Ты ж знаешь, Владленыч категорически против спиртного на школе.

— Конечно, будем веселиться от газировки, — усмехнулся Шука, как над маленьким. Андрей оглянулся на Пашу, тот подмигнул и небрежно махнул рукой.

Они стояли и ждали Юру с Петей, завязался весёлый разговор, и Варя смеялась, раскрасневшись от предвкушения поездки, как лыжник перед спуском с крутой горки, красивая и особенно чужая. У меня оставалось ещё минут двадцать, чтобы решить, еду ли я в Васильевское или всё-таки остаюсь.

У вагона стоял Вася Покровский с кем-то невысоким — сначала я подумал, что это его девушка, но, приблизившись, увидел женщину с некрасивым рыхлым лицом, видимо, мать.

— Варвара Сергеевна, пожалуйста, — отчаянно подалась та к нам на встречу. — Вася говорит, телефон там не ловит, но какие-то средства связи-то будут? — она всё время всхлипывала.

— Дайте мне свой номер, я лично отправлю сообщение, что всё хорошо, — ответила Варя вежливо, но с той равнодушной нотой в голосе, по которой можно было понять, как она относится к такого рода словам.

— Секта какая-то, за что же нам такое наказание, — не удержалась женщина. — Вы одна здесь нормальная, — а Варя только нахмурилась и молча ждала, когда же та найдёт у себя в большой рыночной сумке листочек и ручку. Мне было неприятно слышать эти нервные слова, и я всё-таки встал в очередь на проверку паспортов.

В вагоне оказалось ужасно душно. Я машинально двигался, отсчитывая места. На моём уже расположились Юра с Петей и рассматривали цветастую картонную коробку.

— Приставка, ты дурак, Петь? Ты куда едешь, там, может, и электричества нет...

Громыхая, ввалился в вагон Покровский, и швырнул вещи на боковую полку рядом с нами.

— Отдохну хоть от женских слёз, — бросил он в сердцах, а потом застеснялся этих вырвавшихся слов и отвернулся к окну — благо оно выходило не на перрон.

— Да быстро пройдут две недели, — где-то в глубине вагона разговаривали двое парней из другой московской “ячейки”, я видел их летом в пункте приёма гуманитарной помощи. — Вот спортивные дни — это была жесьть, бегаешь по десять километров по морозу...

Я медленно опустился на полку, положил к себе на колени сумку, как будто ехать предстояло в общем вагоне, а вещи обязательно нужно было держать при себе, и ощутил, как бесцельно проходят мгновения, которые нужно было потратить, чтобы, наконец, собраться с мыслями, понять, да или нет, — и вдруг бросился бежать.

С Варей мы столкнулся в тамбуре.

— Почему вещи не оставил? — спросила она недовольно, разозлённая разговором с матерью Покровского, — наверное, подумала, что я решил подышать свежим воздухом перед отправлением.

Я взял её за рукав и задержал в проходе, за ней остановились Андрей и Катя, а за ними — кто-то ещё, на улице, возле проводницы.

— Я не поеду... не могу, прости, в следующий раз, — бормотал я.

Варя смотрела на меня с каменным лицом, и только губы искривлялись. А потом оттолкнула и устремилась в вагон.

— Ну, ты даёшь, Вова, — без упрёка, скорее, с удивлённым сочувствием хлопнул меня по плечу Андрей.

— Подожди, подожди, точно? — отмахнулась от него Катя.

Я коротко кивнул и шагнул на перрон. Некрасивая женщина стояла, вглядываясь в окно вагона, и слёзы текли у неё по всему лицу. Я шёл вдоль вагонов, а навстречу рвались люди, с сумками и без, по двое, по трое, а я старался не смотреть на них, и ощущал себя настолько слабым, что, толкни меня кто из прохожих, не оказал бы ему никакого сопротивления, просто

отскочил бы и упал, согнувшись от боли. На вокзале люди окружили меня плотнее, а потом распахнулись тяжёлые деревянные двери, и я вырвался на огромную площадь. Я знал, что виноват, что, может, буду потом сильно жалеть об этом, но вокруг был только свежий головокружительный воздух...

## 18

За две недели, пока длилась осенняя школа, мы ни разу не созвонились, а потом Варя не приехала домой, и я понял, что сама по себе наша ссора не рассосётся и всё уже не будет таким, как прежде. А на следующий день после окончания школы мы встретились с Катей, и она рассказала мне, что случилось там.

Когда я вышел из вагона, Варя долго сидела неподвижно, не снимая куртки, и только ожесточённо царапала ручку сумки.

— Мне не везёт с мужчинами, — тихо сказала она Кате. — Сама виновата, это Бог меня наказывает.

Поднялась и начала застилать постель на верхней полке. Потом легла лицом к стене и уже не поворачивалась больше. А Катя жалела, что не удалось разговорить её и выяснить больше про нашу ссору...

Катя первый раз была в Васильевском, и сначала обстановка этого места поглотила её мысли целиком. Раньше она представляла себе всё в виде дорогого пансионата в ближайшем Подмосковье, где они отмечали защиту диплома с однокурсниками, а иногда ещё — в виде огромной палатки на запылённой снегом поляне. Но в реальности было ни то, ни другое: участники школы жили в помещении бывшего пионерского лагеря, который находился рядом с заводом, размещались в комнатах по четыре человека, и только у руководителей были маленькие одноместные закутки, по-видимому, раньше предназначенные для вожатых. Топили плохо, особенно в первый день; промёрзшие стены никак не хотели отогреваться, и все ходили и даже спали в куртках. На корпус оказались всего две душевые кабинки, где приходилось стоять прямо на ледяном полу, выложенном советской коричневой плиткой, а вода текла то едва тёплая, то вдруг обжигала кипятком. Но хуже всего Кате было оттого, что приходилось жить отдельно от Андрея. Впрочем, их поселили с Варей, это немного спасало. Кроме них, в комнате жили ещё две нервные девушки, которые постоянно жаловались на условия — выпрашивали себе вторые одеяла, обсуждали между собой, как добраться до города и найти гостиницу, чтобы помыться. Когда они куда-то ушли, Варя сказала про них злое, а Катя, конечно же, поддержала её, а потом стала делать вид, что ей, как и Варе, нравится жить поспартански.

Утро начиналось с приглушённого звука рожка из хрипящего радио, спрятавшегося где-то под потолком. А через минуту в коридоре раздавались всё приближающиеся глухие удары в двери — это дежурный будил отряд на зарядку. Спросонья все выходили на широкую асфальтовую площадку, а там высокий мужчина в военной форме зычно раздавал приказы, и тогда они поворачивались направо-налево, прыгали на землю, отжимались, потом опять вставали и бежали друг за другом — уже не пионерский лагерь, а, скорее, армия. Даже парням было тяжело, но для Кати всё напоминало игру, и она довольно легко приняла её правила, потому что всегда мечтала заставить себя каждый день заниматься спортом.

Потом начиналось то, что Кургузов называл политической учёбой. Все занятия проходили в здании завода: лекции — в просторной комнате с высокими потолками и сетчатыми решётками на окнах, похожей на спортзал, а семинары — в небольших подсобных помещениях за старыми массивными партами, стол и лавка которых были вылеплены из одного куска и покрыты мутно-голубой краской. Занятия длились по полтора часа, как в университете, а потом нужно было сразу торопиться на следующее согласно расписанию, которое выдали в первый день. У них с Андреем оказались разные предметы, и Катя сильно переживала из-за этого и стремилась увидеться с ним хотя бы на “переменах”. То, что рассказывали преподаватели о современном

коммунизме, или об украинстве, или о борьбе Кургузова с либералами, — Катя слушала мельком, сквозь свои тревожные мысли; в поисках нужной аудитории путалась в закоулках завода и то и дело выходила на внутренний двор к приземистому зданию кузни, из которой доносились размеренные лихие удары молота. В кузне работали высокие жилистые парни, вышедшие словно бы из советских фильмов. Двое-трое из них всегда стояли во дворе и курили, весело поглядывая в сторону Кати, но не позволяя себе ни грубоватой шутки, ни даже пристального взгляда в сторону выскочившей откуда-то девушки, раскрасневшейся от волнения и растерянно озиравшей вокруг.

Она боялась, что в Васильевском ей будет тяжело, но оказалось в общем-то терпимо, а на занятиях — ничего особенного, кроме обычной одержимости коммунистическими идеями и нагнетанием истерики по любому поводу. А иногда становилось даже интересно, например, когда однажды все отправились в поход на два дня через лес по соседним деревням. Кате нравилось, что в походе можно было идти вместе со всеми, но в то же время думать про себя, и никто не мог бы заподозрить, что ты занимаешься чем-то предосудительным. Лёгкая дребезжащая тревога в душе не проходила и на природе, даже когда Андрей находился рядом, но тревога эта была привычная, с ней можно было жить и иногда даже чувствовать себя счастливой. В такие дни можно было вспомнить, что осталось не так много времени до конца школы, а дома в нижнем ящике комода лежит приготовленное Андреем золотое кольцо, которое он уже давно купил, но, видимо, всё не решается подарить и сказать те слова, которых она давно ждёт от него, и вроде уже не так радостно будет это предложение, но ведь будет же, и никакой Кургузов не сможет ему помешать.

Катя всегда воспринимала Сути как нечто чужое, в котором, тем не менее, можно найти хорошие черты, например, их настойчивую защиту семьи, и использовать это в разговорах с Андреем, чтобы убедить его в чём-то своём. Её деятельность в Сути ограничивалась ведением группы в соцсетях, посвящённой советским плакатам, — это позволяло ей быть свободной и вроде как делать полезное в их глазах дело. К тому же советские плакаты напоминали ей о родителях и о собственном, уже не совсем советском детстве, в них была приятная ностальгия по счастью, домашнему очагу, детям. И хотя детей ни у кого из Северной “ячейки” ещё не было, они с Андреем иногда говорили о ребёнке, и он был даже не против, когда-нибудь потом, после окончательной победы над врагом, и это малое, в чём удавалось сойтись при всех различиях и противоречиях, согревало Катю и давало ей силы.

Её не подчиняли слова Кургузова, она ничего в них не понимала и понимать не хотела, но в весёлости политического кружка было что-то приятное, и тогда деятельность Сути могла даже на время увлечь её, как ребёнка увлекает игра с другими детьми во дворе, и она могла забыть и задержаться там допоздна, и даже стать заводилой в игре, распорядиться и с удивлением видеть, как эти дети иногда начинают слушать её. Кате нравилась Варя, она могла поговорить с Васей Покровским, а иногда даже с Лёшей-поэтом, он был, конечно, смешной, но в общем-то добрый. И даже к Паше с его возвышенными, но невесомыми словами, которые падали, как бисер, она уже почти привыкла. Но потом возвращалась домой и вдруг вспоминала, что все эти дети заражены вирусом кургузовских слов, и её Андрей после каждой такой игры заболевает ещё сильнее, и это расстраивало её, и тогда злость подступала к горлу, и хотелось ехидничать и ругаться. Однако раз и навсегда увести Андрея из чужого двора не удавалось, и потому приходилось играть с ними опять и опять... Они вернулись из похода, и начались изматывающие занятия — проклятые либералы, которых нужно было победить, коммунисты, которые всегда всё делали правильно, и Катя принималась исполнять свою роль весёлой девушки, не задающей лишних вопросов, а скользящей по жизни, каждому готовой улыбнуться и с каждым поболтать.

В один из дней Кате показалось, что у неё задержка. Она не сказала об этом Андрею, но весь день носила в себе затаённую мысль. Вместо занятий их собрали в тот день в большом зале и показывали документальный фильм про трёх ребят из Сути, которые отправились воевать на Донбасс и погибли

во время летнего наступления украинской армии. Большинство приехавших на школу уже видели этот фильм, да и Катя тоже: его показывали на собраниях “ячейки” ещё пару месяцев назад. Но Кургузов специально привёз из Москвы проектор и железный тубус, похожий на гранатомёт, из которого вытягивалось белое полотно экрана, чтобы ещё раз напитать сутевцев ненавистью к врагам. Он сам пошёл за пульт, и в тёмном зале, заглушая закадровый голос, принимался говорить резко, как стрелял очередями: мы должны запомнить эти лица... мы должны жить так, чтобы не стыдно было перед героями... На экране крупным планом показали рваную рану, ошмётки человеческого мяса, запёкшуюся кровь, и Катя почувствовала, что её сейчас стошнит прямо под ноги. Потом включили свет, и Кургузов шёл от задних рядов к передним, продолжая говорить, а Катя видела, как эта уродливая рана всё ещё отпечатана на белом полотне экрана, уж использованного и ненужного, сиротливо оставленного висеть на дальней стене. Кургузов стоял невероятно близко, в полуметре от её стула — Катя ощущала, как трясутся его руки в приступе ярости, как от надрывного голоса дрожат под потолком сетки на окнах, и тогда вдруг подумала, что настоящий план Кургузова — не Андрея забрать на Украину, а вырастить её ребёнка в “ячейке”, зомбировать его ежедневным “надо отомстить, надо погибнуть”, а потом вырвать из Катиных рук, чтобы он пошёл на какую-то новую войну и лежал бы вот так вот, перемолотый на бойне, её красивый русский мальчик...

В тот вечер была её очередь дежурить на кухне. В тесном сыром помещении бестолково толпились несколько девушек, не зная, за что же им браться, пока ответственная за питание ещё не подошла. Стоял сильный запах газа. И дышать было тяжело, и сильно дуло из открытой в ноябрьский мороз форточки. Катя нарочно протиснулась подальше от окна к большой раковине и принялась отмывать накопившуюся после ужина посуду.

Пришла ответственная, раздала задания, вдруг всё закрутилось. Две Катинины соседки должны были чистить громоздкую плиту, напоминавшую промышленный станок, на которой стояли несколько замасленных чанов. Но, бестолково помявшись рядом и поворчав, они вскоре побросали губки и ушли. Постепенно на кухне не осталось никого — кто-то отправился на работу в другой блок, кто-то просто сбежал, и только Катя продолжала машинально мыть тарелку за тарелкой. Она пыталась понять, как сказать Андрею о беременности, и ей было обидно от того, что она сама ещё ребёнок, забытый на чужой кухне, и о ней самой ещё нужно заботиться, а вместо этого она стоит сейчас и подбирает слова, которые можно сказать Андрею, чтобы он всё правильно воспринял, хотя это не она, а он должен был бы поддерживать её в этот момент. И она уже злилась на Андрея за его заочную беспомощность.

Рядом лежали уже отмытые ею ножи с широкими лезвиями, какие в мультфильмах обычно принадлежат разбойникам. Катя взяла один из них и несколько раз ожесточенно ударила в алюминиевую поверхность раковины. Та глухо и обиженно звякнула, перебивая шум воды. Катя повернула крупный шестигранник крана и услышала, как тихо было вокруг и внутри неё. Осторожно, ещё с опаской, шагнула к двери в коридор, отворила тяжёлую створку. А потом вышла из кухни и направилась к девушке, назначенной кастиляншей их корпуса, искать второе одеяло для себя.

Но по дороге опять заплутала в коридорах завода и случайно наткнулась на открытую дверь в небольшую комнату, похожую на школьную учительскую, со стеллажами папок, книг и журналов и с овальным столом посередине, на котором стояли остатки недавнего скудного чаепития — чашки, печенье, смятые фантики от конфет. Она заглянула внутрь, надеясь спросить у кого-нибудь, где выход, и вдруг почувствовала близкое движение — справа за дверью спиной к ней стоял человек в пиджаке Кургузова и смотрел в узкое ажурное зеркало перед собой, изредка вздрагивая руками, пытаясь размахивать ими, но не чувствуя сил. Катя испуганно отпрянула назад и замерла в дверях, боясь, что тот услышит её убегающие шаги, краем глаза продолжая наблюдать сквозь щель в двери, не сошёл ли он со своего места. И действительно, вскоре Кургузов повернулся, приблизился к краю стола, бумажной салфеткой брезгливо вытер руки, не замечая девушки, и снова



пропал за дверью, и только слышно было, как несколько раз скрипнули железные пружины. А когда через минуту Катя осмелилась чуть податься вперёд, она смогла разглядеть, что Кургузов лежит на диване в дальнем углу, на спине, прикрыв глаза, и тяжело и глухо дышит во сне. Тогда Катя сделала несколько кошачьих шагов назад и скорее рванула прочь...

А вечером, когда задержка не подтвердилась, ей стало легче, и она опять превратилась в ту же девочку, что и раньше, и не было напряжённого дня, и только шершавые от воды ладони, как рыбой чешуёй покрытые, напоминали о том, что Катя думала и чувствовала во время дежурства на кухне и в комнате, похожей на учительскую. В тот день перед сном им устроили неформальное общение в большом зале — один из первых заместителей Кургузова долго говорил о важности завязывания горизонтальных связей между регионами, призывал знакомиться и общаться, но, в конце концов, все всё равно разбились по привычным компаниям. “Ячейка” Северного округа собралась во дворе у входа в кузню, а Паша даже вытащил оттуда большой молот — ему нравилось покачивать его в руках, словно был древним викингом, поигрывающим страшным оружием, восседая на покосившейся деревянной тумбе без дверцы, в утробу которой кузнецы обычно сбрасывали окурки и пустые пачки от сигарет.

Паша жил в комнате воспитателей и постоянно шутил, что на этой школе будет всех воспитывать. А сегодня увлечённо рассказывал о советском фильме, где учёный с помощью гипноза внушал молодому художнику, что тот Репин, и художник действительно начинал рисовать лучше, чем раньше. И Катя вроде бы и недовольна была его всегдашней болтовнёй, но уже устала раздражаться, приникла к Андрею и чувствовала крепкий и родной запах любимого человека. И все остальные были веселее, чем обычно, может, их тоже угнетал фильм про погибших, так что хотелось немного отдохнуть и расслабиться.

— Научусь гипнозу и буду выводить нас на новый уровень, — довольно обещал Паша, а ребята с готовностью улыбались его шуткам. — Я уж купил себе книжку, там, правда, западные методики. Советские-то труды засекречены! Вот прорваться бы к ним, и тогда нас уже не остановить!

— Глупость всё это, — вдруг отчётливо произнёс чей-то женский голос, Катя удивлённо обернулась и увидела, что это Варя.

А Паша сначала не поверил, что такое можно сказать, и замер с застывшей улыбкой.

— На себя надо надеяться, — добавила Варя, глядя прямо ему в лицо.

— Конечно, на себя, — смутился тот, — но приятно, когда есть помощнички... Ладно, ребята, теперь у нас один организационный вопрос. Нужен человек от нашей “ячейки” на завтра на уборку территории, надо выбрать...

— Ты и иди, ты ж у нас лидер, — опять вмешалась Варвара, и все заулыбались этому неожиданному противостоюнию.

— Ну и пойду, — Паша обидчиво поморщился, но старался не терять уверенного тона: — Знаете, как приятно: встанешь затемно, на пробежку, потом двор подмёл, красота... — и засмеялся неловко и растерянно.

“Акции Вовки растут, — громким шёпотом зашекотал Андрей Катину ухо. — Жалеет, что не осталась в Москве”, — и Катя поспешно кивнула, подумав, что привила-таки Андрею вкус посплетничать, но самой было тревожно от этого разговора.

Катя замолчала... Мы выходили из оживлённого торгового центра, по которому бродили, потому что на улице было холодно. Остановились на ступеньках, ощущая вроде бы ещё даже приятную после стерильного воздуха бутиков прохладу. Я смотрел на Катю и ждал продолжения, но всё ещё беззаботно, как если бы она должна была рассказать мне, что завтра Варя вернётся в нашу съёмную квартиру и мы помиримся.

— Ты не расстраивайся только, ладно? — вздохнула она, и меня вдруг обдало мёрзлым предчувствием, что это был не просто рассказ о Васильевском и о том, что Катя испытывала на школе. И хотелось, чтобы уже скорее, скорее всё стало ясно, но я по-прежнему не верил, что там совсем плохо...

Перед отбоем Катя шла в свою комнату и увидела, что Варвара сидит на корточках, прислонившись к кафельной стене, в небольшом закутке, где располагались раковины, и дрожит, как от холода. Услышав шаги, та с силой вытерла лицо тыльной стороной ладони и хотела встать, но, увидев, что это Катя, только махнула рукой, как бы отгоняя её от себя.

Катя присела рядом, чувствуя спиной холодный кафель, и ласково погладила Варвару по плечу.

— Что у вас с Володей, почему он не поехал?

— Я не виновата, раз он такой слабый, как ребёнок... Я не могу на него опереться, — выговорила Варя шипло. — Конечно, я та ещё сука, но он тоже... — и стала вдруг ожесточённо и грубо ругать не меня, а себя. И Катя даже решила, что это хорошо и, когда школа закончится, мы обязательно помиримся, раз она так страдает после нашей ссоры.

В ту ночь Варя не пришла в комнату, а наутро Катя поднималась по дальней лестнице в столовую и увидела, как они стояли там с Пашей, — тот обнимал Варвару и быстро гладил её по спине, но без страсти, будто просто стараясь ухватиться за складки одежды. А та глядела в окно в пролёте и иногда резко, акцентированно прижималась губами к его губам, а потом опять отворачивалась. Она заметила Катю и отшатнулась от Паши.

А потом, в перерыве между занятиями, они оказались вдвоём, Катя старалась поймать Варин взгляд, но та опять нахмурилась:

— Не говори ничего, — и быстро пошла прочь.

Как шальная, она несколько дней убежала не только от Кати, но и от остальных ребят, встречавших её вопросительными взглядами, — и вроде как все были рады за них с Пашей и вовсе не хотели смущать их, но интересно же было выпросить или хотя бы подглядеть за так вдруг сошедшимися друзьями, узнать, что случилось, а как же Вова Молчанов, они что, поссорились, и вот почему, оказывается, он не поехал на школу... Впрочем, через пару дней все успокоились и привыкли, что Паша и Варвара ходят вместе и живут у него в комнате, и только сами они всё не могли освоиться в этом новом своём качестве. Паша был потерянный, смущённо улыбался и иногда решался приобнять Варвару и подластиться к ней, как кутёнок. Та терпела, целовала его так же коротко и сильно, но потом не выдерживала, грубо отстранялась — ей по-прежнему невыносимо было думать, что все вокруг смотрят на них. Когда Паша выступал, сидела, напряжённая и то удивлённо кивала, то морщилась, если он вдруг фальшивил, и тогда глядела почти с ненавистью. А Паша подходил и смотрел выжидающе, и она небрежно кивала в ответ. Катя наблюдала за ними издалека, и в такие моменты ей становилось жалко его за эти беспомощные попытки, за старательный смех и за нервную самоуверенность перед остальными...

Она сказала мне это и сразу же расстроилась, что не сдержалась. А я вдруг тоже ощутил приступ неожиданной жалости к Паше, но брезгливой, как к насекомому, которому причиняют боль.

— Она его не любит! Знаешь, он раньше столько за ней ухаживал, но не нравился ей как парень. Я же помню, как она на тебя смотрела, когда вы были вместе, — и я горько усмехнулся этим словам. — Ты должен бороться за неё!

— Как я буду за неё бороться, Кать? Ей это не нужно, — сказал я, просто чтобы что-то сказать, не думая.

— Нет, нужно, нужно! Может, она решила, что ты её не любишь, раз не поехал.

— Нет, — замотал головой.

На Москву опустились зимние сумерки, мы двинулись вниз по ступенькам, а вокруг гудел огромный вечерний город, и голова кружилась от шлепота шин и холодного ветра, и мелькавших вокруг огней: слева — подмигивающих шариков в стёклах торгового центра, справа — ряби автомобильных фар. А мы шагали по узкому тротуару вдоль шоссе, и всё мешалось вокруг, и только чей-то нудный и неестественно весёлый голос рекламировал распродажу шуб. Мы не могли больше говорить о нас с Варей, и я стал машинально расспрашивать Катю о них с Андреем. А ей и неловко, и стыдно было

отвечать, и она отделивалась короткой фразой, мгновенно тонувшей в городском гуле. Но постепенно ей, наверное, стало казаться, что это хоть немного отвлечёт меня от тяжёлых мыслей, и тогда рассказала, что уволилась с работы, а Андрей перешёл на полставки, чтобы больше уделять времени “ячейке”, и ей это не нравится, конечно, но пусть, и только грустно, что они теперь совсем не ходят в церковь и что она никак не может доказать Андрею своё. Слова доносились до меня обрывками, я не разбирал половину, но это было уже неважно.

— Так ведь и Андрей не может доказать, — рассеянно заметил я.

— Он — нет, а я должна смочь, — ответила Катя.

Мы остановились у входа в метро. Я смотрел на неё, и удивительно было, что вот мы гуляем вместе, как когда-то в далёкой юности, но где-то уже случилось то, что отсекло прежнюю жизнь от новой и что уже невозможно отменить. И теперь вокруг нас — чёрная утроба большого города, всё мелькает вокруг, лязгает, и мы стоим посреди этого — всё ещё подростки из прошлой жизни...

— Ты бы знал, как я ненавижу “ячейку”! — сказала вдруг Катя. Я внимательно посмотрел на неё и зачем-то кивнул.

Катя уходила в метро по пологому спуску вниз, словно бы погружалась в землю. А я наблюдал, как она постепенно скрывается из виду, и думал, что ждёт её впереди и что ей гораздо тяжелее, чем мне. Мысли эти текли насквозь, стараясь рябью скрыть от меня главное, от чего разламывалась душа. Катя спустилась в переход, и уже не о чем было больше думать, и нечем себя отвлечь — осталось только кричать горлом на всю привокзальную площадь.

## 19

Был уже поздний вечер, когда я вернулся домой. Не включая свет, шагнул в нашу старенькую квартиру и задохнулся от Вариного невидимого присутствия. В темноте белым квадратиком горел экран ноутбука, оставленного ею здесь две недели назад, — он у неё никогда не выключался; её одежда в беспорядке была разбросана на сушилке, висела по спинкам стульев, на двери шкафа; её женскими баночками был заставлен туалетный столик в углу — эти вещи постепенно проявлялись в темноте, окружая меня. Она теперь наверняка вернётся за ними, будет собирать их, оставляя мне пустоту полок и шкафов, или даже нет — пошлёт сюда Пашу, ей же захочется, чтобы мужчина совершил ради неё какое-нибудь решительное действие. Но Паши я не боялся, он не мог причинить мне боль, и я даже хотел, чтобы он пришёл сюда сам. Я спросил бы у него: у вас, коммунистов, принято отбивать чужих девушек? А он начал бы бессильно отшучиваться и торпливо хватать вещи, но я не ушёл бы на кухню — пусть он делает это при мне, боязливо оглядываясь, и пусть забудет что-нибудь, а она потом разозлится на него за рассеянность, и тогда он должен будет либо вернуться сюда, либо показать ей, что он всего лишь слабый похотливый мальчик, ничем не лучше меня...

Между клавишами Вариного ноутбука скопилась пыль, так что к ним не хотелось прикасаться, да и не понравилось бы ей, что я заходил туда. Но я всё равно сел за стол и медленно провёл мышкой по экрану. Наверное, где-то там, внутри, — в сообщениях, текстовых документах, чатах — уже были намёки на Варину будущую измену, и я нажал на значок браузера, чтобы обжечь себя ими. Но пока тот грузился, уже понял, что увижу там не переписку с Пашей, а “ячеечное”: расписание следующего собрания, лекцию Кургузова или ещё что. Только открылся интернет-магазин техники, а в нём — фотоаппарат, который я хотел купить, видимо, она готовила подарок к Новому году, и это оглушило меня. Я смотрел на несчастный фотоаппарат и ничего больше не мог чувствовать и ни о чём думать. И не знал, может, мне нужно было бросить сейчас звонить ей, просить прощения, уговаривать вернуться, но разве могли бы мы теперь сойтись, как будто ничего не произошло, разве можно было сказать друг другу хоть слово после случившегося...

Я стал машинально клацать привычные политические сайты — статьи, ролики, длинные новостные видео с телеканалов. Варя часто делала так, черпая силы в ненависти к тем, кто убивал и обстреливал русские города. Сводок последнее время становилось меньше. В вечернем выпуске новостей говорили об укреплении рубля и бюджете на следующий год, я прощёлживал видео, попадая на некрасивые лица, бедные людские квартиры в глубинке, покосившиеся деревенские дома, заседания чиновников — и только раз промелькнула боевая машина с огромными тёмно-зелёными трубами в кузове, из которых вырвались длинные огненные вспышки. Но стал смотреть в интернете тщательнее — нет, это было призрачное ощущение спокойствия: там опять обстреливали, опять умирали, и ожидалось новое наступление украинской армии. Это было сейчас важнее измены Вари, ревности к Паше, важнее собственной жизни.

Я лёг в нашу кровать, вспоминая, что недавно мы были здесь вдвоём, но уже не растравляя себя этой мыслью. Хорошо, пусть так, решил я, но что же мне делать. Может, поискать в интернете, когда будет следующее собрание “ячейки” — сразу ли в эту среду или же они сделают перерыв на неделю-две после осенней школы. Ведь оттого, что Варя изменила мне, война не перестанет быть войной, и если мне действительно дорого то, что происходит на Украине и в России, я мог бы всё равно оставаться с ними. Нет, лучше бы, конечно, прийти так, чтобы Вари в тот день не было и чтобы только потом ей передали, что вот, Володя Молчанов заходил. Она, конечно же, не поверила бы в мою искренность и решила бы, что это всё только из-за неё, да и никто не поверил бы. Я остановился, а обида уже залила мне душу: если не поверят, то кому это нужно, не слишком ли жирно им будет, чтобы я, как загнанный бычок, пришёл, пряча глаза, будто уже раскаялся в том, что не поехал на школу. И почему собственно, вспоминая о войне, я обязательно должен думать о Киргузове. Нет, тогда уж лучше просто бросить всё и уехать на Донбасс...

Я упал в сон, а наутро выбрался из него, как из колючей ваты, встал, вскипятил чайник и сидел на пустой кухне, а эта мысль находилась внутри меня, и я изредка пробовал её на вкус, как горький крутой кипяток. Конечно, это будет сильнее их собраний и школ, это будет настоящий шаг — просто собраться сегодня и поехать к автобусу, на который я передавал инсулин для друга Васи Покровского.

Ещё раз вскипятил чай, но завтракать не стал, а торопливо принялся собираться: тёплый свитер может понадобится, вот эти джинсы старые, их не жалко, хотя, наверно, там должны дать форму. Зубная щётка, аптечка с бинтом и йодом, антибиотики. Потом прервал сборы на половине, набрал ведро воды и принялся мыть полы на кухне, вдруг всё-таки Варя придёт сюда забирать вещи, пусть не думает, что я тут погряз в собственных переживаниях и даже не прибирался. Всё равно ведь придёт, узнает от кого-нибудь, но меня уже не будет. А когда-нибудь, через полгода-год, встретимся мельком и просто постоим минуту в тишине. Оттуда? Да. И как там, страшно? Обычно. Иногда страшно. И всё, и уйти потом, и ощущать, что тебе по-настоящему неважно, что она думает — восхищается ли тобой, жалеет ли, потому что ты уже другой. А она, конечно, не признается себе, что ей грустно, и не позволит себе ни шороха в своём каменном сердце, но всё-таки ей будет горько. И может быть, в тот вечер, вернувшись к Паше, будет чуть более задумчива, чем обычно... Я поддался этим блуждающим мыслям, и уже не мог остановиться.

Опять пошёл в комнату собираться. Иногда ещё садился за ноутбук уточнить, по-прежнему ли автобус отправляется с Тёплого Стана и во сколько. Потом принялся смотреть карту, отмечая маршрут движения, и искать на форумах отзывы о местах, по которым пролегал предстоящий путь. Вдруг прочитал про взорванный мост между Краснодоном и Луганском, который нужно теперь объезжать, и ещё раз стал вглядываться в карту, пытаясь в хитросплетениях дорог угадать, где же он и как изменится маршрут автобуса, насколько близко пройдёт от линии фронта, бывают ли там обстрелы — и сразу накрыло животным страхом. Злосчастный квадратик карты

с зелёными пятнами, пересечёнными жёлтыми, коричневыми, чёрными линиями, заключал в себе тайное, но чрезвычайно важное, связанное теперь и со мной, и если изо всех сил сосредоточиться на нём, то можно было прочитать моё будущее там.

На балконе дома напротив женщина в домашнем халате одной рукой развешивала бельё, а другой сжимала ворот халата и почти приплясывала от мороза. Дом теснился к моему — было хорошо видно, что это белые детские вещи. Я разозлился на женщину за беспечность — вот так вот выходить на балкон, рискуя подхватить простуду, но, тем не менее, мне хотелось смотреть на неё. Не расправив толком бельё, она мгновенно юркнула в дверь и исчезла, а я остался ждать, что она выйдет ещё раз, но лишь scom-канные белые комочки висели на верёвке. Я встал у окна, рассматривая этот балкон и другие рядом. Никого не было, но везде жили люди: стирали, прибирали, ходили на работу, не думая ни о какой войне. Были и другие, которые остервенело кричали о проклятых бандеровцах, но настоящая их жизнь текла вне этих громких слов: они пили водку, изменяли жёнам, изредка растравляли себя ядовитыми разговорами. А были и те, что вроде бы любили свою Россию и даже хотели помочь ей, но оказывались ни на что не способными, и куда ни бросались, всё выходило у них слабо и нелепо, как у меня: был в “ячейке” полгода, а что сделал полезного, непонятно... Один раз работал на сборе гуппомощи, ещё раз отвёз инсулин к тому самому автобусу в Луганск...

Инсулин возник, коснулся меня, а потом вернулся неожиданным оправданием — съездить на день-два, но зато сделать полезное дело, ради которого и погибнуть не жалко. Как там сказал тот мужчина? Двести диабетиков сидят без лекарств. Не вспоминал об этом полгода, а сейчас — на тебе, когда понадобилось, опять усмехнулся — пусть так, но какая разница, если всё-таки поеду. И тогда бросился наспех заканчивать мытьё, побросал в сумку первые попавшиеся вещи, паспорт и деньги взял, карточку взял, и стремительно выскочил из квартиры в подъезд. Но на улице страх накатил с новой силой: сухая зима обжигала, заставляла втягивать шею от холода, казалось, сейчас что-то случится — собьёт машина, будут закрыты все аптеки в округе, кто-то помешает, — тенью двигался по дороге, озираясь, не видя домов, вывесок, едва не натыкаясь на прохожих.

И вот уже стоял в пустом зале аптеки у окошечка, а передо мной лежала пластиковая тарелка для мелочи, потёртая по краям. “Во флаконах или картриджах?” — потребовал ответа недовольный женский голос, и опять захотелось крикнуть от тоски... Откуда я знаю? Вот будет номер, если привезти не то... Пробормотал невнятное, но она спросила то, что я неожиданно знал, машинально ответил, и вдруг обоим понятно стало, что вот так вот нормально и что ещё нужно сумку приобрести для транспортировки, и хватило денег на карте, расплатился, вышел.

Тусклое солнце смотрело на меня и на промёрзший город за моей спиной, и на огромный прогал впереди. На дорогу с двумя ровными гребешками деревьев по краям, рифлёный забор, за которым бельевой верёвкой тянулся чёрный провод электрички, эстакаду, нависшую над железнодорожными путями. На едва видневшуюся стройку вдали, а там — поднятые лопасти экскаваторов — чудовищ, сдающихся на милость победителя... Ничего не двигалось, вокруг было тихо. Со станции Вешняки, медленно разгоняясь, тронулся поезд, и тяжёлый зимний воздух нехотя раздвинулся перед ним — рельсы, забор, эстакада, побеждённые экскаваторы с досадой терпели его назойливое дребезжание. А когда гул стих, расплескавшаяся было тишина вновь растекалась повсюду ровным холодным слоем. И из этой тишины родился новый, более сильный страх, полный, как целый мир, ясный, как зимнее небо, — страх, что я всё равно умру, поеду на Донбасс или нет, завтра или через двадцать лет. И я подумал, что мне теперь будет страшно до конца жизни. Машинально двинулся вперёд, а вскоре шагал по эстакаде, слева был тот самый зимний город и солнце, и грязное перемёрзшее полотно строящейся дороги, уходящей вдаль, а справа — скрытые за сетчатой решёткой деревьев купола. Там, внизу, находилась церковь, мы с Варей не были там ни разу — часто

ездили в центр Москвы, где священником был человек из “ячейки”, но иногда, проходя здесь, я слышал перезвон. И теперь, как на дудочку флейтиста, шёл туда, словно бы церковь и Бог в ней могли спасти меня от страха.

Дряхлое каменное тело храма встретило деловито, редкие люди у порога крестились, входили внутрь. Там растекались по разветвлённым лабиринтам ходов с низкими круглыми арками, а я стоял, лихорадочно выхватывая взглядом отдельные детали, которые должны были сложиться в пазл, объясняющий, надо ли мне ехать или нет, умру я там или нет. На свечном ящике среди баночек с маслами, крестиков, запылённых книг лежали маленькие иконки в пачках, перетянутые резинками, какими бабушки собирают свои жидкие волосы. Среди иконок оказался Лука Крымский, и эта нечаянная перекличка с Крымом испугала меня, словно бы меня нарочно поджидали здесь эти иконки, чтобы я купил их и взял туда, так что я сразу же выскочил на улицу. Слева, почти у самой церковной стены, начиналось кладбище — множество крестов в снегу, я зачем-то направился туда по узкой дорожке, как в чащу зимнего леса, углубляясь в ряды стальных стволов. Поодаль, на круглой большой лужайке, виднелся один высоченный — не крест даже, а памятник. Я приблизился к нему, встал у крупного каменного основания, у которого каплями крови лежали свежие цветки красной герани. На основании была высечена длинная надпись, и как назло — что-то о воинах, положивших жизнь на родных и далёких полях во все времена бытия государства Российского... Мне было безумно, бесконечно жаль себя; казалось, если ехать в Луганск, то нужно похоронить себя уже здесь, в Москве, под этим вот крестом, чтобы там уже не чувствовать замирания сердца от каждой опасности. Только так можно было шагнуть в пучину настоящей жизни и настоящей смерти. Но я не мог просто взять и умереть, мне хотелось бежать от этого памятника и от кладбища...

Потом ещё сидел в кафе у метро, просто ждал, лишь бы прошли нужные часы. На Тёплый Стан приехал в темноте. Не сразу вспомнил дорогу, смотрел карту в телефоне, злился, что могу опоздать, а затем злился, что не опоздал. Автобус тускло светил в пустоте, рядом стояли люди, и казалось, все они смотрят на меня и знают, что я боюсь. Минуту стоял возле кассы, не покупая билет, давая себе возможность передумать.

Как назло, билет попался не в глубине автобусного зева, а спереди, почти рядом с водителем, так что все, поднимающиеся внутрь, могли смотреть на меня. Сел, положил сумку себе на колени, словно бы моя остановка была уже скоро. Начал звонить Кате, чтобы сообщить ей, что я не просто пропал, но тут же испугался — потом, потом, и сразу же выключил телефон, вдруг она перезвонит. Где-то это уже было со мной, вспомнил я, эта же сумка на коленях, сижу и немею от необходимости что-то сделать. И неужели же, чтобы быть сильным, нужно стать кургузовцем, а быть одному, значит, быть слабым и ни на что не способным. Даже просто пойти и умереть одному невозможно...

И задохнулся от страха — нет, нет, что бы там ни было, не могу, выскочил и, не глядя ни на кого, устремился на слепящие кругляши огней у ворот автобусной станции.

## 20

Утром после того, как остался в Москве, я проснулся и лежал неподвижно, разбитый, как самоубийца, упавший с крыши. Тело было тяжёлым, закованным в саркофаг, и только взгляд бродил по спинке кровати, стенам, занавескам. В окне виднелся балкон соседнего дома. Белые детские вещи были сняты, а вместо них висели разноцветные кофты, но я не знал, что же это означает и означает ли что-то.

Я ничего больше не понимал о себе, внутри была пустота. И постепенно в этой пустоте то ли вспомнился, то ли приснился родной город — единственное зыбкое, далёкое, но, кажется, настоящее в мире. С горы, где виднеются крошечные спички заводских труб, медленно спускается серая дымка газа. Позвякивая, тянутся вдоль дорог трамваи, в которых, сонно покачиваясь, едут

на смену рабочие. Деловито открываются железные окна киосков на остановках. А за трамвайными путями, куда летом ходят на огороды все городские старушки, сейчас снежная пустыня и чёрные остовы садовых домиков. Город погружается в спячку, по вечерам все лениво сидят перед телевизором, и лишь иногда бывает нужно отправиться с отчимом в гараж, чтобы на санках привезти варенье и картошку. Странно, но память не показывает мать, словно та просто разлилась в воздухе родного места, примешиваясь и к заводским трубам, и к трамваю, и к садовым домикам, и к санкам, скрипящим по снегу...

Потом город превратился в деревню, где жили бабушка и дед и куда несколько раз в год съезжалась наша большая семья. Просторная изба натоплена так, что потеют стены, все вплотную втискиваются за длинный дубовый стол. Мать с бабушкой хозяйничают на кухне, отчим деловито обсуждает с мужиками новости, но иногда отворачивается и терпеливо ждёт следующей рюмки. А дети бегают под ногами, и сначала и не разберёшься, чья это девочка, то ли сестры по бабушке, то ли кого-то из братьев по деду. И вот я смотрю на этих родных людей, но понимаю, что это лишь редкий праздник для них, а уже завтра они разойдутся каждый в свою обычную жизнь, в тяжёлую работу: мужчины — отдавать своё здоровье на комбинате или в чулом сохранившемся в деревне колхозе, а женщины — в ежедневных домашних делах, в заботе о детях, а потом и в той же изматывающей работе. Но и разойдясь, эти люди по-прежнему будут связаны невидимыми нитями: в следующие выходные мужики соберутся строить дом тем, кто младше и ещё не обзавёлся хозяйством, а кому-то из женщин оставят детей, если нужно уехать по делам. И я бы мог присоединиться к этому большому семейному дереву, отдать ему часть своего молодого тела, как другие ветви отдали когда-то мне, вот только делиться мне, кажется, было нечем. Я вновь лежал на кровати в квартире в Москве и ощущал себя куском пластика, в котором глухо и напряжённо стучит сердце.

Второй раз я пробудился разом, неловко поднялся и сел на краешке кровати, свесив ноги к полу. Потом медленно двинулся по квартире, пытаюсь опять научиться ходить и заново ощутить себя: хоть я и не умею летать, но, тем не менее, пока ещё вроде бы живой. В коридоре лежал чёрный рюкзак, с которым я собирался вчера уезжать, и я подумал, что, может, это и неплохо, что он собран и что можно было бы уехать, но только не на войну, а на Родину, в её ласковый умиротворяющий покой. Проверил на сайте железных дорог билеты, они ещё оставались, но сил принимать решение не было. Вспомнил, что завтра заканчиваются две недели отпуска на работе, которые я брал для поездки в Васильевское, и нужно тогда попросить дать мне отпуск без содержания на некоторое время — и странно было, почему не подумал об этом вчера.

Долго ещё сидел за столом перед ноутбуком, машинально и бесполезно проверяя соцсети и почту. Ещё до митинга на Краснопресненской заставе мы оживлённо переписывались с Ромой. Я убеждал его, что когда-нибудь экзотика и комфорт станут привычными, и придётся возвращаться и вновь привыкать к реальной жизни. Он же возражал, что ему нравятся тайцы, всегда доброжелательные, никто не хамит ни в транспорте, ни в магазинах, и что мы действительно живём в разных мирах, и мой не вызывает у него ничего, кроме отвращения, причём не важно, русский он или украинский, всюду тоталитаризм, все грызутся друг с другом, и все всех ненавидят. Я ответил на эмоциях, и с тех пор переписка прекратилась. И теперь мне было жаль своей несдержанности и хотелось, чтобы сюда, в мою пустоту, пришло пусть короткое, но тёплое слово. Я перешёл на своё последнее сообщение — вспомнить, о чём там точно, и, может, извиниться за особенную грубость. Но там было невообразимое: про братские народы и предательство, про израненную Россию, чьи язвы я хочу залечить, в отличие от него, убегающего от проблем. Если бы это были слова Вари или Кургузова, которые я просто повторил, мне не было бы так обидно, но это были мои слова! И вот Рома уехал, как и хотел, а я, чувствующий какую-то там израненность и даже понимающий, где пульсирует рана, остался здесь работать, делать рекламные ролики, навещать родных...

Я поднялся на ноги и недоумённо оглянулся вокруг. Внутри по-прежнему лежала пустота, и только разливалась по телу тёплая горечь стыда. Но я не умер от этой горечи, сходил на кухню, выпил воды, вернулся. Поверил этому знанию, запомнил, как факт, как принимают закон физики, вычитанный в учебнике... Все мои слова — ложь, хорошо, пусть так, но это-то хотя бы точно, это хотя бы по-настоящему... И всё-таки не хотелось находиться наедине с мучительным законом долго, и я принялся собираться, чтобы выйти на улицу, может, там будет что-то ещё, другое, новое.

Дома тонули в дымке. Я шёл вдоль дороги, как в замедленной съёмке наблюдая за тем, что происходит вокруг. Старая Москва, похожая на родной уральский городок, встречала тишиной, предлагая навек замереть в здоровой живительной дремоте. С деревьев пучками отрывались последние пожелтевшие листья и медленно падали на асфальт. Супермаркеты находились в другой стороне, ближе к метро, а здесь все ещё спали, людей почти не было, магазины казались навсегда закрытыми, только цветочный на отшибе жался к узенькому проходу на две железнодорожные платформы сплетавшихся здесь веток электрички. Я отворил лёгкую, как из картона, дверь и попал в длинный узкий павильон, заполненный цветами, в которые, как в сугроб снега, провалилась продавщица и беспомощно тянулась то к одному букету, то к другому. Её неловкая торопливость напомнила мне женщину, которая вешала бельё на балконе, и может быть, это была именно она. Продавщица посмотрела ровным злым взглядом, от которого не хотелось злиться в ответ, скорее, пожалеть её хотелось, замерла, не опуская вытянутой руки, и стояла так в нетерпеливом ожидании. Первый порыв был — купить у неё цветы, но мне некому было теперь дарить их. Впрочем, я мог бы вручить цветы ей, но это вышло бы пошло, как в дешёвых сериалах, да и женщине стало бы неловко, будто ей подали милостыню.

Я колебался, а она всё глядела на меня, ожидая движения, чтобы избавиться от лишнего человека в магазине, догадываясь, что я зашёл без особенной надобности. И напомнила мне уже Варю. И тогда жалость прорвалась изнутри — работает здесь, сортирует цветы, продаёт, а где-то течёт жизнь, в которой каждый может обидеть эту женщину, как кто-то раньше обижал Варю и как потом обидел её я. Опустил глаза и увидел под ногами рванный отрезок линолеума и торчащий из-под него каменный пол. Рядом стоял в белой глиняной вазе букет из полевых цветов ровно за тысячу рублей. Я стыдливо вытащил из кармана бумажку, потом сам достал из вазы букет и протянул:

— Это вам.

Она внимательно всмотрелась, потом насмешливо взяла, и мне понравилась эта насмешливость. Вышел в ясную зимнюю свежесть, а там мгновенно накрыло меня тоской: ничего не изменит этот цветок, ничем не поможет ей, и если бы я даже захотел помочь, то не смог бы, как не смог помочь Варе. На ватных ногах шагнул вперёд, а боль двинулась следом, вырываясь в зимний воздух, заполняя дребезжанием автобусный пяточок у магазина, тропинку к железнодорожной станции, по которой мы столько раз ходили, дороги, дома, небо. Я поднялся по высоченной лестнице, ведущей на Чухлинку, забрался в подошедшую вскоре электричку, а потом сидел, машинально глядя в окно, вздрагивая от иногда прошибающего насквозь удара встречной.

На Курском же стремительно шёл навстречу полицейским, загромождающим проход на вокзал. Впереди горели огни стеклянного моста, ведущего на лениво просыпающийся "Атриум". Поднялся в сверкающую сытую желтизну торгового центра, в просторные холлы, где белые лица манекенов окружили со всех сторон. Казалось, здесь-то, в довольстве и мерцании, всё замылено, освобождено от боли, но вот попало одно человеческое лицо, другое, и все несчастные, перекошенные, одинокие посреди показной роскоши, возможно, пришедшие в неё из той же безысходности, что и я, только желая ещё и купить что-нибудь, а потом надеть и пройтись по блестящим коридорам, выпрашивая чей-то даже не восхищённый, а хоть бы завистливый взгляд. Несчастные болезненные люди бродили вдоль бутиков, и с верхнего этажа было видно в прогал, как их много на уходящих вниз этажах,



и никому нельзя было помочь, хоть бросайся вниз и, тщетно хватаясь за огромные шары свисающих на гирляндах люстр, разбивайся насмерть о мраморные полы. Вышел обратно к вокзалу, бесцельно шатался по морозу, понав к уже другим несчастным — нищим, жавшимся к стенам, уныло бубнящим таксистам, мятым приезжим, устало волочившим огромные сумки, — и эти едва ли были счастливее тех, из “Атриума”.

На пути к метро вереницей стояли разносчики хот-догов и кофе. У одного из них задержался высокий полный мужчина в пальто, держа в руках толстенное от красных купюр портмоне, тщетно выискивая мелочь. Он негромко пошутил, а молодой парень-киргиз беззаботно засмеялся, с силой нажимая на красный краник массивного аппарата, и они разошлись, довольные и весёлые. А я дождался и подхватил свой тонкий плавающий стаканчик, обжёгся кипятком и тоже двинулся к метро, удивлённо храня тепло этого происшествия, но оно рассеивалось на лету, потому что ничего не изменило вокруг, как подаренный наспех цветок.

А у самого входа в метро я остановился, беспорядочно оглядываясь, и подумал, что здесь, в Москве, те же страдающие беззащитные люди, что и на Урале, и в Питере, и в том же Луганске, и необязательно уезжать, чтобы помочь им, — вот они, перед тобой, помоги хоть кому-то, отдай жизнь хоть одному. И тогда все они разом слились для меня в один огромный организм, который захотелось назвать Родиной. Родина жила здесь, на привокзальной площади, мёрзла на деревянных ящиках из-под хурмы, взмывала в пластмассовый мир бутиков, тряслась по рельсам на тысячи километров вокруг, она была настоящей, я ощущал её в сухом ноябрьском воздухе, она мучилась и страдала, моя погибающая Родина, но я не знал, как её спасти, и нужно ли ей то, что могу сделать я. Бесцельно приехал в центр, принялся выходить то на одной, то на другой станции, как бы торопясь увидеть как можно больше мест и людей. Очнулся, когда в очередной раз ехал в вагоне метро. Передо мной высилась пожилая женщина с дряблым измученным лицом, презрительно глядя поверх меня за то, что я сижу, не уступая ей место. Я торопливо поднялся, но не из вежливости, а потому, что не мог терпеть чужое недовольство. И долго ещё стоял, повиснув на поручне, мотаясь из стороны в сторону, и думал: мне не спасти Варю, не вытащить её из “ячеечного” ада, не помочь людям в Луганске и Донецке, не спасти никого на свете, и не в том дело, что я не могу отдать жизнь, а в том, что это ничего не изменит. Неподалёку седой мужчина устало улыбался, слушая сына лет десяти, а тот горячо шептал ему в ухо, держась за рукав куртки, и мне захотелось так же улыбнуться своей жизни, но не было сил двинуть уголками губ.

А потом в вагон вошли парень и девушка, державшая в руках гелиевый шарик на длинной верёвочке; как шептунной щенок, тот стремился удариться о потолок, едва только она теряла бдительность, но всякий раз она дёрнула поводок, и шарик нехотя плыл вниз. Парень осторожно обнимал девушку за талию, как на дискотеках в средней школе, и было в этой паре что-то такое лёгкое, неокропленное болью, что хотелось постоять рядом, перевести дух от вибрирующего несчастьем мира. Проехал с ними, вышел вслед за ними на “Университете”, а когда встал на эскалатор, увидел на соседнем ещё нескольких молодых людей с шариками. У выхода из метро их стало ещё больше, они сбивались в целые облака и медленно плыли по пешеходному переходу через Вавиловский проспект.

А обойдя главное здание Университета, удивлённо рассмеялся — всё пространство до смотровой площадки Воробьёвых гор было заполнено шариками и горящими красными фонариками, и люди текли вперёд, смешивались, кричали, так что было отчётливое ощущение праздничного карнавала, новогодней ночи. Кажется, все должны были разом запустить фонарики в серое небо, но то и дело кто-то не дожидаясь общего сигнала, и тогда красный “щенок” срывался с поводка и улетал ввысь, гордясь своим первенством, стремясь обогнать отпущенных ещё раньше. Я шагал по аллее от одной молодой студенческой компании к другой, как бильярдный шар, ударяясь о каждую.

— Маринка пришла...

— Автомат никому не поставил...

— Тоталитаризм... — внезапно обожгло знакомое, но и это было не всерьёз.

Голос рябили то рядом, то вдалеке, сливаясь в общий радостный гул, и душа расслаблялась, словно бы я выпил стопку водки после тяжёлой физической работы, и в глазах набухали слёзы, а потом просто потекли по лицу. Пробирался на смотровую площадку, как по живому лабиринту, мимо киосков с горячим глинтвейном, стараясь не задеть чьи-то дрожащие красные фонарики, наклоняя голову, чтобы люди вокруг не заметили, как я плачу. Наконец, сумбурное огненное море вынесло меня к ограждениям, за которыми открывалась раскинувшаяся у подножья Воробьёвых гор Москва, и я мог теперь стоять, делая вид, что просто смотрю вдаль. И в этой возможности не сдерживать себя и плакать посреди моря людей, не опасаясь их насмешек или сочувствия, было внезапное, никак не ожидаемое в этот момент счастье. И разбитое тело моё почувствовалось вдруг постепенно срастающимся в одно целое, может, не такое, каким я его себе представлял раньше, но всё-таки живое и настоящее человеческое тело.

Рядом громко и игриво кричали девочки, когда пацаны нарочно приближали огни к их шубам — отскакивали, догоняли, носились, как бешеные, и опять кричали. Мне приятно была их весёлость, среди них было легко, но слишком легко и пусто. Я ничем не отличался от них, но сейчас среди этих счастливых ребят, в мире праздничной радости, с озорными фонариками, прогулками по московским улицам, уютными кафешками моему вновь обречённому телу так не хватало боли. Хотелось скорее оставить этот молодой мир и торопиться туда, где настоящее страдание и настоящая жизнь. Но в то же время казалось, пройдёт ещё один тяжёлый год, как этот, а потом ещё и ещё, и каждый из этих ребят станет сильнее, и вместе они станут сильнее, а значит, всё было не напрасно...

По дальним районам, почти у самого горизонта, клубился серый туман, как дым от разрыва снарядов, и размягчённым сердцем я легко поддался этому видению. Будто огромное неведомое зло уже пришло сюда, и зелёные машины с огромными трубами стреляют за Москвой-рекой, и скоро не будет ни этих ребят, ни киосков с глинтвейном, от которого становится тепло на смотровой площадке Воробьёвых гор, ни либералов и патриотов — ничего. Но морок прошёл, и я подумал: почему я верю этой лжи, всё будет — и шаррики, и люди, и дома, и не погибает моя Родина, и я с ней не умираю. Тоталитаризм, вспомнил я случайные слова в толпе и слова Ромы из письма. Моя начальница с работы, Галина Евгеньевна, тоже часто вспоминала про тоталитаризм. И, наверное, они были правы, раз вместе, не сговариваясь, произносили одно и то же. Но тоталитаризма нет в мире — в воздухе, в городе, в поездах, мчащихся вглубь России, в её бескрайних пространствах; тоталитаризм может быть только внутри нас. Но вот я могу сделать так, а могу — иначе, у меня есть жизнь, и я могу прожить её, как хочу: я могу остаться в Москве, но выбираю уехать туда, где больше и тяжелее, и не потому, что воображаю, что могу кого-то спасти, а потому, что сам так хочу, потому что это важно для меня, и если я выбираю свободно, то никакого тоталитаризма во мне уже нет.

Я достал телефон и позвонил Галине Евгеньевне. Я знал, что она, строгая и деловая женщина, была крайне недовольна тем, что две недели назад я взял внеочередной отпуск, а уж просьбе отпустить на несколько месяцев без содержания точно не могла обрадоваться. Но голос её оказался неожиданно тёплым.

— Где-то до февраля, — осторожно предположил я срок своего возвращения.

— На Родину потянуло? — усмехнулась она. — Глушь затягивает. Тут глушь, а уж там-то, я представляю... Смотри, возвращайся! Но если место будет занято, не обессудь.

— Я понимаю, — ответил я и обрадовался её словам — всё было честно: я никого не подводил, и она не давала мне лишних обещаний. Прикинул, сколько у меня осталось денег в заначке, хватит ли на билеты туда и обратно,

поморщился от того, что совершенно не знаю, где там жить, куда идти... Потом позвонил ещё хозяйке квартиры, сказал, что съезжаю, и договорился, что Варя заберёт депозит. Написал Кате подробности квартирных дел, которые нужно было знать Варваре. Вроде бы не осталось больше ничего.

Приехал на Тёплый Стан в половине девятого. У кассы произнёс: “Луганск”, — так, словно покупал билет уже десятки раз. Автобус стоял в темноте, и лишь внутри горел матовый молочный свет. Я поднялся внутрь, сумку с инсулином с трудом втиснул под кресло. То здесь, то там началось молчаливое движение — пассажиры стали заполнять места. Снял куртку, подложил под голову и провалился в ровный густой сон.

Я проснулся глубокой ночью. На душе было сухо и спокойно, страхи улеглись, и только чувствовалась усталость от неудобной позы. Автобус медленно двигался в темноте. Где-то шептало радио. Казалось, что там должны обязательно передавать военные сводки, но звучала известная иностранная песня. На соседнем кресле спал пожилой мужчина, прислонясь головой к мёрзлomu стеклу, и было странно: неужели ему не холодно? Снизу вдоль прохода тянулся пунктир маленьких зелёных огоньков. Сбоку от меня сидел парень с планшетом, белый свет выхватывал из сумрака край его лица. А на передних парах сидений, занавесив проход между ними, как будто натянув гамак, спал какой-то бывалый человек.

Я не понял, сколько времени прошло, но ещё не успел опять задремать, как автобус плавно завернул и замер, — бывалый сразу же поднялся, торопливо сворачивая гамак, позади тоже завозились. Я сидел, закрыв глаза, изредка ощущая движение рядом, слыша, как выхлопнула, открываясь, дверь. Потом заглянул в окно — стояли на пяточке у придорожной заправки. Поднялся, разминая затёкшее тело, и тоже потихоньку двинулся к выходу. “Пятнадцать минут”, — сказал кому-то молодой водитель, жадно затягиваясь сигаретой. Справа стояло две фуры, несколько мужиков, видимо, дальнoбоев, толпились у палатки с шаурмой. Люди из нашего автобуса шли к маленькой кафешке, притулившейся возле заправки, — там, наверное, можно было купить кофе и какие-нибудь пирожки, но я не стал. Вроде бы почти не ел, но голода не было и не хотелось наедаться впрок.

— Да они сами уголь на Украину гонят... — крепко выругался хриплый голос за моей спиной. — На блокпосту видят — ополченцы, пропускают, а они своих же — за бабло. Не государство, бандитизм сплошной. На передовой не были никогда, только грабить умеют...

Я прислушивался, но эти неожиданные слова царапали меня по коже — это было совсем не то, что я ждал услышать, и я не мог понять, как к этому относиться. Инстинктивно сделал несколько шагов вперёд, словно пытаясь убежать от этих неправильных болезненных слов.

Автобус припарковался к краю небольшого пяточка, за его боком заканчивался асфальт, земля обрывалась в канаву, за которой начинался лес. Голоса ещё доносились, но я не пускал их в себя, стараясь отойти подальше, и осторожно, наощупь, спустился вниз, чувствуя, как ломают ледок в подмёрзшей жиже ботинки. Мгновенно исчезли заправка, автобус, люди — вплотную стояли толстые берёзовые стволы, а за ними всё тонULO в темноте. На душе опять стало тревожно, я замер, вдыхая колючий воздух, вглядываясь в эту страшную неведомую толщу. Казалось, она простирается сюда от самой Сибири и тянется по всей России, наверно, до самого Луганска, и я боялся её темноты и силы, и того, что может так внезапно открыться внутри. Я подумал вдруг, что там, в лесу, наверно, находится настоящий Бог, смотрит на меня сейчас, следит за каждым моим шагом. И, затаившись, ждал, что он скажет мне, может, даст последний подбадривающий знак, чтобы развеять сомнения, чтобы я уже точно понял, что всё делаю правильно...

Но русский Бог молчал. Ветер не усилился, не дунул сильнее, и лишь одиноко трещали ломкие травяные прутьики, когда я неловко переступал с ноги на ногу. Стало холодно до невозможности оставаться на месте. Я повернулся и принялся неуклюже подниматься вверх, соскальзывая, пачкаясь в грязи.

Потом мы погрузились в автобус и через несколько минут тронулись в путь.

ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ



## ГОДЫ КАНУЛИ В ВОЛЖСКИЕ ВОДЫ

### МОЙ ВОЗРАСТ

Не могу осознать я, хоть тресни,  
Всей весомости прожитых лет.  
Но родятся в душе моей песни,  
Значит, мил ей пока белый свет!

Говорят, поостынь-ка ты малость,  
Не в ходу нынче шпоры и плеть.  
Но пока в мою душа усталость  
Не проникла, мне хочется петь!

Говорят, нет от возраста средства.  
Что ж, не зря, может быть, говорят.  
Но в душе мне, скажу без кокетства,  
В лучшем случае — за пятьдесят!

---

*ГУСЕВ Евгений Павлович (1948–2019). После окончания Ярославского пединститута учительствовал, служил в разведывательном подразделении в Группе советских войск в Германии. Тридцать лет прослужил в ОВД Ярославской области, полковник в отставке. Публиковался в журналах “Наши современник”, “Юность”, “На боевом посту”, “Щит и меч”, “Милиция”, “Ветеран войны”, “Ветеран МВД России”, московском альманахе “Эолова арфа”, международном журнале “Поэт”, “Вокруг смеха”, “Крокодил”, газетах “Правда”, “Литературная Россия”, “Труд”, “Известия” и др. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ, автор 30 книг поэзии и прозы. С 2013 по 2018 годы являлся председателем Ярославского отделения Союза писателей России.*

“Возраст осени” — это слова лишь,  
Безобидная, в общем, но ложь.  
Тот, кто молод душой, тех не свалишь,  
Не возьмёшь за здорово живёшь!

Был готов перезревшю вишней  
Я опасть, опуститься ко дну,  
Запропасть, но однажды Всевышний  
Ниспослал мне любовь и жену!

— Спрячь подальше медали и китель! —  
Говорят мне, в пижонстве вина.  
Я бы спрятал, но ангел-хранитель  
Видеть в форме желает меня!

Серебрится от инея озимь,  
Под ногами листва, словно медь.  
Да, мой возраст — чего уж там! — осень.  
Но, хоть тресни, мне хочется петь!

17.07.2018

### В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Май, восьмое. Еду к деду.  
Дед, конечно, подшофе.  
Объяснясь: “За Победу!” —  
Щеголяет в галифе.

На кушетке — старый китель  
С орденами той страны,  
Что наш воин-победитель  
Сдал без боя, без войны.

— Говорят, что жил я даром,  
Даром — это ерунда,  
Вот над Ельциным с Гайдаром  
Не дожидаться мне суда!

Не торопятся за холку  
Прихватить всю эту гнусь,  
Только я, браток, на полку  
Зубы класть не тороплюсь!..

Наливает в рюмки снова,  
Долго кашляет в кулак:  
— О политике — на слова,  
День Победы, как-никак!..

Видно, стало многовато  
Покорителю держав, —  
Голос старого солдата  
Оборвался, задрожав.

Оглянулся у порога,  
А с портрета на стене  
Сталин пристально и строго  
Смотрит прямо в душу мне.

## СТАРИКИ

Пригретый солнышком апрельским,  
Дед расправляет с хрустом грудь:  
— Жена, откинь-ка занавески,  
На божий свет хочу взглянуть!

Супруга, глаз не поднимая,  
Вздыхает: — Ты бы, Михаил,  
Хоть до девятого-то мая  
Собрался с духом, да не пил!

— Вопрос сурьёзный, но едва ли  
Его решим мы на ходу!..  
Дед Михаил достал медали —  
Две “Славы”, Красную звезду.

— Вот, вся Россия и Европа,  
Лишений адовы круги...  
За то, что мне пришлось протопать,  
Теперь и выпить не моги?!

Дед Михаил подсел к окошку.  
Жена сказала, помолчав:  
— Ну, ладно, выпей, но немножко! —  
И отворила дверцу в шкаф.

Два огурца лежат на блюде,  
Картошка, хлебушка ломоть...  
Ах, дорогие мои люди,  
Храни вас, стареньких, Господь!

\* \* \*

*Как вплелась в мои тёмные косы  
Серебристая нежная прядь...*

А. Ахматова

Помнишь, как шелестел волжский ветер  
И волна исчезала в песке?..  
Лишь вчера у тебя я заметил  
Серебристую прядь на виске.

По реке пароходы сновали,  
То легко, то надрывно трубя.  
Говорил я тебе не вчера ли,  
Что не мыслю, как жить без тебя?

Годы канули в волжские воды  
И ушли, словно волны в песок...  
Но снуют по реке пароходы,  
Но блестит, серебрится висок.

---

*Это последняя подборка стихотворений, присланная в наш журнал  
Евгением Павловичем Гусевым. Мы с прискорбием узнали о его кончине,  
последовавшей 2 февраля сего года.*

*Приносим сердечные соболезнования родным и близким.*

ИГОРЬ ВИТЮК



## ЖДУ ПАСХАЛЬНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

### ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дышит небо апрельской тоскою,  
Замирает невидимый мир,  
Божий Крест над мирской суетою —  
Мой единственный ориентир.

Оставляя свои заблужденья  
И отбросив земные дела,  
Жду Пасхального воскресенья,  
Чтобы в сердце Любовь ожила.

Повторяя святые молитвы,  
Укрепившись Великим постом,  
В Крестный ход для невидимой битвы  
Я иду с Благодатным огнём.

Крестный ход темноту разверзает,  
И, поправ безысходную смерть,  
Солнце Вечной Любви воссияет,  
Освящая нетленную твердь.

---

*ВИТЮК Игорь Евгеньевич родился в 1960 году. Поэт и публицист, заместитель председателя Московской областной организации Союза писателей России, редактор военно-художественной студии писателей Центрального Дома Российской Армии, полковник, ветеран боевых действий, заслуженный работник культуры России. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии “Золотое перо Руси”.*

## В ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Мой разум рождает чудовищ  
В подлунной, последней войне.  
А благодать небесных сокровищ  
Как будто неведома мне.

И мой человеческий опыт  
Ничтожен пред миром иным.  
Талант, хоть не полностью пропит,  
Но помыслам служит чужим.

Зачем я в грехах пропадаю —  
Любовь обрекаю на ад?  
При этом доподлинно знаю —  
Никто не вернулся назад...

И в славный четверг Вознесенья  
Набатом звучит Благовест!  
У Бога прошу я спасенья,  
До крови сжимая свой крест.

И Небо становится ближе.  
Смиряю греховную плоть!  
И сердцем воочию вижу:  
Возносится в Небо Господь!

## ПРЕДВЕСТИЕ ЭПОХИ ЛЮБВИ

Потайное облако мечты  
Гонит ветер страсти и надежды.  
Снова жду мгновений золотых,  
Чтобы я обнял тебя, как прежде.

Сохнет в жажде дерево любви,  
Песни света обратились в стоны.  
Захлебнулся Новый век в крови,  
Вновь придётся надевать погоны.

Мир у Люцифера на курке,  
Ядерных грибов плодятся споры,  
Но не будем истлевать в тоске —  
К Небу обратим слова и взоры.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

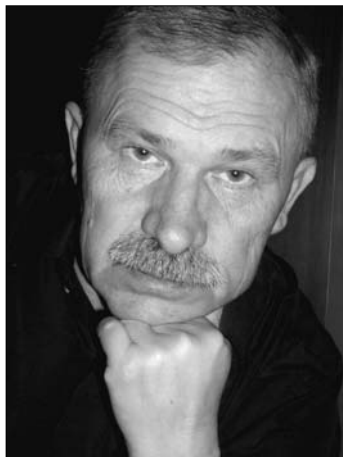
Мы в День рожденья жизнь итожим,  
Ведь каждый миг и каждый час  
Всё больше тех, кто нас моложе,  
Всё меньше тех, кто старше нас.

А молодость беспечной птицей —  
Давно уже в краях иных,  
И остаётся лишь молиться  
За самых близких и родных.

Промчался год. И слава Богу!  
Поднимем чарки не спеша.  
И пусть к Святой Любви дорогу  
Найдёт бессмертная душа!



НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



## ТРЕПЕТ ТАЙНЫ

РАССКАЗЫ

АЛЛА И АЛМЕРА

Когда надо было где-то отмечать свою машину, Коротков писал её без кавычек. Потом, когда делали замечание, исправлял.

Алмера — какие кавычки, какое иносказание? Это имя. Как Алла.

С виду Коротков был чёрствым человеком, потому что не распространялся в диалогах. “Да”, “Нет” и пару вежливых, чего балаболить. Одевался он строго (однотонная рубашка, галстук, костюм), но бывало с какими-то выкрутасами: джинсы, шейный платок, кроссовки. Тогда это называлось “загулял”. Впрочем, спиртное употреблял — именно “употреблял” — в меру.

Он стремительно седел, постригался почти под ноль. И лицо его приобрело стальной цвет. Стальным он делался оттого, что не видел вокруг людей, перед которыми можно было “расплавиться”.

У Короткова не было друзей. Опытным путём он узнал, что всегда и всюду от него чего-то хотят. А если и не хотят, то с друзьями надо пить, куролесить, выезжать на природу и, главное, слушать их приевшиеся рутинные разговоры.

Брат Валентин жил в Саратовской области, имел магазинчик, в котором продавалась редкая для сегодняшнего дня конская сбруя. Брат при редких встречах всегда острил: “Коммерция меня захомотала”. С Валентином у них тоже мало общего. Иногда по телефону — дежурные фразы.

---

*ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.*

Вот ещё осталась бывшая жена Лена. Он разошёлся с ней, когда узнал об измене. В наше раскрепощённое время супружница нашла себе бойфренда по интернету, как какую-нибудь китайскую вещичку. Бывает такое, махнул на это рукой Коротков, значит, я ей мало внимания уделял. Сам дурак.

Но жить с ней Иван Иванович Коротков не стал, противно было прикасаться. Он эту брезгливость заметил неожиданно. Ему неприятно вдруг стало, мурашки по коже высыпали тогда, когда он случайно дотронулся губами до кофе из её чашки.

Можно было бы заключить, что Коротков одинок. Однако это было не так. Единственным живым существом, крайне отзывчивым, нежным даже была его японочка Алмера. Машина среднего класса, на которой в Японии ездят мелкие чиновники. Но Коротков её выбрал по многим позициям. Во-первых, потому как имя машины напоминало первую, несостоявшуюся любовь, Аллу Субботину, во-вторых, машина эта была такая же скуластенькая и узкоглазая, как та же Алла. Короче, и во-первых, и во-вторых — из-за одного и того же.

Ну, а стальной цвет машины Короткову просто нравился — мужественно.

Редкая женщина похвалиться таким уходом за собой, какой проявлял к своей “Алке” (так он иронически называл своё транспортное средство) Коротков. И на холостом ходу, и на большой скорости он чувствовал дыхание своей любимой. Малейшую “першинку” в голосе он замечал без “стетоскопа”.

Человеческую клинику Коротков не жаловал, зато в СТО у него были свои мастера, которые за глаза удивлялись: “Чего он хочет, машинка, как часы, работает, чудак на букву “м”. Но деньги брали за какое-нибудь неважное подтягивание болта, лишнюю смазку.

Мыл, парафинил, переживал за незаметную царапину где-то там, “подмышками”, на невидимом месте. Но зато и отдавалась Алмерка ему от всей своей души, и мчала по чёрному асфальту то в ясное, серебряное утро, то в космическую черноту. Вот тогда-то внутри и трепетало, и звенело тоненько, и было так хорошо, будто дождик прошёл и пахнет радугой. Так мать всегда говорила: “Пахнет радугой”. Тогда Коротков просто летел, не замечая ни рук, ни ног, ни стареющего своего тела. Никому об этом лихом полёте Иван Коротков не рассказывал. Это было чисто его.

И вот однажды... В человеческом быту всегда существует это надёжное слово. Однажды он заехал на знакомую мойку к Михальчу и увидел там её. Он её сразу узнал. Алла Субботина! Та самая, из первой влюблённости. Все её лицо с острыми скулами, узенькие щёлки глаз, тонкая, классически гибкая фигура, шаг с достоинством. И хоть она тёрла губкой дверцу Алмеры и почти не видела его, опустившегося на стоящий в углу моечного павильона табурет, всё равно её движения были аккуратно плавными. Именно такими, какими были они в его юности у Аллы Субботиной.

Коротков знал, что та Алла Субботина умерла в чужом Ташкенте от онкологического заболевания, что это фантазмагория, и всё же, несмотря на “чушь собачью”, другим, каким-то новым разумом понимал: она.

Когда он её увидел, то даже дыхание перехватило. И вот, достигнув табурета, он пришёл к странному выводу: гениальный учёный Михайло Васильевич Ломоносов прав: ничего никуда не исчезает. Закон сохранения вещества. Не докумекал русский гений, что это правило касается и женщин. Женщины не исчезают. Наверное, и мужчины не исчезают. Просто катятся все в разных поездах.

Мойщица Алла Субботина стала недоуменно поглядывать на пожилого мужчину, долго сидевшего на старом, покоробленном от воды табурете. Обычно все уходят курить, пить кофе или просто пошататься. А этот застыл, как вкопанный.

Не решился Иван Иванович Коротков спросить, как звать девушку. Зато уж Алмерку — Аллочку свою “притопил”, как следует. И очумевшая от счастья машина несла своего хозяина куда глаза глядят, чуть постанывая на неровном дорожном полотне.

Во второй половине дня Коротков переделся в джинсы и цветастую рубашку. Ему везде “пахло радугой”.

На другой день он опять хотел было записаться к Михалычу на мойку. Но мыть было нечего. Может, специально по пыли помотаться? И на мойку он поехал в выходные.

Ему повезло. Работала Алла. Ей помогал какой-то “ботаник” на хилых ножках, обтянутых джинсовой материей.

Алла взглянула на Короткова, как на старого знакомого, и немного улыбнулась. Да, он знал эту нерешительную улыбку. Коротков её вспомнил. Даже отказывая в чём-то, та далёкая Алла улыбалась так нежно, будто награждала.

Она улыбнулась и посерьёзела. Её лицо было грустным, горестным, что ли. А дело в том, что вчера она поругалась из-за пустяка с Сашкой, который её обжал, а она не понимала своих чувств к нему. Девушка подозревала, что здесь, на том месте, где она живёт, не может быть любви. На такой почве ничего хорошего не растёт. Хоть поливай её, хоть целебной пеной покрывай — так, колочки одни.

И тёрла она машину Короткова энергично, пылесосила салон с такой же напористостью, будто хотела вычистить не только частный транспорт, а и внутри себя, всю кровь, всю лимфу. Было противно, что в том разговоре с Сашкой она пыталась себя показать.

Коротков, когда расплачивался, всё же решился и, заглядывая в её узенькие глаза, произнёс:

— Вас случайно не Аллой зовут?

Она взглянула на него, как на старика, пристающего к молодой:

— Нина. — Холодно, отстранённо. Конечно, он сумасшедший. Что ему привиделось! И всё же на этом Коротков остановиться не мог. Вернее, не мог остановиться его язык, который начал плести несуразное. Мол, знакомая, точно такая, у него была в далёком прошлом. Нёс пургу, от которой глаза у мойщицы расширились до предельной величины.

Более того, седеющий Иван Иванович Коротков смаху пригласил девушку сегодня вечером посидеть в ресторане “Матрёшка”. Фантастика беспредельная! Нина, забытое русское имя, согласилась. Виной всему был вчерашний инцидент с влюблённым в неё Сашкой. Это было неизвестно что, отместка, или просто сумасшествие заразительно, как грипп.

В ресторан она пришла нарядной. Колечки, на шею цепочка с дельфином. Шаг у неё был по-прежнему плавный. Но сидела она на ресторанном стуле прямо, как учили в первом классе. И даже руки на столе держала сцепленными. Нина училась на фельдшера “скорой помощи” в местном колледже. И подрабатывала на мойке.

— А что, больше нигде нельзя?

— Здесь сразу платят. Я на учёбу коплю и на лето. Чтобы к морю.

— А хотите, я вас на море отвезу, и будете там жить, сколько хотите.

Нина с недоумением взглянула на пожилого, малознакомого человека и приподнялась было со своего высокого стула. Но потом опять села:

— Не надо так...

Коротков всё понял.

Подали ужин. И голодная Нина, забыв, с кем она в этой роскоши, накинулась на еду. Победил не только голод, но и молодой инстинкт, сам по себе заботящийся о человеке.

Как бы вдруг опомнившись, она положила вилку на узорчатую салфетку и простодушно взглянула на Короткова:

— А вы тревожитесь о своей машине очень тщательно, в ней и убирать нечего.

И Коротков, как бы оправдываясь, стал говорить, что это у него в характере, что он о любой вещи заботится так тщательно. Немного приврал, конечно. Хотя девушка права, об Аллочке своей он заботился со страстью.

И, чуя, что Нина его слушает, чуток прихлёбывая минеральную воду, стал говорить всё. Надо же. Он говорил о своей матери, которую он мучительно любил, а она жила далеко от него с новым отцом-отчимом Белозеровым, о брате своём, торгующем хомутами, даже о Ленке, но больше о юности, об Алле Субботиной, которую он называл Аленький Цветочек. Он говорил

и взглядывал на Нину. Коротков захлёбывался словами, тёр щёки, промокал глаза и рот теми же узорчатыми салфетками. Ему было стыдно и радостно одновременно за пошлость — хм-м, “Аленький Цветочек”... Он взглядывал на мойницу машин. Нинино лицо было крайне доверчивым. Нина не выветрилась, не полиняла, не расстрясла душу по кочкам.

Такое чувство, что он за рулём своей Алмеры, опьяневший без вина, лишь от того, что его внимательно слушают. И снимают с сердца какой-то невидимый, неудобный груз, гирию.

Больше Коротков и Нина никогда не встречались. Просто спустя время ему стало стыдно за свою исповедь перед незнакомой девушкой. Да и душу больше беречь не хотелось. Ближнюю мойку он стал объезжать стороной, хотя нутром чуял, что девушка там давно не работает.

## ТРЕПЕТ ТАЙНЫ

Добрый Дед сурового вида, владелец всей этой цветущей прелести, сдвинул кустистые брови и ткнул толстым пальцем в сторону леса:

— В лес глубоко не заходите, змей в этом году рясно. Рясно, как вишен в саду.

Добрый Дед положил свою тяжелую ладонь на Ленины коленки:

— Мне только и остаётся, что женскими ногами... Глядеть на них...

Окуневу было это неприятно, неприятен и юмор хозяина, взглянувшего на джинсы корреспондента Королькова. “У тебя ширинка расстёгнута, птичка вылетит!” Надо было терпеть и переключаться. Он со счастливым сердцем подумал, что вот эта “тайная Лена” — самая красивая женщина здесь. У неё прямые, каштановые волосы, глаза то ли синего, то ли зелёного отлива. Всегда эти глаза смеялись, даже в моменты грусти. То есть эти глаза оставляли надежду на лучшее.

Никто не подозревал об их отношениях. В принципе, в этих отношениях ничего такого плотского и не было. Они просто разговаривали. Порой он тайно гладил её пальцы. Раза три они целовались, когда все уходило на обед. Целовались воровато, с оглядкой на дверь.

В ней сохранился детский наив. Он понял это тогда, когда Лена рассказывала про свою крохотную дачу в уральском посёлке, как они с матерью выходили на весеннее солнышко. И половицы на крыльце приятно грели и слегка щекотали ступни. Что в этом особенного? Но этот короткий рассказик кольхнул сердце: “Как она мила!”

Добрый Дед посоветовал всем пить как можно больше кумыса и отчалил на своей тяжёлой, блестящей чернотой “Волге”

У нас такое милое свойство: на природе надо как можно больше есть, а дома — как можно больше говорить о любви к природе. Посему все рассредоточились по сумкам, выкладывая снедь на длинный дощатый стол, расположенный под густым кленом.

Всем было невдомёк, что Володя Окунев и Лена Мельникова исчезли из этой компании. Они пошли на бережок, где бултыхалась тёмная, как Дедова машина, только просмолённая лодка.

— Спасение от змей. Уж они нас не достанут, — блеснула глазами Лена и первой прыгнула на качающуюся посудину. Плдохнувшись на тесную скамейку, они сразу стали целоваться, угасив в голове всё. При этом не так, как в “конторе”, а жадно. Ведь здесь природа. А природа всегда благословляет влюблённых. Это, кажется, он изрёк в перерыве между поцелуями. А она ответила: “Как ты пошёл!” Сказала это не осуждающе, даже поощрительно.

— А слабо нам в лесу! — с дрожью в голосе проговорила она, отдышавшись от очередного затяжного объятия. — Опасность нужна.

— Ничуть не слабо! — Окунев схватил её за запястье и выдернул на бережок. Лена послушно, словно сомнамбула, двинулась к недалёкой опушке. За ним. Деревья здесь были разные, малорослые. И всё было схвачено весенним, размашистым кустарником и вязкой травой.

И трепетом тайны. И жаждой опасности.

И чего греха таить, Окуневу и в самом деле было боязно волочить ноги в плотной траве. Ей же ей, на гадоку наткнёшься. Ойкало внутри. Змеи весной злые, потому как голодные. Но, однако же... Странная мысль вцепилась в его мозги: “А тогда ведь, при сотворении мира, свидетелями платонических отношений Адами и Евы были одни лишь змеи. Хм-м, это змеи их со-вратили! Ясен пень. И за счёт этого появилось всё человечество, в том числе и раб божий Володимир, и раба божья Елена”.

— Молчи, молчи! — Она опять уткнулась в его губы, прошептав: — Я чувствую это! — И они упали в траву.

Он было потянулся туда. Но Лена, ласково погладив, убрала его руку.

Он только целовался то ласково, то ожесточённо. И от опасности, что, как пел когда-то сильный, модный баритон: “Змеи, змеи кругом”, — эти целуи были ещё слаще, ещё желаннее.

Грех ли это?! Да, грех! Ведь и у неё был муж, начавший лысеть, с круглым животиком, Саша. И у него была жена. И, в самом деле, бесценная жена, которую невозможно оторвать от сердца.

Но этот грех казался весёлым и радостным, желанным, потому как всюду разлито весеннее солнце, и ветер пахнет неизвестными цветами, и там недалеко волны шлёпают о борт новейшей лодки. И от длинного стола с закусками раздаются весёлые голоса. Да ещё и: “А-у-у-у!” Видно, их ищут, чтобы всем вместе выпить и закусить.

Нет, конечно же, он не разобьёт свою домашнюю жизнь, не уедет с ней на Урал. С Леной, с этой красавицей с весёлыми, надёжными глазами. Он её любит, да, конечно, он жутко в неё влюблён. И целуются они с таким упоением, что змеи в кустах жмурятся от зависти.

## СТАРИК И ПОЕЗД

Пить и курить старик бросил давно. И ещё одно удовольствие — читать, и это пришлось оставить. Читать новое он не хотел. А старое помнил чуть не наизусть.

Старик внезапно, в одночасье понял, что подкатило, что уже пора доставать из сундука вещички и отправляться из жизни к тому камню, на котором начертано: “Пойди туда — не знаю куда”. То ли к могильным червям на закуску, а то ли к Богу на допрос.

Но вчера вот ему приснилось или примнилось спросонок, будто кто-то приказал ему вежливым тоном: “Возьми билет, езжай!”

“Куда?” — взметнулось в голове.

— Куда глаза глядят! — тюкнул ответ

Старик понял — всё благо. Это как последняя сигарета приговорённого к смерти.

Он это любил. Он любил да забыл. Он забыл равномерное раскачивание в поезде, как в люльке или во время любви. Любил, любил, любил. Как мог забыть?! То убаюкивает, а то заставляет жадно глядеть в окно. А там — уплывающая из-под колес земля, фигуры на перроне, меняющие свою жизнь. И от этого фигуры становятся более живыми, чем те, которые сонно бродят или запыленно, лунатично мечутся по их посыпанному рыхлой скукой городку.

Ехать на машине в потоке — это не то. Сигналы, толчея. Это — нудная очередь. Да и шоссе скучно. Железная дорога — вот это настоящее путешествие. В окне — глянь-глянь туда, чуть скоси глаз, пасутся козы. Мужик прибывает жердь к кольшку. Старая, неприлично вздыбленная водонапорная башня.

А рядом-то, за столиком, разворачивают шелестящую бумагу. Чесночный запах копчёной колбасы. И принесут чай в гранёных стаканах с металлическим подстаканником. На подстаканниках — отёртая проводницей чеканка, звёзды, орнамент, выбито “МПС” — министерство путей сообщения.

Старик взял билеты все же на нижнюю полку, но поближе к туалету. Он, странно это, хотел, чтобы пахло зубной пастой, разным мылом, хлоркой и мочой — всем человеческим.

И сразу же, на своей станции Старочеремуховской он понял, что праздника не случится. В дверях вагона его встречала не старая, в два обхвата проводница в чёрной засаленной юбке с косым взглядом морского разбойника, а миловидная девушка в узеньких джинсах. На тонкой шее вежливой девушки был повязан цветной платок. Она посадила старика на первую ступеньку. И он сразу же был поражён чистотой прохода, блеском начищенных, никелированных перил, мерцанием светлых окон. В его отсеке — вагон был плацкартный — никто не сидел, и никто не разворачивал жареную, тёмно-коричневого цвета курицу. Пахло чем-то душистым, чужим, как теперешний ярко-жёлтый лимонад.

Старик ехал в никуда. Он взял для блезиру билет до какой-то станции Сума. “Сума” или “Сумма” — он так и не понял. Все шептал сухими губами, перебирая два этих сумрачных слова.

Из сумки старик достал Льва Толстого, повесть “Казачи”. Но читать не стал. Книгу он захватил с собой по старой привычке.

Когда поезд тронулся, отъехали, мелькнула проводница с ключом, открыла туалет. Старик приготовился вдохнуть сигаретный дым, который всегда пробивался из тамбура в отсек туалета. Он пошёл, пошатываясь, и это его слегка успокоило. Но, открыв дверь этой санитарной комнаты, он с крайним изумлением ничего не увидел, кроме стального цвета чистого унитаза, в котором ничего не журчало и не билось. Умывальная раковина тоже была серой, хорошо оцинкованной. При нажатии на язычок текла и холодная, и горячая вода. Зеркало отражало морщинистую, растерянную физиономию.

Старик ничего не стал делать, просто пожевал сухими губами и вышел из туалета. Он понял, что не туда попал, что взял билет не в тот вагон. И его тащит не та заветная рыба, про которую он читал давным-давно, а что-то другое, крайне вежливое и холодное.

С минуту он надеялся, что вот-вот из тамбура ворвутся цыганки в кружевных юбках и станут приставать с гаданьем, называя его “миленький-хорошенький”... Хрен тебе!

Вскоре на тонких, лакированных копытцах, обтянутых в синюю, полинявшую материю, явилась проводница. Он улыбалась и предлагала ему кофе в пакетиках или чаю!

— Чаю! — радостно воскликнул старик. Чаю! И пред ним тут же, в сознании, мелькнули твёрдые буквы “МПС”.

Девушка ушла, тут же вернулась, поставив перед стариком белую с голубым цветочком чашку на таком же белом с цветочком блюдце.

Старик поглядел на это всё, будто ничего не понимал, будто вообще он где-то потерялся, будто у него враз отшибло память. Он потёр виски, достал очки из целлофанового пакета, потом опять сунул очки туда же, потёр опять виски, лоб. И заплакал. Он плакал молча, просто текли слёзы. Слезная влага заворачивала в радужную простынку всё, что есть в вагоне и в окне, корёжа это всё, как ненужную листву в осеннем парке.

Девушка в косынке с пластмассовым квадратиком на груди “Дарья”, когда вернулась за чашкой и деньгами, заметила слёзы на щеках старого пассажира. Мать ей говорила когда-то, что старый, как малый.

И Даша спросила, опять сияя молодыми, чистыми глазами:

— Дедушка, может, чай не сладкий? Так я принесу сахарку?

Он промычал что-то в ответ, глядя в окно и одеревенев.

И Даша ушла, тихонько, кажется даже, на цыпочках. Да и так её лакированные копытца были абсолютно бесшумными.

## СЫРАЯ СИРЕНЬ

Владимир Иванович, сухой поджарый старик, ветеран войны, из последних её служащих, похоронил жену. Пышную раздобревшую бабу, имеющую вечный возраст — шестьдесят лет.

Горевал, конечно.

Заглядывал в редакцию маленькой газеты “Восход”, где он числился пишущим заметки активистом, и, высморкавшись, жаловался длинношеему заведующему отделом писем Виталию Столярову:

— Спать не могу. В час ночи просыпаюсь и гляжу по тёмным углам. Мне чудится, что здесь она, Сергеевна моя, что прячется только.

Столяров вытягивал свою шею и глядел на Владимира Ивановича, не моргая.

Однако через месяц Владимир Иванович пришёл с новой жалобой: “Отпустило!”

Столяров сморгнул, а Владимир Иванович засунув платок в брючный карман, пояснил:

— Не могу я один. Никогда один не жил. Вот нашёл себе... эту... хорошую женщину. — Он покряхтел. От этого стрелки полузакрученных усов его подрожали. — Я, Виталий, наверное, только на том свете успокоюсь... А так всё время об этом думать буду.

Сельский журналист Столяров приобрёл привычку садиться в один рядок с тем человеком, с которым разговаривает. Он пересел со своего скрипучего стула на дерматиновый диван сталинской поры. Диван-то был старым, но обтянут новой материей им же самим, Виталием.

Круглое лицо на длинной шее повернулось к старику и покачалось.

— Стёпа мерещится всю жизнь, — доверительно проговорил посетитель.

— Какая ещё Степа? — Столяров облизал губы, словно хотел скушать будущую историю Владимира Ивановича Кормильцева.

— По-хорошему её звали не Стёпой, а Стефанией, итальянкой она была. А познакомились мы с ней в немецком городе Потсдаме. Это уже было после того, как фашист сдался. Конечно, город был иным, совсем не похожим на наши города. И голод в нём был особенный, чистый и рафинированный. Чистенькие дети, немки, выстиранные до последней возможности, синеватые даже, подходили к нашим кухням и им плескали в котелки, фляжки. Это хорошо в кино показывают.

— А так ведь в кино врут все про войну-то?! — вставил Виталий.

— Брешут! — кивнул стрелками усов Владимир Иванович. И продолжил: — Я у полковника, замкоменданта города Белоусова, в ординарцах служил. Что там мне было, поскрёбьши войны, девятнадцать лет. Н-к, дак вот. Скажу я тебе, Виталий, без брехни. Наши тоже спервоначалу лазили по ихним хаузам, потихоньку таскали добро-то. Ещё приказа расстрельного не было... Ну, там и фрау пощекотывали, где надо... В этих самых сладких местах. Как же по-другому? Победители! Да и немки охотно шли... гм-м-м... На это сближение.

Ветеран потёр топорщащиеся по-молодому усы. Он курил. Поэтому часть усов желтела от никотина.

— Да и дома у них специальные оставались. По обслуживанию. Которая покрасивше — два пфенинга. А так — за копейки...

Глаза у журналиста потемнели:

— Но это как-то скучно. Не по-нашему. Как будто с куклой из тряпок.

— Ну, дак вот, а уж не помню, где... Да-да, в зарослях сирени, в парке ихнем я познакомился. — Тут Владимир Иванович потёр глаза. — А вот сирень у них наша, родная, как у Онучки в полисаде. Всё чужое, а сирень — своя... А! Отвлёкся я... Она сказала — Стефанией её звать! Почти по-русски. Понять можно было. Я тоже ей представился. Она повторила: “Владимир”. Глаза у Стефании были густо чёрные и хорошо умытые. “Красифо”, — повторяла она за мной. — “Кра-ра-шо”. У них тоже такая сирень растёт. Я тогда понял. У них — это в Италии. Стефания оказалась итальянкой. И эти глаза, и смуглая кожа, и этот вот запах полураспустившейся, ещё сырой сирени, смешанный с запахом её кожи, — всё это ударило то ли по мозгам, то ли по сердцу. И я тогда опьянел, без всякого шнапса. Я ей тоже видно пришёлся... Молодой был, скуластенький... Стал её подкармливать. Она всегда жадно уплетала и мои консервы, и тушёнку, и солдатские галеты. Мой полковник шоколад мне отдавал. Как потешно мазалась этим

шоколадом Стефания, Стёпа! Это я её переделал на русский манер. А как она пела! Итальянцы все поют хорошо и имеют хорошую память. Веришь, нет — русский язык вполне сносно выучила. И когда, жмурясь, грызла чёрную шоколадную плитку, приговаривала: “Сердце женщины лежит черес шедукот”. У меня и деньжишки водились. В гашет с ней ходили.

— А это самое... Это-то было? — Виталий Столяров немножко отодвинулся от порозовевшего Владимира Ивановича.

— Не в первый же вечер! Они же, эти нерусские, не понимают, что надо в начале выдержку иметь, а потом уж... Что так оно и слаще... Н... Да... Но не в этом дело... спустя время, дело уж под осень, оказалось, что Стёпа в положении. Чо? Чо?.. Я, дурень, обрадовался. И в мыслях не было там её бросать. Мол, поматросил и бросил. Жениться надумал. А она-то как была рада, так и болталась у меня на шее, как какой-нибудь дорогой камень... У тебя здесь курить нельзя?

— Нет!

— Ладно! Я к полковнику своему, к Белоусову, рапорт. Так и так, хочу судьбу определить? Как звать? Итальянка? У немцев работала? Телеграфисткой?

Доброе лицо моего полковника побагровело. И глаза! Глаза испугались. Кажется, ему не хватало воздуха. Но он его всё-таки получал: “Неме-е... неме... нем-едлен... но домой. Туда, с первой же отправкой”. Я всё понял. Это тогда я жутко обозлился на Белоусова. А потом только понял, что он спасал не только себя, но и меня... От лагеря... Но, может быть, и от пули...

Великая, сострадательная душа Белоусов. Он разрешил мне и в этот вечер встретиться со Стёпой. Я ей всё рассказал. И она повторяла без слёз, твёрдо и не своим голосом “Не суждено!” И всё равно от неё свежо пахло сиренью.

На другой вечер я опять вошёл в узкий коридор с чередой комнат. В одной из них жила Стефания — Стёпа. Жила — да не жила! На двери комнаты был приклеен листок с русским словом “Уехала”. И я тоже укатил по своим солдатским рельсам в чине сержанта. Терпеть не могу одиночества. В этой вот, вашей станице я тут же скороспело и подженился на своей Ирине Сергеевне. Уже лет так через десять, когда мы с женой полностью привыкли друг к другу, я понял, что женился я на ней из-за похожих итальянских глаз... Есть такой художник...

— Брюллов, — подсказал Виталий.

— Ага. Так вот у него на всех картинах женщины с такими глазами!

— Брюллов! В основном в Италии и жил! — подтвердил журналист. — А у этой вашей, новой, итальянские глаза?

— Не-е-е... Может, и были, да выцвели.

Через полгода после этого разговора *поскрёбши войны* Владимир Иванович Кормильцев на велосипеде ехал на рынок. Рядом с отделом милиции ему стало дурно. Он спешился и, недоумевая, схватился за сигарету. Прикурил и потащил старый, испараннный велик к стеклянной будке, нечто вроде милицейского “предбанника”. Транспорт свой приткнул к дереву. Зашёл в будку. Нажал на специальную кнопку вызова. Двое молодых парней в форме принесли стул и усадили Владимира Ивановича. Коротко сказали: “Скорая” сейчас будет, вызовем.

Сигарету Кормильцев докурил до жёлтого фильтра. Сразу, как докурил, так и ушёл из этого мира. Не упал. Прислонённый к стенке, он часа два, как в аквариуме, остывал, отдавая последнее тепло холодному в этом году месяцу маю.

## КЛЕТКА

— Анонимно, говоришь? Раз всё анонимно, давай придумаем мне фамилию. Пусть я буду Рогачёв! А что, вполне соответствую. Только ты, это, новый образ обмыть бы надо напоследок.



Борис так криво шутил.

— Дрожишь весь, какая обмывка?!

— Даже перед эшафотом дают последнюю сигарету. Ты ведь меня на эшафот везёшь?!

Старенькая “шестёрка” притормозила у магазина. Наташа спрыгнула. И вернулась из торговой точки с бутылкой, обтянутой фольгой.

Половину бутылки пива он выпил с маху, другую вспененную половину переименованный Семёнов швырнул в тёмные кусты, выпиравшие из фундамента магазина.

— Не пьётся.

Анонимное лечение под псевдонимом Рогачёв предполагало и дополнительный тариф. Наташа уже на проходной сунула денежную бумажку внушительной бабенции в дерматиновом, как у мясника, переднике.

Вообще всё здесь походило на старорежимную, времён СССР мясную лавку. Или подсобку. Серые, плохо белённые стены, пол из мутного кафеля и ванна, похожая на огромную мойку для посуды с ржавыми алюминевыми краями.

Всего этого будущий пациент Рогачёв и не заметил сразу. А огляделся лишь тогда, когда на него полилась тёплая вода. Венчиком этой водицы распорядилась Наташа. Она намылила ему голову брусочком хозяйственного мыла, от которого пахло далёким детством, баней в Сосновке. Она ласково, ладошкой потёрла его щеки. От этого, а не от тёплых струй, по всему телу пробежало особое, домашнее тепло. И даже выдавшая виды чужая мочалка не показалась обновляемому Рогачёву чужой. Ведь её сжимала Наташина ладонь. Мозги его работали сумбурно. Они были сбиты недельной суматошной пьянкой и подраны недавним мерзким пивом. И всё же Рогачёв с досадой подумал, что могло быть иначе. Да-да, так, как пять лет назад. Тогда так же в душе она мылила его и обнимала, обнимала и тёрла, и они целовались вза-сос, и они делали это самое, отчего брызги никелированного раструба были не водой, а крупными жемчужинами. Но ведь всё пропало, истребилось, унеслось. От его ревности, от её подозрительных отлучек, от его выпивок в случайных подворотнях.

Наташа так же, как и раньше, прижалась своей щекой к его щеке. И нахлынула новая волна особого тепла:

— Лечись, может всё у нас назад вернётся.

Рогачёв уткнул. И его, уже одетого, под руку схватила жёсткая ладонь санитарки, той самой, которой Наташа сунула деньги.

Жена двигалась сзади, чуть поодаль. Наташе разрешили посидеть в беседке для курения, пока Рогачёва дооформят на посту и сделают предварительные лечебные процедуры.

Выдали таблетки и капсулы, завёрнутые в пакетики, ширнули укол, и медбрат с осипшим голосом повёл на место. Место было огорожено узорчатой тёмной решёткой. Такое впечатление, что это железную изгородь стацили откуда-то с морской набережной. Однако калитка этой изгороди оказалась заперта на внушительного вида замок.

Одурманенному Рогачёву должны были делать капельницы, но пока он огляделся. В его глазах, как надутые мешки, подпрыгивали однопалатники, такие же, видно, горемыки. Они что-то бубнили и больно для мозгов Рогачёва смеялись. Рогачёву показалось, что над ним. Он попытался сказать сиплому санитару, который возился здесь же с верёвками:

— Выйти бы, попрощаться. Жена.

— У всех жена. — И ровным, как у боцмана в кино, сильным голосом предупредил, что если Рогачёв будет рыпаться, то его ремнями привяжут к кровати. Рогачёв было взъерепенился, но на дальше не хватило сил. Наташа и так, наверно, уйдёт.

Другая сестра, не тот буйвол, а худенькая, приволокла, задевая за порог узорчатой решётки, капельницу с тяжёлыми покачивающимися жёлтыми бутылками. Она бесстрастно, автоматически нашла вену и так же равнодушно похвалила Рогачёва за выпуклый сосуд.

Методично капало лекарство, извиваясь в прозрачных трубках. И вскоре желтизна этих трубок опутала Рогачёва, лишила его и глаз, и ушей.

Проснулся он от того, что рядом вполне различимо рокотал баритон. Смеялись. Баритон, икая, рассказывал о том, как он с товарищами, такими же, поймали кошку и сварили её на закуску: “Вернулась, ик, с работы жена, Клавка, понюхала воздух вокруг, ик, разогнала выпивох, а потом не подозревая ничего, “схавала” котятину. Кушала, ик, и хвалила: “Ум отъешь!”

Громыхнула железная изгородь их палаты. Пришёл сиплый. И все засуетились, шмыгали носами, шерудили в тумбочках. Курить по расписанью. Неволя, всё ж. Сиплый повёл их строем в ту самую курилку, в которой была оставлена жена. Рогачёв не курил. Но брёл следом. В курилке он чуть было не грохнулся в песчаный, с блеклыми ростками молочая пол. Мужик, его все звали Михалыч, подхватил его: “А ты чо нос воротишь?”

— Дым! — с трудом выдохнул Рогачёв.

Всё обошлось. Его сводили к дежурному врачу, который больно ощупал его, будто щипал куриную тушку. Задал странные вопросы:

— Какое сегодня число? Как вас звать? С какого вы года рождения?

— А что, есть и не отвечают?

— Есть! — многозначительно кивнул лысый, в тёмных очках врач.

На ужин подавали кашу-размазню. От капельниц пробился аппетит. И Рогачёв, удивляясь себе, быстро проглотил это блюдо, запив бурдой с лекарственным запахом.

Михалыч, тот самый, который спас его от падения в курилке, хмыкнул:

— От стоячки!

Само собой, большинство пациентов привезли сюда жёны. Некоторых везут по несколько раз в году, “чтобы все отдохнули”. Вялым и всё же возвращающимся рассудком Рогачёв отмечал главное: зашиваться бесполезно.

— А меня моя специально сюда тискает, чтобы к этому мотонуть, — надтреснуто прозвучал голос из угла.

Кто такой “этот”? Рогачёв воображал медленно. Любовник...

— А мне всё равно, лишь бы хавчик был с пойлом, — пиликнул длинный мужик, которого все звали Художник.

— Эх, сейчас бы чайку покрепче! — Это Рогачёв сказал вслух. Он почему-то разволновался и стал дрожать.

— Не-по-ло-жено! Ни чай, ни кофе, — ответил на это взявший над ним опеку Михалыч. Он возился с электробритвой. И брился, как утверждал, три раза за день: “Волос прёт, когда трезвый. По пьяни неделю не броюсь”.

Звякнула цепь, на которой висел замок.

Это явился Сиплый. Он подсел на кровать к Рогачёву и доверительно сообщил:

— Я тоже здесь лечился, а потом на всю жизнь устроился. Холостой, чо мне, холостому хорошо. Как солдат. Паста да щётка. Вот спасаю вас. — Сиплый помолчал: — На вот тебе денег. Прислали! — Он быстрым движением сунул Рогачёву в карман пижамы бумажки. — Если хочешь, можешь супруге позвонить. Я за эту услугу уже вычел. Из всей суммы. — Он вложил в ладонь Рогачёву тёмный брусок с клавишами.

Наташа ответила сразу, сказала, что дома, что убирается. Голос у неё был весёлый. Наверное, всё вернулось на лад, и она этим голосом подбадривает мужа, как вообще подбадривают всех больных. Да, он вылечится, и всё опять вернётся на прежнее место. И они опять будут целоваться дома, в душе, пока Димка спит. А потом мокрые, на цыпочках, перебегут в спальню.

— Принеси мне завтра пачку чаю! — попросил Рогачёв Сиплого спасателя.

— Не положено! — вяло уронил санитар. Рогачёв уже знал, что его зовут Антипыч.

Когда санитар ушёл, тот самый художник от слова “худой”, закинул удочку:

— Прописаться бы надо?!

— Доходит, ик, как до утки, на трети сутки!

Все заржали, вполне доброжелательно. Художник разъяснил:

— Здесь дырка есть в проволоке, а недалеко от дырки — лавка, сам понимаешь, на лавку и фю-ить — на волю. Прописаться тебе милое дело... Башли-то Антипыч пригнал!

— А засекут? — вяло возразил Рогачёв. Ему не хотелось скандала. Ведь он твёрдо решил лечиться. И всё же пришлось дать деньги на пойло.

Михалыч успокоил:

— Не бойсь, они нас запирают, а мы в ответ — вот эдак. Ночью никто не проверяет. Вот не запирали бы, и в лавку бы никто не бегал!

— Сомнительно! — Это возразил паренёк, которого снарядили в лавку. Полы его халата были огромны, как у пингвина фрак.

— Что сомнительно? Ты это, ещё пачку чаю купи! — попросил Рогачев.

— Лады.

Чаю посыльный так и не принёс, забыл. Ну, да ладно, Наташа завтра тайком доставит. От выпивки Рогачёв сумел отказаться, сказав, что живот скрутило.

Поздний вечер прошёл тихо-мирно. Кроме горошин, капсул, двух уколов Рогачёву вручили ещё и снотворное в строгом пакетике. Оно подействовало сразу, и от него стало хорошо на сердце. Рогачёв вдруг понял, что не только он жену, но и жена его любит. И это всё — чистая, как мёд, правда. Год назад на зеркале в прихожей Наташа крупно написала губной помадой: “Я тебя люблю, но иногда на меня что-то нападает, и я бешусь”. От такого признания как не выпить!

Приснилась чушь, бред. Бандюги с расплывчатыми физиономиями. Они протягивали ему горошины таблеток и шевелили ножом у горла: “Рогачёв, не прикидывайся, ты Борис Алексеевич Семёнов, мы тебя вычислили”.

Сон оказался таким реальным, что Рогачёв-Семёнов понимал, что это происходит с ним в каком-то дальнем углу наркологии и что его вот-вот и вправду пырнут ножом, чтобы чего-то там зашить!

Но под утро громыхнула решётка, и сиплый Антипович повёл всех дымить. Рогачев увязался со всеми. Ему надо было скоротать время. До посещения Наташи оставалось ещё три часа.

Свидание с женой проходило в добротном отделанном пластиком помещении. Как в капсуле космического корабля.

Наташино лицо было безукоризненно загримированным. И ещё она распустила волосы по плечам. Она так делала всегда, когда надо кого-то убеждать, с кем-то бороться. И в самом деле, она стала убеждать Рогачёва кодироваться уже после основного лечения.

Так это или нет, но Рогачёв слышал от мужиков, что кодировка вредна для мужика: “Пить-то, паря, бросишь, но вот с бабой, паря, ни на что не будешь годеи...”

Наташа иронично улыбнулась:

— Ничё, справимся!

Он не понял.

Из нарядного пакета она выложила туалетные принадлежности, всё новое, пахучее, новое спортивное трико и пачку листового чёрного чая. Всё это она сдабривала ласковой, вполне правдивой улыбкой, и Рогачёв радовался её передаче, её искрящимся, раскинутым по плечам волосам, крепким икрам, хорошо видимым за подолом льняного, под крестьянскую старину платья. Заживём, заживём скоро. Всё заживёт!

Так же, крепко, она поцеловала его, обхватив затылок.

И тут в сумочке Наташи зазвонило. Обычный звонок, не мелодия. Наташа не любила эрзац-музыки. Жена выхватила телефон, отвернулась, прищипнула трубку, а потом быстро отпрыгнула от Рогачёва.

К мужу она вернулась тут же. Разговор по телефону был короток. Она, не мигая, смотрела на мужа.

— Вот что, — с изменившимся, чужим лицом (куда девалась её ласковость?) она рубила фразы: — Вот что... Только ты не падай. Мне позвонили... Гм-м-м... Что я там нужнее!

— Где там?.. Где там?!

— Где там, где, где... — Лицо её стало реально злым и пошло пятнами. — У него... Он попал в аварию в Новороссийске. Я туда поеду, там нужнее. В бессознательном состоянии. А ты тут... Прохлаждаешься. — Она укусила губу.

Рогачёв через тюль различил, как она подхватила свои сумки, пакет с грязным мужниным бельём и враз исчезла из поля зрения. Волосами плеснула. И ещё, и ещё — тёмным своим хвостом.

Рогачев уже не знал, что дальше будет делать и как жить. Он скользил задом по лунке стула в кабине этого пластмассового звездолёта и повторял, как уже закодированный, вопросительные слова: “Как? Где? Когда?”

Хлопнула с винтовочным клацанием дверь. Прихлынула та самая, с тяжёлыми бёдрами служительница и поволокла его опять под тёмный, испаранный ключом замок. В клетку. Рогачёв свалился на кровать, долго глядел, ничего не понимая, в потолок. Ему показалось, что он сходит с ума, потому что услышал: “А мне всё равно, лишь бы хавчик имелся...”

Какой он художник. Мурло! Откуда это всё берётся? Злость откуда? И эта злость подняла Рогачёва и подкинула его к распаренному рылу на подушке со штампом. Конечно, Рогачёв бы его придушил, если бы Михалыч не укусил за большой палец на горле уже сдавшегося Художника.

## НЕМЧУРА

Геныч, а официально Геннадий Карлович Зауэрбрей, выйдя майором милиции в отставку, решил мотануть на цивильный Запад в немецкий город Хемниц! “Поглядишь, как мы загниваем”, — писал ему по старинке в письмо осевший там старший брат Димка, осевший там давно, ещё когда Хемниц назывался Карл-Маркс-штадт. Немцев из России тогда выехало полно. Потом эту лавочку прикрыли. Да Геныч никуда и не хотел выезжать. Привык тут.

И как только он очутился в зелёной, чётко, по-военному постриженной обители брата, так сразу и понял: прав брательник. Загнивают. Без запаха, но с шиком. Магазины — чо хошь покупай, на лицах — сдержанные улыбки. На зеркале для бритвы больше пыли, чем на проспектах этого города.

Попадались, правда, многоэтажки, как в России. С балконами и козырьками у подъездов. Но все это вычищено до блеска и залакировано.

Димыч ничуть не изменился. Помолодел даже. Жил он в доме советского образца, с козырьком и балконом. У входа за стеклом сидит приветливый страж, оснащённый компьютером и фуражкой а ля фашист. Такие головные уборы в последнее время появились и у них в отделе внутренних дел.

Поручались, весело потолкали друг друга плечами. Геныч, вспомнив уроки немецкого, выпалил:

— Хойте орднер!

Брат поморщился:

— Сколько живу, никак язык не освою, хотя надо бы... — Сразу широко распахнул шкаф: — Выбирай!

В шкафу, как на весёлом карнавале, толпились бутылки с разными жидкостями, украшенные большей частью старинным шрифтом.

— Пью, что горит! — хохотнул Геныч.

— Рекомендую: шотландский виски!

— А водка есть, а бабкина смага? Шучу!

На стеклянном столике появились рюмки и всякая “парфюмерная”, как сказал хозяин квартиры, закуска.

— А где Валька-то твоя?!

— Работает, на почте, я писал же, старшим помощником младшего подметайло. — И сразу зачастил: — У них здесь автоматика крутом, хоть ты говно вози, все одно — не испачкаешься. Да, оно у них и не пахнет. Может, они что-то после еды в рот суют. Ну, давай по малёхонькой!

Подняли, выпили.

— Ты, знаешь, брательник, — вежливым голосом проговорил Димыч, — я сейчас не злоупотребляю, здоровышко поджало, да и Валька вот говорит: хоть немного в роскоши немецкой поживём. Всё мне покупает примочек да приптирок разных, чтобы рожу мою омолодить. Ну, а чо, задуматься — права она.

— Хм, да, да, права твоя Валька. Я вот сюда ехал с аэропорта, чо подумал и чо узнал про эту голову?

— Про какую ещё голову?

— Ну, про Карла Маркса. Голова-то стоит средь проспекта, щурится. И сзади надпись: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”. Соединились и мимо этой головы на “мерсах” пролетают.

— И что ты подумал про голову?

— Из пластмассы она. Агромадная. Из пластмассы. Вот если бы в России такую башку бородатую задумали бы, то из чугуна бы её выпили, чтоб уж никак не сдвинуть. И хулиганы в овраг не укатят.

— Нет тут хулиганов.

— Да я вижу, жаль! Давай ещё чекалдыкнем!

— Кх-м, слово какое, я уж и забыл его. Давай, Геныч, но последняя, я ж предупреждал. И Валька вонять будет! А ты пей, чо тебе.

— Ага. У тебя и балкон есть, курить хоц-ца!

— На балконе нельзя, соседи петицию напишут... Шум будет... Они тут за экологию борются до посинения. Где ж тебе... Я ж бросил... Ну, ладно, иди в туалет, там дыми. Потом дезодорант — там на полочке, спрыснешь. Валька придёт — поужинаем уже капитально.

Димыч устроился на диване, взял в руки телевизионный пульт. Геныч покурил в уборной, налил себе ещё рюмку, выпил, замечая в себе что-то неладное. Пить больше не хотелось. Может, в Германии воздух такой.

— Может, тут и алкашей нет, и нищих?

— Немного имеется. Вечером вылезают на прогулку. Говорят, что это у них вроде хобби, отрицают удобства.

— Чудеса! — то ли одобрительно, то ли осуждающе сказал Геныч. — А чо здесь делать вообще?..

— А нечего здесь делать. Балдеть! Вон телевизор. Машина у нас неплохая, ездить, путешествовать, природой любоваться, кегельбаны, это, для мужиков-то... Да и для женщин...

— Охота?

— Ага, охота... Охота, когда охота... На двуногих. Ну, вот приспичит, и — туда. Альбомы там, а можно и по видео поглядеть, какая нравится, со всех сторон повертеть, как куклу.

Геныч тряхнул головой:

— Бордели, что ли?

— Они.

— Был?

— Не удосужился.

Геныч сразу понял, что врёт. Как можно мужику, молодому ещё, и не соблазниться? Ну, за пятьдесят. И чо? Хоть для интереса.

К вечеру вернулась Валька с пакетами. Она поддержала компанию и разрешила своему Димычу выпить три рюмки крепкого виски. Все раскраснелись, стали жадно есть, как в России, и жадно расспрашивать Геныча:

— А как Валерьяныч там? А Динка Соколова меняет мужиков, как в прачечной простыни, ха-ха, хи-хи. Платоныч олигархом заделался, парк у него из пяти комбайнов. В уборку фермерам в прокат даёт. А этот, Пал Мудозвонич, шоферит?.. Куда ему ещё...

Хорошо у брата. Живёт в раю! Вон, даже чайник на плите в два раза быстрее закипает, потому как газ натуральный, не выжимки.

Утром Геныч отправился в открытое море, поглядеть, как немчура-то устроилась. Вежливый фриц в стеклянной будке записал его как Генриха Карловича Зауэрбрея и пожелал, немного зная по-русски: “Карошего прогулка”.

Удивляться в этом городе уже и нечему было. Ну, оперный театр в центре, опять — та же башка основоположника. Главное удивление — светофоры

на перекрёстках. Они все связаны в одну большую вязанку. И по-разному моргают. Как это фашисты в них кумекают?

Геныч хорошо разбирался в закутках кубанской столицы Краснодара, а тут, в линейности и кубичности всего, даже цветы — в вычерченных лекалами клумбах, тут он заплутал. И его выручило то, что пожилые немцы, те, которые учили русский язык в ГДР, подсказывали ему, куда идти. На лицах у этих немцев были почти живые улыбки. Так они подсказывали, словно больному или глухонемому. Даже голос повышали.

Три дня Геныч бродил по их маркетам, покупал джинсы Ленке, бюстгальтеры (стыдное занятие) жене Надюхе. Ведь наказывала: “У немцев белё такое, что у тебя сразу... — Что сразу? — А ну тебя, осёл ты, Геныч, хоть и майор милиции”.

Ездили за город на Димкином “Фольксвагене”. Ничего, природа такая же, лишь подстриженная. Неужели они и своего немецкого Бога приучили к секатору?

Геныч затосковал... И всё же одна мыслишка свербила его. Он уже знал, куда это идти. И лучше вечером. А то вдруг в этих апартаментах перерыв, облом. Немцы, они чистые. Врачи всех проверяют. И каждая девушка так же блестя, как деталь братнина “Фольксвагена”

“Спрашивать не буду, неудобняк, — решил Геныч. — Носом учую дичь”.

И, действительно, как у нас, у русских говорят: “Ноги сами приведут!”

Он пощупал сторублёвую... тьфу... Стоевровую бумажку в кармане: “На первый раз хватит”. И свободно, расправив плечи, милицейской походкой зашёл в автоматически распахнувшуюся дверь, над которой мигали розовые язычки слова “Paradies”.

Тут же его под руку подхватила длинноногая девушка в чёрной юбке и белой кофточке с бейджем на кармашке. И что-то стала мелко-мелко шпрехать. Она поняла, что клиент не понимает, перешла, кажется, на английский и тут же осеклась, показав на дверь. И эта дверь открылась: холл, длинный диван, загородки с планшетами, журналы и реестры-ценники. Генычу понравилась пухленькая блондинка. Марта. И он ткнул пальцем в её фото. Марта стояла 50 евро.

Наш мент бесстрашен и чугунен, как русская голова Маркса. Он смело отдался обстоятельствам. Марта оказалась улыбчивой девушкой со скользким, пресным телом. А как он хотел? Это ведь её работа. А всякая работа скучна.

Что ж, дело сделано.

Легко Геныч нашёл дорогу к братнину дому. У него кончились сигареты. И он, не зная, как это делается, подошёл к мужику примерно его возраста. Хм-м, оказалось — нищий. Нищий понял его и протянул пачку “Мальборо”. Домой идти не хотелось, там курить в туалете не комильфо. И Геныч пригласил нищего в бар. Тот охотно согласился, увидав его щёлканье по горлу — это была своего рода азбука Морзе для пьющих.

Нищий-то он нищий, но по-русски шпрехал, я те дам, как наш выходец с высоких гор Кавказа, всё повторял одно и то же:

— Карашо вы нас даванули, надо было до конца придушить, всю эту мерзость. — Эдик тыкал пальцем в гламурную роскошь бара.

— Тебя бы в наш подвал или в котельную!

Наклокались изрядно. И уже поздно Геныч добрался до своего временного жилья. Увы, в дом его не пустили. Надо было кричать в домофон, нажимать на кнопки. Но он стал лупить в дверь ногами, напевая:

— В той хемнице сырой, в той хемнице сырой!

Город-то Хемнице. Брат говорил, славянское название: “Кемнице — каменный”. Всё это болталось у него в голове, как вязанки уличных светофоров, и перемигивалось.

Всё же вышел консьерж с каменным лицом. И ловко, как будто был этому обучен, подцепил Геныча под локоть. Потом вызвал с третьего этажа брата.

После того, как составили документ, брат его забрал.

— Будет порицание! — поморщился Димыч.

— От кого?

Брат вздёрнул подбородок. Будто порицание вынесет небо.

И вот, когда все уже, Валька, брат и он, Геныч, пили чай на широкой кухне, к нему влетела тормозящая мозги мысль: “Завтра — домой!”

И ему вдруг стало хорошо. Словно камень с сердца свалился. И они опять стали вспоминать своё не загнивающее, а давно гнилое прошлое. И брательник рыдал, вздрагивая, на его плече. А Геныч трезвел. А Валька, подливая крепкий чай, лопотала:

— Всегда он так, домой рвётся, в наше... тьфу, в ваше, говно... Да и то, подумать если...

— Чо подумать?

— Да, ничо, Геныч. Нормалёк. Всё. Проехали.

.....

*Николаю Александровичу Ивеншеву исполняется 70 лет. Многие произведения этого талантливого кубанского писателя напечатаны в журнале “Наш современник”. С удовольствием поздравляем нашего автора и друга с достойным юбилеем.*

*Редакция*

## ПРОЗРЕНИЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО

*Предлагаем читателям дерзкий проект: автор этих стихов настолько увлечён творчеством Микеланджело Буонарроти, что написал стихи как бы от его имени. В скромном почтении к памяти великого творца сам он пожелал остаться неизвестным.*

\* \* \*

Промолвить слово — нет вернее средства,  
Чтоб обнаружить жизнь в себе самом.  
Глухое и безмолвное соседство —  
Вот что такое нынешний мой дом.  
Давно забыл свой голос человеческий:  
Утратив плоть, и с ним расстался я.  
Но слово — живо, этот вестник вещей,  
Свидетель и источник бытия.  
О, если б стать услышанным опять,  
Я б знал, что людям следует сказать!

\* \* \*

Порог преодолеть, нимало не страшась,  
Что душу поразит возмездья жало, —  
Вот счастье. И его, пожалуй,  
Меж звёздами ничто не может превышать.  
Спокойно уходить туда, где вечный Свет  
Наполнит душу, не найдя преграды, —  
Вот счастье. Больше для неё награды  
Меж звёздами, я уверяю, нет.  
Пусть это счастье душу не минует.  
Блаженны те, кому неведом страх,  
Покинув плоть, земле оставить прах:  
Их вечный мир покоем коронует.

\* \* \*

Я полдень свой забыл. Зато закат  
Был полон небывалых озарений,  
И позднего горенья, и прозрений...  
И размышленьями он был богат.  
Тот труд души, который совершал,  
Который раздвигал её пределы,  
Как атом вещества в сосуде пустотелом,



Моей опорой и началом стал.  
Вот в зыбком мире вечного движенья  
Подножье моего преображенья.

\* \* \*

Пороки — долголетия опора:  
Они, как корни дерева, на Земле  
Нас крепко держат, прежде чем во мгле  
Мы не увидим Огненного Взора.  
Пред ним ничто бушующее пламя  
Земных страстей — как язычок свечи  
В слепящий полдень. Вечные лучи,  
Пронзив насквозь, овладевают нами.  
Порок померк. Но неизбывный стыд  
Как память о Земле в душе горит.

\* \* \*

Мне в мире том, где свет и звук едины,  
Где сущее изменчивее сна,  
Всё та же участь, прежняя, дана:  
Знать край, но не изведать середины.  
А середина — что она такое?  
Я знаю: жизнь — метанье на краю,  
Над пастью бездны. Неужель в раю  
Возможно быть и находясь в покое?  
Я обретал иначе равновесье:  
В движении его я находил  
От края к краю, на пределе сил.  
Покой в движении — что может быть чудесней?  
Я заслужил свой отдых, может статься,  
Но к праздности бесплодной не привык.  
Так колокола старого язык  
С своим молчаньем не готов смиряться.

\* \* \*

Переменился я — и то, чем знаменит  
Я был когда-то в долгой жизни брэнной,  
Во мне истлело, разлетелось пеной —  
И дух очистился, и память не саднит.  
Переменился я, и он мне режет слух —  
Приправленный хвалебными речами,  
Восторгом, увлажнёнными очами —  
Предлинный перечень моих земных заслуг.  
Переменился я. Чего желал бы сам?  
Не восхитить и даже не растрогать,  
Но знать: мой тяжкий труд — хотя б на ноготь! —  
Приблизил чью-то душу к Небесам...

\* \* \*

Я прожил жизнь. Я все эскизы сжёг,  
В которых был далёк от совершенства.  
Я испытал и муку, и блаженство —  
До дна испил я чашу, видит Бог.

Он ведал, что душа моя полна.  
Но здесь, где жажда мучает иная,  
Но здесь, где нового взалкал вина я,  
Бог влил мне в чашу вечного вина.

\* \* \*

Молясь и руки простирая к небесам,  
Потоки слёз и жалоб проливая,  
Я жаждал озарений, уповая  
На Господа, Кто озаренье Сам.  
Я душу мучил замыслом великим  
И мысль держал в жестоком утесненье,  
Пока не сгинет мгла моих сомнений  
И в мраморе не прояснятся лики.  
И верил я тогда, что любящий Отец  
Вложил мне в руки Сам и молот и резец.

\* \* \*

Путь линий — что ещё сравниться может  
С их прихотливой вязью на листе,  
Когда в его пустынной чистоте  
Художник, образы ища, их множит?  
Как своевольно чирканье пера!  
Оно подвластно лишь воображенью,  
Которое, задав руке движенье,  
Лик придаёт невидимым мирам.  
Но что за сила? Разум ли диктует  
Руке движенье, линиям — узор?  
Когда душа и ум вступают в спор,  
Художник тщетно над листом колдует.  
Ум победил? И зрит Господь, грустя,  
Его мертворождённое дитя.

\* \* \*

Дубравы, дети солнечного света,  
Прохладной сенью нас спасают в зной.  
У Господа нет истины иной:  
Родившись, мир Его благодари за это.

\* \* \*

Когда резец и молот недоступны  
И мрамора не отыскать вокруг,  
То с содроганьем понимаешь вдруг,  
Как мучился Отец, творя нас. Как преступны  
Попытки человека превратить  
Его шедевры — в низкие поделки,  
В которых замысел проявлен злой иль мелкий.  
Как, Господи, зуд этот укротить!  
О, если б скульптор, мучимый огнём,  
Пред глыбою мерцающею замер,  
«Чиста ль моя душа, как этот мрамор?» —  
Спросил себя — порыв угас бы в нём.  
Я сам не без греха. Тщеславными мечтами  
И я, бывало, осквернял безгрешный камень.

\* \* \*

Мир мудрости не знает. То, что он  
Так долго может быть, забыв о Боге,  
В скорбь повергает в Небе души многих,  
Кому дано раздумье, а не сон.  
Мир отвергает Свет — а значит, жизнь.  
Но для того ль творил Господь планету,  
Чтоб люди, не исполненные Света,  
Её во тьму сумели погрузить?  
И потому в кромешной этой тьме —  
Где троп к вершинам духа не торится,  
Где дьявольское пиршество творится —  
Нет места ни таким, как я, — ни мне...

\* \* \*

По стону можем мы определить,  
Что муку терпит человек несчастный.  
Но как услышать Божий плач безгласный —  
Что Он устал над нами слёзы лить?

\* \* \*

Мы в юности легко даём себе обеты  
Достигнуть высоты, чтоб превзойти других.  
Но дорого ценить нам следует не это,  
А только — для чего мы исполняем их?  
Кого-то превзойти нет способа иного —  
Когда лучиста цель и люди не враги,  
Гордась, сказать себе в конце пути земного:  
Наш труд, возвысив нас, возвысил и других.

\* \* \*

Первичен дух. Как в этом убедить  
Того, кто мир незримый не приемлет  
И кто в себе лишь зову плоти внемет,  
Стремясь его как меру утвердить?  
Но тот, кто духа признаёт главенство,  
Кто в дубе зрит усилие зерна  
И знает: ветра порождение — волна,  
Сумел постигнуть тайну совершенства:  
Оно в стремление духа возвратиться  
В Того, Кто на Земле помог родиться.

\* \* \*

Ни разорвать, ни сжечь, ни разрубить  
Тончайший луч, который нас связует  
С Создателем — и сердце обязует  
Нас на Земле Его опорой быть.  
Но тот же животворный волосок  
Петлёй губительной нам сердце стянет,  
Когда Создателя надежды канут,  
Обманутого, как вода в песок.  
Своей рукой сжимаем мы клинок,

Способный нас лишит опоры в Небе.  
Когда душа заботами о хлебе  
Живёт — уходит Небо из-под ног.  
Лишь он, неошутимый этот лучик,  
Не даст исчезнуть в Вечности зыбучей.

\* \* \*

В изножи любви — не плод воображенья,  
Но знание души, что в каждом — Божий Свет.  
Что ж в изголовии? Торжественный обет  
Приблизиться к Нему трудом преображенья.

\* \* \*

Пространство, что не ведает пределов,  
Безмерность и незыблемость «всегда»  
Моя душа вмещает без труда.  
Она объёмлет всё, что разум наш несмелый  
Постичь не в силах, плава в тесном тигле  
Всё, что безмерно, дабы наконец  
Понять, зачем нам разум дал Творец:  
Чтоб меру бесконечного постигли.  
Но коль душа вмещает Мирозданье,  
Не больше ли него — она сама?  
Неразрешима тайна для ума,  
Но не для светоносного созданья.  
Душе понятна суть любого слова,  
Ведь Сам Творец — её первооснова.

\* \* \*

Когда к закату клонится светило —  
Вытягивая тени на земле,  
Оно устало позволяет мгле,  
Чтобы природу плоти отразила.  
Когда душа над морем жизни взмыла,  
И вот — закат, и манит глубина,  
Ей грубая вещественность видна  
Всего того, что на земле любила.  
Как узы разорвать? Всего больнее —  
Отринуть жизнь, пусть тень её черна,  
Пусть искра Света в ней заключена...  
Душа, её вобравшая, — полнее.  
Лишь собственный наш Свет путь в Небо освещает,  
Лишь он душе покой и радость обещает.

\* \* \*

Минует жизнь — и нас зовёт Творец.  
И там, где жизни больше нет предела,  
Великий скульптор примется за дело,  
Пуская в ход безжалостный резец.  
Искусство Смерти в том, чтобы на суд,  
Где плач и оправдания напрасны,  
Стевав всё лишнее рукою беспристрастной,  
Представить нашу истинную суть.

Неужто дар твой — это Божий дар?  
С тобою, Смерть, немислимо тягаться  
В умении до главного добаться:  
Непоправимо точен твой удар.  
Кто выбрал зло поводырём души,  
Под молотком твоим преобразится:  
Осколками и пылью разлетится —  
И тем Господне сердце сокрушит.  
Кто ж дух свой возвышал, не зная сна, —  
Предстанет светоносным изваяньем.  
Его обнимет Небо с ликованием,  
И Смерть отступит, им ослеплена.  
Вот мастер, коему нам нужно подражать,  
Чтоб верно суть вещей изображать.

\* \* \*

Душой промытой мирозданья Свет  
Вмещаешь целокупно, без остатка,  
Но не избежнешь чёрного осадка:  
Мир полон тьмы, без коей Света нет.  
Душой промытой видишь мир Земли  
Как лик Господень, что лишён изъянов.  
И корчишься от боли: ноют раны,  
Что люди ей бездумно нанесли.  
Душой промытой вдруг ты ощутишь,  
Как горний Свет становится опорой  
Истерзанной душе твоей, которой  
Покоя на Земле не обрести.  
Но что промывает душу? Потрясенье,  
Что Бог — с тобой. Что в Нём твоё спасенье.

## ОНИ ОБЖИВАЮТ ЗЕМЛЮ

Профессия геолога — едва ли не самая романтическая. О геологах сочиняют романы и песни. В советскую эпоху страна повторяла припев песни Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова:

*Наш путь и далёк и долог,  
И нельзя повернуть назад,  
Крепись, геолог, держись, геолог —  
Ты солнцу и ветру брат.*

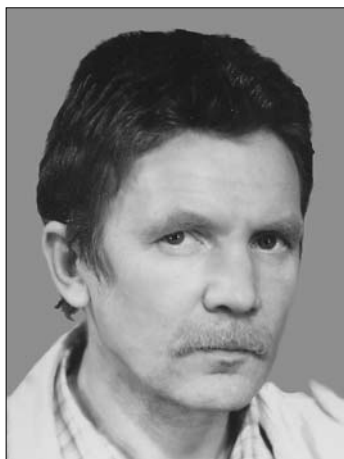
Важное уточнение: романтика геологических профессий сугубо созидательная. Геологи первыми приходят на разведку месторождений. Они — воспользуемся названием книги молодого Валентина Распутина — становятся “костровыми новых городов”.

Созидатели по складу души, геологи зачастую ярко проявляют себя и в литературе. Вспомним Олега Куваева с его замечательной “Территорией”, напечатанной в “Нашем современнике”, поэтов Эрнста Портнягина, Александра Городницкого, Леонида Агеева. В свою очередь крупнейшие профессиональные поэты — Глеб Горбовский, Станислав Куняев — не раз отдавали должное геологам с их независимым нравом и острым чувством родной земли.

“Наш современник” уже посвящал специальные выпуски геологам (показателен апрельский номер за 2017 год). Сегодня мы продолжаем эту традицию, приурочив выпуск специальной подборки к профессиональному празднику геологов.

*Редакция*

ВЛАДИМИР УРУСОВ



## БЕЛЫЙ СОБОЛЬ

ПОВЕСТЬ

Байкал

Ветер унёс туман из поймы, протоки затянуло рябью, и сразу загорелись фонари у врезок Мысовых тоннелей. Вечер покатился в ночь. Погода — вечная тема на узлах старинных трасс.

— Буряты полагают, будто не радуги пылают на северо-западе, а царская казна, — перемотав портянки, заявил Сабуров, — того гляди, что делается лёд!

Маркшейдер ГлавБАМстроя верил в любые легендарные приметы, хотя у самого, кроме ассирийской бороды, иных примет не было. Охотник в балахоне из тряпья.

— Из тех долин никто не возвращался, территория ничья.

— Таких высот на карте нет. Сдадим 142-й пикет и сходим, скажемся — за золотым корнем, а сами... угодим неведомо куда, на съеденье лисам и бурундукам.

— Лишнего не болтай, озеро молчит — значит, слушает, и ничего задаром не отдаст.

Мы сидели на бруствере обводной канавы, вертели над хладеющим костром тушки связей, пронзённых шомполами, ждали Кротова, аспиранта МГРИ. И он являлся — на превосходной яхте под вымпелом с черепом и костями, на катере рыбоохраны с русалкой у рогатого руля, на барже с тягой

---

*УРУСОВ Владимир Глебович родился в 1947 году в Калининградской области. Окончил Московский горный институт, работал геофизиком на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Автор пяти сборников стихотворений, в том числе "Три любви — три степени свободы", "Всплеск живой воды", "Медленный ветер". Член Союза писателей. Живет в Москве.*

в сорок бурлаков. А когда спирт, разбавленный брусничным соком, неожиданно иссяк и фляга опустела, маркшейдер устался на кочевые острова, где рыскали за подранками лодочки Стикса:

— Куда девался наш естествоиспытатель?

В девятом часу болото дрогнуло, и в паузе растянутых секунд ватный хлопок пригнал воздушную волну.

— Поехала сто сорок вторая. Двинулась заходка! — сказал Сабуров так, будто это его ввела в забой бригада взрывников.

Вода в траншее стала убывать, по срезу торфа обнажились спирали валлиснерий, рдеста, корни стрелолиста и тройчатой ряски. Глубина расколыхалась, меркнувший снег в горах за Ангарой сотворил хребты пещерных соборей над линзами праящурных затонов, и в закатной лаве — безымянный полуостров, растрёпанный снопами тростника.

Дыхание Байкала ослабело, и под пластиной задранного мха шевельнулись вдавненные в гумус вёсла.

— Что бы сие собрание оснастки могло обозначать? Где же ружьё, патроны и стрелок? Мне кажется, баркас немного затонул. Не вижу мачты.

— Или он в котельной, сушит паруса. Догоним — откачаем. — Вскинув на плечи скоманные лодки и завёрнутых в лопухи гусей (“ренато бене нон триумвирато”, как посетовал Сабуров), отправились мы к пристани, на водозабор, где сторожил предгорье факал трубы, котельной рыжий глаз. И головы лохматых ведём вдоль рва податливо пружинили, вертятся под сапогами.

### Нижнеангарск

Ложе тропы вздымалось и опадало, расталкивая полушария сероводородных пузырей, блистающих закатной плёнкой ртути, где отражался глиняный апостроф взлётной полосы, конторский корпус, листовенный сруб больницы, гостиничный барак и клуб, озвученный рёбрами пульсирующих арок. Всечастотный “белый шум” гнал шлейф пыли за блуждающей в проулках вахтовкой, змеился по следу громыхающего в распадке путеукладчика и растворялся в стыках лязгающих рельс, тревожа слух отбившейся от стаи утки или невидимого на вираже мелькнувшего чирка.

Кротовская плоскодонка дремала на причале, и низкие борта её мерцали в перламутровой оправе. Бойлерные молнии лунного мазута искрились в ореоле звёздной польны, где дребезжали адские форсунок.

— Приятель ваш истратил весь наличный кипяток, согрелся и дальше побежал, — пожаловался кочегар. — Ищите его в клубе, он думает, вы там!

И мы ушли в лабиринт тротуаров, набранных из плах игрушечного домино. Хаски с волчьими хвостами свешивались с теплотрассе, обмотанных стекловатой и лентами фольги. Воображение достраивало в тушиках, в распилах шпал облицованные вагонкой хозблоки, опустевшие под осень, перепаханые огороды, острожные поленницы и колодцы огненного солнца, освещенного в пихтовых смежных куполах Доски почёта ГлавБАМстроя. Лапник колыхался на гребнях пушистой хвои, вкрадчиво кивая в такт летейским вихрям окрылённых фонарей.

Над помостом во дворе конторы метался оранжевый мяч. В каскадах брызг баскетболисты 2-го тоннельного отряда спокойно обгоняли скорость света, надутого в округлые мешки.

— При счёте по нулям ничья уже победа, — сказал Сабуров. — Фортуны не разделишь пополам! Нет смысла.

У входа в клуб вертелся лучезарный шар, роился на раскрутку вальс снежинок.

— Поёт Кобзон, работает буфет, — басил в воронку рупора дежурный зывала. — Ружья в гардероб, ботфорты в коридор. Танцы состоятся при любой погоде!

Кассир был хмур, концерт не окупался, не тешили душу его ни скачки вбальмошных кентавров в стриженных шпалерах багульника, увешанного



мишурой люпинов и хвощей, ни сонеты и баллады студии “Стальная магистраль”, вкушающей из муляжей бокалов нектар, амброзию и алавастр грядущей славы, ни рассказы с расспросами: “Где Кротов? Что такое амфибрахий? Зачем в блаженстве посещать сей мир? В какой избе после Таганрога обетовал тут Александр I, и что здесь делал Шандор Петефи, загремевший из Будапешта в Баргузинскую долину под арест?”

— Собрал баул и убыл, — послал Сабуров свояка в среднюю лузу бильярдного стола. — Не так ли нам поэта и зоила в одном подоле Муза подменила?

Кому он это сказал в глаза, наполненные синевой Байкала?

И стало слышно, как собаки выгрызают лёд между когтями и как елозит ковшом бульдозер на грунтовке, заваливая в овраг серые пни, сдвоенные клыки мамонта, аллювий и делювий сбросов на откосах, взхлёб за песчаной косой посреди жуткой поймы черная вдохновение далёкого прибрежного становища, сокровища в распадах Дагары.

Прекрасен сон, о котором мы тоскуем так, будто это мир птиц, озёр и корней. Стон бычьих струн в пыли виолончели.

Очередь у кассы прирастала лаборантками техотдела в кринолинах и планивиками в плащах и горностаевых ушанках.

— Врубай фанеру! — дунул маэстро в микрофон. И в полный зал метнул все свои звуки буфет с бильярдной. Начался концерт.

О, Муза странствий! Езда в кузове гусеничного вездехода на ящиках с крепежом и запчастями разобранной коробки передач, сырой туман, горячая кабина и косозубые шестерни беличьих колёс. Дырявый тент фургона осыпал обочины горстями звёзд по такой корке за суглинистой дорогой, что триас, юра, мел и карбон мотали на кардан земную ось заката.

### Приют Академических Художеств

За перекатами на гребне перед провалами котловины исчезли жерла теплотрасс, ветровые колпаки в крестах антенн аэродромной каланчи, покинутые цеха консервного рыбозавода и чёрные старообрядческие срубы с резными ставнями и звериным орнаментом горлиц, вяхирей и волчьих лап капканов из балясин, прикрученных без гаек на болты.

Вздыбленный противовесами шлагбаум повело налево. За гаражами откомандированной в Чару транспортной колонны возвысился корпус геофизической экспедиции. В иллюминаторах ковчега колыхался студень из моллюсков, диск алмазной камнерезки скрежетал в бурунах эпических раздумий над взносами прикладной науки в фундаментальные основы бытия, и линзы опрарвленных в бронзу микроскопов вылавливали из шлифов осадочных, вулканогенных и метаморфических пород созревшие за 40 миллиардов лет насущные проблемы:

“Арочно-бетонная крепь тоннелей в условиях вечной мерзлоты”;

“Проходка тектонических разломов”;

“Разведка карстов и пустот”.

Съехав по винтовым перилам девяти ступеней, начальник базы внедрения Греков заявил:

— Опять нет Кротова? Поищем там, где остановился Дарвин. Оденьте каски, следуйте за мной!

— Все лестницы ведут на эшафот, — согласился егерь.

— В любом шкафу есть ниша для скелета, — возразил Сабуров, — посмотрим, что природа начудила.

Но где младшие и пожилые научные сотрудники из племени Платонов и Ньютонов или иных по роду олимпийцев? С каких ветрил балаган мудрецов снесло в гигантские трёхнакатные лабазы?

А было пусто во дворе. Шаровые мельницы, станины гидравлического пресса, носилки с кернами, обезглавленные гидры кабельных катушек, в джунглях ботвы тоскующие клубы, отслужившие купины сводчатых

оранжерей, выющиеся по грядам вылущенные бобовые культуры и шнеки в пучинах гильотиновых корзин над белокочанным крошевом капусты...

После прозаического лета база готовилась к поэзии зимы.

Шуршали берестяные тусса старинного обряда с кедровыми орехами, ужатыми ладонями под крышку. Скисало в закромах стоградусное самодельное вино, лечебная смесь лимонника, смородины и клюквы. Пенилась в сахаре шипящая брусника. Отстаивалось в четвертных бутылках пихтовое бирюзовое масло, и красовались в погребах с зарубками мотыг времён первопроходцев стиснутые обручами крутобокие омулёвые бочки. О, если бы не любовь! Льда скользкое зиянье в тоннелях на байкальских берегах.

Где-то в кузнице мехчеха пыхтели хромовые, припорошенные пеплом меха: об ордерах на “Ладу” или “Ниву” по договору на три года, о неисповедимых трассах коммунизма, о золоте в шурфах на территории калейдоскопического солнца, затерянного в шифрах голограмм.

— Планида поневоле, — предупредил Греков, вступив в свой заваленный образцами известняка и доломита кабинет.

Бухнул оконный переплёт с эскизами подворья, задвинулись тяжёлые портьеры, встряхнулись которы и караморы в кистяных обвесах ламбрекенов. И распустились бутоны розовых азалий и ухоженных граблями рододендронов в кадках с инерционными сейсмодатчиками, окученными задолго до приёма неожиданных гостей.

— Реакция на сдвиг земной коры, — объяснила лаборантка, — Японию трясёт, а страдаем мы! Сейчас я пожарю вам картошки.

Задетые сквозняком, на антресолях завозились квартальные отчёты, разлиставшись подборки соавторских статей из журнала “Недра”. Затем запахла луком и включилась муфельная печь.

На двухтумбовом столе ждали своей участи фольгированные платы гетинакса, кольчугинский кофейник, проволочный диктофон с клавишами Бехстайновского рояля и таз с кашканами, распаренными в валерьяновом настое приправы можжевельных ягод для поимки ондатр, лис и хитроумных соболей. Досуг есть досуг — ничего лишнего, всё как у людей.

Свист ослабел и смолк. Печь отключилась.

— Шла бы ты домой, Екатерина! — сказал Греков. — *Опыт, сын ошибок трудных*, и без тебя наделает нам дел.

— Как можно, Евгений Евгеньевич? Завтра техсовет.

Сменив привычные штормовки на белые рубахи, лишние ведущие научные сотрудники удалились. Сабурову достался кротовский халат с бронжилетом из крахмала и батиста. Засучив штаны и рукава, он напоследок проследил, и капля канифоли вышибла из паяльника элементарный ультразвук. Приёмник диктофона заработал! Если бы не таз, сыграл бы и рояль...

К счастью, оборвав мелодию курантов, мельхиоровый кофейник, друг парадоксов, замкнул клемму “минус” на платину в контакте с клеммой “плюс”, выброс энергии свалил и погубил цветущий фикус, и все подумали: “Куда девалось золото, намытое в веках?”

Экран четырёхлучевого, списанного за древностью осциллографа несколько не смутился. Что ж, так бывало, и не раз, в пуантах с пачками престлстных синусоид...

И вспомнянулись восемь статуй горняков над Ленинским проспектом, на фронте Горного института, за гипсом фриза солнечный карниз:

— Так можно отыскать на картах все наши пустоты и драгоценные провалы, живые души в небе ледяном.

Через час-другой рубиновая полусфера пакетного излучателя в сборе с квантовым приёмником была отлажена, фильтр паразитного сигнала, усиленный кофейной гущей и сахаром, дал нужный результат, и регистратор, взятый клещами напрокат у польщённого доверием АН СССР осциллоскопа, выдал на выходе рогатый, жалящий налево и направо протуберанцами базон.

— Засуньте его в тубус, — попросил Сабуров, — Екатерины ему мало.

После перекура этот “Георадиолокатор” на пробу запустили в ночь, и он обшарил все колодцы, землянки и погреба. Ничего не пропустил. Старался.

*И в сердце внизывал сам дьявол,  
если смотреть издалека,  
дым фантастических парабол  
и пепел в лапах паука.*

### Гостиница “Звезда”

Шлагбаум отшатнуло, и вездеход устремился совсем в другую сторону, в страну пещер и выработанных кварцевых жил.

Ещё в процессии шагали за поворотом по пятам электрики, акустики и тригонометрические треноги сабуровских лазерных теодолитов, прищипоренных баграми на собственном ходу, когда охваченные скоробогатской лихорадкой солидные коллеги приустиали, и в кузове понуро утрясаясь гремучая смесь традиционной златоискательской оснастки: лубяное решето и лыковое сито, кайло, корыто взрослое и детское корыто, раскрашенное сурьмой и охрой под Хохлому, а также ведро и сандаловое коромысло, выданное Грековым под расписку до конца квартала, до 30 сентября сего года, на два дня.

— Место под солнцем есть даже в аду! — обрадовался егерь. — Обжигай горшки! Власть, любимая народом, и народ, любимый властью, венеч юдоли. Где крафт-мешки?

Когда эхо повторило: “Оглобли... Разворачивай оглобли!” — он сказал, что про любовь он просто пошутил, и обиделся — уехал по азимуту 360 градусов в низовья Ангары, к своим эвенским браконьерам.

Теперь мы здесь соискатели сокровищ! Расплата за свободу — плен, и почта неумолимо штамповала повестки уходящим в торосы синклиналей, в порталный зев тоннеля, в бездну бездн.

На площади сплочённая из бруса в руст гостиница исходила жаром чугунных батарей, и в стеклоблочных простенках то возвращалась, то терялась на крыльце крупная дворняга мухортой масти, будто задёрганная строгим поводком. В угловой комнате мигал под потолком оплавленный опалом, весь в бабочках молниеносных, погибельный плафон. И на панцирных кроватях томилась в лепестках верблюжьих одеял фарфоровые куклы — Наташа, Вероника и Марина, дипломницы ЦНИИГРИ.

*Я предан тебе или предан тобой,  
на мир опускается шар золотой.  
И должен по правилам этой игры  
ловить в зеркалах ледяные шары.*

*Блестает осколками солнечный шар.  
Забудь обо мне, это просто мой дар —  
хотя бы на миг угадать по судьбе:  
я предан тобой или предан тебе...*

Приглушив гитару, Кротов усмехнулся:

— Слова ничего не значат, их четверть миллиона... и Пушкин, золотая голова.

— Луна тоже сделана из двух половин, но лишь одна прекрасна, — раскланялся Сабуров перед Вероникой. — Любите ли вы гусей?

— Не знаю. Знание бессмысленно, потому что бесконечно.

— Важен результат. Эффект новизны, другие габариты, — не спасовал маркшейдер и вытряхнул из тубуса экс-суперзонд, сварливо булькнувший электролитом щелочного кадмиево-никелевого аккумулятора. — На входе тут уран, два с лишним стержня. На выходе что?

— Чёрная дыра! — испугался Кротов, и лицо его, изрытое складками шарпея, осунулось, разгладилось и побледнело. — Видели пса? О, ужас, ужас, жуткий ужас.

— А ну-ка, просвети нас поподробнее, Василий Васильевич, — смахнула Марина с самодельной тумбы кювету с луковицами тюльпанов и бегоний

в газон, на пожухлую крапиву, — доскачет ли до Швейцарии этот ваш икс? Как его там — базон?

— Да ну его! — Наташа ушла на кухню. — Если можно что-то не делать, лучше не делать ничего.

Но было поздно. На лунной стороне улицы почтовая темница вдруг будто взбеленилась, хаски передрались, и располованная Баргузином шлея мотыльковой ленты впиалась в проём штор. И на восточной стороне Байкальского хребта воссияли кристаллические вспышки — плагиоклаз и горнблендит, смарагды, аметисты и алмазы.

И ночь смежила влажные ресницы ответными кострами в глыбах сокровенных гор, не тронутых штыками ледорубов. Ход времени вживался в берега, слоился в облаках тоннельных сводов, целуя небо в даль, издалека. И сорванный с нейтралы взбесившийся погрузчик немел над машинистом, над багряным колпаком, вслушивался в гул железобетонных шайб балансира — пусть ангелы поют, колокола здесь нету!

И где-то экспедитор в бухгалтерских рукавниках рвался к заберегам поймы, истирал локти в обжигающей шуте, толкая лбом взрезанную по шву лодку, и думал о любви, о кружке краснодарского чая, который заварит ему дочка, если он доберётся до сходни, где его заметят лесники.

И снова судьба гонит змеящийся к порталу чёрный дым, и сварщик, уронивший огарок электрода в бак с промывочной соляркой, неуязвим, пока не отдаёт Марине свой в оранжевом футляре “самоспасатель”, и пьёт из подшлемника угарный газ, разбавленный огненной водой...

Потом их несли, раскачивая на дюймовых штангах, застеленных бушлатами, и под рыхлыми масками пепла белоснежного нельзя было признать — кто он? Встретится ли где?

*И над прогоном тёмной тучи,  
за перевалом волчьих скал  
зиял украденный и жгучий,  
жемчужно-розовый оскал.*

## Вахтовка

Утром 28 сентября того года, легко подволакивая вечные восьмёрки левого переднего и кормового запасного колеса, конторский вахтовый автобус ПАЗ БУ 18-90, преодолевая залежи утильного чермета, выкатился из крайнего гаражного отсека и встал на пандусе у разгрузочного люка управленческой столовой “Парадиз”. Запахло снедью.

— Египетская сила! — сдержанно объяснил Сабуров недолгие минуты опоздания. — Насилу прокачали тормоза.

— Наглопались яду, — подтвердил Кротов, — колодки не скрипят.

— О, горечь тормозухи! — капнула шофёрская слеза в утробу люка. — Это она Сократа отравила.

Нижеангарская долина путалась в сетях Летейского дождя, вязла в сланцевых протуберанцах сопок. На росрани у взгорья по яругам зыбилась трескучая под грейдером дресва. Оседали на песочной мергельной подсыпке избы и извечные щитовые бараки, хозблоки и халдейские дворцы. Сапсаны, коршуны и скопы выслеживали по сандаловым моренам, били влёт червлёных лебедей...

И озеро вспыхнуло. И в сквозных окнах засветилась в красных углах лампадных нарезных урусов одна Вселенная, у каждого своя.

Начальник ГлавБАМстроя Лосский, инспектор ТБ Чацкий и технолог Глинский позанимали откидные кресла, и в недвижимый ПАЗ БУ 18-90 вдавилась сухостойная хонга — встречное пространство всколыхнулось, и кто стоял, тот сел.

— Зачем ковры на остальных сиденьях?

— Чтобы хорьки не ковыряли поролон.

— Что есть пустота на молекулярном уровне? — затеял дискурс с причтом Лосский.

- Атомная бомба! — посыпались ответы. — Запятая без хвоста.
- Раздувшаяся точка? Оттаявшая мерзлота?
- Не нашего ума это дело...

И развернулись на объездах выверты аэродромного глинозёма, на сваях коренастые, омытые четверговым ливнем пятистенки, окольные поленницы, старательские катакомбы и карьеры, полные обугленного солнца, лоскутные до горизонта заводы и острова.

Прошлое определяет будущее, и значит день грядущий — неизменен. Если жива мерцательная аритмия в спектре звучных отражений фыркающих волнорезных надолбов.

Длилась осень, слова искали губы, губы искали слова: “Послушай, я люблю тебя... — Я знаю...”

И рыболовецкая ватага опоясанных тиной баркасов огибают Тоннельный мыс над царством жутких водорослей и тлеющих затонувших плоскодонок. Отслаивается вскользь рябая амальгама. Кольчуги, рукавицы, свитера. Насыпи с поминальным обелиском, шесть ферм узкого моста.

*И туманятся мутные стёкла,  
так бывает при быстрой езде —  
лишь бы только душа не промокла,  
как собака в холодной воде.*

### Северный Портал

Автобус замирает, стиснув створ рычажной двери. Чтобы никто не сомневался, куда семят подальше от начальства электрики, плотники, слесаря и бдительные взрывники.

Отбойная стена поджимает залежалое подбрюшье своё над врезкой, над счастливой подковой тубинговой арки, и страж выпутывается из гофра обширной гардины.

— Здравствуйте. Где наши пропуска?

Манлихеровка с плоским австрийским штыком берётся тренированным захватом “на караул”, и в хаосе порталного подворья среди откатных вагонеток, штабелей опалубки, немеряных двугавров с фиолетовыми врезками торцов выстраиваются колодцы шпал, разнокалиберные, в связках буровые штанги, и позолоченные, в трёх ивовых корзинах приуточенные к сбойке праздничные “костыли”.

— Четвёртую кудель подрастеряли? — вздохнул с ревнивой благосклонностью вечно недовольный Глинский.

— Сколько бы ни искали, столько бы и нашли...

Неразбериха — мать порядка. И мерно плещет волнами в тыловые окна банно-прачечного комбината солнцем обласканный Байкал. Сладкий озон влекнут по коридорам пищеблока по расписанию пересмен развешенные Баргузином сквозняки. Кто не вкушал вишнёвого компота из Гейдельбергских бочек поварих, тому не место на Доске почёта! Поклявшись блюсти законы с завтрашнего дня, мы облачаемся в испод фланелевых поддёвок со штанами Шуйской швейной фабрики, меняем башмаки на боты и плащи — на балахоны.

*Бывало, пот или слеза  
сверкнёт с эпических залысин —  
и снова шума нет из-за  
холицёвых наших закулисин.*

В боевой раскраске мы одинаковы, и буфера электровоза подталкивают наши чудища ряженные в даль жестяного вентиляционного чулка. В камере справа на топчанах, высланных лисьими шкурами, раскидывают карты сапёры подземелий, напротив с оглядкой на бушующий компрессор спит моторист с открытыми глазами, и сифонят в сгонах, паклю теребят фанерные задвижки и заглушки.

Мы идём след в след, за тенью тень, по-волчьи, арки балочные исчисляем, ловим в ладони лазерный луч, и в водосборных желобах хрустит хрусталь Кастаньского ключа.

Руки наши чисты для чистой работы, потому что у других для грязной работы судьбы рукотворные — чисты!

Пуховая киноварь плесени на реперных постах улетучивается, уже слабеют взвизги ультрамариновых на просвет перепончатых вампиров, и карликовые МоАЗы с воздетыми под свод зубастыми ковшами, подобно скорпионам, не жалят себя в панцири бронированных решётчатых кабин, отстаиваются в вывихах венткороба разъездной пространной ниши. И шатается взброд по всему тоннелю прихваченная на нулевом пикете, украшенная гирляндами лампад сестра забвенья — тишина...

## Буровая рама

Чацкий спотыкается на стравленном пожарной командой 30-литровом огнетушителе.

— Ежели рванет, тогда что? Нарушение правил техники безопасности. На каждом шагу!

— Меньше работы взрывникам. Экономия небольшая, но приятно, сам посуди, сдуру и премию могут оформить.

— Хорошо, что у нас в сапогах стальные пятки. Альпинисты придумали.

Гул, сфокусированный в верховом волноводе, сотворяет театральный гром, как аэродром, но при любой погоде. И контурные балки, замурованные в крепь надолго, навсегда, сдерживают миллионы тонн породы, миллиарды звёзд, три любви, три степени свободы и озеро из золота и льда.

— Именно со льдом бы нам и надо разобраться, — замечтался Лосский, — отгадет, ан глядь — вместо цемента сыплется песок! Где агрегат, профессор?

— Наверно, в рюкзаке, — рапортует Кротов. Он даже не подозревает, что там ему наковырял по схемам Евгений Евгеньевич Греков.

Путаясь над бортовыми скосами в бесформенных рубищах прорех, сабуровские маркшейдерши кажутся в профиль немного голыми стрекозами. Что было, то и есть.

Ближе к забою зарябили ромбы рабицы, подхваченной анкерами в соляных муаровых ореолах, над рельсовыми стрелками появились упругие мостки из полуторадоймовых досок, лестница расширилась, обрела перила, и плотники ушли. У плотников вообще особая работа.

Едва до старта техсовета все расселись на верхней обзорной площадке, сняв каски, ремни и сапоги, Лосский пригласил Кротова в ступу телескопического подъёмника, вознёс его под свод и со словами: “Эх, вспомним молодость, подругу боевую!” — стал мотать удивлённого аспиранта над пропастью.

Маркшейдерши притихли и, словно мыши, спрятались под трап, и скобы всех перил затрепетали.

Сосновый смолянистый благоуханный трап вёл в утробу трёхуровневой буровой рамы, где, прикрытое катафотами семи прожекторов, извивалось реальное воплощение девятиглавой гидры, ползущей от Байкала до Амура. Сейчас у гидры бы перерыв.

Пульты с шишаками на смазанных тавотом рычагах, замки на стыках сборных штанг, опорные башмаки, переступающие в гусеницах на плоско-стопных траках, плыли в мареве бездействия, в режиме ожидания взрыва. Не хватало только взрывников.

— Я не успеваю, тут душно, — крикнул Кротов, — занесите эту дату в протокол! Отметка-то какая? 442?

— Да. Она самая, — подтвердил Сабуров. — Читай доклад.

— Естественно. Итак, мы начинаем, — тараня воздух лбом, пронёсся докладчик мимо отшатнувшейся аудитории, сузившей до точки обнажённые зрачки. — О гравитации уж и не знаю, что сказать. Как видите на моём примере, её происхождение туманно, воздействие необъяснимо, и, по мнению

Академии геофизических наук, в генезис этого явления вмешалась не луна, а только её третья половина. Поэтому данный параграф опускаем и сосредоточение поисков смысла тезисно продолжаем во втором. Ответьте мне: что такое избыточное горное давление?

— Катастрофа! — оробели грековские лаборантки, играя мокрой бахромой ухоженных ресниц. — И крепь завалится, и раму разнесёт.

— Так вот вам, государыни, и нет! — подключил он к сейсмографу умозрительный дотошный зонд и стукнул вилкой камертона по выводам параграфа номер три: — Екатерина, помоги...

*Сгустился вечер, тьма ночная,  
и кто-то вылетел в трубу,  
а может быть, звезда печная  
дымком пахнула на ветру.*

Воображение живо дорисовало развёрнутые лепестки голографических вихрей, разъятые гидрошланги, и стяжные муфты, и кассеты, и шпурсы на завязи виньеток встречного тоннеля, и тёплые норы лис и соболей, и озеро, изъян земной коры.

— Надо ли уточнять азимут и траверз? — звякнул чугунными шпорами Сабуров.

— Нет. Абриса достаточно, — прекратил научные изыскания Лосский.

### Исход

Портальная рында прогудела о завершении симпозиума, и в ход тяжело двинулись сапёрные гофлиты, элита, сошедшая с фронтона МГИ. Букетами растолкав троллейные искры, пассажирская вагонетка перемкнула время тоннеля, время гор, и под котурнами эриний и валькирий, словно изверг в муромской дубраве, взвизгнул компрессор. Гиперболоидные шлемы полифемов вмешались в ропот, гомон, гром.

— Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,  
скажи мне закон земли, который ты знаешь.

— Не скажу я, друг мой, не скажу я.

*Если я скажу тебе закон земли,  
который я знаю, —  
сядешь ты и заплачешь!*

— Вселенная есть Бог, Бог есть идеал, а идеал это...

— Солнце всего лишь атомный котёл. Но кто этой плазмой управляет?

— Спасибо, конечно, чудесам науки, однако работать всё равно придёт-ся. Надо...

Свет повторяет мир в пределах семи диапазонов спектра, золотые листья, яхонтовая мозаика Байкала и службы порталного двора, вросшие в пространство побережья с радужным капканом врезки, и соболиный след, петляющий по насыпи вдоль курса дизельной дрезины. Куда сползала она на огрызках колёсных пар? Блеск окровавленных когтей, солёный запах вывороченной плоти и безмятежные парные облака.

В сауне техсовет облачился в простынные академические тоги. И тоже старомодно получилось, да не так.

— Подведём итоги, — окропился Глинский ледяною водой. — Планы выправлять нельзя, а вычеркнуть из сметы миллион рублей можно.

— Бюджетная копейка обходится не дороже премиального гроша, — согласился Сабуров.

— Вы что же, все деньги заберёте, не поделитесь? — предусмотрительно наемкнул Осецкий. — Я вам тут кто? Главбух!

— Нам ничего не надо, — напомнил Кротов, — только акт внедрения контроля плотности пород в тоннеле на пикете № 442. Так мне аспирантура повелела.

— Что ещё за баба такая, — заинтересовался инспектор по ТБ Чацкий. — Красотка из гостиницы “Звезда” или благоверная супруга? В списке расходных материалов подробных сведений об этом нет.

— Даже Бог про всё не знает, тем более, не менее, чем мы! — пустился в размышления Сабуров. — Немного ближе разломы обойдём, немного дальше, разница невелика. Тысячу кубов железобетона сэкономим — это да.

— Нет! — возразил Лосский. — У нас затратная система. Чем выше стоимость погонного метра проходки, тем виднее результат. График поставок цемента менять нельзя...

Тишина над озером была не так уж и накладна. Ушла за мост вахтовка третьей смены. В долгу без предоплаты опустошили свои бочки полосатые цементовозы, и в окрестностях Мухоршабира, в сопках Акатуя заскрипели буксами на спусках вечерние грузовые поезда.

Чёрно-синие звёздные протуберанцы заберегов и фаланга тронутого ржавчиной ковровского экскаватора, опрокинутого в линзу закатного Байкала. Купанье после бани в водоворотах у подножья пенистого мыса, угар костра, ломающий виски и серпантин извилистой грунтовки над лентой гистерезисной реки.

Жаль, кремниевого рубила под рукой не оказалось, а то бы можно было высечь, в терракотовой мозаике сберець всё, что перебирал в капроновых снастях чудовищный Иван, владеющий Сибирью.

Ждать нас не ждали, у начальства есть свои поводыри. Рыжков, Силовиков и Мельхиседек густобровый, и прильнувший к ним Чебриков, резидент президиума высокого совета физических и литургических наук из драматической студии “Гекуба”, четыре кубометра в филиале клуба, раскатали припортовый стенд.

— Изложите все ваши домыслы на гербовой бумаге. Завтра в секретариате печатей понаставим — украсится чернилами Байкал!

И в пойме вскипели облака, заматались бугристыми хребтами динозавры. И ночь иных миров была нежна — такая же душа, вся нараспашку. И молчал на грузовой площадке развернувшийся рейсовый автобус. Его никто не ждал.

— О чём задумался, алхимик? — уставился в запотевший окуляр теодолита Кротов. — О копиях Соломона в глубинах нижнеангарских торфяных болот?

— Размышляю. Датчики настроены на перепад развёрнутых частот. Оценка плотности занижена.

— Откуда на выходе помехи, инородные аномальные тела? И залежи сокровищ в брошенных карьерах?

— И Бог один, и Родина одна, Василий Васильевич...

И таял, лязгал гусеницами егерский вездеход за перевалом в долине Золотого корня, звенящего в расщелинах из льда о чудесах от века до сего дня. Пылала в сердце алая вода...

## Сборы

— “И что положено кому, пусть каждый совершит”, — зарылся Глинский в перья своего регланного пуховика, и автобус тронулся, объезжая клячки бетонных надолбов, фонарные столбы с коронами алмазных искрящихся окалиной арок, и там, где водосбросы светились всплшками шлифованных камней, пугались обрывки сетей браконьеров и серебро знамён над стаями придонной мечущейся рыбы.

Окраинные улицы плавались в стеклянном зное, волны тепла змеились над котельной, за конторой из тумана всплыл ангар ДК. Все тупики вели в гостиницу “Звезда”.

— Да там и нет никого, — встал “ПАЗ” над лужей у колодца, — сегодня в клубе танцы.

— Капнуть в чернильницу вишнёвого компота, вот вам и кровь. Поэзия любви, — сказал Сабуров, — это наши слёзы.



И сразу радуга над Дагары погасла, и хаски растопырили отточенные когти: “Не надо было в банях морсы распивать! Лежали бы себе на тепло-трассах, сушили бы сырые валенки, в упряжку сапоги”.

Дверь торопливо заскулила, и неверная свеча вскинулась над стремянкой за барьером.

— Сгорели пробки, — пропел сверху голос Вероники.

И расцвели подсолнухи на занавесках, и лампы с колпаками из газет бисером сыпанули по вздутым оргалитовым перегородкам, когда она замкнула отвёрткой нулевую фазу, и трансформатор Северной подстанции выдавил из кухонной розетки шаровую молнию в жаровню с омулем, и самовар зудел, стонал в полутьме и в солнечном сплетении холодящих рёбер.

*Бледнеют властные ужимки  
и вьются чёрные зрачки,  
куда слетаются снежинки  
или вползают мотыльки.*

Только угловые пауки слушали Кротова и понимали его космогенные идеи, навейные сказочной тщевой. Разум за разум, они и пировали.

— Всё, что имеет признаки существования, подвластно воздействию внешних и внутренних материальных сил, соединённых в гравитационные поля. Бремя бесконечно и проявляется только при встречном движении антивремени. Отсюда иллюзорный эффект “разбегающейся” Вселенной, мироздания, где явь перевернута, как пейзаж в глазах младенца. Активная среда самодостаточна всегда и никогда, и смысл волновой природы сущего изъят из начал преобразования стандартных сфер. Гармония — разомкнутая сфера без любых координат!

— То, что происходит с нами, — повторится, варианты невозможны, — запутался Сабуров. — Но где Бог, управляющий видениями расстегаев с визигой. Обратный ход времени есть, а пирогов уже нет.

— Бог везде! Скоро мы в этом убедимся...

За час собрали всё, что может пригодиться в тайге, где исчезают лесники и браконьеры, — спирт и керосин в армейских флягах, патроны и капканы, йод и зелёнку, вывернутые наизнанку вилкулы рукавицы, двуручные пилы и отточенные топоры. Натёрли парафином фосфорные спички. Из еды прихватили сало, сахар, чайную заварку и невесомые бобы.

— К воскресенью обернёмся, — обнадёжил Кротов, — если не съедят бурундуки или русалки, водяные крысы.

— Полегче с девушками, — обиделась Наташа. — Пока не поредеет чешуя, будем вас ждать. Это благородно.

— В сравнении с золотом, ваши тела бесценны. Есть что искать!

## Поход

Спали мало. Вызванный по УКВ вездеход надымил, нахрустелся щебнем под окнами и отяжелел, отправил продувное облако вспять к лагунам до предгорий Дагары. Луна оцепенела.

— Что ж, снаряжайтесь, — вышла на крыльцо Марина с бухтой страховочных верёвок, — кто вас держит?

И извивался, тёрся об её колени соболь или пёс невидимый, от инея седой. А снега не было — в ковше Медведицы лёд туманился, пар таял. Не грела разница высот.

Быть может, есть дорога в ад? И егерь спрашивал: направо нам, налево нам, куда вам? Хотите по домам?

И сотрясался на колосниках выхлопных труб войлоком утеплённый кузов, в клапанах боковых карманов бушевало подувало, и ветер перешёптывал в бреду шаманский вой Станового нагорья, надламывал Северомуйский хребет. Елозили в колеях хозблоки лесорубов, сухостойная хонга стряхивала с полозьев солнечную грязь, замешанную на паукообразных корневищах,

и на тросовых сворках расплзались волокуши, огруженные охапками хвостовых хлыстов.

Визг бензопил будто сворачивал борозды беспорядочных противопожарных просек, уводил в гущу урочищ непроходимых оранжевые, в яшме подлеска теряющиеся трактора.

— Ось “Берлин — Москва — Пекин” в апреле была ближе, — косил ся на карту егерь. — Запоминайте, где мы. Куда едем?

— Судя по дебрям, именно туда.

По ходу кантовались хороводы еловых пирамид, и влеталось кронами кедровых колоннад в оживающий мрак неугомонное разноголосье чернух, дикуш, клестов и снегирей.

Наконец въехали в корону кратерной низины.

Тент закидали ветками, получился богатырский шлем с плюмажем из осокоря с крапивой. Зависть неистребима или её нет, а если есть ревность, “Стальная магистраль”, смирись — болото оживало!

Терялись в черемше сытые полозы и вёрткие медянки, в ряске расшевелились желтобрюхие саламандры, под лимонным солнцем которы свои и караморы караулили плаунные жуки, и высоко над жнивьем остистой тускороры висела карколистая карга. Она роняла слёзы на Алатырь, священный камень эвенкийских знахарей и чародеев с зарубками о тех, кого спасла удача.

*Где ты, обманчивое лето,  
прекрасен ветер — так он быстр!  
И сизый гарус бересклета  
бусит укопом скатных искр.*

В полдень счёт мгновений превысил все в долгу без предоплаты немые миллиарды.

Сменили ботфорты на шипованные башмаки, проверили в связке опорные штыри, стопорные карабины, растрясали в старательских лотках беспородную золу и двинулись вдоль русла слабеющего ручья в пещерные расщелины застывшей лавы, остановленной барьером глыбастого ледника. Краснозубые медведи и горбатые орлы клонились к заводям, замороженные обилием форели, целовались с облаками. Кишели в омутных бочагах пиявки и вьюны, чудовища с голодными глазами...

— Что там, за грядой подсолнечных вершин? Золото опустошённой чаши или дейтерий и тритий выработанного рудника?

Шеренгами по уступам пристраивались к терновнику мелкие берёзы, челночные развесы лиственниц и пихт ткали тафтовую паутину среди теней воздушных известняковых изваяний, и под стенания горластых вышей зудела лепестками корабельных сосен слюдяная, источённая безветрием кора.

— Переключка без вести пропавших, — утешался егерь, — здесь хорошо. Если вернёмся, будет ещё лучше!

— Не искушай судьбу, отступник. Леший произошёл от обезьян, и теперь никто не знает, где он и где тот изьян, доставшийся по наследству всей академической науке.

— Удаление из миропорядка любого атома ведёт к уничтожению Вселенной, — возразил Кротов. — Мир тесен, как гостиница “Звезда”.

— Всели туда содержанку и альфонса — увидишь, что получится. Две бомбы! Любовь капризна — крышу разнесёт...

## Перевал

Так, слово за слово, и не заметили, как вымахнули к перевалу. Буграми вскинулась морена, крытая коврами краснотала с волчьими ягодами и заячьей капустой, и конским щавелем, деликатесом местных змей.

— Кому сибирский колорит, а кому народное достояние, — указал Сабуров на обкусанные шершнями золотисто-пегие клубни топинамбура. — Так люди говорят.

— Собственность священна, мы это понимаем. Но кто её святил? Пока до церкви без лаптей не доберёшься, ан глядь, под каждой стелькой — казнокрад!

*Про солнечные пятна  
не надо лишних слов —  
и всё благоприятно  
в долине чудачков...*

Жилистый, в желваках стланик охашками валился в недра развороченного карьера, клубился в наростах над гейзерной глиной, сгущался на перепадах от волны к волне.

И Северомуйский самолёт висел в зените, гнал свою тень с откоса на откос, оставляя тлеющий по курсу рельеф суконных юбок стюардесс, и так далее. Детали не выдерживают слов.

Кротов был нем и глух, как сама старость, и мы придерживали его на краю рыхлого бордюра, над хордой пережима в оползне воронки, где закипала сахарная вата артезианского ключа, и осы пили мёд из прогорклого видения болота, надстраивая замки пепельно-серых подкольных ульев.

*In medias res*, растаял Як-40, иллюминаторы померкли, и, словно слабомисты впуски на спуске, разнеслись мы по колкой скатерти, отстреливая рябчиков и чёрных куропаток.

— Умерьте прыть, зарубки оставляйте, — распорядился егерь, роясь в кровавом месиве костей и перьев разбитых птиц. И где-то в норах влаивали лисы, огнём глаз мерцающая в полумгле.

## Бездна

Солнце рядилось в пестрядь выдуманной мешковины, и, оседлав рюкзаки, выкатились мы на стилобат неожиданного храма с фундаментом в созвездии Стрельца. Стен не было, был свод из линз касситерита.

Страж или вахтёр шевельнулся в мытарском салоне, обул сафьяновые сапоги и нехотя встал.

— Предъявите документы. Без документов жить нельзя, такой в нашей Вселенной заведён порядок, с подачи батюшки царя. Вы его дети?

— Предприниматели мы, — доложил Сабуров, — от ГлавБАМСтроя. Ищем, что бы где бы предпринять. Предпринимаем почём зря!

— Кому-то надо и работать.

— Воруют те, у кого крадут, — расколыхались баргузинские меха. — Добро даруют...

— Какая разница для нашей братии? — разъял отшельник шрам Байкальского меридиана. — Богатые будут богаче, бедные будут бедней. Покоя нет, есть воля Бога.

— Сравнил! Мы между небом и землёй, Он на земле и в небе.

Через час-другой обмен сомнениями приобрёл торговый оборот.

Кротов получил *Всеведение* в форме бархатного четырёхугольного берета и мантию на вырост с пожеланием доброго пути и связанными на груди атласными фиолетовыми рукавами. Иным достались слитки самородных звёзд, кто сколько унесёт с Древа Познания в свой дачный подмосковный огород.

— Глуп тот миллиардер, который не желает стать миллионером хотя бы на миг, — обмолвился Сабуров, оформив пенсию за свой счёт на долгие века от Байкала до Манджурии. — Гектар мне в облака!

Осталось сверить метеопрогноз с надеждами на хорошую погоду и заночевать.

Палатку соорудили из распяленных на рогатинах плащей. Подтоки сквозняка заткнули можжевельным лапником и сочли обломки полусфер касситерита — баснословные трофейные дары земной коры. Возврат времени и свёртывание пространства никто не замечал. Зонд молчал.

Вечер не спешил, красовался над костром бродячий вечер, выдёргивая из пещерных полостей трубчатые рукава боярских палантинов, кафтанные фалды дьяков и шорные воротники тиунских пластунов в безмерном количестве, воздвигнутом коммунальной мудрецов и маклаков.

Ещё слышна была топорная трескотня за болотом неутомимых лесорубов и переговоры с бездной горняков, рассеянных в величественных тоннелях.

Мир плоти одинаков, различен дух эпох.

Закат вонзил алмазный стеклорез в изумрудный фриз карниза, страхнул росу и свернул рулонами владения Тантала. Дым затаился, стланик почернел. Ночью в тент втирались всеядные вьюны, волхвы разгуливали в нелепых балахонах из вельвета, и дед в своём отапливаемом гейзерами гроте клацал стрельцовским шилом, чинил, никак дочинить не мог изъеденные молью сапоги.

*И вертелся между нами  
под серебряным венцом  
весь обвитый соболями  
Князь с измученным лицом.*

Утром в полог забарабанила льдистая крупа. Снежный заряд пробился из Листвянки, все щели в западне законопатил, покончил с осенью. Зима была везде.

### Подъём

— Искать не будут, выберемся сами, — уверенно заявил егерь, — до перевала 300 метров, золота сто тонн и дюжина капканов...

Ложе тропы дробилось, подмерзало и резало в глянце янтарного наста рукавицы, локти и бинты разодранной палатки. Осевший под ярусами сырого снега стланик сбрасывал пионерскую пирамиду в сугробы авгурам и жрецам, а кто их там ловил и вскидывал выше, дальше — неведомая знать? Не знаю, дело не моё.

— Господу Богу помолимся, грешному долг — наша честь! — взмолился, наконец, Сабуров, тронутый проклятьем точного слова, путеукладчика балласт в награду за враньё. Стальная магистраль, прекрасны твои дали.

— В воскресенье стоит ли трудиться? — сдался маркшейдер. — Перезимуем на орехах за грехи.

Сделку с атомным дуплом оформил егерь. Отдали самородки, вернули горизонт. На перемётных кладезях сумы движение возобновилось в чётком беспорядке, третий стал вторым, четвёртый первым. Хребты рептилий в связках расплелись, в паузе между молнией и громом снег превратился в дождь, дождь превратился в лёд. В зеркалах заводов рассыпались глазами озера рассказанные птицы, орлиные детинцы, соболями лёжки и форельные садки, не выпить чёрный омут никогда!

*Нить серебряных бус,  
мёда тёмного вкус.  
Я дыханьем любви  
обовью тебя, Русь.*

*И молчит за рекой,  
лёгкой цепью звеня,  
драгоценных огней  
золотая змея.*

### Возвращение

Про зонд не вспоминали, в кратер упустили торбу, когда тропу в торогах дорубили. Спасибо, вездеход завёлся сразу. Мгновенья сблизилась, пространства растянулись, от бесерменства до латинства.

Гостиница была пуста, подруги съехали, и звезда мерцала ядом аптечного креста, и сердце упивалось снегопадом.

Никто и не заметил пропажи Кротова. Случалось, видели его на ствольных врезках Муйского тоннеля. Не там ли золотники лопатами гребут, четыре грамма оптом за неделю? А соболь — кто? Проректор под седым воротником, бородач с окладом в 1000 студенческих стипендий. Или зазывала на Арбате перед ларьком музейных пыток: кнуты и пряники, дубинки для господ, дыбы, пиявки, утюги... Да мало ли, что шарманщикам свободы изобретёт и порекомендует неохотный ряд? Киев домайданит. Тягуч и сладок креативный дым. Напрасно эскадрон РУБОПа на иноходь сбивается с галопы. Ессейский фарисей неуловим!

— До встречи? — обернётся женщина с весёлыми глазами.  
Какие встречи... Мы не расставались никогда.

*И воспевает полуночный ветер  
день, где грустят и ликуют шутя,  
чтобы никто в небесах не заметил  
тёплую кровь на дороге дождя.*

И мы уходим волей и неволей, не зная веры солнечным корням, лишь бы увидеть озеро золотое в горах, куда Байкал унёс туман.

АЛЕКСАНДР СМЫШЛЯЕВ



## НАВСЕГДА УХОЖУ К МЕДВЕДЯМ

РАССКАЗ

*Эта история написана от лица человека, которого нет и никогда не было, недаром я не дал ему даже имени. Хотя, не скрою, герой явился мне под впечатлением от жизни и смерти неутомимого исследователя природы Виталия Николаенко, памяти которого и посвящается рассказ.*

### 1. ИЗБУШКА НА РУЧЬЕ ОРЛАНЬЕМ

Я мыслю, когда разговариваю. Так уж устроен мой мозг. Молчу — и мыслей нет, дремотная пустота обволакивает голову, тяжелит, а заговорю — начинаю думать, искрить, сплетать канву разговора. Мне легко даются длинные монологи, я умею развить сюжет. Любой словесный экспромт для меня — пустяк. Я уверен, что мог стать неплохим актёром, чтецом, потому что во время монолога умею следить за речью, контролировать её и даже любоваться ею, потому что за свои шестьдесят лет здорово научился болтать. Болтливость — удел самовлюблённых и тщеславных людей, а я именно такой. Мне нужен не просто собеседник, а благодарный слушатель, перед которым я непременно распушу хвост. Пусть он молчит или — ещё

---

*СМЫШЛЯЕВ Александр Александрович родился в 1952 году в горняцком посёлке Темир-Тау в Горной Шории (Кемеровская область). По образованию — геолог и телевизионный режиссёр. Работал в геологоразведочных экспедициях: Томь-Усинской, Янской, Северо-Камчатской и Пенжинской, затем в журналистике на Камчатке, собкором "Российской газеты" на Дальнем Востоке. В 1996 году вышла первая книга. Член Союза писателей России с 2006 года. Автор нескольких книг и телефильмов о Камчатке, Курильских островах, Чукотке. Живёт в Петропавловске-Камчатском.*

лучше — поддакивает, похваливает меня, и тогда я быстро войду в раж и оседлаю настоящую велеречивость. Он увидит театр одного актёра. Прекрасного актёра, талант которого, увы, запрятан в недоступных глубинах лесной Камчатки. За сотни километров вокруг меня никого нет. Ни-ко-го. Я один — человек, который не умеет, не может молчать. Казалось бы, такое невозможно, так не бывает, но, проводя многие месяцы в одиночестве, я научился разговаривать сам с собой или говорить на диктофон. Так мне легче, так заполняется молчаливая пустота вокруг. Вот и сейчас я говорю сам с собой, сидя в удобном, самодельном кресле за дощатым, когда-то мною же сколоченным столом в своей самой любимой лесной избушке на ручье Орлянем.

Из-за своих умственно-речевых особенностей — неумения анализировать ситуацию молча, наматывая на усы чужой опыт, — я познавал жизнь не по книгам, а по собственным активным поступкам. Не помню случая, чтобы мне долго сиделось на месте, с той же книгой, я всегда рвался вперёд, пробуя судьбу на ощупь, на палец, порой — жестоко обжигаясь. Но, подув на обожжённое место, я бежал дальше. Почти тридцать лет я бежал до своей Горячей Долины, пока не наткнулся на неё. И столько же бегаю теперь по любимой Долине за медведями, изучая их жизнь. Бегаю и не могу остановиться. Говорю сам с собой и не могу наговориться. Теперь уж точно не остановлюсь и не наговорюсь, ведь привычка — вторая натура.

В чёрной стекляшке маленького оконца моей уютной избушки отражается яркий огонёк лампы и освещённая часть моего бородатого, стареющего, прямо скажем, лица. Когда-то в этой же стекляшке я отражался совсем другим. Но прошло тридцать лет.

Ах, лицо, лицо... Прямой нос, доставшийся от мамы, острые, пронзительные глаза с блеском мысли, ума, наблюдательности. Тонкие губы — мамыны же. А вот небольшой подбородок и широколобость — от отца. Так говорила мама, потому что сам я отца не помню — он не вернулся с фронта, погиб почти перед Победой. И кудрявость от него досталась, как и непоседливость, активность, энергичность, пружинистость тела, походки. В принципе, человек я симпатичный, здоровый, а потому иногда жалею, что прячусь в этой глуши.

Стоп, стоп! Почему прячусь? Я здесь работаю. Мне это нравится, я давно занял эту нишу, меня знают как человека, живущего в лесу, исследующего повадки, поведение медведей, и мне по сердцу такая слава. Она меня не просто греет, а даёт силы продолжать жить здесь из года в год, месяцами, вылетая в Петропавловск только по необходимости. Зато как я люблю прилетать в Петропавловск! А ещё больше — в Москву или Петербург. Ведь меня встречают, как героя, как необычного, лесного человека, штучного индивидуума, живущего один на один с дикими медведями, разговаривающего с ними! Французы так и назвали свой фильм обо мне: “Человек, разговаривающий с медведями”. Только таким я всем интересен, всем нужен. Все обожают меня, любят, завидуют мне.

Завидуют! И, признаюсь, в этом моя сила. Конечно, они не знают, что я разрываюсь между одиночеством и любовью к общению. Не знают, что только тщеславие останавливает меня, чтобы не бросить такую жизнь и осесть в городе. Они многого не знают обо мне, и в этом тоже моя сила. Я для них — человек-легенда, мне это нравится, и я постараюсь оставаться легендой как можно дольше.

На часах не так уж много времени, но кажется, пора подбросить дров в печурку да ложиться спать. Надо выспаться, чтобы завтра быть бодрым. Если не придёт вертолёт, чтобы забрать меня в город, то я обязательно встану на лыжи и ещё разок сбегая к Верзиле. Этот крупный медведь занимает сейчас все мои мысли. Я обнаружил его летом на берегу ручья Орляньего, где всегда встречал Потапыча. Тогда и понял, что моего любимого старика Потапыча больше нет, а его место занял новый крупный самец, доминирующий в округе. Надо было заводить с ним знакомство, на что потребовалось всё лето. Верзила оказался медведем с характером, до сих пор не принял меня, и я пользовался любой возможностью, чтобы оказаться у него на глазах, постепенно приучая к своему присутствию. С приходом зимы все медведи на

побережье постепенно залегли в берлоги, и только Верзила до сих пор обходит не замёрзшие до поры ручьи и кормится поздним лососем — кижучем. Вчера я встретил его в четырёх километрах от избушки, на Тёплой протоке, где мой любимчик Потапыч каждый декабрь ловил рыбу, не в силах оставить это непростое, но вкусное занятие, чтобы лечь в спячку. Теперь эту протоку отыскал Верзила, отвоевал её у других, и я постараюсь ещё раз сбежать к нему и понаблюдать за новым медведем, сделать свежие фотоснимки. Если же улечу, то вновь встретимся с ним только в июне, когда он проснётся и обязательно придёт на свежую травку Горячей Долины, где я в это время обычно уже поджидаю своих подопечных.

Потерю Потапыча я переживал сильно, как потерю близкого человека. Ещё бы, ведь мы с ним прожили бок о бок двадцать лет, досконально изучив друг друга. Каждую весну, придя в Долину, он сразу узнавал меня, а я из десятка медведей, пасшихся на ранней траве, безошибочно определял Потапыча. Он единственный из медведей позволял мне приближаться к нему почти вплотную, а нечаянно застигнутый мной на лёжке, лишь слегка поднимал шерсть на загривке и косил глазами, не поднимая головы. Я знал, что первые годы нашей дружбы он считал меня более слабым сородичем, который постоянно сопровождает его, стремясь подкормиться объедками. Он даже не ревновал меня к своей территории, потому что был уверен в моей ничёмности. Иногда он до того снисходил к моей слабости, что оставлял для меня недоеденную рыбу или кусок падали. Позже Потапыч догадался, что я не медведь, а человек, но уже успел привыкнуть ко мне и продолжал терпеть моё близкое присутствие. До определённой степени он доверял мне, а я до такой же степени доверял ему. Так мы и жили друг возле друга, обоюдно замечая приход нашей старости. А нынешней весной я впервые не нашёл Потапыча в Горячей Долине. Пришли его подруги, мамыши его детей, пришла подростовая молодёжь, но Потапыча не было. Он пропал. Может быть, сам ушёл, оставив район более молодому и сильному Верзиле, а мог и погибнуть в последней схватке.

Появление здесь Верзилы для меня стало неожиданностью. В Горячей Долине и в прилегающей местности я знаю всех медведей, но Верзилу никогда не видел. Именно поэтому он сразу вызвал мой интерес. Почему доминантом стал Верзила, а не Лопухий, которого я прочил на место состарившегося Потапыча? Откуда он взялся, где жил, как нашёл нашу Долину? Как он смог обойти мощного, полного медвежьих сил Лопухого, и почему тот в первую же весну после исчезновения Потапыча вынужден пастись на самой кромке Долины, возле снегов, поедая старые корешки кустарников вместо сочной травки? Даже молодые самки осмеливались издали показываться на глаза Верзиле, а Лопухий — нет. Когда они успели определить иерархию, если я прилетел в Долину буквально в дни первого схода снега, когда здесь ещё не было ни одного медведя? Вот загадка.

Правда, я не сразу понял доминирующую роль Верзилы и, если честно, не сразу разглядел его, чтобы начать узнавать. Сначала думал, что это ещё один мой знакомый рослый самец Длинногуб взял реванш за свои былые унижения в драках за самок с Потапычем и Лопухим, но когда встретил Верзилу на Тёплой протоке, где всегда рыбачил Потапыч, и хорошо разглядел его, то сразу всё понял. Но встретились мы вплотную только недавно, в предзимье, а летом почти не пересекались, поэтому мне важно понаблюдать за ним сейчас, перед его зимней спячкой. И завтра я обязательно пойду к нему на Тёплую протоку.

Как-то летом, коротая ночь в дальней избушке на ручье Гольцовом, который у самого океана впадает в знаменитую на Камчатке реку Шумную, я не спал и всё думал о Потапыче. И вдруг отчаянно разрыдался. Не было сил удержать слёзы, они выходили из меня без моей воли. Тогда я отчётливо осознал, что никогда больше не увижу своего любимого медведя. Дорогой мой Потапыч, что же с тобой случилось? Где тлеют твои кости? Увы, этого никому не дано знать. А ведь когда-то я думал, наблюдая за стареющим Потапычем, что постараюсь подсмотреть приход его смерти, опишу эту практически неведомую людям картину. Но не удалось. И, наверное, это к лучшему,



иначе зрелище стало бы для меня нестерпимым. Но тогда я не мог знать, что, потеряв Потапыча, почувствую невыносимую боль утраты.

Проплакавшись, дав волю чувствам, я вытер слёзы и вышел в прохладу ночи. Вдали шумел океан, шелестели под ветром тучные травы, мигали звёзды, за устьем Шумной кричала болотная сова. И я подумал, что всё это останется и после меня, и совсем другой человек будет сидеть на моей скамеечке возле дверей этой избушки и слушать ночные звуки природы. Наверное, подумает и обо мне, и в его сердце толкнётся жалость от того, что я, бывший хозяин избушки, её строитель, уже ничего не слышу и не вижу. Но таковы законы природы, и с этим надо мириться. И я смирился. Но постоянно думал о Потапыче. И даже свою книгу, которая минувшей весной была готова к сдаче в издательство, книгу о камчатских медведях, я хотел посвятить памяти Потапыча. Всерьёз хотел. Но не решился, а, наверное, зря. Почему же людям книги мы посвящаем, а медведям, животным — нет?

Как сейчас помню нашу первую встречу с Потапычем. Боже мой, это было уже более двадцати лет назад! Какими мы были с ним молодыми! Мне не было ещё и сорока пяти. Но к тому времени я уже десять лет работал в заповеднике, у меня был мой первый любимчик — медведь Карнаухий, я умел неплохо фотографировать и кое-что понял в поведении бурого медведя. Словом, я не был новичком в исследовании этого хищника, поэтому Потапыч встретился мне как раз вовремя. Была середина октября. Берёзовый лес стоял голый, от первых заморозков уже пожухла и упала трава, поэтому сквозь редколесье всё просматривалось далеко вокруг. Небольшие заводи в речках схватывались ледком. Пахло прелью и древесными грибами. Дали сделались прозрачными и резкими, и каждая морщинка на склонах сопок Зубчатая и Кихпинич были хорошо видны. Я шёл от избушки к ручью Орланьему, весело и беззаботно помахивая пустым ведром, когда вдруг увидел среди старых кривых берёз очень крупного медведя бурого окраса без особых отметин и примет. Он тоже направлялся к ручью наискосок моей тропинке. Я резко присел, осторожно поставил ведро и вытянул голову. Медведь не видел и не чуял меня. Я стал наблюдать. Подойдя к ручью, он, не останавливаясь, резким прыжком бросился в воду, поднимая веер блеснувших на солнце брызг. Похоже, рыба ускользнула от его лап, он вышел на землистый, покрытый упавшей травой берег, присел в выжидающей позе и почти сразу опять прыгнул в ручей. На этот раз в его когтях бился крупный, клноватый самец кеты. Медведь лёг прямо в мелкой воде и принялся есть рыбу. За несколько больших укусов съел туловище, начиная с хвоста, затем тщательно выгрыз мозговые хрящи, а уже после этого взялся за жабры и челюсти.

Я инстинктивно потянулся к фотоаппарату, который обычно висит у меня на шее. Но фотоаппарат остался в избушке. Такой момент упускать было нельзя и, мысленно уговаривая медведя порыбачить подольше, я, низко пригибаясь, побежал назад. “Михайло Потапыч, не уходи, будь добр”, — то и дело повторял я шёпотом, и после, вспомнив это, назвал медведя Потапычем. А он так увлёкся рыбалкой, что не видел и не слышал меня даже тогда, когда я, охваченный азартом, перешёл на другой берег ручья и снимал рыболова почти в упор, нависая над ним с кручи. При мне он поймал нескольких рыб, и всё это были самки. Их он выносил на берег, чтобы, съев туловище и голову, слизать с камней липкую, ярко-бордовую икру.

Прыгнув в очередной раз в воду, Потапыч всё же заметил блеснувший на солнце объектив моего фотоаппарата. Но в его лапах уже билась рыба и, не в силах отказаться от добычи, он выкинул её на низкий, противоположный от меня берег, вымахнул туда сам и, казалось, тут же забыл обо всём, но, съев рыбу, великан поднял голову и долго внюхивался, тревожно глядя в ту сторону, где две минуты назад заметил блик объектива. Но я уже перебежал в другое место и затаился, не упуская медведя из виду. Вскоре он успокоился, опять залез в ручей, обшарил яму под нависшей кручей высокого берега, ничего не поймал и, поднимая тучи брызг, быстро пошёл вниз по ручью. Я понял, что он уходит, не желая искушать судьбу. Ну, что же, с удовлетворением подумал я, до свидания, Потапыч, ты хорошо позировал, сам того не зная. Думаю, у меня будут уникальные снимки!

Вернувшись в избушку, я ещё долго переживал эту неожиданную и удачную встречу. Тогда эту избушку на Орлянем я только достраивал, работы было много, но вечером, обдумав ситуацию, решил, что назавтра оставлю работу и пойду искать Потапыча. К тому времени я уже задумал большой научный труд, основанный на наблюдениях за пищевым и брачным поведением бурых медведей, хотел браться за него с весны, но встреча с Потапычем изменила планы, подтолкнув начать в ту же осень. Уж очень крупный попался самец: колоритный, могучий, лобастый! Я мысленно представил себе, как удивлю мир снимками, рассказами и публикациями о нём. Это вам не трёхлеток с пугливым взглядом, каких я снимал после Карнаухова, это достойный объект наблюдений, крупнее Карнаухова! Думаю, он станет достойным компаньоном в научной работе!

Так появился в моей жизни удивительный медведь по кличке Потапыч.

На другой день я пошёл по следу Потапыча. А он и не уходил далеко, ночевал у Дятловой излучины, в нескольких километрах от моей избушки, вниз по ручью Орляному. Я обнаружил его быстро. Он опять рыбачил, вытаскивая на берег кету за кетой. Весь день я крался за ним, отсняв несколько плёнок и отхронометрировав все его действия. Это была несомненная удача!

С тех пор от Потапыча я уже не отставал, выискивая его ранней весной в Горячей Долине, а затем всё лето и осень наблюдая на Орлянем. Потапыч научил меня многому. Я условно принял его самого и его поведение за эталон и, описывая других медведей, сравнивал их с Потапычем. Это давало возможность определять их приметы, возраст, характеры, привычки и склонности наиболее объективно и точно. К тому же вскоре я смог убедиться, что Потапыч — доминант в районе Горячей Долины, что позволяет себе забредать на чужие территории, пугая их хозяев, отбирать у них богатые рыболовные места на реках. Расширился и мой круг знакомых Потапыча. Скоро я уже мог без ошибки узнавать огромного, но пугливого Длинногуба, мстительного гиганта Лопоухого, осторожную Снежинку, легкомысленную, игривую Актрису, которая всякий раз, когда подходил срок, рожала по три медвежонка, но к осени всегда оставался только один, красавицу Неженку, весёлого Пятачка, очень серьёзную даму, прекрасного медвежьего педагога Директрису. Я полюбил этих медведей, как близких людей, открывая в них всё новое и новое. Лишь вероломный Лопоухий временами вызывал у меня негативное отношение к себе, так как я начал подозревать, а затем нашёл доказательства того, что это он умудряется убивать и съедать детей Актрисы. Только один из них погиб по недогляду не очень заботливой мамы, остальные пропавшие медвежата были на совести Лопоухого.

Но в тот первый год встречи с Потапычем я ничего этого ещё не знал, но так увлёкся наблюдениями, что задержался на Орлянем до самого декабря. Я ещё не наткнулся на Тёплую протоку, хотя начал догадываться, что медведь долго не ложится в берлогу из-за обилия рыбы в незамерзающей реке, в которую где-то впадает ключик из горячего источника. Я шёл по следу Потапыча, то и дело набредая на только что оставленные им лёжки. Он уже тогда почему-то терпел меня. И это придавало мне уверенности в относительной безопасности моих наблюдений. Несколько раз Потапыч отгонял меня неожиданными разворотами и коротким пробегом в мою сторону, но настоящей агрессии в нём не было. Я ждал, когда он уйдёт в берлогу, чтобы по следу найти её. Но каким бы ни было медвежье доверие ко мне, в берлогу он ушёл незаметно, воспользовавшись большим снегопадом. Снег начался вечером и шёл всю ночь, а когда я проснулся, очистил крышу избушки, прокопал дорожку в дровяник, позавтракал и, как всегда, отправился на поиски Потапыча, то на свежем снегу не обнаружил ни одного следа. И русло реки укрылось белым пушистым одеялом. Медведь ушёл спать. Тогда и я утомился, вызвал вертолёт и вылетел в Петропавловск.

Намолчавшись в долгом одиночестве, в городе я, как всегда, не мог наговориться. Особенно доставалось семье, вынужденной то и дело слушать мои рассказы. Жена, конечно, не одобрила моё увлечение очередным медведем, потому что это грозило нам частыми и долгими разлуками, как уже было после знакомства с Карнаухим, пока я не оставил его в покое, построив

себе избушки на Орланьем и Гольцовом, переселившись ближе к океану. Зато как я потряс своих коллег из заповедника и друзей снимками огромного, фотогеничного, великолепного Потапыча! “Как это вообще возможно — так близко снимать взрослого медведя, гиганта?” — удивлялись все. А я увлечённо рассказывал им о своих наблюдениях за Потапычем и о том, что он непостижимым образом подпускает меня к себе почти вплотную. Так зарождались легенды обо мне, росла моя известность. Но так рождалась и моя книга о камчатских бурых медведях. Она уже готова, и, наверное, продаётся в магазинах Петропавловска. Интересно, как покупается, какие имеет отзывы? Задумал я её очень давно. Сначала хотел назвать “100 фотографий камчатского медведя”, но постепенно созрело решение дать в книге не только фотографии, но и пространный, выверенный текст, в котором рассказать и о медведях, и о моих наблюдениях за ними. В результате так и сделал.

Чу, хватит болтать! Что за странные звуки под окном, за стеной избушки? Как будто бы фыркание и скрип снега. Уж не Верзила ли в гости пожаловал? Или россомаха?

Я быстро задуваю лампу и пытаюсь взглянуть и вслушаться в темноту ночи за оконцем. Так и есть, снег скрипит под тяжёлыми медвежьими лапами. Вот он снова фыркнул, обнюхав лыжи, которые я всегда оставляю в снегу возле тропинки. Легко боднул дверь. Но мою дверь так просто не откроешь. К тому же она ведёт только в тамбур, а внутренняя дверь избушки ещё надёжней. Всё у меня продумано, так что, гость незваный, уходи восвояси, завтра поговорим, если я тебя разыщу.

Все избушки у меня добротные, рубленые, сам строил. А эта — лучшая, любимая. В ней мне ничего не угрожает. Когда-то я боялся медведей, которые гуляют в заповеднике, словно коровы на пастбище, — десяток на несколько километров округи. Даже одно время держал собаку, которую, правда, не брал на обходы и наблюдения. Уж она лаяла, лаяла — до хрипоты, кидаясь к двери. Мне это надоело, и я, наконец-то, завёл ружьё. Но с собой его тоже никогда не беру, оно всегда в избушке, на стене. Если ухожу в другую избушку, то, конечно, забираю. А так — ни-ни. Вот и сейчас висит на месте. А в рюкзаке — баллончик с газом и пара фальшфейеров. Баллончик ни разу применить не пришлось, но, говорят, медведи газ очень не любят. Так что...

Вижу через окошко мелькнувшую в темноте слабую тень. Наверное, пошёл вокруг избушки. Но у меня хулиганить не с чем, всё в тамбуре. Разве что в дровяник залезет, дров наломает.

Ладно, ложусь спать. Удовлетворит любопытство и уйдёт, чего его караулить. Лёжа в спальном мешке, ещё долго вслушиваюсь в тишину за бревенчатыми стенами. Да, ушёл Верзила, ни звука снаружи. Засыпаю я быстро, потому что замолкаю, мысли уходят, прячутся, и я проваливаюсь в крепкий сон.

## 2. ПО СЛЕДУ ВЕРЗИЛЫ

Утром выхожу на связь. Из города сообщили, что сегодня вертолётка с мной не будет, может быть, прилетит завтра. Ну, что же, тогда начну действовать по плану — пойду искать Верзилу. Тем более что и я стал ему интересен, он даже подошёл к избушке. Его вчерашние следы хорошо сохранились на смерзшемся за ночь снегу. Верзила обошёл моё жилище дважды, сунул нос в дровяник, оставив пару тёмных волосков на занозистой кромке досок, а затем ушёл к реке. Наверняка уже рыбачит на Тёплой протоке.

Пока на печке певуче вскипает чайник, я сажусь за дневник, чтобы описать вчерашний приход Верзилы. А в голове свербит одна и та же мысль: “Зачем-то же он приходил. Зачем? Почему оставил рыбалку и потащился сюда по снегу, пусть пока ещё и не очень глубокому?”

Медведь — существо загадочное, плохо изученное. Я хожу за ними тридцать лет, а круг незнаемого только расширяется. Потому и не могу остановиться, прекратить свои наблюдения. Мне необходимо ещё года два-три, чтобы появилось моё личное, более или менее законченное представление о поведении

медведя. Тогда я смогу серьёзно говорить и писать о нём. Его биологией я не занимался, хотя всегда этого хотел. Я занимался этологией, поведением зверей в естественных условиях. Занимался старательно, упорно, стирая белые пятна одно за другим, но они всё равно оставались, и жизнь каждый раз подбрасывала новые, в том числе — вчерашний поступок Верзила. Я не могу объяснить его неожиданный приход в гости. Не могу, но должен. А для этого необходимо вступить с ним в контакт.

После плотного завтрака собираю рюкзак, одеваюсь. Смотрю на ружьё, но всё же решаю его не брать — помешает работать с фотоаппаратом. Если что, воспользуюсь фальшфейером или газовым баллончиком.

Выйдя из сумрака избушки наружу, жмурюсь от яркой голубизны неба и белого снега. Лес вокруг безмолвен. От дровяника в сторону речки идёт извилистый, глубокий медвежий след. Шёл не спеша, по-хозяйски. Неужели понял, что я затаился и побаиваюсь его?

Надеваю лыжи и иду тропить след. Он приводит к речке, струйки которой деловито переговариваются под снегом. Лёд уже прочный, медведь прошёл, не провалившись. Так и есть, идёт к Тёплой протоке, где льда не бывает всю зиму. Скоро конец декабря, а Верзила никак не может бросить рыбалку и лечь в берлогу. Значит, позднее залегание в спячку не было индивидуальным признаком Потапыча, причина, как я и думал всегда, — в незамерзающем участке реки, где постоянно держится лосось. Однажды Потапыч лёг в берлогу только в первых числах января. Сколько продержится этот?

В километре от протоки оставляю медвежий след и вновь перехожу Орланий, чтобы спрямить путь и осторожно выйти на медведя с другой стороны. Ниже Орланий уже не перейти, там начинается протока. Обычно, когда медведь рыбачит, его слышно далеко. Но сейчас на протоке почему-то тихо. Да он же, наверное, в берлогу пошёл! Проверил, не буду ли я за ним следить, крепко ли сижу в избушке, и пошёл ложиться. Вполне вероятная версия, но надо в этом убедиться. И есть возможность найти берлогу! Три берлоги Потапыча я знаю, может быть, Верзила использует одну из них? Это очень интересно!

Я прибавляю шаг, затем крадучись, стараясь не шаркать лыжами, подхожу к глубокой излучине в Тёплой протоке. Выглядываю из-за снежной кручи. Никого, но берег истоптан медвежьими следами. Видимо, это вчерашние дневные следы, а ночью он прошёл мимо. Если я хочу найти берлогу, значит, надо вернуться на след Верзила и придерживаться его. Не раздумывая более, разворачиваю лыжи и иду назад. Опять перехожу речку. Вот здесь я оставил след, а ведь действительно зря оставил — чуть дальше медведь повернул влево и пошёл мимо Тёплой протоки. Вот это да! И ведь идёт, ни на что не отвлекаясь. Обычно на ходу медведь то и дело сует носом в снег, вынюхивает мышей, корешки, влажную землю. А этот идёт ровно и даже не останавливается. Знать, спешил Верзила, хоть и не прибавлял шагу!

Спешу и я. Светлого времени в декабре не очень много, поэтому надо попытаться максимально пройти по следу. А вдруг удастся выйти к берлоге!

Впереди начинаются дремучие заросли кедрового стланика. Если Верзила залезет туда, значит, решил отдохнуть. Как тогда быть мне? Подхожу ближе. Нет, медведь прошёл краем, направляясь от Орланьего на ручей Берложный, где часто строил свои зимние убежища Потапыч. Неужели и правда Верзила займёт одну из старых берлог предшественника?

Иду больше часа, запарился. Перед очередным подъёмом на небольшую сопку останавливаюсь, присаживаюсь на старую корягу, достаю термос с чаем и кусок хлеба с салом. Надо перекусить.

След ведёт меня в верховья Берложного на крутые склоны вулкана Кихпиньча. Сколько тут мною пройдено! Знаю каждое деревце, каждый ручеёк. Не раз ходил до реки Комаровой, а бывало — и до Кронуцкой хаживал. Сорок медвежьих берлог мною найдено и описано. И практически все — в этих местах.

Сквозь собственное смачное чавканье вдруг слышу далёкие крики кедровок. Это настораживает. Кто-то их беспокоит. Наверное, мой Верзила попался птицам на глаза.

Поднимаюсь, завязываю рюкзак, вешаю на плечи. Слонявлю палец и пробую ветер. От меня тянет вверх. Значит, мог учуять. Придётся уходить назад и обходить его сверху. Берлоги здесь быть не может, уж очень место неподходящее, значит — лёжка. Хотя, кто знает...

Некоторое время топчусь на месте, так и не решив, что же предпринять. Если Верзила на лёжке, тогда идти опасно, ведь он мне не доверяет. А если всё-таки берлога? Тогда идти надо.

А чего я, собственно, боюсь? Здесь уже довольно крутой склон, на лыжах я с него скачусь мигом, а медведю по снегу да с таким-то жиром гнать меня не резон, только пугнёт. Пойду, как решил, — в обход, хотя идти придётся далековато.

Возвращаюсь назад до тех пор, пока совсем не смолкают тревожные крики птиц. После этого поднимаюсь круто в сопку. Приходится обходить заросли ольхового стланика, поэтому круг получается приличный. Поднявшись метров на пятьсот, останавливаюсь и перевожу дыхание. Так ходить в моём возрасте не всякий может! Но в молодости я ходил куда легче!

Хорошо, теперь попробую приблизиться примерно к тому месту, где может находиться медведь. Иду вдоль склона, скособочившись, ставя одну лыжу выше другой. Так идти неудобно, но что делать! Вскоре опять начинаю слышать крики кедровок. Не смолкают, словно вязкие собаки. Значит — зверь.

Молодой берёзовый лес, по которому я иду, обрывается широкой поляной с торчащими из-под снега дудками шеломайника. На другом конце поляны — сплошные заросли ольхи. В них и кричат кедровки. Я достаю бинокль и внимательно разглядываю ольховник. Да, вижу перелетающих с ветки на ветку кедровок. И все кружатся над одним местом. Но там только ольха, деревьев нет. Сомнительно, чтобы на продуваемом, влажном склоне залёг Верзила. Наверняка он только на лёжке, отдыхает, не тратит зря энергию, которая понадобится в спячке. Пробую увидеть его, но заросли мешают.

Что же делать? Наугад идти опасно — он может подняться в самый неподходящий момент. Неужели придётся возвращаться? И ведь придётся...

Постояв несколько минут в раздумье, принимаю решение уходить. Если Бог даст, завтра быстро добегу до этого места и пойду дальше по следу Верзилы. К тому времени он наверняка уже будет лежать в берлоге. А сейчас мне необходимо убедиться, что он действительно только отдыхает. Достаю из рюкзака топорик и с размаха бью обухом по стволу берёзы. Резкий звук удара эхом отдаётся в сопках со всех сторон. Кедровки разом смолкают, а в ольховнике еле заметно вздрагивает ветка. Он! На лёжке.

Выждав, когда птицы, так и не разобравшись, откуда донёсся неожиданный звук, продолжили сварливо и надоедливо кричать над медведем, я осторожно развернулся и своим следом пошёл назад. Я знаю, сейчас он уже слышит меня, но он понял, что я ухожу, поэтому быстро успокоится. И, может быть, продолжит дремать под привычные для него крики кедровок. Или встанет и, сделав круг, чтобы убедиться, что меня действительно нет, пойдёт дальше. Ему уже не терпится скорее залечь в берлогу — природа берёт своё. Но на подходе к берлоге он должен запутать след.

По пути домой, монотонно двигая тяжёлыми лыжами, почему-то думаю о человеческих трагедиях, связанных с медведями. Вспоминаю японского фотохудожника Хоши, погибшего у нас на Камчатке. Он двадцать лет изучал на Аляске гризли, в одиночку забирался в такую глухомань, где до него никто не был, хорошо знал медвежьи повадки. Его красочные фотоальбомы покорили сердца любителей природы всего мира. Он жил медведями и с медведями. А когда стал возможен приезд на Камчатку, Хоши объявился в конторе заповедника с просьбой разрешить ему снимать наших самых крупных медведей. Он мечтал о снимке зверя ростом более трёх метров, потому что гризли Аляски сильно помельчали, и бурые гиганты остались только у нас. Ему разрешили поехать на юг полуострова, на Курильское озеро, где он увлечённо работал много дней. Позже туда же прилетели японские кинодокументалисты снимать фильм о своём знаменитом земляке Хоши. Может быть,

их появление расслабило мастера? Ведь любая съёмка, даже документальная, требует игры. Он и разыгрался под объективами видеокамер, вошёл в образ смелого чудака, у которого медведи — закадычные друзья. В ту ночь он лёг спать в палатке, проигнорировав приглашение занять место в домике. А утром пришёл гигантский медведь, который вытащил парня из палатки, убил и, взяв зубами за шею, уволок в густые заросли. Вокруг прыгали с фонариками и газовыми баллончиками кинодокументалисты и наш егерь, но ничего уже сделать не смогли.

Медведь редко нападает на человека, в основном — защищаясь или отпугивая, когда человек переходит границу дозволенного, безопасного для медведя расстояния. Почему он напал на мирно спящего Хоши? Загадка. Я видел на видеокассете, как Хоши, фотографируя медведя с близкого расстояния, отворачивается от него, делая вид, что не видит зверя. И на медведя это действует, он мирно пасётся или рыбачит. Хоши знал и любил медведей. Но погиб именно от лап одного из них. Это судьба настоящего исследователя, рискующего ради нужного результата. Нет, себя я не упрекаю за сегодняшнюю неуверенность. Для риска не было причины. А если бы она была, я, конечно, рискнул бы, как делал это много раз.

Помню первое нападение на меня медведицы. Похоже, она только что отбила своего медвежонка у самца, была покусана и сильно раздражена. Я видел, как они прошли в заросли. Решение созрело сразу: надо обойти их, подняться чуть выше по склону и попытаться понаблюдать и сфотографировать. Но я не учёл непоседливости медвежонка. Он вскарабкался высоко на дерево, увидел меня, идущего краем леса, испуганно чухнулся, свалился на землю и побежал к матери. Та, услышав тревожное верещание дитя, приподнялась над кустарником, заметила меня и сразу же, не медля, бросилась наперерез через поляну. Сначала я побежал вверх, как шёл, но, оглянувшись, понял, что у неё скорость больше, она нагоняет. Тогда я рванул вниз, но на пути оказался глубокий овраг с крутыми склонами. Я свалился в него, а она — на меня. И подмяла под себя. Страшно не было, потому что вообще ни о чём не думалось. Надо было только выкрутиться, вырваться и убежать. По инерции она прокатилась чуть дальше, и мне этого хватило, чтобы вскочить на ноги. Но медведица снова бросилась на меня, оттолкнувшись всеми лапами. Из её ощеренной пасти обильно текла слюна. Я упал под неё, и она снова кубарем пролетела дальше по дну оврага. При падении с меня слетели фотоаппарат, штатив, бинокль, полевая сумка. Без снаряжения я стал ловчее, поэтому ещё пару раз выкрутился из-под неё, ухватился руками за какой-то куст, растущий на крутом склоне, подтянулся и выскочил наверх. Ей же сразу выскочить не удалось. Я побежал дальше вниз. Преследовать меня она не стала, вернулась к медвежонку.

Я бежал до реки, перебрёл её и остановился, чтобы перевести напрочь запалённое дыхание. Ещё некоторое время я видел, как медведица шла рысью вверх по склону, как раз туда, куда до этого поднимался я. Когда она окончательно скрылась из виду, силы меня оставили, и я мешком рухнул в траву. Полежав, начал раздеваться. Комариных укусов голое тело не чувствовало. Я вошёл в реку и лёг животом в холодную воду, затем переполз глубже. Вода меня взбудрила.

Странно, но на мне не оказалось ран, всё обошлось очень удачно. Я шёл в избушку, словно в бреду. Потом вдруг вспомнил про снаряжение, оставшееся в овраге, вернулся, собрал всё в рюкзак. Боязни подходить к месту, где только что чуть не погиб, не было. Осторожность была, а большого страха не было. Просто подсознанием я понял, что выкрутиться всё же можно. И я продолжал работать, наблюдать медведей, даже встречал свою роковую медведицу с подростком медвежонком, фотографировал его.

Вообще, с медведем надо жить так, чтобы он не чувствовал к тебе страха. Он не видит в человеке добычу, видит только соперника. Но всегда уклонится от встречи. А если ты встрече спровоцируешь, постарается убежать, каким бы сильным и матерым ни был. Правда, если это доминант, тогда он может приревновать тебя к своей территории. С доминантом надо быть осторожней, на его пути лучше не стоять, уступить ему. Но и он просто так

в схватку с тобой не кинется, уйдёт. А если кинется, то лучше бежать, этим ты ему доставишь огромное удовольствие, и он прекратит преследование очень быстро, ведь его главная цель — не убить тебя, а прогнать, испытать превосходство. Медведь никого не терпит рядом с собой, эти звери — крайние индивидуалисты. И эгоисты. Каждый занят только собой, своими делами и проблемами. Ни до тебя, ни до своих сородичей дела им нет. Только в пору спаривания самец ищет самку, затем вновь живёт исключительно один, делая большие переходы по тундре и тайге. Встречаясь с сородичами, они либо избегают друг друга, либо дерутся, если между ними — пища или самка. Лишь доминант, показывая силу, прогоняет других медведей, остальные же после драки стараются быстрее разойтись, сохраняя внешнее достоинство. Даже холостая медведица постарается не побежать от самца, а уйти спокойно, шагом или хотя бы лёгкой рысью.

В избушку я вернулся как раз под урез светлого времени ещё до вечерней радиосвязи. На всю ночь наготовил дров, жарко натопил печь и сел за любимый стол писать дневник.

Мой дневник — это моё изобретение. Каждый сотрудник заповедника обязан ежедневно писать дневник наблюдений. Кому-то это в тягость, кто-то просто не успевает, потом навёрстывает, но это уже совсем не то, потому что многое забывается, пропускается. Тогда я придумал символы. Первое — это погода, затем наблюдения за природой. Каждое животное, растение и так далее имеет у меня свой символ. Глянул — сразу понятно. За долгие годы так к ним привык, что пишу, как иероглифами. Кроме того, веду обычный дневник. Здесь уж даю волю мысли. Писать — как разговаривать, голова работает чётко. Плохо, что устаёт моя грубоватая рука, больше привычная к топорiku, ножу, поэтому пишу, конечно, мало. Но самое главное стараюсь записывать. А несколько лет назад начал свои впечатления наговаривать на диктофон. Очень удобно: говори, что хочешь. А в свободное время сел и расшифровал, перенёс в дневник. Теперь с диктофоном не расстаюсь. Но всё равно, дневники — каторжный труд, хотя материал в них собирается, конечно, уникальный.

Да, теперь я не тот мальчик, каким был лет до сорока. Я вырос, нагрудил кое-какими знаниями, многое понял в жизни. Конечно, помогло и одиночество, когда чувства и мысли обострены. Хотя испытание одиночеством выдерживают далеко не все. Кто-то тихо сходит с ума, кто-то начинает пить, а некоторые лезут в петлю. Меня спасает моё обостренное тщеславие. Меня не надо заставлять работать, надо лишь похвалить, упомянуть хоть в речи, хоть в печати, сослаться на мою работу, и я уже готов рвать постромки. Это и держит здесь. Но, если совсем честно, то теперь уже не только это. С некоторых пор держат и сами медведи. Именно медведи! По прилёту в город некоторое время я живу счастливо, а потом начинаю тосковать по своим медведям. Мне хочется их видеть! Но они спят в берлогах, и я терпеливо жду весны. А в мае, а то и в апреле, с замиранием сердца лечу в Горячую Долину. И вскоре туда начинают приходиться проснувшиеся медведи. Какое счастье видеть их вновь! Как же мне повезло в жизни, что я работаю в заповеднике, где не производится охота, где животные чувствуют себя действительно дома. Поэтому их здесь так много, и они не боятся людей. Порой, проходя маршрутом, я насчитывал на десятки километрах до пятнадцати медведей. А когда идёт на нерест лосось, и у медведей начинается рыбалка, они встречаются на реке почти за каждым поворотом. И все — мои. Я как-то попробовал посчитать, сколько же встречено в жизни медведей. Получилось что-то около шестисот. Думаю, немало!

Ха-ха, вот даже сам перед собой хвастаюсь. Дурацкая привычка хвастаться. А ведь в первые годы моей работы в заповеднике я специально нагонял количество встреченных медведей. Для цифры, чтобы потом, в городе, как бы невзначай, назвать большую цифру и впечатлить, ошеломить, восхитить людей. Какой он, однако! На самом деле я просто бегал по Долине в поисках медведей и фотографировал их. Была мысль составить каталог, попробовать классифицировать их по внешним признакам. Бегал, фотографировал,

особенно и не запоминал, путался в них. Но постепенно увлёкся, начал читать, углубляться в тему. У меня нет биологического образования, поэтому никто не признавал всерьёз моих наблюдений, а тем более выводов. И тогда разыграло самолюбие, а ему помогло тщеславие. Я занялся самообразованием, начал поражать людей уже не только цифрами, но и уникальными фотографиями медведей. Мне надо было доказать миру, что я лучший. Ещё мне повезло и в том, что медведем занимаются единицы, да и то поверхностно, не системно. Это была открытая ниша — занимай, работай, не ленись! И я тридцать лет просидел здесь, на одном месте, методично, скрупулёзно занимаюсь делом, которое с годами любил всё больше и больше. Теперь каждого медведя Долины я знаю в лицо. У меня не было учителей, коллеги всегда относились ко мне сначала пренебрежительно, затем — свысока, теперь — снисходительно. И это меня тоже подогревало, я самостоятельно лез наверх, я хотел им доказать свою состоятельность как исследователя, самоучки-учёного. И когда меня всё-таки перевели с должности инспектора заповедника в научные сотрудники, счастью не было предела. Значит, я доказал!

После этого я наметил себе серьёзную программу изучения бурого медведя. Поставил интересующие меня проблемы и стал их шаг за шагом решать. Теперь уж многое позади, можно начинать писать о медведе, но я всё откладываю, потому что боюсь пропустить очередной сезон и вновь не увидеть моих подопечных.

Так и живу месяцами с керосиновой лампой да рацией от аккумуляторной батареи. Даже бензиновый мини-генератор завести себе не могу, потому что боюсь этой удобной, милой тарыхтелкой распугать медведей в округе. И собаки у меня нет. Разговариваю сам с собой. А прилетая в город, шараяюсь от густого потока машин и пугаюсь мобильных телефонов, в которых так ничего и не понял.

Сейчас начнётся связь, может быть, что-то скажут по завтрашнему вертолёту. Включаюсь, настраиваюсь. Увы, передали, что вертолёта не будет. Как бы до Нового года здесь не застрять. Жена опять обидится.

### 3. ДУМА О МЕДВЕДЕ

Год назад, в это же самое время я вёл наблюдения за Потапычем и ждал, когда он соизволит бросить рыбалку на Тёплой протоке и ляжет в берлогу. День шёл за днём, наступил Новый год. Я не то что предвидел, но допускал случай, что придётся встречать праздник в поле, поэтому держал в заначке бутылку шампанского. В последний день декабря собрал рюкзак, взял видеокамеру со штативом, раскладной стульчик и отправился на протоку. Потапыч лежал на заснеженном берегу и лениво дожёвывал очередную добычу. На моё появление он почти не отреагировал, лишь слегка пошевелил округлыми ушами. Я подошёл метров на десять, укрепил на штативе камеру, включил запись, затем приблизился на дозволенные мне пять-шесть метров к медведю, поставил стульчик, сел и открыл шампанское. Закуску из сморщенных мандаринов, шоколадки и куска хлеба разложил на рюкзаке под ногами. Потапыч дремал, изредка шумно вздыхая.

Я был счастлив. И оттого, что нахожусь рядом с любимым медведем, и потому, что снимаю необычную сцену — встречу Нового года в лесу,azole парящей на морозе реки, на фоне дремлющего гигантского медведя. Конечно, во мне опять разыграл артист, но, чёрт возьми, как это было приятно!

— С Новым годом, дорогой! С Новым годом, моя радость! — поднял я тост, громко обращаясь к Потапычу, который, услышав мой голос, открыл глаза и слегка поднял голову. — Как я давно мечтал об этом! Как мечтал, Потапыч, встретиться с тобой в этот праздник. Но знал бы ты, сколько горечи принёс моей жене. Сейчас бы я встречал Новый год дома, как все порядочные люди. Но мы с тобой непорядочные.

Я повернулся к камере:

— Кто мог знать, что он останется на праздник со мной, да ещё вот здесь, на этой протоке, где мы с ним встретились двадцать лет назад. Я тогда



пошёл за ним с фотоаппаратом и вот хожу все эти двадцать лет. Потапыч! — я вновь позвал его, и он опять поднял голову, сонно жмуря маленькие, почти невидимые издала глаза. — Мой ты зверюга! Единственный зверюга, с которым можно по-человечески пообщаться! Пью за нас!

Я выпил. Потом еще долго сидел возле дремлющего Потапыча. Что держало его у протоки в столь позднее зимнее время? Почему он, с видимым усилием перебарывая сон, продолжал набивать рыбой брюхо, которое уже и без того волочилося по снегу?

Сделав ещё несколько планов видеосъёмки и сняв с десятков кадров фотоаппаратом, я собрал рюкзак и ушёл в избушку. После этого Потапыч рыбачил на протоке ещё несколько дней, но однажды исчез. Я пошёл по его следу, который привёл к берлоге, вырытой под толстой старой валежиной на террасовом склоне ручья Берложного. Потапыч спал внутри, громко посапывая. Одна из задних лап торчала наружу.

Ночью пошёл густой снег, который засыпал моего медведя до весны. Больше я его не видел. Может быть, он специально устроил мне праздник перед уходом в вечность? Попрощался со мной. Кто знает? Но сдаётся мне, что это так и было.

Летом я проверил берлогу Потапыча — она была пустой. Не обнаружилось и следов зимней охоты, отстрела его в берлоге. Значит, он благополучно пережил зиму. А затем пропал. Теперь на Тёплой протоке хозяйничает Верзила, который отбил её у Лопухого. Завтра я попробую и Верзилу проводить до берлоги. Надо находить путь к его медвежьему сердцу, приучать к себе.

А ведь однажды я убил медведя. Это было более тридцати лет назад. Тогда я только начал работать в Горячей Долине гидом-проводником. В большом количестве в Долину приходили туристические группы, и я должен был встречать их, показывать гейзеры, рассказывать о них, следить за порядком и, естественно, охранять туристов от многочисленных медведей. Для этого мне выдали старенький карабин с патронами. Это сейчас Горячая Долина обустроена, через её территорию проходят дощатые пешеходные мостки, построены смотровые площадки, а тогда туристы вытапывали всё вокруг, хрупкие гейзериты растаскивали на сувениры, рядом с булькающими горячими грязевыми котлами выкапывали ямы для мусора, туалетов не было. Естественно, запахи помоек привлекали медведей, которых и без того в Долине было много. Повадилась ходить к домику туристов молодая медведица. Разоряла всё, что могла, лезла через окно на кухню, постоянно пугала людей, невозможно было нормально проводить экскурсии, спокойно спать ночью. Очень пакостливой оказалась девушка. Мне предписали застрелить её. А я же никогда не стрелял, тем более в большого хищника. Трусил страшно. Но всё-таки я её выследил. Она стояла метрах в пятидесяти и безмятежно, ничего не чувствуя, не понимая, смотрела на меня. Я вскинул карабин, но руки тряслись. Тогда я испугался ещё больше: а вдруг она бросится на меня, а я не смогу выстрелить или не попаду? Кое-как справившись со страхом и волнением, вновь вскинул карабин, прицелился. Она стоит.

— Убегай, дура! — крикнул я, опуская ствол.

Она вскинулась, развернулась и в два прыжка ушла в кустарник. А я поплёлся на базу. Вечером по радиации спрашивают: убил? Я отвечаю, что нет, не далась. Мне приказали строже: убей! И на следующий день я её застрелил. Причём положил одним выстрелом. Туристы разделали тушу, ели мясо, запивая водкой, а я даже к костру не вышел. С тех пор ружьё в руки не брал, да и купил-то его только недавно, когда стал сопровождать в походах по заповеднику иностранных учёных. Меня обязали иметь ружьё для безопасности людей. Но стрелять в медведей, слава Богу, пока не пришлось. Да едва ли я бы и смог...

Я долго работал в Горячей Долине гидом. Кого только здесь не сопровождал! Были космонавты, министры, премьер-министры разных стран, знаменитые артисты, певцы. Я распускал перед ними хвост, упоённо рассказывал им о гейзерах, они очень были довольны мною. В книге отзывов писали всякие хвалебные слова. Меня это подвигало на ещё более дотошное изучение

уникальных объектов Долины. А самыми уникальными, интересными для посетителей были, конечно, многочисленные медведи. Их здесь встречали каждый день, и не по одному. Люди задавали мне вопросы: почему они такие огромные, не кинутся ли на нас, когда залегают, когда просыпаются и так далее. Готовясь к ответам, читая о медведях книги, я понял, что это мой зверь, меня тянет к нему. Однажды я осознал это отчётливо и конкретно, во мне толкнулось что-то, открылось, и с тех пор медведи со мной, а я с ними. Дошло до того, что мне иногда самому хочется стать медведем. Ненадолго, чтобы изнутри посмотреть некоторые особенности их жизни, лучше понять их, поговорить с ними.

Вообще, Камчатка — уникальное медвежье место. Ещё Степан Крашенинников, почитаемый мною, да и всеми камчатцами первый учёный полуострова, писал в своей знаменитой книге “Описание земли Камчатки”: “Особливо же много на Камчатке медведей и волков, из которых первые летом, а последние зимою, как скот, по тундрам ходят”. Я эту цитату всегда привожу, когда выступаю перед студентами или школьниками. И всегда добавляю: ай да Крашенинников, как образно и точно сказал! После его слов легко себе представить, как много было на Камчатке медведей. Это изобилие и сейчас поражает воображение людей, что уж говорить о стародавних временах! Действительно, бурые медведи тогда *ходили, как скот, по тундре!*

По описанию того же Крашенинникова, промышляли медведей двумя способами: стреляли из луков и били в берлогах. Когда охотник добывал медведя, то обязательно созывал гостей и потчевал мясом, потому что медвежати́на считалась деликатесом. А череп зверя вывешивался над балаганом “для чести”.

Медвежьи шкуры шли у камчадалов на постели и одеяла, а из выделанной кожи шили шапки, рукавицы, подошвы для зимней обуви и собачьи ошейники. Из лопаток медведя изготавливали серпы, чтобы косить траву. Весной, когда палит солнце, кусками выделанных до прозрачности медвежьих кишок женщины закрывали от загара лица. Одним словом, от туши добытого медведя почти всё годилось в хозяйстве камчадалов.

Увы, ситуация резко изменилась, когда на Камчатке во множестве появилось огнестрельное оружие. Были отброшены в сторону многие условности и традиции, да и добывать зверей, в том числе и гигантских медведей ростом до трёх и более метров, стало проще. Некогда необычная, почитаемая охота на этого хищника превратилась в массовую. Начиная с послевоенных лет, медведь на полуострове был поставлен вне закона, наравне с волком считался вредным хищником, и за его уничтожение выплачивали премию. Заготовительные организации платили по десять рублей за шкуру медведя. А на свободном рынке охотник продавал её и за все тридцать, а то и пятьдесят-семьдесят рублей. Охотхозяйства, нацеленные только на наживу, не тратили деньги на учет и оценку охотничьего фонда популяции. Медведей действительно на Камчатке было “не меряно”, и люди привыкли к мысли, что так будет всегда.

“Не меряно много” — это, конечно, хорошо, но сколько же точно на Камчатке было бурых медведей и сколько имеется сейчас? Считал и считает ли их кто-нибудь? Я пытался добыть такие цифры, когда занялся медведем всерьёз. И вот что у меня получилось.

Сведений об учёте медведей в XIX веке нет. В XX веке их количество впервые обобщил учёный Анатолий Георгиевич Остроумов. По его данным, на Камчатском полуострове в период с 1955-го по 1965 годы обитало пятнадцать-двадцать тысяч медведей. Я уверен, что ко времени работы Остроумова на Камчатке уже всюду процветало браконьерство, поэтому так мало осталось медведей. Зверя стреляли все, кому не лень, тем более что встретить его в лесах и тундрах Камчатки ничего не стоило. Убивали медведей уже не на пищу, а только из-за шкуры и, чаще всего, из-за жёлчи. Недаром в начале 1990 годов камчатские газеты пестрели объявлениями типа: “Продам медвежью жёлчь”, или: “Куплю медвежью жёлчь”. Лечебное свойство жёлчи медведя высоко ценится в Китае, Японии и Корее. Именно туда и сбывалась в большом количестве жёлчь камчатских косолапых. В тайге

можно было встретить брошенные медвежьи туши, из которых не было взято ничего, кроме жёлчи. Убивали, вырезали жёлчный мешочек, а тушу бросали. И так — десятки и десятки зверей. По моим данным, медведей у нас осталось не более десяти — одиннадцати тысяч.

В последнее десятилетие XX века камчатские охотхозяйства стали практиковать иностранную охоту на медведя. Нет, не наши охотники выезжали за границу, чтобы помочь “зарубежным товарищам” отстрелять их хищников, а на Камчатку привозили иностранцев, чтобы “попотчевать” интересной, экзотической охотой. И количество медведей, добытых иностранцами, растёт из года в год. В 1999 году, например, из 300 официально отстрелянных зверей иностранные охотники добыли 178, тогда как восьмью годами раньше из всего 450 добытых медведей иностранцами было убито лишь 76. Налицо две тенденции. Первая: охота на медведя превращается в элитарную, доступную лишь иностранным охотникам и высокопоставленным лицам Камчатки и Москвы. Недаром общее количество добытых медведей уменьшилось, а это значит, что уменьшилось число простых российских охотников, официально взявших лицензии. Вторая тенденция: рост доли иностранцев в отстреле зверей.

Обе тенденции для меня тревожные. Но если первая — больше в моральном смысле, то вторая ведёт к полному исчезновению крупного медведя на Камчатке. Дело в том, что иностранным охотникам нужен на Камчатке не просто трофей, а выдающийся трофей. Последнему немецкому бюргеру или американскому бухгалтеру, сумевшим наскрести необходимую сумму для поездки в Россию, на Камчатку, хочется привезти домой шкуру и череп гигантского медведя, под три метра и больше. И наши егеря беспрекословно идут на это, выискивая для гостей наиболее крупные экземпляры. Ведь гость платит, а что ещё нужно в наше время, кроме хороших денег? Только ещё более хорошие деньги. Так из года в год идёт селективный отстрел зверя, когда выбиваются крупные самцы и ухудшается генофонд популяции. В брак с медведицами всё чаще вступают средние по размеру и мелкие медведи, соответствующими рождаются и медвежата.

На Камчатке — самый крупный медведь в мире. Это подтверждают и сами иностранные охотники, которые охотятся всюду, стреляли зверей во многих уголках Земли, могут сравнивать. Много этого зверя на Аляске, но там остался мелкий медведь, а ведь большинству охотников нужен интересный трофей, чтобы было, чем похвастаться. Вот ведь как...

Ах, медведь, мой медведь, как защитить тебя от людского беспредела? Нам повезло, что есть на Камчатке заповедники, где медведю ничего или почти ничего не угрожает, и гиганты типа Потапыча или Верзилы ростом более трёх метров ещё встречаются. Но долго ли такое протянется? Я взялся за защиту медведя, начал выступать с лекциями и публикациями. Кажется, меня слышат, приглашают то в Японию, то в Штаты, недавно во Францию летал. Но слышат в основном такие же, как я, — любители природы, учёные, энтузиасты. И почти совсем не слышат охотники, бизнесмены от охоты. Поэтому я боюсь за нашего медведя. Боюсь теперь за Верзилу, хотя он живёт в Долине, да ещё и под моей опекой. Верзила, как я успел заметить, огромен, и при этом длинноног, статен. Очень необычный медведь, поэтому он вполне может приглянуться кому-то из высокопоставленных или просто богатых охотников, которым ничего не будет стоить незаконно и незаметно прилететь сюда на вертолёте и взять интересную добычу прямо с воздуха. Может быть, так, кстати, взяли и моего Потапыча...

#### 4. МЕДВЕЖИЙ ЗОВ

Всегда засыпаю быстро, а сегодня не смог. Голова долго оставалась ясной, а мысли глубокими. Вспомнилось военное, голодное детство, молодая, заплаканная мать, получившая похоронку на отца. Вспомнился дед с чёткими, натруженными руками, бабка, вечно возившаяся с кастрюлями и пойлом для скотины. Я в школе срываю уроки, учителя жалуются деду,

тот берётся за прут. Два года в пятом классе, а позже — страшное желание учиться, книги до утра, под фонарик. Но желания не стыковались с реальностью, поэтому осталась привычка к самообразованию. Здесь выработалась своя система, помогавшая мне быть не самым последним во многих вопросах.

Мысленно перебрал, переласкал пять тысяч негативов и столько же слайдов с медведями, снятых лично мною. А ещё лежат километры видеоплёнки, сотни килограммов исписанных дневников. Вспомнились и лекции в зарубежных университетах, в Московском университете. И, конечно, моя книга о медведях, которую и в руках-то почти не держал — только показали, дали полюбоваться сигнальным экземпляром.

Может быть, хватит работать в поле, ходить за медведями? Наверное, давно пора остепениться, осесть в городе, обрабатывать накопленные материалы, анализировать, писать, издаваться...

За мыслями я всё-таки незаметно уснул, потому что увидел что-то страшное, чёрное, бесформенное, во всю избушку. Затем оно уменьшилось и превратилось в погибшего от медведя японца Хоши. Да, это он наклонился надо мной, шепчет по-русски:

— Мы с тобой одной крови, но я после смерти — медведь, а ты ещё человек. Хватит, уходи в лес, будем вместе.

— Хватит, хватит, хватит! — кричу я и просыпаюсь.

Что-то не выдерживают нервы, наверное, устал. Да и одиночество называется. Не пора ли на утреннюю связь, где часы? Нет, рано ещё, спит Камчатка. Надо досыпать и мне. Но опять не спится. Ходит кто-то возле избушки, что ли? Да нет, тихо. Или ходит? Может быть, сегодня пропустить день, не искать Верзилу?

Кое-как дожидаюсь связи. Подтвердили, что вертолёт не будет. Нет, пойду к Верзиле! Иначе всю зиму буду жалеть, маяться, ругать себя за лень, нерасторопность, минутную слабость. Для меня это как наркотик: постоянно хочется видеть медведя, смотреть, как он двигается, сидит, лежит, ест. Видеть! Просто видеть, любоваться! При этом ловить запах снега, прели, оставленной лёжки, далёкого океана. И слышать крики птиц, мечтать о доме, о будущих статьях и книгах.

Когда пятнадцать лет назад меня пригласили в Сочи на совещание по медведю, я привёз свою фотовыставку. Впервые меня пригласили! И впервые я так широко показал свои снимки. Как они смотрели! И как я, автор, до сих пор смотрю те снимки моего первого медведя — Карнаухова! Это же шедевры! Но ничего в жизни нельзя повторить. Ничего, как ни пыжься. Сейчас я совсем другой и давно не снимаю по двести-триста плёнок за сезон. Не сижу ночами в ванной за проявкой и увеличителем. И нет Карнаухова, нет Потапыча...

Может, действительно, хватит?

Пью чай, смотрю, как светлеет в оконце, прорисовываются стены в избушке, играют на потолке блики от огня в печке. Однако пойду, воспользуюсь лишним днём. Нужен мне Верзила! Необычный это медведь, очень необычный. Вдруг весной не объявится, исчезнет, уйдёт? Ведь ругать себя буду!

Рассвет ещё далеко над океаном, а я уже бегу по вчерашней лыжне. В тихом лесу морозно, свежо. Но бег греет. Зря чаю надудся, сейчас весь через кожу выйдет.

Перехожу заснеженный ручей Орланий, сворачиваю в соседний распадок, поросший молодым, светлым березняком. Летом здесь стена шеломайника, а сейчас хорошо, гладко и только сухие дудки торчат из-под снега. Недалеко — гнездо белоплечих орланов. Они тоже мои особенные подопечные, любимцы. Я и ручей свой назвал в честь этих красивых, огромных птиц.

Начинаю подъём на водораздел между Орланий и Берложным. Опять березняки, на склонах — заросли кедрового и ольхового стланика. Всё знакомое, родное, не единожды хоженое.

Теперь надо быть внимательнее, подхожу к тому месту, где вчера лежал Верзила. Кажется, тихо. Долго смотрю в бинокль, затем осторожно подхожу к зарослям ольхи. На лыжах в них не залезть, поэтому снимаю их, оставляю рюкзак и бреду по снегу в болотных сапогах с поднятыми голенищами.

Лёжка пустая, оставленная утром. От неё пошёл след наверх. Ну, что же, начнём догонять.

Прохожу ещё с километр, когда вдругстораживает слабый треск впереди. Резко останавливаюсь, снимаю свой старенький, потёртый малахай и слушаю. Да, в ольховнике впереди, на склоне над ручьём покачиваются ветки. Это он! Но как же мало он прошёл от лёжки! Почему? Беру чуть в сторону и осторожно подхожу с подветренной стороны к зарослям. До него примерно метров сто. А день какой яркий разыгрался, тёплый! Ну, что может случиться в такой день? Конечно, Верзила сейчас осторожен, да и нервничает перед залеганием в берлогу, это у медведей обычное дело. Но и мне не впервые разумно рисковать. Видимо, там у него берлога, иначе не объяснишь такое малое расстояние от вчерашней лёжки. Устраивается или уже окончательно залёг?

Я подхожу к краю ольховника, снимаю лыжи, рюкзак, оставляю себе только фотоаппарат и кладу в карман газовый баллончик. Крадучись, стараюсь совсем не шуметь, вхожу в заросли. Как же густо растёт ольха, изогнутая снегами вниз по склону! Буквально каждую ветку приходится медленно и бесшумно приподнимать, чтобы пролезть под ней. Иногда, правда, встречаются плешинки в зарослях, и тогда я беспрепятственно проваливаюсь до колен, это тоже мешает передвигаться. Ничего, ещё немного, и я его увижу.

После каждого пройденного метра внимательно велушиваюсь и гляжу вперёд. Я его ещё не вижу, но постоянно слышу. Значит, он не чует и не слышит меня, иначе бы загался. Это придаёт мне уверенности. Я иду почти параллельно склону, а он, возможно, лежит ко мне спиной, к тому же слегка урчит и покрхтывает, что отвлекает его.

Кажется, теперь вижу! Да, это он, лежит на снегу, возится. То ли заледевший снег с подошвы выгрызает, то ли что-то ест. Это не берлога, обычная лёжка. Просто ему, отъевшемуся рыбой, по глубокому снегу тяжело идти, вот он и отдыхает так часто. Открываю фотоаппарат, ловлю его в видоискатель, но ветки заслоняют. Значит, надо подойти ещё чуть ближе.

В это время Верзила услышал меня и повернул голову, шевеля ноздрями. Я отвёл глаза. Он зарычал, и я инстинктивно подался назад. Он зарычал опять, раздражённо разглядывая меня. Я сначала попятился, а затем бросился от него напропалую через заросли, широким шагом, нагибая, отталкивая от себя, обламывая тонкие ветки ольхи. Сухие серёжки засыпали, зажелтели снег на моём пути. Выскочив из зарослей, я отдышался и прислушался. Тихо. Значит, он не встал. Слава Богу!

Я надел лыжи, прошёл вперёд метров пятьдесят. Минут десять-пятнадцать постоял, давая медведю время успокоиться. Затем вновь вошёл в заросли ольхового стланика. Как раз с этой стороны я видел между ним и кустами небольшую пропешину, поэтому через неё мне удобнее будет наблюдать и фотографировать. Опять иду осторожно, поднимая над собой каждую ветку. Плохо, что теперь поднимаюсь почти в лоб склону. Но, кажется, уже близко. Держу фотоаппарат наготове. Верзила вновь поворачивает ко мне голову, злобно рычит, обнажая огромные верхние клыки, а затем тяжёлым рывком, опираясь на задние лапы, встаёт и, с треском ломая ветки, рысью убегает вверх, оставляя после себя настоящую просеку в зарослях и глубокую траншею в снегу.

Я замираю, пружиня ноги, готовый в любую секунду броситься наутёк, к лыжам. Но, кажется, он действительно ушёл, шум отдалился. И ведь ни одного снимка сделать не удалось! А такая была возможность! Ещё бы чуть-чуть он подождал, так резко не вскидывался...

Вновь выхожу к лыжам, надеваю их и осторожно обхожу ольховник. Вот его след: так рысью и махал вверх по склону, несмотря на тяжёлое брюхо. Конечно, долго бежать он не сможет, скоро перейдёт на шаг, поэтому попробую нагнать и выследить его на открытом месте.

Время близится к обеду. Сделаю ещё одну попытку увидеть его и отступлю на часик, чтобы спокойно поесть. Что же ты, Верзила, так резко дал дёру? Давай дружить, уважаемый. Не ерепенься, не злись, я твой друг.

Ты теперь надолго можешь стать объектом моих наблюдений, я тебя покажу всему миру, расскажу о тебе в газетах, журналах, наверное, и в книгах. Дополнишь тобой свои знания о медведях. Я, Верзила, изучаю твоих сородичей очень давно, я многое про вас знаю, я люблю вас. Я тот, кто нужен тебе. А ты нужен мне. Слышишь, Верзила? Пара снимков, и завтра я улетаю. А ты заляжешь в свою берлогу и нормально выспишься.

Нет, я не кричу, и даже не нашёптываю эти слова. Я всё это обдумываю про себя. Для себя. Верзила всё равно себе на уме, его словами не проймёшь.

Следы ведут к очередным зарослям ольховника. Подхожу к краю, прислушиваюсь, соображая: где он пересечёт их и выйдет? Так и пойдёт наверх или свернёт в сторону и начнёт спускаться в распадок? Я стараюсь заглушить в себе азарт погони, чтобы оставаться бдительным. Иду вдоль заснеженного ольховника. А он сплошной стеной тянется по склону, уводя меня слишком далеко от следа. Придётся возвращаться и рядом с просекой, пробитой Верзилой, пересечь заросли напрямую, иначе я его не найду.

Но, увы, моя затея неосуществима, потому что лыжи, конечно же, тотчас запутаются в кустах. Придётся снять их, пройти через заросли, проверить, вышел ли из них Верзила, а затем вернуться, чтобы уже по его следу уверенно и почти беспрепятственно перейти на ту сторону ольховника.

Скидываю лыжи и осторожно вхожу в густые заросли. Прохожу совсем немного, когда вдруг слышу страшный шум впереди. С веток мощным веером брызгает снег, упругий куст больно хлещет меня по лицу и, похоже, до крови рассекает кожу. Успеваю чуть-чуть отступить, но вязну, вязну, о, Боже, вязну в снегу, медленно приседая. А он встаёт надо мной — страшный, свирепый, огромный. Его мощные передние лапы с растопыренными, острыми когтями — у меня перед глазами. Мне некуда деться — кругом снег и густой кустарник. Сейчас он навалится на меня, раздавит, растерзает, изорвёт. Что я могу предпринять, как делал это не раз? Что?

И вдруг рядом, словно тень от искромётной молнии, появляется японец Хоши. Он весь чёрный и ловкий, как ниндзя. Он выхватывает меня из-под гиганта, и мы стремглав бежим от него через кусты, затем через заснеженную поляну, куда-то ещё дальше. Меня оставляют силы, темнеет в глазах, но Хоши кричит на ходу:

— Не отставай! Не отставай! Ведь мы теперь с тобой оба медведи! Мы сильные!..

И мы бежим, бежим, бежим, упруго отталкиваясь от земли всеми лапами...

ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВ



## А НЕБО СЕГОДНЯ — ТАКАЯ СИНЬ...

\* \* \*

Когда Москва сквозь лупу ледяную  
Узрит во тьме звезду на небеси,  
Колымский тракт давно уже ликует:  
Христос родился! Господи, спаси!

И так всегда. В стране печаль и праздник  
Сливаются в одно, не различить.  
Был Триедин Господь, во время казни  
Стал Богочеловек, чтоб всех простить.

### ВРЕМЯ

1

Наше время проходит жестоко,  
За душой не храним ничего.  
Потому и стоим одиноко  
Перед светлой десницей Его.

---

*ВАСИЛЬЕВ Ярослав Иванович родился в г. Молотов (ныне Пермь). Окончил Московский геологоразведочный институт, работал геологом, печатается в центральных изданиях с начала 70-х годов. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России.*

Этот свет всё длиннее и ближе,  
Этот яркий, пронзающий свет.  
И простое житейское: “Выжил!” —  
Превращается в русское: “Нет”.

2

Это время уходит жестоко.  
За судьбою не жду ничего.  
И легко мне стоять одиноко  
Перед светлой десницей Его.

Этот свет всё короче и ближе,  
Постоянный всевидящий свет.  
И простое житейское “выжил”  
Превращается в новый рассвет.

КИЕВ

Ещё пройдёт великий шелест  
Над всею отчею землёй, —  
Как рыбы тянутся на нерест,  
Вернёмся к Киеву толпой.

И сбросив тело, как одежду,  
Душой мы крикнем: “Выйди, князь!  
Отдай нам русскую надежду  
И кровных уз распутай связь!”

И каждый в этот миг единый  
Пройдёт такой круговорот,  
Что злейший враг и друг любимый  
Сольются в неделимый плод.

\* \* \*

Не шестикрылый серафим  
И даже не герой,  
Я говорю: “Сегодня — Крым,  
И Рим не за горой!”

Не потому, что воевать  
Сложнее, чем прощать.  
Не будем всеу поминать,  
Кого любила Мать.

Прозрачны руки у любви,  
Видна на свете кровь.  
Чему Его учила Мать —  
Зачем нам знать с тобой?

ЛЕДОХОД

Эхо над рекою прокатилось,  
Разорвался пояс ледяной,  
И широко, празднично крушилось  
Всё, нагромождённое зимой.



Люди сбились, словно стаи птички,  
На буграх оттаявшей земли.  
Но страны холодное величье  
Было в том, как льды на север шли.

\* \* \*

На платье твоём — голубой цветок,  
Синяя ночь в глазах.  
Таких на земле охраняет Бог,  
А я — только пёс в ногах.

Ты можешь себя запретить любить,  
Растаять вдали, как дым,  
А я буду тень твою сторожить,  
Где ты стояла с другим.

### ГОРИЗОНТ

Если думаешь, что всему пришёл конец,  
Набей трубку табаком и жди.  
Всю Россию вытоптал Илья-Муромец,  
А горизонт всё равно лежит впереди.

Мы зарекались построить рай  
И забыли, что его даёт Бог.  
И даже солнце очерчивает в небе край,  
Чтобы ты его заступить не мог.

\* \* \*

Какая странная жизнь,  
Она проходит, как боль,  
И снова наступает,  
Когда мы вдвоём с тобой.

Лебеди летят по небу, как облака.  
Всё ещё будет. И поцелую руку твою,  
С жилками синими,  
Как голубая река.

ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ



## БОРОДА

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА “ЧЕСНОК”

Нужен, очень нужен был отпуск. Он жил только предвкушением девятнадцати дней отпуска. Он дышал этим отпуском с самой слякотной зимы, когда договорился с Иваном Шмидтом, что приедет к нему в Крым, на университетскую базу. И теперь в фантазиях ему виделся серый, в крупную крошку, асфальт дороги на обсерваторию, туман над ставком, яркие белые отроги корабельной квесты. Вот он спускается от Прохладного до Твердохлебовки, срывает пыльные неспелые плоды растущих по обочинам абрикосовых деревьев. И в воздухе сладко от мелиссы, чабреца и лаванды.

...База геофака уютно пряталась в распадке между двумя вершинками в Прохладном, несколькими километрами выше по путаной дороге от Твердохлебовки. Всё это пространство от Бахчисарая и до Партизанского водохранилища, от Новопавловки и до верховьев Бодрака называлось “Полигон” и ещё в начале пятидесятых годов двадцатого века было определено для организации учебной практики геологических вузов огромной страны. В семидесятые, когда Борода только пошёл в школу, здесь уже копошились студенты полусотни институтов и техникумов. Однажды, листая альбом семейных фотографий, он обнаружил снимок отца. Тот, голый по поясу, с трубой магнитометра в руках стоял на ступенях мраморного карьера Баклинской квесты. Кажется, там отец и закадрил мать — студентку ленинградского горного. Династия.

---

*ОРЛОВ Даниэль Всеволодович родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил Геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. До середины 90-х работал в геофизических партиях. Как прозаик дебютировал в 2005 году. Автор романов "Долгая нота", "Саша слышит самолёты", "Чеснок". Лауреат премии им. Н. В. Гоголя. Живёт в Петербурге.*

Борода любил свою первую специальность. Ему и сейчас нет-нет да и снилось, что пробирается он узкой тропой над обрывом северной реки в рекогносцировочном маршруте. Или спешит с прибором по каменистому плато над морем, от одного колышка пикета до другого, и никак не может записать измерение, всё возвращается и возвращается на предыдущий пикет. И там всякий раз новое значение. То цифры прибор показывает несуществующие, то вдруг понимает он, что прибор в руках незнакомый, и Бог знает, что он вообще измеряет. И ясно лишь, что надо торопиться, пока не стемнело, не пошёл дождь, и не настало время сдачи презентаций по новым комплексам на проверку коррупционной составляющей в департамент общих вопросов. И делается ему от того душно. И он просыпается, лежит некоторое время с открытыми глазами, а потом идёт на кухню пить холодную воду из огромной пластиковой бутылки.

Борода не стал заказывать билет на самолёт. Это казалось до обидного простым: спуститься в гулкий подземный переход под Ленинским проспектом, в котором сотовый телефон всегда теряет сеть, выйти напротив академии Генштаба, сесть в шестьсот одиннадцатый автобус и через двадцать четыре минуты быть уже Внуково. И останется только миновать стоянку таксомоторов, пройти внешнюю зону досмотра международного зала, зарегистрироваться на стойке и потом кемарить в седьмом гейте, поставив чемодан возле стойки бара. И вовсе уже не ждать, когда позовут на посадку, а только сдувать пену с кружки разливного пива “Miller”. Через полтора часа Симферополь. Взлёт-посадка. Скука.

Нет. Так нечестно. Так Крым не даётся. В Крым, как в юности, надо идти пешком, по пыли и босыми ногами, а потом сидеть на придорожном камне, словно Христос на картине Крамского. А если не пешком, то хотя бы ехать двое суток в душном купе плацкартного вагона, чтобы шумело и пахло. Чтобы в Воронеже у торговки взять горячей картошки с укропом, в Харькове — стаканчик харьковского мороженого и тёплого пива “Оболонь”. И уже на подъезде к Темрюку сторговать за пятьсот рублей пол-литровую банку обманной икры не то у цыганок, не то у гречанок, не то просто у безымянных сирен, вдруг заполонивших собой вагон, чтобы, как и две тысячи лет назад, в шуршании юбок спрятать скрип рессор боевых колесниц кочевников и звон перевязи их мечей.

Ай-ай! Куда ты катишься, мир? Куда тебя несёт? Вот и наступили последние времена, взошла над девятым микрорайоном Тёплого Стана звезда Польнь, Ангел вострубил в скрипе тележек всех супермаркетов, конь бледный заржал и выбил копытом — стук да стук! — не то алмаз, не то гибель миру из каменного лба Гряды на Полярном Урале. Цой воскрес и записал новый альбом. И оказалось, что альбом тот — дрянь несусветная. И будь ты хоть член совета директоров али ещё какой мытарь или рыбак, а только и останется, что рыдать и идти по дорогам. И камо ты, милоч, грядеши?

“Иди к Юлечке, она тебя поставит на довольствие”, — оракул, простая инструкция-истина. Только к Юлечке. Куда ещё? Никуда. Кто та загадочная Юлечка, к которой его послал Иван? Пусть это будет дама под шестьдесят или девочка восемнадцати лет. Какая разница? Иван не уточнил, значит, это для него и мира было не так важно. Сказал и убежал открывать душевые или закрывать душевые. Борода не расслышал, уши заложил.

Он сидел в тени лещины возле мемориальной стелы, смотрел на подъём-тягун, дорогу, согнутую в складку от поворота на обсерваторию до самых ворот базы, и катал во рту вот это: “поставит на довольствие”. Сосредоточенная оса-наездник дрейфовала от локтя до запястья, не решалась ни укусить, ни улететь.

Утром, поезд ещё только подкрадывался к симферопольскому перрону, как позвонил возбуждённый Иван и нервным матом прокричал в трубку, что застрял в мастерской. Пришлось Бороде ехать до Почтового. Пустая, необязательная станция за Симферополем, где на весь перегретый похмельный состав вдоль вагонов ходило только пять бабок-хлопотуний с варёной прошлогодней кукурузой и пивом. Кроме Бороды, из поезда здесь никто не вышел.

Проводница подняла тяжёлую платформу, протёрла тряпкой поручень и пожелала хорошего отпуска. Борода поблагодарил, попрощался и спустился по ступенькам. Солнце уже пекло. Он, не торгуясь, купил кукурузу, уселся верхом на чемодан и с наслаждением впился зубами в початок. Позвонили из офиса. Борода терпеливо объяснил, где взять нужные документы, поблагодарил за очередное дежурное “хорошо отдохнуть”, дал отбой, и уже через секунду запыхавшийся Иван тискал его в объятиях, то и дело тыча кулаком в живот: “Потолстел, бродяга! Заматерел!”

Они пересекли пути, вышли к дороге и сели в стоящую в тени акации “Ниву”. Борода с трудом узнал в полном, лысом, с красной шеей дядьке за рулём разбитного интинского шофёра Витьку, который каждый год возил их с мужиками из пятидесят второй партии на вокзал и обратно. Витька звался теперь Митричем и работал у Ивана на базе завхозом. Всю дорогу до Твердохлебовки, пока Шмидт болтал о пустяках, поил друга хересом, разливая ароматный напиток в целлулоидные стаканчики из тёмно-коричневой бутылки, Витька молчал и лишь время от времени хмыкал, соглашаясь. К девяти часам утра Борода почувствовал себя не то что пьяным, а по-студенчески бухим и оттого счастливым.

Они остановились напротив магазина в Скалистом — последнем равнинном селе. Дальше начинался подъём. Шмидт поспешил к распахнутым ставням местной хлебопекарни за свежими булочками. Борода, путаясь в ремнях безопасности, вылез с заднего сиденья Витькиной “Нивы”, закурил и прислонился к шершавому стволу абрикосового дерева. Отсюда уже можно было рассмотреть нависшие над домами белые обрывы Баклинской квесты, похожие на комки застывшего ноздреватого теста в потёках глазурь. В гудении пчелы совсем просто представлялось, что это от Баклы пахнет сдобой, изюмом, табаком и нагретым сырым камнем. И он стоял, прикрыв глаза, следя за тем, как солнечные зайчики пытаются проскочить между век прямо в память, пока ловкая тень птицы не схватила одного из них из-под самых ног Бороды, чтобы тут же вернуться в клубок к остальным теням.

Борода проходил учебную практику в Крыму позже остального курса, уже отслужив в армии. В тот и предыдущий годы в Скалистом, в Твердохлебовке, вдоль Баклы и вокруг Белой горки заново отстраивались вернувшиеся из Средней Азии татары. Выдавшие виды “ЗИЛки” по несколько раз на дню громыхали мимо палаток кузовами, гружённые жёлтым крымским ракушечником. Из такого испокон веков возводили дома в Крыму те, кто позажиточней. Татары вернулись с деньгами, полученными от продажи жилья в Средней Азии, и торопились до зимы встать под крышу.

Тот, кто спешно построился за прошлую осень, кто на горбыль прибил старый шифер, чтобы укрыть им дома, кто прожил зиму с печками-буржуйками, спешно сваренными из жестяных бочек, и в мороз и мокрый снег бегал по нужде в ямы, пробитые ломами да кирками в известняке, в этом году уже гнал небольшие отары овец по верхней дороге, на пустовавшие более сорока лет пастбища. Выходцы с Украины, поселившиеся в горном Крыму, в основном после войны, предпочитали коз, и не больше трёх на двор, выпускали их пастись рядом со своими заборами, чтобы скотина была на виду. Русские держали коров. Каждое утро мимо базы шло большое стадо, почти из каждого двора прибавляясь неторопливой бурёнкой. Стадо бурлило коричневым потоком по долине Бодрака, пересекало реку и потом, словно разлившись в долине, паслось под склонами Корабельной квесты или за яблоневыми садами вдоль дороги на Бахчисарай.

Студентами они редко покупали у местных молоко. Тратить деньги на что-либо, кроме алкоголя и табака, казалось непростительным расточительством. Вряд ли когда-то было иначе. Молоко — для детства. А их детство, вдруг охнув прыщами, только подмигнуло отрочеством, чтобы вдруг всё в мире оказалось пронизано желанием и уже лопалось, как налитая соком ягода, не посмевающая выстояться в доброе вино. Юность выпивалась брагой или, разве что, молодым бурлящим, полным пузырьков игристым вином. Выпивалась залпом.

— Борода-Борода, — рассмеялась красивая, тонкая, как листик, лаборантка Юля. — Я думала, действительно, борода... А тут так, бородёнка. Даже меньше, чем у Кеши вашего или вон, у Ивана Сергеевича.

Борода в замешательстве потёр подбородок. Он гордился своей густой пепельной от седины щетиной. Иногда девушки замечали, что она делает его похожим на Хемингуэя. Это было немодное сходство, но когда так говорили, Бороде больше нравилось, нежели когда замечали, что он похож на американца Клуни. “Лучше быть как пьяница-писатель, нежели как пьяница-киноактёр”, — говорил он. А тут вдруг “бородёнка”...

Борода неуклюже отшутился.

— И выпивший с самого утра, — поморщила Юля аккуратный татарский носик. — Студентов бы, Всеволод Константинович, постеснялись. Тут не санаторий, тут учебная база, говорят, мол, аудитория на свежем воздухе.

Чувствовалось, что ей нравилось смотреть, как лицо мужчины, значительно старше её, заливают краска смущения.

— Пьёте портвейн из горлышка, не закусываете, словно вам двадцать лет. Какой пример подаёте молодому поколению отечественных учёных? А у нас на базе иностранных специалисты из Польши и Германии. Ай-ай-ай! — продолжала девушка с плохо скрываемой иронией.

— Отвратительный пример, Юлия, — Борода демонстративно подошёл к списку преподавателей, висевшему на стенде, нашёл среди прочих единственную Юлию, лаборанта и по слогам прочёл: — Фа-ри-тов-на. — Плохой пример, Юлия Фаритовна. Обещаю исправиться, изжить недостойные привычки и через день предстать перед вами в чистой рубашке и пахнущим дорогой парфюмерией. Разрешите выполнять?

Вошёл Иван. Послушал, погремел чем-то в шкафу, вынул тяжёлую геологическую рулетку, положил перед девушкой и, опершись на стол, заметил с укоризной:

— Хватит, Хабибулина, издеваться над людьми. Лучше возьми с Всеволода Константиновича за питание, выдай талоны, объясни, как на базе работает душ, и попроси тётю Катю покормить нашего гостя завтраком.

— Так завтрак давно закончился, Иван Сергеевич.

— Вот ты и попроси. У них должно что-то остаться. А ты, Борода, постroje с ней, постroje. Эта шпана распустилась за две недели на свежем воздухе и черешне. Сама только весной магистерскую защитила, а уже заслуженных людей учит уму-разуму.

И уже опять повернувшись к девушке:

— Брысь на кухню, говорю! Торопись, пока тётя Катя не ушла и столовую не закрыла!

Девушка, хихикнув, выбежала из преподавательской.

— Хорошая, — Борода улыбнулся и кивнул на дверь.

— Все они хорошие, только студентов в маршруты водить некому. Полигона толком не знают. Приходится стариканам отдуваться да мне, вместо того чтобы с бухгалтером дебет с кредитом сводить, бегать по опорным разрезам. Я теперь тут начальник, администратор. Я не преподаватель. И моя забота — не студенты, а чтобы продукты закупили вовремя, базу к приезду санитарной инспекции подготовили, проверку из ректората прошли. Ещё автобус для учебной экскурсии заказать, очистные сооружения поставить на учёт, с москвичами договориться о совместных лекциях. Но беру рулетку, геологический молоток и веду группу Владлена Теофиловича.

— Он жив ещё? — удивился Борода, представив сутулый силуэт их старого профессора с кафедры исторической геологии.

— Типун тебе на язык! — округлил глаза Иван. — Слёг третьего дня с гипертоническим кризом. А так огурцом! Ну, пролежит неделю, пока жара и дождей нет, а потом опять в маршрут. А так, конечно, повезло, кайфует в доме и целыми днями смотрит чемпионат по футболу. Кстати, не желаешь группу вывести? Был же хорошим геологом. Помнишь что-нибудь, кроме марок портвейна?

Ответить Борода не успел. Телефон в кармане задрожал, высветив на экране номер приёмной генерального. Борода снял трубку. Взволнованный

голос ассистента директора просил прояснить ситуацию с проклятым комплексом на Борисовских прудах. Борода долго и подробно отвечал на вопросы, приводил цифры, перечислял сотрудников, которые в курсе дел, пока сам он в отпуске. Ассистент был дотошен, и когда закончились вопросы, Бороде показалось, что тот всё равно не удовлетворён, хотя поблагодарил и повесил трубку. Борода с сожалением взглянул на телефон и сунул его в карман брюк. Он не любил, когда его беспокоили во время отпуска или на выходных. Но в фирме так было принято.

Поселился Борода там же, где Иван, у бабушки Анны, в белом домике с синей дверью, только в дальней комнате. Вставал рано, делал гимнастику, варил себе и Ивану кофе на походной плитке. Потом они вместе шли завтракать на базу. Днём Борода бродил по окрестностям. Пару раз выбирался на море в Песчаное. Но оба раза штормило, потому искупаться толком не удалось. Часовая поездка в раскалённом китайском автобусе, дребезжащем каждой железякой и воняющем соляркой, его не вдохновила, и он, как и многие тут, предпочёл купаться в пресных ставках на Мангуше либо в Скалистом на карере.

Он много читал. Иногда устраивался в уютной тени от плетёного навеса посреди двора Анны и кемарил над раскрытой книгой. Хозяйка в такие часы старалась не шуметь, позволяла гостю отдохнуть, сама уходила в прохладу дома, где не то просто лежала, не то спала с открытыми глазами, пока солнце не начинало пускать зайчики в выходящие на дорогу окна. И только телефонные звонки, через которые то и дело в послеобеденный зной или вечернюю прохладу горного Крыма вторгалась Москва с её далёкой и уже кажущейся не столь важной суетой, не позволяли Бороде чувствовать, что это место его счастья.

Места, где накачивает счастье и вдохновение, помнишь всегда. Борода был счастлив на берегу океана, на белой полоске тонкого, пушистого песка бесконечного пляжа Варадеро. Его охватывал восторг на Елисейских полях, где, непонятно от чего, он плакал, от счастья или от аллергии на цветенье платанов. Но Бороде случалось замереть от ощущения благодати и в наспех натянутой на полусгнивший каркас брезентовой палатке, облепленной с подветренной стороны комарами, а с другой стороны вовсю поливаемой мелким дождём. Он помнил прокуренный поколениями бродяг диван в гостинице маленького городка, ненужного даже собственным жителям, мечтающим, чтобы он провалился сквозь землю в кипящую магму вместе со своими пыльными обочинами, облупившейся краской стен горсовета и водонапорной башней. А Борода проснулся однажды на том диване, выдохнул вчерашний алкоголь, задышал заново, часто и почувствовал себя другим, новым, влюблённым в мир, в этот диван, в эту рыжую филёнчатую дверь, в дзинь-звон-дребезг штапика с той стороны рамы.

Вот и сейчас он лежал в тени плетёного навеса, вспоминал и не мог вспомнить, почему ему казалась столь важной его никчёмная жизнь. И в самом деле — почему? Ведь была квартира на юго-западе столицы, сквозняк, похожий на ответственного квартиросъёмщика, взимающий плату и перечисляющий её куда-то в сторону Внуково, где поднимаются в небо вместе с мольбами маленькие серебристые крестики самолётов. Был странный, многобашенный, крепостной, острожный квартал, построенный к Олимпиаде на месте уютной деревушки, что вполне уживалась и с речкой, бегущей от комаров Тёплого Стана, и с дорогой, пылящей между пригородами уже тогда большого города. И оставалось только запереть на ключ металлическую дверь, из-под которой дуют те сквозняки, пройти по коридору с отвалившимися, но веками живущими на своих местах плитками, спуститься на лифте на первый этаж, протолкнуться мимо временной ярмарки с картохой, мёдом, скумбрией и белорусскими трусами и лечь на скамейку возле баскетбольной площадки: смотреть в небо, в котором из одних только облаков можно сочинить целый мир. А вокруг пусть гудят шмели, звякают звонки детских велосипедов, трещит перфоратор на первом этаже отделения полиции, шаркают старушки, и местные алкоголики громкой восторженной струёй возвещают миру о том, что до сих пор живы.

В равнинном Никулино когда-то первыми чуяли, что в Рождество пекут пироги. Ради тех пирогов только и растапливали в августе огромные русские печи, накидывали дымка в разнотравье осеннего Подмосковья. И аромат сдобы и яблок закручивался в пружинки-спиральки, сжимался ветром возле церкви Архангела Михаила и потом путался с пчелиным гудом где-то во фруктовых садах пологого склона Тропарёвского холма, где селяне примостились отдохнуть подле стоящих на земле мешков, полных пряных яблок. Они прикладывали ко лбу ладонь, чтобы защититься от закатного солнца и видели там слева, на том склоне, у самой Рождественской церкви дымок от топящейся в августовскую жару печи. И тепло от той печи до сих неправедных и неправильных бездельных времён привозит с первого на десятый этаж лифт. И на весь этаж пахнет сдобой, испечённой за сотню лет до того, как места эти потеряли невинность. Это ли не счастье? Да. Если его заметить.

Вечерами в столовую к огромному экрану телевизора набивались студенты смотреть чемпионат Европы по футболу. Борода футбол не любил. Он никогда не понимал азарта игры и чурался страсти болельщиков. А после того, как сам порабатал большим начальником в спортивной газете, испытывал к футболу отвращение. Как-то после ужина Борода сидел в преподавательской, потягивал из гранёного стакана сладкий мускатель и играл в шахматы с Хабибулиной. Хабибулина играла средне, где-то на уровне любителя, в то время как Борода был кандидатом в мастера и чувствовал на доске своё преимущество. От этого он даже передвигал фигуры с некоторой ленцой. Хабибулина горячилась и ошибалась. Вначале она заблудилась в собственном гамбите и зевнула слона, а потом безуспешно пыталась выстроить что-то вроде защиты Спасского, то и дело извиняясь и пережаживая.

Из столовой доносились крики студентов и преподавателей. Объявили перерыв. Студенты высыпали во двор курить. Шмидт, возбуждённый игрой, вбежал в преподавательскую, вытянул откуда-то из-за книг бутылку мадеры, захлопнул дверь, чтобы не глазели студенты, зубами вытащил пробку и налил себе в стакан.

— Наши выиграют. Точно выиграют. Чувствую, — выпалил он, выпил залпом и снова налил. — После футбола в теннис сразимся. Хабибулина, я тебя сегодня сделаю, — Иван погрозил девушке пальцем, поставил стакан и бутылку на подоконник, закрыл занавеской и выбежал из преподавательской.

— Сделает он. Видали таких, делавших, — фыркнула Хабибулина, зевнула слона, через ход — ферзя и, расстроенная, встала из-за стола. — Приходите, Всеволод Константинович, играть в теннис. Умеете?

В последний раз Борода держал ракетку на курорте в Турции, и ему показалось, что получалось неплохо. Он собрал шахматы в коробку, выключил в преподавательской свет и, прежде чем выйти, достал из-за занавески бутылку мадеры и сделал несколько глотков прямо из горлышка.

Шарик перескакивал с одной стороны стола на другую, похожий в свете прожектора на большую яркую искру. Из колонок, укрепленных по обе стороны летней камералки, играл "Мэссив Атак". Борода нагибался почти к самому столу, закручивал и закручивал подачи, но всякий раз Хабибулина срезала их точными, резкими ударами, которые он конечно же пропускал. И неясно, проигрывал он оттого, что выпил лишку, или оттого, что никогда на самом деле не умел играть в пинг-понг. Трансляция закончилась, и скоро из столовой к столу стали подтягиваться студенты. Они садились на склон возле палаток, вставали вдоль летней камералки, скрестив руки на груди, занимали ступеньки лабораторий и музея.

Хабибулина была безжалостна. Бороде стало неловко, что он проигрывает. А девушка не оставляла ему шансов. Наконец, в третьей партии она растерзала его одиннадцать-два. Борода положил ракетку и сел на ступеньку гидрогеологической лаборатории. Тот, кто после него встал к столу, тоже проигрывал, пусть и не с таким разгромным счётом. Следующий тоже. Следующий. Следующий. Появился Иван, посмотрел на то, как Юля Хабибулина

откуда-то из-под стола достаёт самые мудрёные подачи, и, дождавшись, когда отошёл очередной проигравший, взял ракетку.

Иван попросил несколько подач, чтобы разыграться, получил согласие и подбросил шарик над столом. Они начали аккуратно, словно знали силу друг друга и не спешили показывать свою. Но уже через минуту лихо закрученные подачи принимались чуть ли не от самой земли, чтобы быть вновь срезанными и вновь отражёнными. Начали счёт. Это была игра на равных. Иван держал ракетку вертикальной хваткой, ручкой вверх, чередуя откидку с подставкой, выжидая, когда соперница увлечётся ритмом, чтобы вдруг выстрелить топс-ударом или жёстким накатом и вырвать очередное очко. Студенты одобрительно гудели. Девушки в основном болели за Хабибулину, парни — за Ивана.

В сражении Ивана с Хабибулиной Бороде вдруг померещилось что-то большее, нежели просто стуканье по шарiku. В азарте игры он вдруг увидел другую страсть, и пьяная ревность вмиг вскипятила в крови смесь мадеры и мускателя. Он вскочил со ступенек, страхнул с себя наваждение, потёр виски. На его место с хихиканьем тотчас уселись две девушки.

Повинуясь порыву, Борода широкими шагами миновал здание столовой и почти бегом припустил по верхней дорожке между палатками и летними домиками-камералками. Домики освещали фонари на высоких столбах. За третьим Борода свернул в тень и устремился вверх по тропе, ведущей на Университетскую горку, мимо волейбольной площадки, на которой днём паслись коровы. Там, наверху, находилось небольшое плато, где поколениями студенты играли в футбол. Борода не обращал внимания на одышку, на то, как колотится сердце, шёл и шёл, пока не поднялся на перегиб. Тут он сделал несколько шагов в сторону от тропы и, согнув колени, рухнул в разнотравье горного Крыма. Борода не рассчитал и рассадил локти о мелкие камушки. Поле брызнуло кузнечиками, колко оцарапавшими лицо и улетевшими в ночное небо, где они сразу затерялись посередь летнего хаоса созвездий.

Борода лежал и слушал, как за мостом через Бодрак всхрапывает перегазовкой двигатель местного лихача. Снизу, сквозь стрёкот цикад, долетали кручёные целлулоидные звуки пинг-понга. Пахло лавандой, мелиссой и полынью. В кармане вибрировал и вибрировал телефон. И над всем этим царила угадываемая под блёклым пульсом Млечного Пути Корабельная квеста, похожая сразу на plombированные зубы в деснах мангровых зарослей и на спящего великана.

Где-то здесь двадцать лет назад, под цоканье целлулоидного шарика, он уже лежал бок о бок с Оленькой на синем казённом одеяле, ошеломлённый случившимся, и ждал, что вот-вот упадёт звезда, чтобы загадать одно на двоих желание. Но кончались сигареты, звезда не падала, и Бороде уже просто хотелось в туалет.

После они прожили два года необязательной для двоих жизни. Он на два года раньше неё закончил учебу и поступил в аспирантуру. Писал диссертацию, а она ещё продолжала ездить на производственные практики. Они оба уезжали весной и оба возвращались осенью. И за это время она успевала измениться. Всякий раз, вернувшись, он обнимал новую женщину, которую не знал раньше. Им опять следовало знакомиться заново. И Борода никак не мог понять, как сделать так, чтобы вновь понравиться ей с первого взгляда, на первом же свидании. Так у него и не получилось.

Каждая история, которая с ним случалась потом, была историей нелюбви.

Назавтра пришёл долгожданный циклон и два дня поливал долину Бодрака ливнями. Студенты возвращались из маршрутов мокрые и все в глине. На третий день опять появилось солнце. Когда позвонил Иван, Борода сидел в преподавательской и чинил чайник.

Иван выматерился в трубку, простонал, что дал студенту нести рюкзак с рулетками, а тот забыл поклажу возле ворот базы на скамейке.

— Скажи Хабибулиной, чтобы закрывала преподавательскую и срочно не сла нам рулетки. К тому времени, как дойдёт, мы будем на мергелях синомана, за перекрёстком на Прохладное. Там, где копролиты. Она это место знает.



Борода хорошо помнил мергеля перед ореховым садом. Однажды по дороге с того края полигона их с Оленькой застал в маршруте ливень. За несколько минут дорога превратилась в бурлящий поток, несший палки и мелкие камни. Пришлось подняться на склон и там переждать, обнявшись и держа над головой рубашку Бороды. Он помнил острые бугорки сосков, ясно видимые под мокрой футболкой однокуреницы. Грохотало и в небе, и в голове. Страсть природы шипела в иглах крымской сосны. Обоих бил озноб. Оба ещё думали, что от холода.

Он передал Хабибулиной просьбу Ивана и вызвался составить ей компанию до мергелей. Девушка смерила его с ног до головы насмешливым взглядом.

— Главное, Всеволод Константинович, не развалитесь по дороге с не-привычки.

Он в шутку показал Хабибулиной кулак. Та убежала к себе в палатку переодеваться, а Борода отправился к воротам базы. На скамейке напротив геофизической лаборатории, в тени акаций, устроился профессор Кузнецов и прозванивал тестером цепь вариационной станции. Рядом действительно лежал пухлый капроновый рюкзак. Борода поздоровался и сел напротив профессора.

— Что рожа кислая? — спросил Кузнецов, видимо найдя сгоревший резистор, и ехидно улыбнулся. — Похмелье что ли, отпускник?

— Похмелья нет. Потерял смысл жизни, — пошутил Борода.

— И не найдёшь, если живёшь среди бессмысленных людей, — рассмеялся Кузнецов, наклонился и почесал за ухом лохматого кабыздоха, свернувшегося в клубок под скамейкой в тени хозяйских ног.

— Ну, это вы зря, Игорь Иванович. Обычные все люди, делом своим заняты, — Борода закурил свёрнутую из голландского табака сигарету и выпустил вверх струйку ароматного дыма.

Кузнецов поморщился.

— Не знают, ради чего живут. Москва эта ваша — огромный город, полный людей, забывших, зачем родились на свет. Отцы знали, деды знали, а эти — уже нет. Ходят-бродят, как шатуны, от магазина к магазину, всё никак не могут купить, что им нужно.

Борода рассмеялся неожиданной метафоре, решив, что Кузнецов шутит. Он любил старого профессора. Пока был студентом, конечно, побаивался, а после, когда поступил в аспирантуру да стал завсегдатаем на кафедральных пьянках, понял, что старик — милейший человек. Однако слова Кузнецова показались обидными.

— Ты мне, Севка, пять раз зачёт сдавал по теории поля, — сказал вдруг Кузнецов, прищурился и посмотрел на Бороду в упор. — Под конец просто подпись в зачётке подделал. Я ещё из ума не выжил, заметил. Заметил, но в деканате промолчал, надеялся, что из тебя путное что получится.

— Вот и получилось, — улыбнулся Борода.

— Ты ведь умница был, — профессор пропустил его слова мимо ушей. — На практику в сложные поля ездил, материалы для курсовых привозил — любо-дорого смотреть: бери и полностью вставляй в кандидатскую. А теперь превратился в записного бездельника.

Борода смехом попытался скрыть неловкость.

— Ты сейчас кем работаешь? — Кузнецов, почти не моргая, смотрел на Бороду в упор.

— Директором.

— Понятно, что директором. В какой отрасли? Делаешь что?

— Сейчас девелопмент, строительство, иными словами. Раньше в пищевой промышленности работал, ну, и в рекламе, в издательстве. Да мне всё равно, чем заниматься, — небрежно, но с гордостью произнёс Борода, — принципы одни и те же.

— Принципы, — нараспев проговорил Кузнецов, — должны быть вот здесь, — он показал рукой на грудь. — Мы раньше тех, кто ради денег батрачит, всерьёз не принимали. Бросовые людишки, мелочь. Пусть и талантами обладают, но если думают лишь о том, как больше заработать, держись

от таких подалеже. Предадут. Продадут. А теперь ничего, считается нормальным, даже за доблесть. У меня дочка журнал выписывает, я иногда заглядываю. Там, не особо стесняясь, рассказывают и графики рисуют, как надо выжимать из людей все соки. В журнале! По-русски!

Кузнецов, словно призывая небеса в свидетели, поднял палец вверх.

— Вот ведь где неправда вся. Раньше спросишь человека: “Кем работаешь?” Он ответит, мол, геологом или строителем, или врачом, или биологом, или ещё каким корабелем. Специальность свою назовёт, а не должность, будь он хоть трижды директор института или завода. Специальность — это смысл существования, возможность реализовать мечту, талант. Делай своё дело, остальное — по труду и по справедливости. А теперь, — Кузнецов шлёпнул ладонью по скамейке. Пёс поднял голову и сонно посмотрел на Бороду. — Сегодня он геолог, послезавтра — аптекарь, на следующей неделе — строитель, а через год — аграрий. Как такое может быть?

Борода молчал.

— Потому что работают не по совести, — сам ответил профессор на свой вопрос. — Не ради дела трудятся, не ради блага людей, а чтобы карманы набить. Ради того и слова придумали, чтобы старые грехи обозвать. Пишут только не на заборках, а в журналах и говорят всему честному люду по телящичку. Ты телек смотришь?

Борода отрицательно покачал головой.

— Что-то вы мне, Игорь Иванович, всё это в лоб. Словно только повода ждали.

— Ждал, — признался Кузнецов, — Здесь из ваших, из инопланетян, нет никого. Потом, конечно, появятся. А сейчас нет. Сейчас студенты думают, как сдать мне магниторазведку и теорию поля, а не о том, как принести прибыль Мистеру Твистеру. Иди уже. Зовут тебя.

Кузнецов кивнул головой в сторону магазина и вновь углубился во внутренности прибора, давая понять, что больше разговаривать не намерен. Внизу у остановки стояла Хабибулина и махала рукой, наверное, она спустилась другой тропинкой. Борода попрощался и заторопился вниз.

Они прошли по колдобинам Садовой улицы к задкам Твердохлебовки и дальше, по дороге, которой раньше гоняли стада колхоза имени Чапаева мимо насосной станции. К середине июня Бодрак сильно обмелел. Две недели без дождей, и реку переходили по камушкам, даже не замочив сандалий. Но после вчерашнего ливня уровень реки снова поднялся.

Начинало припекать. У самого поворота дороги по обнажению аргиллитовой брекчии ползали студенты Московского университета с рулеткой и геологическими молотками. Молодая симпатичная преподавательница сидела в стороне, обмахивалась полевым журналом, как веером, и монотонно, чуть нараспев читала лекцию.

— Выходы аргиллитовой брекчии пробиты интрузией. Возраст брекчии — средняя юра, байозский ярус. На настоящий момент это самый представительный из известных на полигоне выход яруса, потому используется для построения опорных разрезов. Некоторые особо умные студенты, слыша слово “интрузия”, пугают его с силлом. Однако силл — это интрузия, внедрённая между пластами, а поскольку перед нами брекчия, никаких стратиграфических выводов сделать нельзя. Силла внутри брекчии не может быть по определению, как не бывает мяса в сосисках, которые вы покупаете в дешёвом магазине.

Преподавательница была незнакомая, но как было заведено между своими на полигоне, Борода и Хабибулина поздоровались:

— Привет москвичам!

Женщина закрылась ладонью от солнца, посмотрела, кто это, не узнала, но помахала в ответ. Они пошли мимо жалких остатков фруктового сада, высаженного по оврагу Шары в шестидесятые и когда-то дававшего прекрасный урожай абрикосов. Но за двадцать пять лет, что Борода сюда не приезжал, сад пришёл в запустение. Большая часть деревьев засохла, а остальные одичали. Между их сутулыми стволами уныло бродило несколько овец.

В середине сада дорога устремлялась вверх и дальше пролегла по террасе. Хабибулина остановилась, подняла из пыли чуть зеленоватый камень и протянула спутнику.

— Помните, что это такое?

Борода взял образец, протёр в ладони. Видны были грани кристалла.

— Силикат. Что-то из пироксенов?

Хабибулина смотрела на него, склонив голову набок, и улыбалась.

Он почесал щетину на щеке и вдруг вспомнил то, что, казалось, помнить был не должен. Нечто однажды услышанное и благополучно забытое за ненужностью.

— Авгит! — просиял Борода. — Из силла Карановского.

Хабибулина рассмеялась и показала рукой наверх, где среди мака, мелиссы и чабреца проступала серо-зелёная полоска какой-то небольшой скалки.

— Вот он, силл Карановского. Оказывается, геофизиков раньше тоже чему-то учили.

А Борода любил оставленную профессию. Когда-то он был хорошим геологом, может, и не таким замечательным, как Шмидт или Дейнега, но ничуть не хуже, нежели Илюха или какой-нибудь Генка, его однокурсники.

Он вспомнил силлы в Таврической свите, вверх по течению Бодрака, на южном краю полигона, километрах в семи от деревни, уже за Мангушем. Студентами их водил туда Владлен Теофилович и даже устраивал временный выкидной лагерь. Сложно сказать, что было важнее, — съёмка этого участка или то, что они спали в обнимку с девочками по четверо в двухместных палатках, готовили кашу на костре, а ночью голыми нежились в тёплых ванночках, за тысячелетия выточенных говорливыми водами Бодрака во флише. Теперь больше вспоминались ванночки, девочки и подгорелая каша, нежели наука.

Дорога повернула резко вверх, и скоро они выбрались к Ленинградскому ставку, в котором купались ещё студентами. Теперь ставок стоял сухой. Его каменистое дно поросло хруплявником, а возле огромной глыбы останца торчали похожие на кристаллы соцветия ворсянки.

У самого склона над травой виднелся небольшой обелиск-кубик из мшанкового известняка. Борода подошёл ближе. На камне сверху лежало несколько сухих букетиков полевых цветов, перевязанных цветными тряпочками.

— Могила геолога, — голосом экскурсовода произнесла Хабибулина. — Среди студентов есть поверье, что если перед зачётом принести букетик, собранный на горке за базой, предварительно связать их полоской от ткани с занавесок из камералки, где будет зачёт, тогда геолог поможет. Говорят, десятые занавески меняют, всё на ленточки ушло.

Буквы на выветренном, с годами поросшем лишайником кубике теперь были не различимы, но Борода и так помнил, что там написано: “На этом месте погиб студент ЛГУ”. Дальше шли имя и фамилия их с Иваном однокурсника по прозвищу Борзый. Случилось это в тот год, когда Борода отправился служить в войска, а весь остальной курс — на учебную практику в Крым. Узнал Борода о гибели товарища только осенью из письма Шмидта. Иван писал, что всё произошло в день приезда. Вечером парни побежали купаться на ставок. Нырjali с олистолитовой глыбы, ныне стоящей одинокой скалой. Вынырнули все, кроме Борзого. Тот разбежался, прыгнул в воду и тут же всплыл спиной вверх. Остановилось сердце. За него на факультетских пьянках годами поднимали, не чокаясь, второй тост. Потом в небесной партии только прибывало и прибывало, всех уже было невозможно перечислить по именам. Но Борзый был первым. Борода сам устанавливал этот камень вместе с Иваном и Кешей в девяностом. Раньше обелиск был обнесён оградкой. Но теперь даже следов не осталось, видимо, её сдали в пункт приёма металла.

Он постоял немного над этим местом, шевеля губами, пока ушедшая далеко вперёд Хабибулина не начала свистеть и махать ему. Тогда дотронулся до камня и поспешил за спутницей. После ставка дорога петляла в густой тени крымской сосны, которой ещё в конце пятидесятых плотно засадили искусственные террасы, прорезавшие все горы в округе.

Борода девушку догонять не стал, шёл сзади в отдалении, невесело прокручивая в голове разговор с Кузнецовым. И чем больше он вспоминал собственные слова, тем больше испытывал стыд. Вроде как поймали на списывании. Год за годом списывали у кого попало и не пойми что. Списывали, сдавали и получали отметки. А вот так начини проверять — у всех окажутся одни ошибки: все обманули, все списали.

Дорога тем временем шла вдоль узкой, успевшей выгореть до бурого цвета долиной с красными брызгами дикого мака. Опять проснулся телефон.

— Жена? — с отчаянным безразличием спросила Хабибулина, которая вдруг остановилась и решила подождать.

— По работе.

— Почему не отвечаешь?

Борода пожал плечами и улыбнулся, глядя девушке в глаза. Он заметил, что Хабибулина вдруг перешла на “ты”.

— Знаешь, что это? — он показал рукой вниз. По обе стороны от дороги в траве белели тысячи и тысячи ракушек башневидной улитки.

По удивлению на её лице он догадался, что девушка раньше их не замечала.

— Их очень много. Почему так?

— Это обычно над тем местом, где на поверхность выходит толща мергеля. Может быть, питаются чем-то или мимикрируют. Можно даже более-менее точно зарисовать слои на карте.

— И как?

— Что как? — Борода не понял.

— Ну, если можно зарисовать, то рисуют?

— А я не знаю. Наши — нет, а москвичи, — может быть. Они же эти, — он вспомнил Кузнецова, — инопланетяне какие-то.

Дальше пошли рядом, поднялись на водораздел Бодрака и Чурук-Су, речки, берущей начало в долине Ашлама-Дере, и выбрались из тени. Здесь дорога раздваивалась. Если свернуть направо, то, наверное, можно было бы обойти густо поросший сосной и кедром Беш-Кош с другой стороны, но Борода и Хабибулина знали только левый путь. Нужно было идти вверх, прямо через поле, а начиналось самое пекло.

Минут через пятнадцать они добрались до перекрестка дорог, одна из которых вела на Прохладное, а другая уходила дальше, огибая Беш-Кош слева. С непривычки к долгим переходам и от жары Бороду подташнивало. Впереди показалась белая скала Чуфут-Кале с нависшей над ней тучей. После очередной петли на спуске они увидели студентов, копающихся в выходах мергелей прямо посреди дороги. В чашке тени дикой алычи сидел Иван. Борода плюхнулся рядом, снял с головы платок и вытер им пот с лица. Хабибулина пошла к студентам, смотреть на копролиты.

— А я знал, что тоже придёшь, — сказал Иван и протянул Бороде пластиковую бутылку с водой, из которой тот с жадностью отпил несколько глотков. — Хорошая девушка. Ты ей, кстати, понравился, хотя в настольный теннис играть совершенно не умеешь.

— С чего ты взял, что понравился? То есть, почему не умею играть? Перебрал в тот раз, координация нарушилась. — Бороде стало неловко, что Шмидт заметил его симпатию к Хабибулиной.

Иван хмыкнул и шлёпнул ладонью по коленке друга.

— Подаёшь, как попало. Так, словно не хочешь выиграть. Делаешь вид, что тебя не волнует, чем кончится игра. И в жизни, братец, у тебя точно так же всё. Тебе не всё равно, а показываешь, что безразлично. И наоборот, вроде и наплевать на что-то, а театрально изображаешь, что очень для тебя это важно. Даже не знаю, что хуже.

— Мне сегодня Кузнецов дал понять, что я неправильно живу, — рассмеялся Борода.

— Кто знает, как правильно, — Иван задумался, пожевал и выплюнул травинку. — Может быть, и нет никакого “правильно”. Главное, чтобы счастливо. Ты счастлив?

Борода промолчал.

— То-то и оно.

Иван вынул из принесённого рюкзака рулетки, геологические компасы, поднялся и вдруг заорал:

— Так! Группа, слушаем меня! Это синоманский ярус. Определяйте углы падения пластов, понимайте, что мы имеем дело с другим крылом качинского поднятия, после чего измеряйте мощность обнажения. Всё должно быть отражено в пикетажах. Быстро, господа студенты! Ещё есть шанс не опоздать к обеду.

Люди, что остались в Москве, те, что по несколько раз на дню тщетно пытались дозвониться до Бороды, сказать что-то, спросить, дать указания или просто поскандальить, за следующие две недели стали видаться вовсе игрушечными, маленькими, словно невсамделишными. Уже и не верилось, что когда-то ему не приходилось приседать на корточки, чтобы расслышать, что они говорят. И разве же это были настоящие люди?

Ночью он просыпался, зажигал настольную лампу, слушал цикад или сверчков, или какое-то иное шумное насекомое, которое на юге по привычке называют цикадой. Он раскрывал книжку, читал несколько страниц и потом просто лежал на кровати, вверх перины из трех стёганных ватных матрасов, укрытый лёгким одеялом, в незапамятные времена сшитым хозяйкой из разноцветных лоскутов. Лежал и разглядывал стену напротив, где на тканом коврик олень выходили из леса. Олень выходили из леса, а он слушал стрёкот за окном, дышал в макушку спящей Хабибулиной и понимал, что уже спасся. Вот-вот затихнет за поворотом грохот огромного товарного состава с пустыми вагонами, олень с этого коврика выйдет на железнодорожные пути, принохается к дёгтю, дёрнет ушами, отгоняя мошку, и медленно спустится по насыпи на другую сторону, чтобы скрыться в мангровых зарослях у Корабельной квесты.

## СЕРГЕЙ МИРОНОВ

*Сергей Михайлович Миронов — Председатель партии “Справедливая Россия”. Окончил в 1980 году Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова. Ещё в студенческие годы он начал работать в НПО “Геофизика”, был с геологическими экспедициями в Карелии, на Урале, в Сибири. С 1986 по 1991 годы работал в Монголии старшим геофизиком аэропартии. За плечами Сергея Миронова 18 полевых сезонов. Собранную им уникальную коллекцию минералов Сергей Миронов передал в дар Государственному геологическому музею минералов им. В. И. Вернадского.*

## ИЗ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА ГЕОЛОГА

**10 июля 1975 года. Алдан–Томмот**

Сегодня нашёл первый образец. Гематит. Руда, не железо.

Должны были поехать в Томмот, но выехали довольно поздно. В гараже шофёры рассказывали: по дороге на Алдан из Томмота этой ночью шёл “уазик” (грузовичок). Шофёр взял попутчиков. Сам был пьяный и, наверное, заснул, выехал на левую половину дороги и на полном ходу встретился с “ЗИКом”.

Трое – сразу насмерть, одного – в больницу. Когда ехали, видели этот “уазик” – груда железа. По пути шофёры рассказали другую историю. На “половинке” (нечто вроде “дикий” стоянки для машин на середине дороги, между Б. Невером и Алданом) у одного шофёра ночью сняли фары с машины (воруют здесь друг у друга запчасти повсеместно). Тот, кто снял, далеко уйти не успел, его поймали тут же в лесу. Он, сидя на корточках, рассматривал фары. С поличным, как говорится. Его даже бить не стали. Отрубили два пальца на руках и отпустили... Сибирь.

На место основного лагеря, увы, не успели – добрались только до середины пути. Двое с Мишей поехали дальше, а пятеро остались в промежуточном лагере. Хорошо! Весь день пробежал под солнышком. Спина красная. Мошек было не очень много, а вот слепней и мух – не отбиться. Сейчас свечерело, прохладно (но не холодно). Тихо. Изредка прогрехочет грузовик (рядом дорога), и опять тихо. На ужин решили сварить макароны. Котелок поставили на чугунную чушку, а её саму закрепили на камни. Ох, уж эти камни! В самый интересный момент, когда загрузили макароны и они успели чуть-чуть свариться, камень треснул, чушка упала, котелок опрокинулся, макароны...

Да-да, они оказались на земле. Но что ж делать, приняли решение: собрать, попробовать вымыть и продолжить.

И вот представляю себе фильм, которого не будет, но который мог бы быть. В кадре – широкое раздолье сибирской тайги. Якутия. Вековые сосны, ели, горные быстрые речки. В кадре – одна из речек. Издалека кинокамера подводит нас к трём согбленным фигурам у реки. В руках у них посуда, похожая на сито. У зрителя ассоциация – золотоискатели... Крупным планом: человеческие руки, полощущие макаронину (одну!) в реке. Вот так, по одной, мы и добывали себе на ужин макароны.

Мораль: не поваляешь – не поешь!

### **ИЗ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА (продолжение)**

Что было за эти три дня? Первые два дня мы с Андреем плутали. Где мы только не были! Когда в лагере разбирались по карте, оказалось, что мы давали по 12–20 км в один конец. Это по прямой, не учитывая гористости. Приходили в девятом-десятом часу вечера, кое-как ели и – спать. С непривычки очень трудно. Наконец, разобрались. В один день принесли 9 проб, на следующий – 13. Знал ли я когда-нибудь, что буду с вождением выковыривать из-под камней кусочки глины, песка и очень радоваться, когда их много?

Ноги устают. Вечером, возвращаясь в лагерь, – а идёшь на пределе – с ужасом думаешь, что с утра опять то же самое, только что ещё подальше маршрут. Но утром просыпаешься, и эта мысль уже не кажется такой страшной. Всё естественно. Это наша работа, наш хлеб, если хотите.

Господа “романтики”! Внимание! Черпать грязь из студёного ручья на комарах не хотите ли? Топать в день по 35 км с тяжёлым мокрым рюкзаком, вода из которого стекает по спине, не угодно? И мне всё это не приносит много радости. Но просто есть простенькое словцо “надо”, и есть люди, которые знают цену этому слову. И всю свою жизнь, неважно, где, и неважно, в какой роли, без шумихи и трескотни делают дело.

### **ИЗ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА (продолжение)**

Пишу эти строки, находясь примерно в 400 км от лагеря, на границе Якутской АССР и Амурской области, в с. Нагорное. Прошедшие сутки были весьма насыщенными.

После того как 29-го я сделал красной пастой записи в дневник, часа через два на дороге через перевал показался Шура. Один. Бригадиром у него Витёк. Они работают в паре. Накануне строжайше всех предупредили, чтобы работали только в паре, в одиночку не ходили. Пока Шура спускался, все строили предположения (в основном, в шутливой форме), где он оставил Витька.

Спустился Шура:

– Который час?

– Половина восьмого, – отвечаем.

– Витька не было? – он.

– Нет, – мы.

– Если сейчас, минут через 30 не подойдёт, надо идти искать.

На него сыплется куча вопросов. Из ответов вырисовывается следующая картина.

Витёк решил, вопреки указаниям, работать поодиночке. Наметил себе и Шуре участки, разошлись. Договорились встретиться в определённом месте в 16:00. У Витька были часы, у Шуры – нет. Шура закончил раньше, был в условленном месте в 14:30. Сидел, ждал Витька. Развёл костёр, да и уснул. Проснулся – уже вечер. Витька нет. Оставил ему записку и пошёл в лагерь, в общем-то, в надежде на то, что Витёк уже там.

Через минут 40, в 20:30, наш маленький спасательный отряд двинулся по дороге через перевал. Нас было трое. Захватили всё необходимое. Я нёс ружьё и спички, Алексей – фонарь, Шура – карту.

Перевалили за перевал – уже почти стемнело. Покричали. Никого. Спустились в долину. Там старая, заросшая лесная дорога, в конце которой Шура оставял записку. Хоть и втроем, а нервы щекоchet: днём все эти дороги в медвежьих следах.

В 22:30 сзади нас в горах раздался слабый крик. Мы закричали, я дуплетом выстрелил. Вернулись немного назад...

На дороге стоит Витёк. От радости, что с ним ничего не случилось, не стали даже ругаться. Он немного заплутал. Пока разобрался, пока выбрался, одним словом, всё хорошо, что хорошо кончается.

### **“ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ” (рассказ-быль)**

Родился я в городе Пушкине — это пригород Ленинграда. Жили мы на самой окраине бывшего Царского Села, на улице Красной Артиллерии, дом 30. Дом наш был старинный, трёхэтажный, кирпичный, покрашенный жёлтой штукатуркой, и мы называли свой дом “Дом с башнями”. Наш дом являл собой фрагмент своеобразной крепости с башнями, с крепостной стеной. Где-то в промежутках между башнями были трёхэтажные дома. Крепость занимала целый квартал, внутри которого находилось военное училище. Была легенда (а может быть, и быль), что эти дома-крепость были подарком королевы Англии (короля?) Николаю II перед Первой мировой войной. По крайней мере, на одном из флюгеров-флажков над башней были выбиты цифры: “1914 г.”. Наша улица, как я уже сказал, была крайняя. Мимо нашего дома всегда шли похоронные процессии, потому что совсем недалеко, в километре от дома, было старинное Казанское кладбище. Я помню время, когда ещё в доме не было газа и у всех были керосинки или керогазы, а в ванной стоял титан — водогрейная колонка, которую нужно было нагревать дровами. Поэтому под окнами первого этажа у подъездов лежали огромные поленицы дров. Улица представляла из себя булыжную мостовую, по которой проезжали машины 3-4 раза в день, а в основном тахтали конные телеги.

История, которую хочу рассказать, произошла, наверное, в 1964 году. Это было ещё при Хрущёве, и я помню, какие были перебои с хлебом, когда белые пшеничные батоны совсем исчезли, продавались только кирпичики чёрного, какого-то липкого хлеба, и те давали по одной буханке в руки. Какие это был руки — неважно (взрослые, детские), но чтобы хлеба хватило, очередь нужно было занимать в пять утра, а магазин открывался в семь. И вот я помню, что мама поднимала нас с сестрой Маринкой, сонных вела к булочной, а булочная была на бульваре Киквидзе (это где-то в километре от нас в сторону центра нашего города). Мы стояли в очереди, потом получали буханку хлеба, бегом неслись домой, успевали попить чай и шли в школу.

Кстати, для нашей “артиллерийской” окраины понятие “поехать в город” означало не в Ленинград, что было бы естественно, потому что Пушкин — это пригород Ленинграда, а это просто в центр Пушкина. Вот такая у нас была окраина.

Через дорогу от дома была детская площадка, причём я помню, что сначала это были какие-то заросшие бурьяном бугры. А бугры — это руины трёхэтажного дома, который был разбомблен фашистами во время Великой Отечественной войны. Потом все эти бурьянные неровности разровняли бульдозером и сделали замечательную детскую площадку с качелями, каруселями, футбольным полем, павильонами и прочим. За детской площадкой было несколько частных домиков, а за ними начиналось поле, за полем виднелось справа кладбище, а прямо, километрах в двух, был глубокий овраг, а за оврагом в четырёх километрах протекала река Поповка, где я в своё время впервые увидел окаменелые ракушки — это были моллюски-трилобиты. Это было ещё до школы.

И так начиналась моя любовь к камням, геологии.

И вот цивилизация пришла на нашу тихую улицу Красной Артиллерии — в наш город пришёл газ. Пришёл он откуда-то из полей. И прямо посередине улицы сняли всю булыжную мостовую, вырыли огромную траншею глубиной метров пять, очень широкую. Копать начали ещё летом. К сентябрю это была уже действительно мощная траншея, внизу скапливалась вода, а ещё экскаватор вскрыл огромный пласт (примерно метр шириной на глубине где-то метров трёх) кембрийской глины. То, что это кембрийская глина, я узнал много лет спустя в Горном институте. Дело в том, что под



Ленинградом на определённой глубине находится эта зеленовато-голубая кембрийская глина. Не знаю её качество с точки зрения гончарного искусства или лепки, хотя лепили мы из этой глины получше всякого пластилина во всё, что угодно. Но цвет у неё — уникальный.

Как я уже сказал, это было году в 64-м, где-то, наверное, в начале сентября, перешёл я тогда в пятый класс. И мы, мальчишки, что называется, пацаны с нашего двора, конечно, шастали, где только могли, и такая замечательная развлекаловка, как котлован или траншея, не могла не стать местом нашего паломничества. Мы лазили по дну, что-то там искали. Обнаружив синюю глину, мы стали брать её для лепки. Когда стали разминать глину, то почувствовали, что там какие-то твёрдые как бы камушки. Мы промыли их в ближайшей луже, и тут на солнце ярко заблестели крупички жёлтого металла.

То, что это металл, и то, что он жёлтый, мы прекрасно видели. Более того, эти крупички достигали иногда сантиметра в поперечнике, такого кристаллического вида и очень тяжёленькие. Естественно, что это могло быть? В земле, жёлтого цвета, блестит, не ржавеет, тяжёленькое? Конечно же, золото! Компашка наша, которая одновременно была тимуровским отрядом (об этом я ещё напишу отдельно), что называется, приужахнулась: “Ничего себе! Прямо у нас под ногами — огромное количество золота!” — потому что только успевай — эту глину добывай, затем руками мнёшь, нащупываешь острые кусочки, вымываешь их. Эти кусочки отдельно таскали под колонку, там под струёй воды ещё раз промывали, чтобы всю глину смыть. Все эти манипуляции мы старались делать так, чтобы взрослые не видели, потому что... Ещё бы! Узнают, что золото, — всё отнимут! А были мы, на самом деле, в то время абсолютно бескорыстными. Мы не собирались с этим золотом ничего делать, мы только уже строили планы, как будем всё это сдавать государству, но очень нам не хотелось, чтобы о нашем золоте узнали взрослые и всю славу первооткрывателей огромного золотого месторождения присвоили бы себе. Более того, днём рабочие работали, а когда они уходили, мы спускались в карьер, с ужасом думая: как же это рабочие до сих пор не поняли, что ходят по золоту? До позднего вечера с фонариком продолжали намывать это золото. И вот буквально за, наверное, неделю мы набрали где-то четверть мешка из-под картошки. По прикидкам, весило это золото килограммов 15–20.

Мы решили, что для того, чтобы убедить правительство (а на меньшее мы и не рассчитывали) в том, что мы действительно нашли золото, этого количества вполне достаточно. Теперь оставалось выяснить, где это самое правительство и куда нужно это золото сдавать. И тут я тонко, как мне казалось, “подъехал” к своей сестре с такими расспросами: “А что, Маринка, если, допустим, кто-то золото найдёт, куда он должен с ним идти?” Маринка ответила: “Как куда? Наверное, в Сберкасса. Кстати, если клад кто найдёт, то четверть от того, что это стоит, дают тому, кто нашёл, а три четверти — государству”.

Я тут же выбежал на улицу рассказать эту потрясающую новость своим друзьям. Начали прикидывать: что это за четверть будет? Но потом, причём, как помню, единогласно решили: не нужна нам никакая четверть, главное, чтобы Родина оценила подвиг юных золотодобытчиков, которые прямо на краю Пушкина нашли настоящее золото. Я понял, что самое главное у Маринки не выспросил, вернулся обратно. Спрашиваю: “Слушай, а если не клад, а просто золото в земле?” Она не поняла:

— Что значит просто “золото в земле”? Монеты, что ли, золотые?

— Да нет, ну, вот, как руда, золото.

— А-а, как руда... Ты знаешь, в Ленинграде есть Горный институт, там учат на геологов, наверное, нужно туда отвезти, они скажут, что с этим делать.

— Ага, — говорю, — а где этот Горный институт?

Маринка, не чувствуя никакого подвоха, ответила: “Да ты знаешь, это нужно на электричку сесть, доехать до Витебского вокзала, а там сесть на “одиннадцатый” трамвай и доехать до Васильевского острова, я знаю, он туда ходит и останавливается прямо напротив входа в институт”.

Дело сделано, адрес известен, оставалось назначить день “икс”. Долго не откладывали, решили, что день “икс” будет на следующий же день,

а день был будний, и мы должны были идти в школу. Но какая школа, когда у нас двадцать килограммов чистого золота и государство ничего не знает об этом? Для такого святого дела мы решили, что не грех прогулять.

И вот утром, чинно выйдя из дома якобы в школу, забежали за сараи, побросали за поленницу дров свои портфели, взвалили мешок, пошли на автобусную остановку и поехали на Пушкинский вокзал. Уж не помню, купали мы билет на электричку или нет, думаю, что нет, наверное, не было у нас таких “больших” денег, и вообще глупо будет обвинять нас, что мы “зайцами” едем, когда мы государству золото везём.

30 минут езды на электричке прошли в оживлённых дискуссиях и мечтах о том, как нас наградят и как всё это будет выглядеть. Сейчас уже все детали этих заманчивых мечт не вспоминаются, но вырисовывается примерно такая картина: после того, как мы сдадим золото, нас должен был (почему-то?) министр (какой министр, непонятно) посадить к себе в машину “Чайка” и вместе с нами поехать в нашу родную 410-ю школу города Пушкина. Подъехав к школе, не выходя из машины, министр должен был опустить стекло и грозно сказать бездельникам-школьникам, которые болтались бы обязательно в этот момент во дворе школы: “А кто тут у вас директор? Ну-ка, быстренько ко мне его!” Из школы должна была выбежать перепуганная директриса. Строго глядя на неё, министр должен был сказать: “Эти мальчишки больше у вас учиться не будут, они нашли золото, поэтому забираю их учиться в институт. До свидания!” И гордо пыхнув выхлопной трубой, мы на “Чайке” должны были уехать в новую жизнь – в институт. Вот примерно такие замечательные мечты.

Через какое-то время, поднявшись по знаменитой парадной лестнице Горного института, мы уже стояли в холле перед вахтёром. Старый дедок подозрительно нас оглядел и спросил: “Куды собрались?” Мы замаялись: “Да мы тут это...” И так ногой начали постукивать по мешку, который, конечно же, лежал у наших ног. Доперли мы его, честно говоря, с большим трудом. Дедок понимающе заулыбался: “Образцы, что ли?” Мы переглянулись, что такое “образцы” – мы не знали, но, по крайней мере, выдавать военную тайну о том, что у нас золото, мы этому деду абсолютно не собирались.

– Да-да, – сказали мы.

– Ну, так я сейчас позову.

Он кому-то позвонил, и через какое-то время вышла немолодая уже женщина, очень похожая на самую-самую добрую учительницу. Она была в очках. Я не помню, как её зовут, но когда мы познакомились, я на всю жизнь запомнил её фамилию, и это было нетрудно – фамилия у неё была Пушкина. Мы из Пушкина, и она Пушкина. Вот такое счастливое совпадение! Она дружелюбно и ласково сказала: “Ну что, ребята, с чем приехали, что привезли?” – “Вот!” – сказали мы, развязали мешок, открыв его так, чтобы она могла видеть, а хитрый дед не мог. Она заглянула, думаю, что всё поняла, но это была деликатная женщина и настоящий педагог, потому что она сказала: “Давайте пока этот мешок оставим здесь, а я поведу и покажу вам наш музей”. – “А не сопрут?” – хором спросили мы и покосились на деда. “Не сопрут”, – улыбнулась Пушкина, перехватив наш взгляд. Не очень-то доверяя вахтёру, мы завязали мешок, положили его у стола вахтёра и пошли за “нашей” Пушкиной.

Когда она завела нас в музей, мы забыли и про золото, и про то, что мы сегодня прогуливаем школу, потому что перед нами открылся потрясающий мир минералов. Женщина довольно долго водила нас по огромным залам, показала скелет мамонта, муляжи, как мы поняли, золотых самородков (тут мы переглядывались и начинали учащенно дышать), показала модели гранёного хрустала, которые имитировали самые знаменитые алмазы в мире, показала огромное количество прекрасных минералов: и малахит, и лазурит, и родонит. Названия были замечательные, мало чего нам говорящие, но камни – красивые! И вот, наконец, подводит она нас к одному из стеллажей: “Смотрите, знакомо вам это?” И тут мы увидели наше “золото”, только почему-то под ним было написано какое-то странное слово “пирит”. Пушкина говорит: “Да, ребята, это не золото, это пирит, или, по-другому, сернистый колчедан. Вы знаете, многие, даже опытные минералоги очень часто путают золото с пиритом, но то, что вы принесли, нам

очень пригодится для наших опытов”. Мы тут же наперебой стали говорить, что у нас этого добра навалом, мы принесём сколько угодно. Она вдруг спросила:

- А на Поповке бывали?
- Конечно, бывали.
- А ракушки окаменелые видели?
- Конечно, видели.

– Знаете, если найдёте хороший образец трилобита (она тут же подвела нас к стеллажу и показала хорошо знакомые нам штуковины, которые, оказывается, называются трилобитами), то мы их обязательно поместим у нас в музее.

Мы забыли и про мешок с золотом, забыли про всё – были счастливы и довольны, тем более Пушкина сказала: “Предложите своей классной руководительнице, пускай она мне позвонит (она дала нам телефон), и приезжайте-ка со всем классом. Я покажу вам многое из того, что вы ещё не успели посмотреть”. И, нужно сказать, мы действительно спустя какое-то время привезли туда и класс, а потом стали возить самые разные образцы, которые находили на Поповке.

И когда много лет спустя, уже после армии, я поступил на первый курс геофизического факультета Горного института, я гордо подводил своих однокурсников к стеллажу с окаменелостями, где среди прочих лежали два трилобита, под которыми была надпись: “Река Поповка. Ленинградская область”. Там, конечно же, не было написано, что эти трилобиты когда-то принесли десятилетние мальчишки. Но я-то знал, что это “наши” трилобиты, те самые, из нашего далёкого, прекрасного детства.

**ВЯЧЕСЛАВ ВЬЮНОВ**

## БЛИКИ

МИНИАТЮРЫ

### ЧУВСТВО РОДИНЫ

Конец зимы. Чукотка. Посёлок геологов Пырканай, в восьмидесяти километрах — берег Северного Ледовитого океана. Закончилась полярная ночь. В поселковой столовой по этому случаю праздник.

В столовой на столах — спирт и шампанское, на Севере это было модно. К утру наш столик, все четверо, вышли на крыльцо покурить. Светало. Товарищ от избытка чувств, молодости, счастья, предчувствия скорых маршрутов, ночёвок у костра, а также спирта с шампанским, расстегнул кобуру и выстрелил в серое, цвета пепла, небо (на время полевых работ геологам выдавали оружие, которое осенью полагалось сдавать на склад. Однако на Севере на инструкции смотрели сквозь пальцы, и почти все оставляли револьверы дома). Начали прикуривать, на миг склонились над спичкой в ладонях. Стало тихо. И в это время мы услышали музыку: в ответ на выстрел небо ответило музыкой.

Мы подняли головы. С мутной вышины летели на нас редкие большие льдистые снежинки размером с женскую ладонь или даже больше; иногда они соприкасались, обламывались, и возникала музыка. Мы долго, пока не замёрзли, стояли на крыльце, слушали симфонию Севера. Каждый думал о своём. Товарищ пристыженно застегнул кобуру и протянул: “Да-а-а...” — и отщёлкнул папиросу.

О своём думал и я. Думал, что весь земной шар усыпан красотой. Сколько же труда ушло, как надо было поработать природе за Полярным кругом, чтобы вырезать каждую снежинку и сделать её неповторимой; сколько терпения надо, чтобы по весне по всей России для каждой берёзы выпилить лобзиком молодые клейкие листочки... Мастер терпеливо вырезает из нефрита вазу, зодчий плетёт каменные кружева храма, поэт пишет стихотворение — не для себя, для людей, чтобы они увидели и восхитились. Тот Мастер, который сотворил весь этот мир, не для Себя это делал, для восхищения. А восхититься и оценить такую красоту могут только люди...

Люди, живущие на окраинах государства, острее и сильнее чувствуют Родину.

---

*ВЬЮНОВ Вячеслав Александрович — коренной житель Забайкалья, работал геологом, охотником, лесником. Автор нескольких книг. Член Союза писателей России.*

## ЗАКОЛКА

В летний сезон 1982 года в отрогах хребта Удокан работала геологическая партия Игоря Александровича Томбасова. Отряд из двух человек – Александра Леснянского, молодого специалиста, выпускника Днепропетровского горного института, и меня, маршрутного рабочего – забросили вертолётом за сотню километров от основного лагеря. Вертолёт даже не сел, а завис над болотистой марью. Мы сбросили спальники, палатку, продукты, рюкзаки, инструменты и с оружием прыгнули на кочки, покрытые сфагнумом. Пилот кивнул и улыбнулся. Вертолёт чуть поднялся, завис, набычился и, набирая высоту, скрылся за деревьями.

Мы остались одни. Стояла звенящая тишина. Надо было перенести вещи под защиту небольшой сопочки с редкими лиственницами. Определили место для лагеря. Александр включил приёмник “Спидолу” и стал настраивать рацию, – в первую очередь, необходимо связаться с базой. Я стал переносить вещи. Приёмник на полную громкость орал “Увезу тебя я в тундру...” Вижу, как из ольшаника выходит сокжой – дикий олень, идёт к уже перенесённым вещам, обнюхивает их, нюхает орущую “Спидолу” и не спеша удаляется. Александр не видит оленя – он сидит на корточках спиной и возится с рацией.

Дикий край! Животные не знают человека. И то сказать – на сотни километров ни души! До базового лагеря два дня пути.

Начались маршруты. В полевой сезон у геологов нет выходных – выходные выписывает погода. Занедаст – геологи отдыхают.

Будни геологов – это тяжёлые рюкзаки, сапоги, длинные маршруты, обеда из консервов, карабин, который за день оттягивает плечо, пауты днём, комары и мошка вечером, гольцы, камнепады, звери и другие прелести романтики. С тем миром, где ходят в театр и носят цивильные костюмы, связывает лишь “Спидола”. А рация связывает с базовым лагерем, таким же геологическим миром, только народу там побольше – шестнадцать человек.

И вот как-то в маршруте вышли мы на безымянное маленькое круглое озеро. К самому берегу подступает тайга, а с севера скалы забрели прямо в воду. Красиво, как в сказке! Мы знали, что двумя годами ранее в этих местах работала ленинградская геологическая партия. Когда обходили озеро, наткнулись на место, где располагался их лагерь: колышки от палаток, кострище, обложенное диким камнем, стол из самодельных досок, лавки из ошкуренных жердей.

Можно передохнуть. Мы сняли рюкзаки и присели к столу.

Столешница была слегка присыпана хвоей и берёзовыми листьями. И вдруг – как удар молнии! – мы увидели круглое зеркальце и женскую заколку.

Это было невероятно!

Это было невозможно!

Проще было поверить в появление инопланетянина, чем представить, что вот здесь, в нашем грубом мире, мире портянок, пропотевшей робы и тяжёлого мужского труда когда-то была женщина. Вот здесь она сидела, смотрелась в зеркало, расчёсывала волосы, открывала губную помаду, что-то кому-то говорила, смеялась, сердилась... Думаю, Александр испытал такое же потрясение.

Это чувство, это потрясение мне знакомо. Впервые я испытал его, когда написал по-настоящему хорошее стихотворение. Я гладил бумагу пальцами, даже понюхал и всё никак не мог поверить, что это сделал я.

Во второй раз я испытал его, когда родилась дочь Наталка, и я взял её на руки. Это надо же! – из ничего. Ничего не было и раз, и – человек! Вот чудо так чудо!

И вот теперь зеркальце и заколка. От дождя и снега, мороза и жары амальгама почти вся смылась, осталась круглая стекляшка в розовой пластмассовой оправе.

Александр ладонью смёл со столешницы хвою и пожухлые листья. Мы вернули зеркальце и заколку на прежнее место.

Пусть кто-нибудь, охотник или геолог, увидит их.

И если сердце его не заросло шерстью, испытает такое же благотворное потрясение.

## ГОРНЯК ФИТИН

Взрывному делу, проходке канав и шурфов и многим разным премудростям геологической и таёжной жизни учили меня разные люди, в том числе и горняк Фитин. И была у горняка Фитина одна странность, один пунктик, что ли. Об этой странности знала вся Верхне-Каларская геологическая партия, и все над горняком добродушно посмеивались.

После обеда в тайге, который традиционно состоял из банки тушёнки, сгущёнки и ещё чего-нибудь из консервов, горняк Фитин все пустые банки обжигал в костре, а затем прикапывал под какой-нибудь выворотень или камень. Если же обходились без костра, всухомятку, горняк Фитин всё равно собирал банки, прикрывал их крышками и тщательно где-нибудь прятал.

– Анатолий Фёдорович, зачем это?

– Молодой ты, глупый, не понимаешь – зараза там, микробы разные. Насекомые по всему миру отсюда заразу разнесут...

По убеждению горняка Фитина, все беды, неполадки, неувязки, болезни, войны, природные катаклизмы и прочие напасти на планете происходили именно по этой причине – по причине открытых консервных банок.

Как астроном уверен, что Земля вращается вокруг Солнца, так и Анатолий Фёдорович свято верил в свою теорию. Затонул теплоход “Нахимов”, случилась трагедия с подводной лодкой “Комсомолец”, развязали США программу “звёздных войн”, произошло землетрясение в Спитаке – горняк Фитин выстраивал логическую цепочку от консервной банки. Логика была железной, доказательства убийственны, звенья цепочки смыкались так плотно, что не оставляли просвета для возражений.

Эта странность стала притчей во языцех и поводом для насмешек за глаза. Признаюсь, я тоже про себя посмеивался над фитинской теорией. Тогда. А теперь мне уже не смешно. Потому что с тех пор прошло много лет, которые я постарался прожить внимательно. И которые убедили меня в правоте рабочего человека, горняка Фитина.

Всё в этом мире – видимом и невидимом – связано. Как грибницей под ногами, всё пронизано невидимыми нитями следственно-причинных связей, которых триллионы и триллиарды и которых нам никогда не узнать.

Книга, стихотворный сборник – талантливый или бездарный, выпущенный в свет, незаметно, но неотвратимо меняет общий миропорядок. В ту или другую сторону. Как меняет его спетая песня, музыка, телепередача, высказанные и невысказанные мысли и другие результаты физической и духовной деятельности. Эти изменения нельзя измерить на весах, но эти изменения чувствуют все. Постепенно они накапливаются, проходят невозвратную точку и выстраивают новое мировоззрение с новыми моральными ценностями. Они меняют общество. Они изменяют мир.

Большинство людей об этом догадываются, но всячески отрекаются от этой мысли. Принять её – значит, взять на себя ответственность за всё происходящее. И это так.

Простите за насмешки, Анатолий Фёдорович. Молодой был, глупый...

## СТИМУЛ

За зиму мой друг Александр Долбиев навозил в деревню мешки с песком. После снегопада лёгкий японский грузовичок не в силах подняться на Яблоневый хребет. На берегу речки Читинки Саша загружал пару мешков с песком, и машина, придавленная этим нехитрым грузом, одолевала крутой подъём. В город машина уходила с дровами, а мешки оставались в деревне.

В мае перед домом лужайка покрылась нежной зеленью, лишь штабель белых мешков с песком портил эту идиллическую картину. Надо было выбрать время, решиться и вывезти всю эту непомерную тяжесть.

Решение, как это часто и бывает, пришло неожиданно.

Во все времена в любой русской деревне можно было встретить одного-двух профессиональных бездельников. Не работают, ничем не занимаются, непонятно, на что они живут. Но особенно расплодилось эта порода за последние два десятилетия безвременья. Были такие и в Тасее. Собирались, кучковались. У магазина выпрашивали, дежурили. И вот как-то пришли они

ко мне – не хватает на бутылку. Разговорились. Незаметно подвёл я разговор к штабелю с песком.

– Что это? – спрашивают.

Стараясь выглядеть небрежно, отвечаю, что товарищ мой работает на золотоносном прииске. Охраняет вахтовым способом. Всю зиму долбил золотоносный грунт и возил по одному мешку сюда, чтобы начальство не догадалось. Летом собирается промыть.

– И сколько там золота? – тоже вроде бы небрежно спрашивает главный бездельник.

– Не знаю. Может граммов триста, может, полкило, – вяло отвечаю.

На том и расстались. Даже недостающие деньги на водку не взяли. Как-то очень быстро расстались.

Всю ночь на лужайке перед домом скрипели тачки. . .

Никто никаких претензий мне не предъявил.

## СКУКОТА

Конец девяностых годов. В стране безработица. А кто и работает, то зарплату всё равно не получает. Мы с женой устроились сторожами на Арахлейскую базу отдыха “Аргунь”, которая принадлежит Краснокаменску. Урановое богатое предприятие. Нам платят копейки, но хотя бы вовремя.

Середина июля.

На базу приехали отдохнуть “новые русские”. С ними – молодые спутницы.

Сами хозяева новой жизни занимаются шашлыком. Возле мангала пьют коньяк. Почему-то из гранёных стаканов. Спутницы стойкой стоят в сторонке, о чём-то щебечут. Их пальцы, запястья блестят золотом. Золото в таком количестве, что, кажется, им с трудом удаётся поднимать руки с тонкими сигаретами.

Прохожу мимо. Слышу разговор.

– А я вот в июне была. . .

Но её перебивает другая, на которой золота больше всех. Похоже, она здесь самая главная – всё же спутница самого большого начальника.

– Ой, девчонки, да я где только не была, везде была. В Афинах была, в Париже была, в Риме была, в Берлине была, в Лондоне была, в Нью-Йорке была – везде была! Все магазины обошла, везде одно и то же. Скукота! Как и в Москве. Можно было никуда не ездить. Одним словом, скукота, девчонки! Ску-ко-та. . .

## СКРЕБОК ИЗ ЯШМЫ

С Виктором Ланцевым копаем картошку. Картофельное поле на задах усадьбы, в низине. Первые два года урожай приходилось бросать – осенние дожди и близкие грунтовые воды превращали поле в озеро. Прodelали с отцом титаническую работу, пока подняли поле сантиметров на тридцать – вывезли на него бессчётное число машин земли, песка, угольного отсева, мелкого гравия с берега реки.

Виктор, от природы человек любопытный, удивляется разным затейливым картофельным формам. Однако после недолгих размышлений заключаем, что всё же самый сексуальный овощ – морковь.

Картофелины гулко стучат о днища вёдер. Такой же стукоток слышен с соседних огородов.

– Смотри-ка! – Виктор протягивает пластинку жёлто-оранжевой яшмы. Я беру её, внимательно рассматриваю. И – забываю про картошку.

На моей ладони лежит скребок. Много тысяч лет назад какой-то первобытный человек сработал это примитивное орудие. Но не такое уж оно и примитивное: само лезвие, режущая часть образована двадцатью пятью аккуратными сколами. На второй режущей стороне – сорок восемь сколов. Сколы сделаны так ровно и тщательно, что остаётся лишь восхититься прилежностью и мастерством древнего человека. Скребок под женскую руку, в моей ладони он тонет, да и обрабатывать шкуры было женской обязанностью. Чтобы было удобнее держать, под пальцы сделаны углубления. Несомненно, вещь доро-

гая по тем временам. И несомненно, что эта дорогая вещь была потеряна: она не изношена работой, не поломана, но режущий край уже не острый, — вода, течение, галька, песок, тысячелетия сделали своё успокаивающее дело, обкатали, замылили, сделали лезвие безопасным.

Пытаюсь представить, как всё происходило тогда, когда мамонты и разные диковинные звери проходили по тому пространству, где сейчас мой кабинет, стол и кресло.

Мужчина подарил женщине скребок и гордился своим подарком. Другие женщины завидовали ей. Такой яшмы нет в наших краях, такая яшма встречается километров на триста-четырееста севернее. Значит, ему надо было проделать этот путь. А там или отобрать силой, или похитить, или выменять этот скребок у местного племени. Или принести кусок яшмы и уже на месте изготовить из него это орудие. Что маловероятно и неразумно — нести в такую даль камень, половина которого уйдёт в отход. Значит, или отобран, или выменян. В то время уже было разделение труда: кто-то охотился, кто-то мастерил, гончарил, кто-то камлал, рисовал охрой на скалах и общался с духами.

Обработка происходила на берегу реки, постоянно нужна была вода, чтобы смывать и вымачивать шкуры. Что-то должно было произойти из ряда вон — нападение хищного зверя, враждебного племени, пожар, землетрясение, — чтобы бежать и бросить очень ценную вещь. Бежать и уже не вернуться сюда, чтобы подобрать. Возможно, женщина погибла. Скребок был втоптан в прибрежную гальку. Река разлилась, со временем немного изменила русло и начала свою извечную работу с камнем: поминутно плавниками, водорослями, мелким песочком убирала, шлифовала острые углы, убирала смертельные грани, доводила до безопасной безделушки, что лежит на моём письменном столе. . . Потом экскаватор зачерпнул ковшем гравий с яшмовым скребком, самосвал отвёз груз через перевал и высыпал на мой огород. А помощник Виктор Ланцев поднял, протянул мне и сказал:

— Смотри-ка!

Я держал на ладони оранжевый скребок, и какой-то сквозняк образовался вокруг меня — это сквозило время. И было понятно, что тысяча или десять тысяч лет ничего не значат, что это всего секунда, вот она, эта женщина, чей скребок я держу на ладони, она где-то здесь, где-то рядом. . .

## ОТВЛЕЧЁННОЕ

Если сложить все часы, дни, месяцы, прожитые мною у таёжного костра, — костра летнего, зимнего, демисезонного, костра экспедиционного, рыбацкого, охотничьего, — наберутся годы и годы. За эти годы я научился уважать огонь, как научился уважать всякую осмысленную и одухотворённую материю — воду, дерево, камень, небо. Они не умеют предавать.

А ещё появилось чувство прочности жизни. Потому что брезент над головой или звёздное небо дают бóльшую уверенность, нежели бетонные стены городской квартиры, разные технические современные устройства, разные автомобили и самолёты, которые таят в себе безысходность и обречённость.

А ещё появилось чувство родства с огнём, водой, небом, словно мы состоим из одного материала. Потому что между тобой и небом нет многоэтажных каменных потолков: сразу начинается небо. И ты понимаешь, что будешь всегда.

Вот такие несовременные ощущения.

## ЗАМЕНА

Несколько лет назад в деревне пробурили скважину и поставили над ней водокачку. В этой водокачке проработал я два года на должности, которая, аки гидра, была о многих головах и вмещала в себя обязанности сторожа, слесаря, кочегара, электрика и пр. Спать приходилось урывками. Через два года стало ясно, что от чего-то надо избавляться. Собственное хозяйство — скот и лошади, писательство и водокачка — вытянуть три дела мне было не под силу. Выбор без особого сожаления пал на водокачку.



С месяц подбирали мне замену. Дело оказалось сложным. Найти сегодня в деревне непьющего мужика почти нереально. Свой выбор администрация остановила на Сергее.

Сергею немного за тридцать. Грамоты он почти не знает, с горем пополам закончил четыре класса. По причине неграмотности в армии не служил. Не знает таблицу умножения. Читает по слогам, пишет печатными буквами. Он ничем не интересуется. Курит сигареты “Прима”, но спиртного не употребляет.

Сергей знает, что была война, в которой русские воевали с немцами и американцами. Кто-то победил, но кто – не знает.

Природа очень постаралась и сделала из него то лучшее, что возможно сделать без вмешательства учителей, умных книг, хороших фильмов, нормального человеческого общения. Человек он неплохой, помогает, когда его попросят.

Сергей заменил меня не только на водокачке. Он заменил меня в жизни. Но если вы думаете, что Сергей заменил только меня, вы ошибаетесь. Он заменил всех нас. Всё наше поколение.

Целиком.

И в этом необратимая правда сегодняшнего дня.

ИВАН ШЕВЫРЁВ

## КМА — ЖЕЛЕЗНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ

*Двери в славу — двери узкие.  
Но как бы ни были они узки,  
Навсегда войдёте вы, кто в Курске  
Добывал железные куски!*

Владимир Маяковский

Начало открытия Курской магнитной аномалии (КМА) датируется 1783 годом, когда в 1781–1785 годах академик Пётр Борисович Иноходцев, при определении географических координат 15 городов путём астрономических наблюдений, заметил отклонение магнитной стрелки в районе между Курском и Белгородом.

Почти через столетие в процессе геомагнитных исследований началась оценка магнитных аномалий И. Н. Смирновым (1874), Т. Мурро (1896), Э. Е. Лейстом (1896–1918).

О вероятном наличии залежей магнитного железняка в количестве 225 млрд пудов в 1897 году Э. Г. Лейст и П. Г. Попов доложили Курскому губернскому собранию. У землевладельцев началась “рудная горячка” — цена земли с интенсивной магнитной аномалией возросла на порядок.

На аномальных участках в селах Непхаево и Кочетовка по указанию Лейста были пробурены две скважины только до глубины 247 и 212 метров, хотя А. П. Карпинский рекомендовал бурить одну из скважин до 400–600 м за счёт Геолкома. Неудача вызвала резкую критику и разнообразные сомнения о связи магнитных аномалий с железными рудами.

Профессор МГУ Э. Г. Лейст с немецкой последовательностью в период с 1898-го по 1917 год в каникулярное время на собственные средства составил геомагнитные карты и теоретически обосновал наличие 225 млрд пудов железных руд на участках аномалий вблизи городов Обоянь, Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, Щигры, Фатеж.

---

*ШЕВЫРЁВ Иван Андреевич — горный инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук. В 1981–2001 годах работал в системе Центргеологии: куратор по железным рудам и бокситам, начальник участка геотехнологии по скважинной гидродобыче, ответственный исполнитель темы и основной автор отчёта по обобщению и систематизации материалов по железорудным месторождениям КМА, соавтор монографий “Железорудная база России” и “Железные руды КМА” (с историей открытия и освоения месторождений).*

Сделав в Петербурге доклад в начале 1918 года и не получив немедленной поддержки, упрямый профессор уехал с материалами в Германию, где вскоре умер.

Выкупить его материалы не удалось.

Комплексные геолого-геофизические исследования КМА были начаты после Октябрьской революции. Советское правительство в 1919 году поручило академику П. П. Лазареву создать комиссию по изучению КМА. В 1920 году в статусе особой комиссии она была передана в ведение ВСНХ. Председателем ОККМА был утверждён И. М. Губкин, его заместителем – П. П. Лазарев, начальником геологического отдела – А. Д. Архангельский.

В постановлении СТО, подписанном В. И. Лениным 24 августа 1920 года, указывалось: “Признать все работы, связанные с разведкой Курских магнитных аномалий, имеющими особо важное государственное значение”.

Получив сообщение о намагничивании бурового инструмента у деревни Лозовки Щигровского уезда, В. И. Ленин писал: “...мы имеем здесь почти наверное невиданное в мире богатство, которое способно перевернуть всё дело металлургии”.

На основании геофизических исследований было задано 11 скважин, одна из них в 1923 году вблизи города Щигры вскрыла пласт магнетитового кварцита на глубине 154–407 метров. Ещё две скважины встретили железистые кварциты на глубине 313 и 158 м.

Наука одержала блестящую победу. А. Д. Шевяков в “Горном журнале” сразу оценил практическое значение результатов буровых работ: “Всю совокупность геологических предвидений, магнитных, гравитационных и горно-разведочных работ, уже произведённых по КМА, принимая во внимание атмосферу всеобщего неверия в начале работы, надо считать делом в высшей степени замечательным. Помимо выдающегося значения чисто научных достижений, результаты горно-разведочных работ дают определённые надежды на возможность открытия здесь колоссальных запасов железных руд”.

Данные бурения скважин и магнитных наблюдений 1921–1926 годах позволили И. М. Губкину оценить запасы железистых кварцитов в разведанной полосе в 10 млрд т и дать прогноз в аномальной полосе протяжённостью 250 км в 200 млрд т железной руды.

Богатые сидерит-мартитовые и гематит-мартитовые руды вскрыты поисковыми работами “Треста КМА” в 1931 году вблизи села Коробково (ныне – город Губкин). После этого важнейшего открытия такие же руды с содержанием железа 53–54%, залегающие на головах железистых кварцитов, были выявлены (1931) в пределах Лебединского, Салтыковского, Волоконовского и Стойленского участков. Н. И. Свистальский в 1933 году сделал вывод: “...богатые железные руды образовались за счёт железистых кварцитов в континентальных условиях, когда докембрийские породы выходили на дневную поверхность”.

В 1932 году “КМА-строй” у села Коробково заложил разведочно-эксплуатационную шахту, из которой 27 апреля 1933 года с глубины 145 м на-гора впервые поднята сидерит-мартитовая руда.

Великая Отечественная война прервала на КМА все работы, в регионе развернулась жесточайшая Курская битва с участием 6500 танков, 4500 самолётов и более 30 000 орудий и миномётов. 5 августа 1943 года от фашистов были освобождены Орёл и Белгород, и этот славный день ознаменован первым военным салютом.

В конце войны на “родное пепелище” вернулись руководители “КМА-строя” В. М. Кислов и И. А. Русинович. В 1946 году Русинович составил отчёт “К подсчёту запасов железных руд Лебединского участка КМА на 1.10.1941 г.”; с июля 1948 года он работает главным геологом Курской железорудной экспедиции (г. Ст. Оскол). В 1947–1948 годах Б. П. Епифановым, А. И. Заборовским, И. А. Русиновичем, Я. А. Романцовым и др. был подготовлен “Генеральный проект геологоразведочных работ на богатые железные руды КМА”.

В 1947–1956 годах для добычи железистых кварцитов разведаны месторождения: Коробковское, Салтыковское, Южно-Лебединское, Осколецкое; в 1950–1958 годах – Михайловское. На первом из них с 1952 года ведётся добыча магнетитовых кварцитов шахтой им. И. М. Губкина. Оработка гематит-мартитовых руд карьерами началась в 1959 году на Лебединском, в 1960-м –

на Михайловском, в 1969-м – на Стойленском месторождениях; с 1970-х годов из этих карьеров ведётся добыча железистых кварцитов.

Достигнутый прогресс в технологии обогащения магнетитовых руд способствовал интенсивному развитию буровых работ на КМА.

Судьба профессионального рудознатца Ивана Алексеевича Русиновича буквально вплетена в историю открытий и разведки месторождений КМА. Опытного железорудника начальники пытались приобщить к поискам в Белгородском районе угольных месторождений, и вот какая трагическая поэма со сказочным концом из этого получилась. В 1951-1952 годах трест “Курскгеология” получил задание вести разведку каменного угля на основании мифического прогноза наличия северного продолжения Донбасса в Белгородском районе, где Русинович обосновал закономерные скопления богатых железных руд. В связи с этим прогнозом он, будучи начальником геологического отдела треста, дал указания заложить две скважины за пределами “нарисованной” угленосной зоны. Вскоре друзья сообщили ему, что в Министерство геологии пришло письмо с обвинением Ивана Алексеевича во вредительстве и трате государственных денег, в связи с чем уже создана комиссия, поэтому ему надо срочно менять место работы. Неудобного для руководства треста железорудника освободили от работы, и он с семьёй оказался в Лабинской партии в Краснодарском крае.

Следует отметить, что в Министерстве хорошо помнили о засекреченном “Деле геологов” 1949 года, когда крупные учёные и руководители геологической службы обвинялись в “сокрытии богатых месторождений”, “саботаже”; тогда “тройка” в составе В. М. Молотова, А. И. Микояна и Л. З. Мехлиса трое суток работала в здании самого Министерства, а на заседании Политбюро Сталин осадил министра госбезопасности:

– Абакумов, не очень-то увлекайся арестами геологов, а то и разведку недр некому будет вести.

Но мир не без смелых людей. Арсений Иванович Дюков, замдекана института цветных металлов и золота, помог избежать трагедии не только Русиновичу. Он прикрывал по-отечески детей “врагов народа”.

И. М. Губкин уверял: “Недра не подведут, если не подведут люди”. С его лёгкой руки поднявшегося на крыло Русиновича действительно недра не подвели: заданная им скважина №5 вскрыла мощную залежь вскоре разведанного Яковлевского месторождения (ныне отрабатывается подземным рудником). В 1954 году Ивана Алексеевича отыскали и вернули на КМА.

С обнаружением в 1953 году маритовых руд в районе Белгорода, в 1955–1966 годах оценены и разведаны уникальные Яковлевское, Гостищевское, а также Ольховатское, Мелихо-Шебекенское, Большегроицкое месторождения. Выявленная на них бокситоносность дала возможность обосновать и разведать в 1968–1978 годах Висловское железорудно-бокситовое месторождение, а в последующем оценить и другие объекты.

За открытие и разведку месторождений богатых руд Белгородского района КМА в 1959 году удостоены звания лауреатов Ленинской премии М. Н. Доброхотов, А. А. Дубянский, М. И. Калганов, И. А. Русинович, С. И. Чайкин, Н. Г. Шмидт, М. М. Яковлев.

Выявление бокситов в пределах КМА прогнозировали Б. П. Кротов (1950) и И. А. Русинович (1951). За создание минерально-сырьевой базы цветной металлургии КМА лауреатами Государственной премии СССР в 1982 году стали Л. С. Богунова, И. А. Воробьёв, Н. И. Голивкин, В. Н. Клекль, В. Н. Лазаренко, И. Н. Леоненко, Б. Н. Одокий, Н. Н. Раннев, И. И. Романов, В. Н. Силаков.

В 1970-х годах Н. И. Голивкин, В. Д. Полищук, Е. И. Дунай, Ю. С. Зайцев и др. геологи и геофизики впервые выполнили оценку перспектив железорудных формаций докембрия КМА с составлением прогнозных карт на железные руды масштаба 1:200 000 и крупнее.

Большая заслуга в комплексном освоении недр КМА принадлежит авторитетным специалистам отделов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ СССР), Мингео СССР и Минчермета СССР, прежде всего А. М. Бабочкину, М. И. Веригину и Е. И. Малютину. Именно эти “зубры” науки и практики принимали смелые решения о направлениях и развитии разведочных и эксплуатационных работ. Целую плеяду проектировщиков, технологов, геологов, горняков “вышколила” эта “тройка”.

В начале – середине 1980-х годов выполнена доразведка и комплексная оценка Лебединского и Михайловского месторождений.

Магнитная аномалия Лебединского месторождения выявлена геофизическими работами по КМА (1919–1924), богатые руды вскрыты в 1931 году, разведывались в 1931–1941 годах, затем подсчитывались Русиновичем в 1946 году, добыча карьером выполнялась с 1959-го по 1980-е годы. Железистые кварциты на различных участках разведывались эпизодически с 1952-го по 1978 годы.

В 1981–1984 годах впервые на КМА выполнена доразведка с комплексной оценкой железистых кварцитов, пород скальной и рыхлой вскрыши, а также подземных вод дренажного комплекса (В. И. Белых, Н. А. Соколов, М. Г. Чмаро, Е. И. Дунай, Е. Я. Сакович, И. И. Гусейнов, Г. И. Ермаков, Ю. С. Щёкин и др.). Как и раньше, начиная с 1960-х годов, закопёрщиком по разведке и составлению отчёта был Н. А. Соколов. Отчёт состоял из 30 увесистых томов текста, приложений и графиков. При его рассмотрении в ГКЗ СССР экспертами решались десятки сложных вопросов. Техническую проверку подсчёта запасов выполняла команда моих коллег по кафедре методики МГРИ во главе с д.г.-м.н. В. А. Викентьевым. В мои обязанности входило оказание помощи Н. А. Соколову в разрешении спорных вопросов с экспертами и ведущими специалистами ГКЗ СССР. Работе особое внимание уделяли в министерствах Е. И. Малютин, М. И. Веригин и В. П. Орлов.

Организация работы огромных коллективов различного ведомственного подчинения чрезвычайно сложна. Не обходилось без накладок и нервных срывов. Об одном из них до сих пор вспоминаю – не как “историограф”, а как непосредственный участник.

После утверждения ГКЗ СССР постоянных кондиций весной 1985 года в ПГО “Центргеология” вышел приказ о мобилизации специалистов Москвы, Орла и Брянска для многомесячной работы в конторе Юго-Западной экспедиции (пос. Черницыно в 20 км от Курска). В августе приехавшего в Черницыно главного геолога МГОКа Петра Захаровича Завьялова не устроило сопоставление результатов разведки с данными эксплуатации богатых железных руд. Количество добытых руд во многих подсчётных блоках в 1,5–2 раза превышало утверждённые в 1958 году запасы. Виссарион Иванович Иванов – главный геолог ЮЗ ГРЭ, основной автор отчёта – резонно доказывал разубоживание богатых руд субстратом подстилающих окисленных гематитовых кварцитов, поэтому содержание железа в доменной руде ниже, а кремнезёма больше по сравнению с данными геологов. Этот парадокс Завьялов объяснял наличием не вскрытых скважинами “карманов”. Этот “спор” довёл до ссоры Петра Захаровича с Виссарионом Ивановичем. “Хозяин запасов” в сердцах заявил “неистовому Виссариону”, что отказывается от участия в совместном отчёте, и, хлопнув дверью, покинул кабинет Иванова. С Завьяловым у меня были доверительные рабочие отношения, потому я тотчас же устремился за ним. Полчаса мы ходили по улочке, вдыхая аромат антоновских яблоч, может, поэтому мне удалось убедить Петра Захаровича умерить свои амбиции во имя истины и нашего общего дела. Он согласился сотрудничать при условии, чтобы разделы по сопоставлению данных разведки и эксплуатации богатых руд редактировались мною и Яланским. В следующие заезды в Черницыно Завьялов все спорные вопросы с Ивановым решал в присутствии многолетнего разведчика месторождения В. Н. Яланского с моим участием в качестве арбитра.

Работая по 10–12 часов без выходных, большой коллектив геологов подготовил многотомные материалы для рассмотрения в ГКЗ СССР в начале октября 1985 года, НТС ПГО “Центргеология” их одобрил. Заявка о представлении отчёта в ГКЗ СССР была доставлена в срок, отчёт разгружали неделей позже, геофизические тома с графикой И. И. Зальцманович привезла в ГКЗ через месяц. В это время основные эксперты отчёта излагали свои претензии мне и заместителю начальника отдела металлов, который склонялся к решению не рассматривать отчёт на рабочем заседании без представления в ГКЗ СССР табличных и графических материалов МГОКа за 25 лет эксплуатации богатых руд месторождения.

Мы с главным геологом ПГО доложили генеральному директору о создавшейся ситуации. В. Н. Силаков снял трубку и позвонил председателю ГКЗ А. М. Бабочкину. Председатель ГКЗ СССР назначил встречу на ближайший понедельник. Она происходила в его кабинете в присутствии В. Н. Силакова,

В. П. Дмитриева, М. И. Веригина, Е. И. Малютина, В. И. Иванова, П. З. Завьялова, Ю. Ю. Воробьева, В. И. Бейгуленко и меня. Каждому председатель позволил высказаться, на вопросы отвечали Иванов и Завьялов. Через два часа А. М. Бабочкин озвучил своё решение: рабочее заседание провести в конце ноября, а пленарное – в середине декабря в Железногорске. Рекордную по запасам шахину надо оформить 1985 годом, чтобы должным образом завершить пятилетку.

В Железногорске участники выездного заседания ГКЗ посетили огромный карьер, дробильный цех, фабрики обогатительную и окомкования, увидели раскалённые окатыши, на память взяли охлаждённые. Особый интерес вызвал процесс обогащения окисленных кварцитов с использованием электромагнитного сепаратора типа “Джонс”.

Накануне пленарного заседания основных участников заседания пригласил директор МГОКа А. И. Потапов. Обрисовав достижения комбината, он весьма напористо превозносил открывающиеся возможности трудового коллектива в связи с комплексной оценкой месторождения и подсчитанными запасами железных руд, вскрышных пород и дренажных вод.

На пленарном заседании в зале на первых рядах разместились эксперты, авторы и исполнители отчёта, за ними – специалисты всех направлений, геологи, технологи, экономисты, горняки. После докладов соавторов и выступлений специалистов А. М. Бабочкин одобрил проделанную работу с хорошей оценкой, потребовав при этом представить в январе, до передачи в ВГФ, дополнительные материалы по сопоставлению данных разведки и эксплуатации богатых руд.

В результате напряжённейшей работы соавторы гигантского отчёта за 35 лет геологоразведочных работ и 25 лет эксплуатации месторождения “заработали” сердечную аритмию.

С гораздо меньшими трудностями были разведаны и утверждены в 1986 году запасы Приоскольского месторождения в качестве дополнительной сырьевой базы Оскольского электрометаллургического комбината. Метализованные окатыши, горячекатаное железо, порошковая металлургия обеспечивают получение высококачественных сталей с заранее заданными свойствами. Наступил новый этап освоения КМА, “перевернувший всё дело металлургии”.

В 1986–1991 годах выполнена доразведка и комплексная оценка разрабатываемого карьером Стойлинского месторождения под руководством В. В. Двойнина (соавторы отчёта И. И. Воевода, Е. Я. Сакович, М. Г. Чмаро).

При технологических исследованиях магнетитовых кварцитов получены концентраты, пригодные для электро- и порошковой металлургии.

На новом этапе в 1976–1991 годах подготовлена уникальная железорудная база для качественной металлургии. За комплексную оценку эксплуатируемых железорудных месторождений КМА звания лауреатов Государственной премии СССР удостоены В. И. Белых, В. Н. Бойдаченко, И. С. Вассерман, Н. И. Голикин, В. В. Двойнин, В. П. Дмитриев, Н. А. Соколов, М. Г. Чмаро.

В 1980–1990-е годы осуществлялась научная программа “Железисто-кремнистые формации докембрия Европейской части СССР”, возглавляемая Я. Н. Белевцевым при активном участии В. П. Орлова и специалистов ПГО “Центргеология”. Результаты многолетних исследований, кроме отчётов и препринтов, опубликованы в виде серии книг Киевским издательством “Наукова думка”. Металлогеническое районирование Курской железорудной провинции с оценкой прогнозных ресурсов железных руд КМА выполнено Н. Д. Кононовым, Н. И. Голикиным, И. А. Шевырёвым под руководством В. П. Орлова в 1987–1990 годах. В научных исследованиях особое внимание уделено обоснованию формационных типов железных руд для качественной металлургии.

При рассмотрении планов объединения на 1988 год финансирование исследований на железорудные объекты опять сокращено с трёх до одного миллиона рублей: деньги нужны были для сверхглубокой скважины в Криворожском бассейне. И всё-таки полный объём ассигнований к нам вернулся неожиданным образом. В январе 1988 года в геологическом отделе появился сотрудник ВИМСа Владимир Лаврентьевич Колибаба с идеей скважинной гидродобычи рыхлых богатых руд КМА. Обсуждать оригинальный способ добычи маритовых руд мы пошли к главному инженеру ПГО А. В. Панкову. Анатолий Васильевич рассудил так: “Если рудный шлам в процессе бурения

поднимается на поверхность, пойдёт и руда”. После переговоров с руководством Белгородской ГРЭ главный рудознатец богатых руд КМА И. И. Романов рекомендовал для СГД удалённую от областного центра и крупных населённых пунктов уникальную по содержанию железа Шемраевскую залежь.

Мы с В. Л. Колибабой составили программу опытно-методических работ, которая была одобрена Генеральным директором объединения В. П. Орловым. После деловой встречи с министром геологии Е. А. Козловским 21 апреля 1988 года был подписан приказ № 200 о проведении опытно-методических работ по освоению скважинной геотехнологии добычи богатых железных руд как сырья для электро- и порошковой металлургии. Головной организацией по производству работ являлось ПГО “Центргеология”.

Вначале Белгородской ГРЭ под руководством И. В. Британа и Ф. А. Вайнова был организован “малый опыт”, когда из трёх разведочных скважин с глубины 690–800 м было поднято около 2 тонн маритовой массы с содержанием железа 67,5% и кремнезёма 0,8% – практически готовое сырьё для электрометаллургии.

Пробирки с порошком маритовой руды и результатом её анализа демонстрировались в институтах и министерствах. 29 мая 1989 года был издан совместный приказ министров С. В. Колпакова и Е. А. Козловского № 216/314 по применению метода СГД богатых железных руд с глубины 600–700 м.

В ряде институтов, особенно в ВИМСе, при активном участии В. Л. Колибабы были выполнены глубокие исследования вещественного состава добытых руд, разработана схема их обогащения, проведены успешные опыты по использованию полученных компонентов в порошковой металлургии, аккумуляторном и лакокрашеном производстве. В интересах дела в ряде отраслевых институтов исследования проводились энтузиастами безвозмездно, ради публикаций полученных результатов.

В связи с перестройкой государственной системы эксперимент не был завершён. Минчермет СССР так и не начал финансировать опытно-добычные работы, ассигнования Мингео СССР быстро иссякли. По результатам предварительной разведки (и буровых работ в процессе эксперимента) в 1995 году И. И. Романов подсчитал запасы и ресурсы Шемраевской залежи богатых руд в количестве 1427 млн т, по классификации В. П. Орлова она относится к крупным месторождениям. В. Л. Колибаба предусматривал отработку методом СГД рыхлых руд с содержанием железа 66–68% в комбинации с подземным способом добычи более крепких руд – с учётом новых технических возможностей будущего поколения специалистов.

По моему убеждению, уникальное качество существенно маритовых руд центральной части Шемраевской залежи вполне может обеспечить более высокую рентабельность её отработки рудником даже по сравнению с Яковлевской шахтой.

Исторически сложилось представление о железорудном бассейне КМА, как о некоем аналоге Криворожского бассейна. Академик Д. С. Коржинский в 1955 году увидел “портретное сходство” богатых руд КМА и Кривого Рога.

Результаты масштабных исследований Курской железорудной провинции в конце XX века свидетельствуют о безусловном приоритете КМА в мировой классификации промышленных типов железных руд, ибо она по ресурсам и качеству железистых кварцитов превосходит не только криворожские, но и крупнейшие мировые аналоги, известные в Бразилии, Австралии, Канаде. Богатые руды КМА существенно отличаются от криворожских по времени образования, количеству и более высокому качеству. Кроме того, в Белгородском рудном районе выявлены и разведаны крупнейшие в России запасы бокситов и железо-глинозёмного сырья.

Анализируя фактуру и систематизируя её для целей качественной геолого-экономической оценки месторождений, я выделил три промышленных типа руд, различающихся по формационной принадлежности и условиям залегания, минеральному составу, морфологии залежей, технологии переработки, виду и качеству получаемой продукции: 1 – Курский, железистые кварциты; 2 – Белгородский, богатые руды; 3 – Висловский, комплексные глинозём-железистые руды.

Н. И. Голивкин с этой типизацией согласился, а впервые её озвучил В. П. Орлов на специальном симпозиуме “Металлогения, раздел G-2-генезис крупных железорудных месторождений” в рамках XXXI сессии МГК

в Рио-де-Жанейро в коллективном докладе “Промышленные типы гематито-железных руд Курской магнитной аномалии (КМА)”.

История изучения и освоения КМА во второй половине XX века связана с когортой выдающихся специалистов горно-геологической службы центральных районов России. Олицетворением этой большой когорты беззаветных тружеников является Николай Иванович Голивкин – дважды лауреат Государственной премии СССР (1982, 1988) и Государственной премии России (2001), при этом чрезвычайно скромный, доброжелательный человек. За рабочим местом в уголке общей комнаты на втором этаже здания ВИМСа или в номере гостиницы “Центральная” в г. Белгороде он поражал меня способностью адекватно, без особых эмоций обсуждать и научную истину, и правду жизни с эрудицией и желанием решить возникшую проблему. Откуда взялась эта высота человеческого духа и глубина познания?! Его колыбель – сама магнитная аномалия – село Орлик Чернянского района. Подростком угнанный в Германию, испытал ужасы фашистских лагерей, он вернулся на родину с хроническим тиком и заиканием, что не помешало ему окончить школу и Одесский университет (1952). Первая производственная практика на разведке Лебединского месторождения оказалась судьбоносной. Бесценный опыт и знания Николай Иванович обретал и передавал коллегам последовательно в качестве геолога, старшего и главного геолога партий и экспедиций в родном крае. На его счету оценка и разведка Лебединского, Коробовского, Стойленского, Погромецкого, Чернянского железорудных и Висловского железорудно-бокситового месторождений. Н. И. Голивкин – автор и соавтор капитальных отчётов и более 150 научных публикаций по стратиграфии и формационному анализу докембрия КМА. Именно ему в ВИМС были переданы материалы 25-ти авторов для подготовки монографии “Железорудная база России”. В итоге получился “кирпич” в 850 страниц. Восемь основных соавторов: М. И. Веригин, Н. И. Голивкин, Н. А. Дмитриев, В. А. Евстрахин, Э. Г. Кассандров, В. Л. Колибаба, С. Я. Медведовский, В. П. Орлов в 2001 году были удостоены Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Изданная тиражом 500 экземпляров, книга стала библиографической редкостью и размножалась самиздатом. Второе издание монографии с дополнениями и изменениями технико-экономических показателей вышло в 2007 году. На 807-й странице с гордостью отмечено, что в России не менее двух третей запасов и ресурсов железных руд сосредоточено в пределах КМА. Действующие Лебединский, Стойленский, Михайловский ГОКи, комбинат “КМА-руда”, Яковлевский рудник обеспечены запасами на века.

Подготовленная к началу XXI века уникальная сырьевая база обеспечивает “новый качественный этап развития металлургии страны”. “Вопросы теории и практики геологического изучения и освоения железорудной базы КМА стали бесценным достоянием российской и мировой геологии и горного дела”, – так закончил свой доклад В. П. Орлов на специальном симпозиуме в рамках XXXI сессии Международного геологического конгресса в Рио-де-Жанейро.



**ТАТЬЯНА МИРОНОВА**

*доктор филологических наук*

## СВОИ И ЧУЖИЕ В РУССКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Познать свой народ, разобраться, какие мы на самом деле, дано нам через родной язык. Каждый народ прежде всего и дольше всего в языковой сокровищнице слова берегает выражения, наиболее для него полезные, ключевые, раскрывающие народное мировоззрение. Лингвисты подсчитали, что из ста наиболее употребительных слов тех языков, которые имеют многовековую письменную историю, за тысячу лет утрачивается, замещается другими словами только пять процентов. Встретясь мы с нашими пра-пра-прадедами, мы бы поняли их, а они – нас! Выходит, мировоззрение народа, а оно выражено в словах, очень устойчиво, жизненный опыт языка сто крат богаче опыта жизни каждого отдельного человека, говорящего на этом, родном для него языке. Именно язык учит нас жизни, рисует нам русскую картину мира, подсказывает, как вести себя, как действовать по-русски. А имя наше – русское – хранит в себе древнее представление о нашем национальном идеале.

### **ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМСЯ СЛАВЯНАМИ И РУССКИМИ**

Самоназвание народа обычно восходит к различным понятиям, с которыми народ связывает себя, выражая свой идеал совершенства. В своём имени народ может утверждать: мы – люди. Марийцы называют себя мари, что значит “человек”, цыгане именуют себя рома, что тоже значит “человек”, чукчи называют свою народность лыгьороветлян – “настоящие люди”. И в этом их нельзя укорять, такова древняя психология народа, выбравшего себе такое имя.

Народ может именовать себя и так: мы – свои, другие – чужие; так называются шведы – свеи, швабы, в имени которых корень “свой”. Порой народ принимает имя великого предка, обозначая для себя идеалом пример его жизни. По имени легендарных праотцов прозываются иудеи и чехи.

Есть народы, в имени которых явственно слышится название древней родины, – таковы поляки и итальянцы.

Случается и трагичное, когда вместо родного племенного имени народ принимает на себя прозвище, каким он зовётся у других народов, что свидетельствует о духовной исчерпанности национальных сил – редчайшем явлении в истории. Вот мы немцев называем немцами, прежде мы всех иностранцев называли немцами, поскольку они не понимали нашей речи и были для нас, как немые. Так вот, мы зовём немцев немцами, французы их называют

“алеман”, англичане их именуют “джоман”, но сами-то они как называли себя, так и продолжают называть, – только “дойч”. Нас, русских, латыши и литовцы издревле называют “кривас”, финны столетиями именуют нас “вене”, но нам и в голову не приходило принять какое-либо из этих названий.

Какие же идеалы храним мы в своих национальных именах – **русские** и **славяне**? Имя **славяне** связано с понятием речи и слова. Славяне – те, кто говорит, говорит понятно и разумно, в отличие от других, то есть славяне – опять же свои, разумно говорящие, понятные друг другу, в отличие от чужих. Глагол *слыть*, существительное *слово* – вот корни имени *славянин*. В старину, повторяю, всякий народ заключал в своё имя свой идеал человеческого совершенства. Славяне – народ, оценивший сокровище слова настолько, что принял его в своё имя. И каким же издевательством на фоне ясности смысла нашего племенного имени выглядит псевдонаучное толкование имени славяне, предлагаемое нам некоторыми лингвистами, а именно “жители влажных долин”, короче – болотные обитатели.

Другое наше имя – **русские** – как только ни пытались исказить, корень этого слова кому только ни стремились приписать. Немецкая по своим истокам теория утверждает, что так назывались норманы, пришедшие владеть русскими в X веке. Выходит, наше имя нам дано якобы чужеземцами. Другая теория, русская по происхождению, говорит, что имя “русский” возникло от названия крохотного притока Днепра – реки Рось. Неоспоримое решение важнейшего для нас, русских, вопроса дал академик О. Н. Трубачёв, который доказал, что имя *русский* восходит к корню славянскому и индоарийскому **рукс-** или **рокс-**, что значит – “белый, светлый”. То есть русы – народ белый, народ Света. Согласно описаниям арабских источников, в которых задолго до появления славянской письменности впервые зафиксировано имя **руссы**, это были высокие люди со светлой кожей, светлыми, русыми волосами, синеглазые; в буквальном смысле слова – белый, светлый народ. И сами русы называли свою страну – Русь, буквально – “белый свет”, единственно возможное для жизни место, Родина. Всё, что вокруг, не заселённое русами, не обжитое ими, Русью, то есть белым светом для них не являлось. Может, потому и не заримся мы никогда на чужие благоустроенные до нас земли, а осваиваем – делаем своими, обжитыми, родными – земли дикие, до того пустынные, трудно проходимые, постепенно преобразуем их в *белый свет*.

В старину говорили: *стоять на руси*, что означало – не прячься, быть на виду, на открытом месте, а еще *выводили душу на русь*, то есть распахивали её перед людьми настезь. Русь в нашем исконном представлении и есть настоящая люди, и потому в сказках баба Яга, хранительница потустороннего мира, приговаривает при встрече с героями-странниками: “Тьфу-тьфу, русским духом пахнет!” – людским, значит, человеческим духом. А всякого пришлого, чужого мы именовали – *нерусь*, что было равнозначно понятию “не наш человек”...

Всё русское связывалось нами с великой силой и крепостью. И потому русаком зовут камень, который идёт на жернова, – самый крепкий и мощный монолит, который не расколется и даже не треснет.

Слово *русский* связывается в нашем сознании с мощью, подчас суровой и непреодолимой. Мы сами же, не немцы какие-нибудь, прозываем крепкий мороз – русским, мы и северный холодный ветер величаем русским ветром. Есть у нас и русский час, заключающий в себе невесть сколько времени.

Наши сила, размах, удаль не напрасно зовутся русскими, они признаны иноземными народами непомерно большими, непрактичными и нелогичными. А нам как раз такая мера по душе. И вот же любому русскому ясно, что значит *не стерпело русское сердце*, когда, крепясь перед неправдой до последнего, вдруг выходишь из себя и кидаешься врукопашную доказать, что есть ещё правда на земле. Не терпит русское сердце неправды не только в малых делах суетного быта, но и в мировых пожарах войн и нашествий.

Заманчива, притягательна **русь** и **русские** для тех иноземцев, что сердцем тянутся к нашим добру и силе. Для таких людей в русском языке есть слово *русеть*. Обрусевшие немцы постепенно обживаются среди нас, принимают русский быт и дух. Но русские долго присматриваются к ним, сохраняя отчуждённость в напоминании: *обрусевший немец, француз, турок, крещёный татарин, башкир, чуваш*. . . При этом с гораздо большей отчуждённостью, с налётом презрения мы именуем своих, русских, перекинувшихся к чужакам,

зовём таких русских *онемеченными, ополяченными, офранцузенными, отуреченными...*

Обратите внимание на идеал человеческого совершенства, изначально заключённый в наших племенных именах: **словене** – народ Слова, **русские** – народ Света, а значит добра, племя Белых людей. Но сегодня мы допустили, что имя наше – русские – терпит и гонения, и клевету. Кто только не кинулся, точно по команде затравщика, с остервенением грызть, рвать наше святое имя! Старый, испробованный приём там, где славное имя сразу нельзя уничтожить, а истребить его можно только вместе с русским народом! Имя это нужно оболгать, измарать, обгадить, опошлить, навязать ему чуждые значения, сделать его посмешищем, символом глупости, то есть так отвратить от него умных и запутать невежд, чтобы они с готовностью отказались от него, с радостью приняли другое прозвание, лишь бы не позорить себя причастностью к ошельмованному имени.

Нашим именем “русский”, открыто издеваясь над нами, называют ныне то, что русским никак не является. Как поганые грибы, множатся “русское лото”, “русский банк”, “русский проект”, “русское радио”, “русское видео”, и, конечно же, с особым удовольствием смакуют выражение “русская мафия”. Сейчас вот место захоронения ядерных отходов в Челябинской области называется могильник “Русь”... Явно и символично белый свет мечтают похоронить в радиоактивной гряди.

Многие из активно эксплуатирующих наше национальное имя показали себя кто бессовестным обиралой, кто – грязным развратником, кто – жуликом-проходимцем. Пошерстите хозяев этих “русских” заведений – вы не найдёте там ни одного русского.

В то же время у действительно русских отнимают национальное имя, в прессе и в эфире замесили абсурдные фигуры – татарстанец Иванов, карелец Сидоров, башкортостанец Петров, а все они, вместе взятые, именуются россияне, будто подкидыши из никому не ведомого племени. Одни из нас видят в том неприкрытое издевательство. Каково русскому человеку изо дня в день слышать: татарин Саитов, чеченец Умалатов... россиянин Кузнецов. Другие усматривают в подмене застарелую болезнь прежде большевистского, а ныне – демократического интернационализма. Раньше имя “русский” вытеснялось безродным “советский”, теперь оно изгоняется при помощи безродного же “россиянин”. Так всегда ненавидевшая русских Польша прозвала нас по латинскому образцу в XVII веке. Но все мы понимаем, что тонкая игра, затеянная с нашим национальным именем, есть расчётливая обработка национального рассудка и памяти народа, и многие русские, кто привык к кличке *советский*, очень легко поменяли её на *россиянин*. Так бездомный, безродный пёс откликается на любое прозвище, лишь бы покормили. Так почему же сегодня востребованы именно *россияне*, а не *русские*? Да потому, что русские помнят, что у нас родная земля, единое Отечество, что у нас одна на всех судьба, общая Православная Вера и родной для всех нас русский язык, и история не раз показывала, что против русских войной идти опасно, непосильно, недаром враги говорили про нас “русского мало убить, его ещё и повалить надо”.

Чтобы понять, кто мы – русские, взгляните в лица русских детей. Ведь нас почти что отучили любоваться их ясными, светло смотрящими на мир глазами, мы перестали узнавать свою породу в их русоголовых лицах. Неяркие, неброские, они отливают солнечным светом, как отсветом доброты, коей наполнены все русские. Приходит время, когда мы должны с дерзновением исповедовать свою русскость и крепить себя спасительной мыслью о том, что всё ещё остаёмся народом Добра и Света.

## КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО “СВОЙ” – ИСТОК РУССКОГО ЕДИНСТВА

Все народы в своём языковом сознании хранят особые ключевые слова, которые ёмко определяют взгляд на мир, приоритеты и ценности мировоззрения. В английском языке, согласно новейшим исследованиям, ключевым является выражение *commonsense* – “здравый смысл”, для немецкой языковой картины мира важнейшим словом предсказуемо оказалось *ordnung* – “порядок”.

А вот ключевым, коренным понятием русского национального самосознания всегда было и остаётся слово *свой*.

Открытие это сделал академик О. Н. Трубачёв при реконструкции древнейших понятий славянской культуры, лежавших в основе строительства дома, семьи, государства, Веры. Эти понятия живы в нас и по сей день, они суть идеалы, образцы, установки жизни русского человека. Хотя найдётся много желающих поспорить с тем, что идея *своего* как *лучшего, доброго и правильного* пронизывает всю русскую жизнь. Ведь нам внушают обратное, что русская-де натура широка, всеохватна и всечеловечна. Мы давно привыкли мыслить себя в облике этакого простеца, гостеприимно распахивающего двери в свой хлебосольный дом любому инородцу, настезь открывающего свою душу любому иноверцу, усердно прислуживающего всем им.

Однако язык наш – первый свидетель того, что русские никогда не были настезь распахнуты для чужаков, что они честно и нелицемерно разделяли мир на *своих* и *чужих*. *Свои* первоначально были для русских люди одного рода, одной крови, ведь древний корень **suo-** означал “рождать”, и, следовательно, **свой** – это родной, единокровный. Такое понимание слова *свой* выражено в формулах народной мудрости: “Свой своему поневоле брат”, “Всякая сосна своему бору шумит”, “Свой свояка видит издалека”.

Поскольку *свой* – родной, то из этого смысла выросло понимание своего как всего Богом установленного, Богу угодного, правильного. Вот законы русской жизни по-своему, то есть так, как нам Бог положил: “Живи всяк своим умом да своим горбом”, “Всякому зерну своя борозда”, “Всякая избушка своей крышей крыта”.

Понятие *свой* изначально несло в себе мысль о богоданности всего, чем богат русский человек в этой жизни, – здоровья, имени, родни, доли. В слове **здоровье** (сь-доровье) в крохотном обломке древнего **suo** – (сь) хранится память о том, как виделась русским людям телесная крепость: \*сь-dorv значило “своё древо”, древо доброго корня, так что здоровье представлялось русским людям не их личным достоянием, а родовым наследием, в полном соответствии с современными представлениями генетики о наследственности. И сколь символично, что русское приветствие “здорово”, “здравствуй” содержит в себе тот же самый корень. Здороваться, то есть желать здоровья при встрече, принято у нас многие столетия. Ещё в IX веке византийский император Константин Багрянородный в своём трактате “О народах” упоминал, что славяне приветствуют друг друга “здорово, брате, сестрице”. Больше тысячи лет назад мы были всё те же: желали при встрече крепости нашему древу-роду.

Это существенно отличает нас от других народов, вкладывающих в свои приветствия самое важное для них. Для англичан таковым является дело: “How do you do? – Как действуешь?”. Для итальянцев характерен иной тип приветствия, утверждающий стабильность жизни: “Come sono? – Как стоишь?” Одно из приветствий китайцев: “Ел ли ты сегодня?” – а вот русские не задают вопросов при встрече, они желают, даруют доброе слово во благо рода и семьи.

В слове **счастье** (сь-частье) мы видим, каким оно представлялось русским – своей долей, своей частью, отпущенной Богом человеку по заслугам или грехам его родителей: “Всякому своё счастье; в чужое счастье не заедешь”, “Чужого счастья не займёшь”. Поэтому русское счастье могло быть трудным, даже горьким, такое счастье и название имело особое – горе-зло-счастье. Русское счастье нужно выстрадать, вымолить, заслужить. Русское счастье как доля, судьба, участь никак не совпадало с представлениями о счастье западноевропейца или китайца, у которых счастье связывалось исключительно с материальным благополучием. Мы урожденно знаем, что “счастье в нас, а не вокруг да около”.

И даже **смерть** (сь-мерть) представлялась русскому человеку своей, если она была естественной, природной, от одряхления. Выражение *умереть не своей смертью* до сих пор напоминает нам об этом. А коли смерть – своя, то русские её и не боятся, и повторяют в поговорках: “Смерть русскому солдату свой брат”, “Двум смертям не бывать, а одной не миновать”, “Прежде смерти не умереть”. Эта всегдашняя готовность встретить свою смерть – она ведь, как жена, Богом суждена – делает наш народ воистину бесстрашным,

то есть пренебрегающим смертельной опасностью, готовым рискнуть головой. Русский язык питает русское бесстрашие.

Русский всегда был убеждён, что *своё* — это подходящее именно для него, то есть хорошее, доброе, благое, даже смерть вовремя — своё. Так рождались правила русской жизни, в которой “всякому своё любо-дорого”: “Всякая птица своё гнездо хвалит”, “Свой хлеб сытнее”, “Свой уголок всего краше” и даже “Свой сухарь лучше чужих пирогов”.

Поскольку *своё* — это всё родное и Богом данное, то русские понимали, что Родина, Отчизна, земля предков — тоже свои. Потому и сохранилось в русском языке выражение **во своя си** — “к себе домой, в свои пределы, на родину”. Потому искони не глянулась нам чужбина: “За морем веселье, да чужое, а у нас хоть и горе, да своё”, “На чужой сторонушке рад своей воронушке”.

Замечательно, что именно с пониманием своего как родного, богоугодного, правильного связано у русских представление о **свободе**, то есть возможности действовать по-своему, ведь корень этого слова тот же, что и в слове “свой”. Свободный — это *сам свой*, принадлежащий себе, вспомним, что есть у нас и выражение “сам не свой”, то есть подчинившийся чужому — человеку ли, идее, не суть. Своё говорит русскому о его свободе: “Своя рука — владыка”, “Не князь, не дворянин, а в своём доме господин”, “В своём гнезде и ворона коршуну глаз выклюет”. Неволя, плен, тягота, несчастье, связывающие свободу человека, именуются по-русски “не свой брат”: и голод не свой брат, и палка не свой брат, а “своя волюшка — раздолюшка”. И если говорить о самодостаточности земной жизни в представлении русских, то вся она в словах “Свитка сера — да воля своя”.

Конечно, пронизавшее всё русское сознание понятие *свой* могло рождать и такие уродства как “моя хата с краю”. Это когда взгляд человека выше своей избы и двора не взлётывал. Но всё же русские из рода в род берегли коренной, древний смысл этого слова. Своё — это Вера, Родина, единокровные и единовверные братья, счастье и здоровье, и даже смертный час. И главное: своё — это свобода жить и действовать по законам отцов, а не по принуждению иноземцев.

## ЧТО ТАКОЕ “ПРИРОДНЫЙ РУСАК”

Мы постоянно слышим, что русские — не народ, спаянный кровью, родственной по крови, а конгломерат людей, объединённых общностью культуры и территории. Оброненное кем-то из писателей: “Поскреби всякого русского, непременно отыщешь татарина”, — стало чуть ли не аксиомой у политиков, размывающих понятие *русский*, а заодно для всякого явилось входным билетом в среду русского народа. Дескать, каких только кровей — татарских, кавказских, немецких, финских, бурятских, мордовских... — в русском не намешано. Нас усиленно убеждают, что мы, русские, очень разные по крови, что мы не из одного корня проросли, а явились плавильным котлом для многих народов, когда-либо набегавших, заходивших, прибудившихся на нашей земле, и мы всех их принимали, впускали в дом, брали в родню.

Действительно ли мы, русские, представляем собой скопище, сплав, плавильный котел, сборище из сошедшихся на Русь племён, как нас в том убеждают? Тогда мы вовсе не народ, а население, ведь народ — это люди, нарождающиеся из одного рода, ветви одного корня, искры одного кресала. Население же — все, кто поселился рядом, без разбору рода-племени. Народ спаян кровью, народ умеет различать своих и чужих, поэтому в каждом старике видит отца, в ровеснике — брата, в девушке — сестру, в старухе — мать, вспомните, ещё недавно были в ходу обращения к совершенно чужим, но русским людям — отец, мать, сестрёнка, братишка, сынок, дочка, тётенька, дяденька...

Обратите внимание, как многозначно слово **брат** — наше русское мужское обращение к своим же русским мужикам — и как оно меняет форму в зависимости от того, в какой среде и обстановке звучит. Если нужно установить дружеские отношения с незнакомцем, к нему обращаются: “Послушай, брат!” Когда незнакомого о чём-то просят, его зовут: “Помоги, браток!” Коли дело дошло до укора или попрека, то звучит обычно укоризненное: “Чего ж это ты, братец!”. В криминальной среде скорее обратятся друг к другу “братаны”.

У моряков в ходу “братишки”. В любом нетрезвом мужском коллективе возникают “братуха” и “братка”. Всё это формы одного и того же слова *брат*, обозначающего кровную родоу, но употребляемого русскими по отношению именно к неродным людям, чаще всего и вовсе незнакомым им.

Подобные обращения возможны только в среде своего народа, ведь никому и в голову не придёт позвать: “Дочка!” – маленькую китайку, вы никогда не обратитесь: “Матушка!” – к пожилой таджичке, у вас язык не повернется сказать: “Отец!” – иудею в хасидской шляпе.

Сейчас эта традиция отмирает, нам пытаются навязать общее обращение по примеру французского *мадам* и *месье*, английского *мистер* и *миссис*, немецкого *гerr* и *фрау*, прилаживают к этим моделям *сударя* и *сударыню*, навязывают *господина* и *госпожу*, приспособливают *гражданина* и *гражданку*, внедряют *товарища*. Но ничего не выходит. Не приживаются такие обращения. Но само намерение изжить русские родственные формы общения – очень опасная примета того, что русский народ постепенно соглашается стать просто русскоязычным населением – “россиянами”, сдать на потребу пришлому люду, раствориться в нём, исчезнуть, как русские, с лица земли.

Надо развеять этот миф, разорить бастионы лжи, громоздящиеся на шатких подпорках “поскреби всякого русского...”. Давайте поскребём, да не с помощью политического толерантного словоблудия, а обратившись к научным достижениям антропологии, науки о биологических видах человека. Эти знания точны, получены научным экспериментальным путём, постоянно обновляются, и потому не получится у наших противников отовратиться тем, что они устарели. Поскребём и увидим, что русский из поколения в поколение, из рода в род – всё тот же русский, а не татарин, не печенег, не половец, не скиф, не монгол, он – русский! И вот почему.

Выдающийся антрополог, исследователь биологической природы человека А. П. Богданов в конце XIX века писал: “Мы сплошь и рядом употребляем выражения: “это чисто русская красота, это вылитый русак, типично русское лицо”. Можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении “русская физиономия”. В каждом из нас, в сфере нашего “бессознательного” существует довольно определённое понятие о русском типе” (А. П. Богданов. “Антропологическая физиогномика”, М., 1878). Через сто лет современный антрополог В. С. Дерябин с помощью новейшего метода математического многомерного анализа смешанных признаков приходит к тому же заключению: “Первый и наиболее важный вывод заключается в констатации значительного единства русских на всей территории России и невозможности выделить даже соответствующие региональные типы, чётко отграниченные друг от друга” (“Вопросы антропологии”. Вып. 88, 1995). В чём же выражается это русское антропологическое единство, единство наследственных генетических признаков, выраженных в облике человека, в строении его тела?

Прежде всего – цвет волос и цвет глаз, пресловутая форма строения черепа. По данным признакам мы, русские, отличаемся как от европейских народов, так и от монголоидов. А уж с неграми и семитами нас и вовсе не сравнить, слишком разительны расхождения. Академик В. П. Алексеев доказал высокую степень сходства в строении черепа у всех представителей современного русского народа, уточняя при этом, что “протославянский тип” весьма устойчив и своими корнями уходит в эпоху неолита, а возможно, и мезолита. Согласно вычислениям антрополога В. С. Дерябина, светлые глаза (серые, серо-голубые, голубые и синие) у русских встречаются в 45 процентах, в Западной Европе светлоглазых только 35 процентов. Темные, чёрные волосы у русских встречаются в пяти процентах, у населения зарубежной Европы – в 45 процентах. Не подтверждается и расхожее мнение о “курносости” русских. В 75 процентах у русских встречается прямой профиль носа.

“Русские по своему расовому составу, – делают вывод учёные-антропологи, – типичные европеоиды, по большинству антропологических признаков занимающие центральное положение среди народов Европы и отличающиеся несколько более светлой пигментацией глаз и волос. Следует также признать значительное единство расового типа русских во всей европейской России”. Русский – европеец, но европеец со свойственными только ему физическими признаками. Эти признаки и составляют то, что мы называем *типичный русак*.

Антропологи всерьёз “поскребли” русского, и что же отскребли? Никакого татарина, то есть монголоида, в русских нет. Одним из типичных признаков монголоида является эпикантус — монгольская складка у внутреннего угла глаза. У типичных монголоидов эта складка встречается в 95 процентах, при исследовании восьми с половиной тысяч русских такая складка обнаружена лишь у 12 человек, причём в зачаточной форме. Ещё пример. Русские имеют в буквальном смысле особую кровь — преобладание 1-й и 2-й групп, что засвидетельствовано многолетней практикой станций переливания крови. При биохимических исследованиях крови оказалось, что русским, как и всем европейским народам, свойствен особый ген РН-с, у монголоидов этот ген практически отсутствует (О. В. Борисова “Полиморфизм эритроцитарной кислоты фосфатазы в различных группах населения Советского Союза”. “Вопросы антропологии”. Вып. 53, 1976).

Новейшие исследования генетиков показывают, что геном человека обладает особой голографической памятью, которая существует в виде электромагнитных полей, размечающих, подобно проекту, “будущее пространство-время человеческого организма”. Это означает, что уже зародыш человека проецирует при помощи электромагнитных полей, исходящих от его хромосом, весь будущий взрослый организм со всеми наследственными признаками на всех стадиях его развития. Доктор биологических наук П. П. Гаряев доказывает, что такую же голографическую память имеет и кора головного мозга человека, “задающая ментальные, смысловые и образные пространства”, которые определяют действия человека в обществе (П. П. Гаряев “Лингвистико-волновой геном. Теория и практика”. Киев, 2009. С. 154). То есть научно установлено, что цельный русский антропологический тип и архетипы русского мышления, выраженные в особой русской психологии и типичном русском поведении, — устойчивые признаки и передаются по наследству благодаря генетической памяти поколений.

Получается, как русского ни скреби, всё равно ни татарина, никого другого в нём не отскребёшь. Это подтверждает и энциклопедия “Народы России”, где в главе “Расовый состав населения России” отмечается, что “представители европеоидной расы составляют более 90 процентов населения страны и ещё около 9 процентов приходится на представителей форм, смешанных между европеоидами и монголоидами. Число чистых монголоидов не превышает 1 млн человек” (“Народы России”. М., 1994). Несложно подсчитать, что если русских в России 82 процента, то все они — исключительно народ европейского типа. Народы Сибири, Поволжья, Кавказа, Урала представляют смесь европейской и монгольской рас.

На протяжении тысячелетий русский физический тип оставался устойчив и неизменен и никогда не являлся помесью разных племён, населявших временами нашу землю. Миф развеян, мы должны понять, что зов крови — не пустой звук, что наше национальное представление о русском типе — реальность русской породы. Мы должны научиться видеть эту породу, любоваться ею, ценить её в своих ближних и дальних русских сородичах. И тогда, возможно, возродится наше русское обращение к совершенно чужим, но своим для нас людям — отец, мать, братишка, сестрёнка, сынок и дочка. Ведь мы на самом деле все — от единого корня, от одного рода — рода русского.

### **РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ, БЕЛОРУСЫ — ОДИН ЯЗЫК, ОДИН РОД, ОДНА КРОВЬ**

Как легче всего ослабить, обескровить народ? Ответ прост и проверен веками. Чтобы ослабить народ, его надо раздробить, раскроить на куски и убедить образовавшиеся части, что они есть отдельные, самостоятельные, сами по себе, даже враждебные друг другу народы. В истории известны разделение сербов — на сербов, хорватов, боснийцев, черногорцев; дробление немцев — на австрийцев и немцев... Эти разделения сопровождалось государственным дроблением и ослаблением мощи великих европейских народов. Горький опыт разделения нации имеем и мы, русские. В середине XIX века мы беспечно приняли так выгодную полякам, немцам, евреям идею дробления русских на три самостоятельных “народа” — русских, украинцев и белорусов. Новоиспечённым народам — украинцам и белорусам — стали спешно создавать

отдельную от русского народа историю. В самостийных украинских учебниках 20-х годов XX века украинцы повели своё происхождение от “древних укров”. Украинцам и белорусам изготовили собственные литературные языки — украинский и белорусский, которые подражали польским литературным моделям, хотя в ту пору малорусское и белорусское наречия русского языка — именно так они именуется в словаре В. И. Даля — отличались от русского литературного языка, как диалекты Смоленщины или Вологодчины, и языковеды по сию пору не находят на картах чётких границ между говорами русскими, белорусскими и украинскими. Народная языковая стихия доказывает их родство, однако ж украинский литературный язык, напротив, стремится отсечь украинцев от русского корня. Исследования выдающегося слависта академика Н. И. Толстого убедительно доказывают, что литературный украинский — искусственное новообразование, он на треть состоит из германизмов, немецких слов, на треть — из полонизмов, слов польского языка, и на треть — из варваризмов, наречия поселян Украины.

Зачем же было дробить единый русский народ, рушить его целостность? На территории Австрии в XIX веке жило много православных славян, именовавших себя русскими или русинами. Будучи подданными австрийского императора, они сознавали свою причастность к русскому народу, что очень беспокоило австрийскую власть. Ну, как можно было австрийским властям мириться с положением в Галиции, где в русских избах на стенах висели непременно два портрета — австрийского императора и русского царя, и на вопрос о значении портретов крестьянин-русин обычно отвечал: “Это его величество австрийский император, а это наш русский Батюшка-Царь”. Австрийцам на своих землях, да и полякам, чьи территории входили в то время в состав Российской империи и тоже были густо населены русскими, нужно было избавиться от русской “пятой колонны” в собственных пределах. И работа закипела. Идея переделывания русских в “щирых украинцев” была щедро профинансирована австрийским правительством. Во Львове, входившем тогда в состав Австрии, историк М. С. Грушевский сочинил “Историю Украины-Руси”, где князей русских Владимира Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха поименовали украинскими князьями, писателей Николая Гоголя и Николая Костомарова принялись называть великими украинскими писателями и переводить их труды на украинский язык, который, в свою очередь, был сотворён из тех самых полонизмов, германизмов и варваризмов так, чтобы ни в коем случае не походил на русский литературный язык. Переводы эти выглядели довольно дикими. К примеру, шекспировская фраза Гамлета: “Быть или не быть? Вот в чём вопрос...” — в так называемом литературном украинском переводе Старицкого получила не свойственную благородному принцу датскому базарную развязность: “Буты чи не буты? Ось-то заковыка...”

Поначалу царские власти в России не отнеслись всерьёз к этим, казалось бы, невинным забавам либеральной львовской и киевской интеллигенции, подстрекаемой австрийцами и поляками к самостийности. Власти сквозь пальцы смотрели на намеренное раздувание обиды малорусов на великорусов за то, что называют себя великими русами, а их, малорусов, — малыми. Но эта обида, как заразная болезнь, прочно укоренялась в сознании многих украинцев, с готовностью отвергавших своё русское имя в силу того, что оно мало-русское, и принявших себе национальное имя в честь Украины — окраины Руси.

Вот так вредоносная идея, всего-навсего словесная игра, затеянная с национальным именем *русский*, смогла расчленить и ослабить единый народ, породить взаимную неприязнь у единокровных братьев. И сколько теперь нужно усилий, какую громадную гору неприязни и лжи нужно ниспровергнуть, чтобы побороть эту вредоносную идею, а вместе с ней и искусственное разделение русских на три “восточнославянских народа” — русских, украинцев и белорусов.

Ныне, наконец, получило здоровое научное объяснение именование **Руси** — **Великой, Малой и Белой**. Согласно исследованиям академика О. Н. Трубачёва, название Великороссия никакого самовозвеличивания перед другими странами, другими народами не выражает. Как слово Великобритания образует пару с материковой Бретанью — древнейшая колонизация острова шла от туда, — так имя **Великая Русь** образует пару с именем Русь, прежде в глубокой древности обозначавшим область Киева, откуда шло освоение русскими



земель к северу и востоку. Это типичный случай названия колонизованных земель термином *Великий*, так, в истории известны не только Великобритания, но и Великая Греция, Великопольша и Великая Моравия – все эти территории когда-то были освоены из материнских очагов – Бретани, Греции, Польши и Моравии. Вот почему рядом с **Русью Великой** появилась **Русь Малая** – Малороссия, название *малая*, подобно нынешнему *малая Родина*, всегда имело смысл Руси изначальной, материнского очага, вокруг которого образовалась Великая Русь. И никакого уничтожения малороссов в этом названии нет, так же как нет никакого шовинизма великороссов в именовании *великорусский*. Долго сохранялись следы прозывания нынешних украинцев русскими, до сих пор на крайнем западе Украины существует область, которая по-прежнему зовётся Подкарпатская Русь, а поляки, немалые усилия приложившие, чтобы малорусы звались украинцами, в своей среде до недавнего времени словом Русь обозначали именно Украину. Так что наши названия Великая и Малая Русь есть объективные указатели широкого продвижения по своей земле народа русского, свидетельство освоения русскими огромных пространств из Киевского материнского лона, а вовсе не знак столь не свойственных нашему народу кичливости и хвастовства.

Не таит мнимых обид, напротив, указывает на древнее единение русского народа и название **Белая Русь** – Белоруссия. Это имя, как показали исследования академика О. Н. Трубачёва, является частью древней системы цветообозначения сторон света. В этой системе северная часть страны обычно именовалась *чёрной* (и в истории сохранилось именование северо-западной части Руси **Чёрная Русь**), красным цветом (по-древнерусски *червонным*) обозначалась южная часть страны (в летописях известна **Червонная Русь**), а *белой* именовалась западная часть Руси. В системе древнего цветообозначения сторон света, согласно реконструкции, было и название для восточной стороны – **Синяя** или **Голубая Русь**. Но её следов в письменной истории не обнаружено. А вот сохранившееся до сего дня имя **Белая Русь** показывает, что это всего лишь западная часть великой Русской земли, – часть целого, а не нечто обособленное и независимое.

Даже самое малое внимание к этим вопросам развеивает взаимные обиды и разногласия. Но кому-то очень хочется, чтобы мы, русские братья, по-прежнему вели свары между собой. Скажем, раздувают в обиду добродушные взаимные прозвища, которые давались украинцами русским, а русскими украинцам, как давались они вятским, пошехонцам, пермякам. Русских украинцы звали москалями и кацапами. Ну, и что тут обидного? Как говорится, назови хоть горшком, только в печь не сажай! Москаль – всего-навсего москвич. На Украине так называли всех, кто вышел не с Дона и не с Украины. А в Сибири москалями и москвичами величали всех русских, включая украинцев, кто жил за Уральским хребтом, то есть в Европе. Точно так же нет причин для обид при назывании украинцев хохлами, это лишь образное подчёркивание особого, собственного запорожским казакам чуба – клока волос на бритой голове – символа казачьей чести. Только чужак, человек чужой крови и не нашего воспитания, может истолковать такие прозвища как обидные. Ведь никто не стесняется этих именовании в русских и украинских фамилиях и не считает собственные фамилии – Хохлов, Москалев, Кацапенко – неприличными, обидными.

Русские, украинцы, белорусы – суть один народ, ибо рождены из одного русского корня, единокровные братья и братья по Вере. Наречия украинское (малорусское), белорусское и великорусское произошли из единого древнерусского языка и отличаются друг от друга меньше, чем немецкие диалекты между собой. Потому и русским, и украинцам, и белорусам, помня наше родство, надо уметь пренебрегать ухищрениями врагов русского единства и русской силы, пытающихся нас разделять и ссорить. Формула нашего национального разделения, универсально высказанная в завещании польского русофоба Мерошевского, должна стучать в наши сердца, не давая забывать о том, что русские, украинцы и белорусы есть один язык, один род и одна кровь. Вот что Мерошевский завещал всем вековечным недругам народа русского: “Бросим огня и бомбы за Днепр и Дон, в самое сердце Руси, возбудим ссоры в самом русском народе, пусть он разрывает себя собственными ногтями. По мере того, как он ослабляется, мы крепнем и растём”.

## АРХЕТИП ЧУЖАКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗЛОПАМЯТНОСТЬ ЯЗЫКА

Как полюбить своих – русских, украинцев, белорусов, казаков, – если видишь в них целое скопище пороков и недостатков, если раздражают в соседях хохлацкое упрямство, русская безалаберность, белорусское простодушие, казацкое ухарство... Эта неприязнь выражается в вечном нашем недовольстве самими собой: “Нам, русским, хлеба не нужно, мы друг друга едим”. Оказывается, чтобы полюбить своих, каких бы то ни было – ленивых, беспечных, нахрапистых, упёртых или простодырых, – достаточно взглянуть на чужих, на другие, рядом живущие народы, в которых нам бывают неприятны как раз черты, отсутствующие в типично русском характере. Нас коробят немецкие расчётливость и порядок, кавказские стремление к первенству и агрессивность. Вот тогда-то мы начинаем любить и ценить своих – русских, украинцев, белорусов, казаков, – а повадки и нравы своих кажутся нам милее и краше всех, пусть даже таких полезных для жизни свойств чужаков. Это чувство любви к своим, особенно ярко вспыхивающее при нашествиях чужих, инстинктивно и безотчётно определяется архетипом нашего русского мышления, издревле положившего границу между своими и чужими.

Наши предки тысячелетиями соседствовали с самыми разными племенами, и это соседство оставило по себе память в нашем языке, который, как известно, хранит опыт многих поколений народа в сжатых и ёмких формулах, отточенных бедствиями и невзгодами русской истории.

И какими же видим мы чужаков, встретившихся нам на историческом пути России? Исследования этнологов и лингвистов показывают, что в гуще любого народа чужой опознавался по ряду ключевых признаков: непривычная внешность, физическое строение тела, неприятный на слух и непонятный язык. Поведение чужака – “неправильное” с точки зрения местной традиции и местных бытовых обычаев... Народы, особенно в древности, часто приписывали чужакам способности к колдовству, магии и оборотничеству, считая их пришельцами из другого мира. Само слово **чужой** – исконно звучавшее как туждь, указывает на то, что пришлый человек искони воспринимался как пришелец “от-ту-да”, из-за границы знакомого и привычного мира, а потому требовал к себе настороженного и опасливого отношения.

Всё, увиденное и услышанное русскими в результате общения с мирными и немирными соседями, создавало определённые стереотипы – образы разных народов обретали конкретные черты, устойчиво хранящиеся в национальной памяти. Стереотипы эти настолько устойчивы, что результаты исследований восприятия чужака, проведённых в конце XIX века в Белоруссии, полностью совпали с подобными исследованиями в конце XX века! Сто лет революций, войн, интернационального воспитания, миграций и смешения народов не оказали ни малейшего влияния на представления русских и белорусов о поляках, евреях, цыганах и немцах. Все как было, так и осталось.

Архетипы восприятия чужого народа русским сознанием – это не суеверия или заблуждения, это не пресловутый русский шовинизм или фашизм. Это нормальный фактор национального развития любого народа. Без разделения на своих и чужих невозможна суверенная, самобытная и безопасная жизнь никакого народа, ни единого племени, ни одного, самого крохотного этноса и ни одной, самой громадной нации. В политике очень важно это понимать, чтобы не допускать принижения и умаления одних народов и возвышения над ними других.

Сегодня русский образ мысли, русские архетипы поведения как раз попираются. Словом **ксенофобия** страшат тех, кто недоволен нашествием чужаков на родную землю. Словно припечатывают позорным клеймом, вменяют уголовную 282-ю статью – возбуждение межнациональной розни. Подобная статья есть только в российском законодательстве, другие европейские государства не позволяют себе политических преследований из “соображений демократических”. А у нас в России, причём только для русских, изобретено пугало – именно русским пытаются заткнуть рот Уголовным кодексом, страшат тюрьмой, штрафами. И многие русские поддаются страху быть обвинёнными в ксенофобии, подавляя в себе свой национальный инстинкт самосохранения, основанный на природных архетипах.

Что же такого страшного в этом понятии? **Ксенофобия** – естественное для каждого народа неприятие чужого, отторжение чужого, чтобы не утратить

свою собственную самобытность. В народах, по меткому замечанию великого русского философа А. С. Хомякова, как и в людях, есть страсти, и страсти не всегда благородные. Раньше философов с историками неблагородные страсти чужих народов подметил наш русский язык, запечатлев неприятие чужаков. Русский язык накопил в себе множество ксенофобских образов и выражений. В лингвистике их называют **ксенонимы**.

На основе наименований других народов русский язык творил слова с обобщёнными представлениями об этих народах, в языке оставался след общения с соседними народами. Как известно, картина мира нашего языка многократно богаче картины жизненного, исторического опыта даже целого поколения, не говоря уже об опыте отдельного человека. Какой же опыт накопил в себе русский язык за века межнационального общения?

Исследователи-этнолингвисты провели кропотливую работу по изучению ксенонимов русского языка и установили: ксенонимы – это негативная оценка чужаков, образное обозначение внешних врагов, топтавших русскую землю на протяжении всей нашей истории. На основании ксенофобных слов русского языка лингвисты выяснили, кто из народов мира остался в памяти языка в таком качестве. Предсказуемо оказалось – татары. Вспомним, что незванный гость сравнивается в русской поговорке с татаринцом. Не жалует русский язык и немцев. О язвах на коже в Сибири говорят: *немцы сели*, тараканов в России прозывают прусаками, швабами и немцами. Саранчу именуют шведами. Отложилось в памяти русского потомства, как татары, немцы и шведы в трудные для русских времена вторгались на наши земли, истребляя всё на своём пути. Осталась в русском языке недобрая память и о поляках. От имени мазовецких поляков пошло русское прозвище *мазурик*, то есть вор, пройдоха. Помнит русский язык французское нашествие. С тех пор завелось в русском языке слово *шаромыжник* от французского *cher ami* – “дорогой друг”, так голодные французы, скитаясь по холодной России в 1812 году, просили-канючили у крестьян чего-нибудь поесть. С тех пор это слово означает *шату* и *плут*. Ругательство *шваль* народилось от французского *cheval* – “лошадь”. А ещё в языке осталась поговорка: “Голодный француз и вороне рад”.

Что же хотели передать своим потомкам наши предки, закладывая свой жизненный опыт в самую надёжную, самую верную, самую крепкую память – язык. Предупреждение. Пока не обрели собственного опыта общения с другими народами, быть всегда настороже с опасными для нас, русских, этническими соседями.

Повторяю, архетипы национальной неприязни – научно установленный факт, и умные политики, желающие мира в полиэтнических сообществах, должны умело соблюдать баланс компактного проживания коренных народов на своих землях и справедливого распределения между ними общегосударственного достояния.

## ДРУЗЬЯ И ВРАГИ – КАК ЗЁРНА И ПЛЕВЕЛЫ

Русский человек, разделяя мир на своих и чужих, не забывал о разделении на друзей и врагов. Если понимание, что в мире есть свои и чужие, необходимо для сохранения национальной самобытности народов и их независимости, то деление окружающего мира на друзей и врагов требуется для крепости национальных государств.

Значение слова **друг** весьма прозрачно. Друг – это другой, такой же, как я, подобный мне, а значит, единый со мною в помыслах и поступках, потому и говорится: “В друге себя любишь”, оттого на Руси “друг денег дороже”. Истинная русская дружба проверяется временем: “Будешь друг, да не вдруг”, “Старый друг лучше новых двух”.

Друг – особо доверительное обращение у русских. Нам невозможно отказать тому, кто просит: “Послушай, друг!”, “Сделай, будь другом!” Ведь в словах “будь другом” содержится древняя клятва верности, готовность принять в соратники того, к кому обращаешься с просьбой. И самые лучшие в жизни поступки, бескорыстные и искренние, русские совершают “не в службу, а в дружбу”. В нас заложено нашим языком “любить друга” и “жить дружно”, артельно, сообща, ватагою друзей: “Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось”. И поговорка о настоящей дружбе, когда надо вместе пуд соли

съесть, сохраняет точный счёт проверки друга временем. Пуд соли два человека могут съесть, десять лет разделяя общую трапезу.

Разумеется, язык предостерегает от безоглядности и неразборчивости в выборе друзей: “Рад другу, да не как себе”, “Дружиться – дружись, а за топор держись”.

Понятие **друг** в русском языке гораздо шире, чем смыслы слов **свой** и **брат**. Другом для русского может стать и чужой, если он принимает русское предложение сора́тничества: “Будь другом!” – что означает быть не только и не столько задушевным приятелем, но, прежде всего, членом дружины, соратником, боевым товарищем. Древнерусская дружина как раз и состояла из давших клятву верности другам-соратникам, воинов-однополчан.

На формуле “будь другом!” построено многоплеменное русское государство, которое на основах дружбы и мирного соседства этой клятвой соединяло с русским народом другие племена и народности России. Эта же формула “будь другом!” рождала военные союзы, начиная от русско-половецких походов Владимира Мономаха и заканчивая объединёнными силами Варшавского Договора против НАТО. Особенность русского человека в том, что он в друге видел названного брата. У нас такое представление сохраняется в понятиях воинского братства, монашеского братства, медицинского братства и сестричества. Возможно, это связано с тем, что понимание дружбы как сора́тничества, как воинского братства, а значит, готовности к жертвенному подвигу за други своя, всегда было нам столь же дорого, как и кровное родство. Это удивительное для других народов русское свойство предопределило имперскую мощь нашего народа, который принимал на правах дружбы другие племена в свою страну, давал им равные с собой права, уважал их самобытность, просвещал Православием, но не принуждал к крещению. Такая черта свойственна исключительно русским, строившим свою империю не на принуждении и завоевании, а на добровольном вхождении народов в государство. Так были присоединены Грузия, Армения, Осетия, Абхазия, казахские улусы. Там, где племена просто жили на своей земле, не имея государственных потенций, – а это и башкиры, и чувашы, и мордва, и буряты, и множество других сибирских племён, – они оставались жить по своим оседлостям, их никто не сгонял в резервации, их никто не отстреливал, как это случилось в Америке с индейцами.

**Друг** и **свой** равно дороги русскому – древний архетип мышления жив в нас и сейчас. Понятие о друге в архетипах русского мышления постоянно сопрягалось с представлением о враге. Эти два слова образовывали такое же смысловое противопоставление, как свой и чужой.

В слове **враг** содержится древний корень **верг-**, означающий, согласно исследованиям академика О. Н. Трубачёва, что враг – это извергнутый из человеческого сообщества, изгой, отторгнутый людьми. Слова, которыми описывается значение слова **враг**, – “недруг, неприятель, супротивник, супостат”, – свидетельствуют о том, что враг – это бывший друг, отвергнутый и изгнанный за измену или другое злодеяние из дружины или иного содружества: “Не вспомя, не вскормя, ворога не наживёшь”. Врагом, согласно русским представлениям, может быть и свой по крови человек, и чужак. Враг – в первую голову изменник и предатель, пренебрегший нашим русским добром и нарушивший верность дружбе. И если к чужаку отношение у русских настроенно-отстранённое, то к врагу – непримиримо враждебное. Когда враг – бывший свой, – его презирают, как изгоя и предателя, им брезгают и сторонятся его, как протухшей падали. Если же враг – чужой изменник дружбе, то тогда в русской душе вздымаются два негодующих чувства – отстраненная неприязнь к чужому и яростная мстительность к врагу, потому что опасность, исходящая от пришельцев, страшнее, чем от врагов своего рода-племени, когда в них видят супостатов и противников. Чувство самосохранения как архетип поведения заставляет русских занимать национальную круговую оборону.

И всё же в отношении к врагам наш народ, в отличие от иных, к примеру, азиатских или кавказских народов, проявляет удивительные бесхитрость и благородство. Мы предпочитаем сначала улаживать недоразумения мирно, бесконфликтно, путём переговоров и уговоров, потом мы предупреждаем врага о нападении. Этот древний архетип поведения проявился ещё у князя Святослава Храброго, по свидетельству Нестора-летописца, бросавшего вызов неприятелю: “Иду на вы!” Русские и сегодня таковы, в отличие от

тех же горцев, которые бьют сразу, без предупреждения. Азиат – тот и вовсе нападает исподтишка, сзади, бьёт в спину. Осуждать за это их невозможно – таковы архетипы национальных характеров.

У русских совершенно иной стиль поведения. Сначала русские пытаются решить конфликт миром, вступают в переговоры, но и тогда, когда мирные переговоры ни к чему не приводят, русские всё равно не нападают, в ход идёт брань – словесная оборона.

Вдумаемся, что такое русская брань, имеющая тот же корень, что и слово “оборона”. **Брань** – это оборона словом, предостережение врага, что он будет убит, если решится сопротивляться. Таков ещё один архетип русского поведения: от чужих мы прежде обороняемся словами и лишь потом пускаем в ход кулаки и дубины.

Ритуальная задача русской брани – наилучшим образом подготовить воина к бою с врагом, деморализовать противника угрозой гибели и воодушевить себя тем, что имеешь дело не с человеком, а с животным, существом слабее, глупее и ниже тебя.

Есть ли сегодня у русского народа друзья в мире? Жизнь показывает, что нет. И призыв русской пословицы держаться за топор в крепкой дружбе важен как никогда.

## ПОЧЕМУ У РУССКОГО ЧЕТЫРЕ ИМЕНИ

Давно замечено: если хотите человеку понравиться, почаще называйте его по имени, чем расположите к дружбе и симпатии. Имянаречение – особое священнодействие, без которого рождённый в мир человек как бы не существует. Сам акт имянаречения понимался и понимается по сей день как “вложение имени” в существо, это явствует из этимологии слова **имя**. Индо-европейское **en-men, ano-men** согласно “Этимологическому словарю славянских языков” (т. 8. С. 227-228) означает “то, что внутри человека”, его суть. Имянаречению у русских придавалось огромное значение. По имени, говорили у нас, и жите. Имя влияло на судьбу новорождённого, определяло его характер, становилось его сущностью.

Русский человек от рождения прозывался именем, данным родителями. Из древности до нас дошли княжеские языческие имена Святослав, Святополк, Борислав и Вячеслав, Владимир и Ярослав. Корень **свят-** означал здесь сверхчеловеческую, божественную силу. У Святослава – это сила его славы, у Святополка – сила его воинственности. Называли высокородные славяне-язычники своих детей именами с корнем **слав-**, обозначавшем высшую хвалу их божественному избранничеству. Имя Ярослав означало ярую, как солнце, славу, у Вячеслава слава должна была быть *вящей* – то есть самой большой среди всех, Борислав, нынешний Борис, по сути своего имени должен был бороться за своё божественное избранничество. А вот языческое имя Владимир в древности звучало как Володимир, означало буквально “имеющий власть”.

Дошли до нас и языческие имена людей именитых, княжеских посадников и воевод – Добрыня, Горыня, Путята, Вышата. В них тоже вложен сущностный смысл: Добрыня – человек добротный, Горыня – могучий, как гора, Путята – путёвый, правильный, а Вышата – стремящийся к высокому в жизни, к власти и силе.

Народ попроще не мудрствовал в прозывании своих детей. Ребятишек именовали по счёту – Третьяк, Шестак, прятали от сглаза и колдовства, наделяя младенцев странными именами Ненаш, Неждан, Невзор, чтобы не завидовали злые люди и не пожелали им чего плохого. Именовали ребёнка и по той поре, когда он родился – Вешняк, Зима, Осеня.

После Крещения Руси все коренным образом изменилось. Каждому русскому человеку, помимо традиционного славянского прозвища, давалось имя святого, в честь которого он был крещён. Имена крестные были чаще всего неславянского происхождения, греческие (Георгий, Татьяна), древнееврейские (Иоанн, Мария), латинские (Роман, Валентина). И маленький русич жил с двумя именами – семейным и крестным. Крестные имена быстро обрусели. Георгий стал Егором и Юрием, Евдокия – Авдотьей, Михаил – Михайлой, Даниил – Данилой, Евсей – Овсеем, Иоаникий – Аникеем, Анастасия –

Настасьей, Елена – Оленой... Имя означало судьбу человека по благочестивому примеру его святого покровителя. Так что постепенно древние славянские имена отошли в небытие, сохранившись лишь в прозвищах, которые мы сегодня находим в фамилиях: Ненашев, Невзоров, Нежданов, Третьяков, Шестаков, Вешняков, Зимин, Есенин...

Сложная структура русского имени, которое ныне состоит из имени, отчества и фамилии, сложилась не вдруг и отразила всю особость отношения русского народа к своим именам. Посмотрите, как пренебрежительно обращаются со своими именами западные народы. Прежде они величаво брали себе по несколько христианских имен Анна-Мария-Тереза, Жан-Пьер-Густав. А ныне обходятся коротким, вроде собачьей клички – Эн, Джон, Пол, Алан, Ник.

У нас же всё не так. Русские постепенно, из века в век, наращивали свои имена. Сначала у нас долго бытовало одно лишь имя, потом имя с отчеством и прозвищем для бояр и князей, потом имя с отчеством или с прозвищем для всякого, а затем вместо прозвища каждый человек приобретал фамилию к имени-отчеству. И каждый русский человек, простой и высокопоставленный, бедный и богатый, умный и не очень, сегодня именуется обстоятельно и величаво по фамилии, имени, отчеству, неся свою суть в личном имени, память о своём отце в отчестве и почёт своего рода в фамилии.

Для чего нужна наша сложная структура русского имени? Обходятся же западноевропейцы без отчеств, и неплохо себя чувствуют. Русская особая форма имени помогает нам определить своё место в семье, в роду, в нашей стране и в мире. Для нас это значимо, для них – нет. Давайте посмотрим, что значат для нас наши русские имена.

У русского человека имеется личное имя (для различения в семье): Василий, Пётр, Иван... Чаше всего оно употребляется в уменьшительном виде: Вася, Петя, Ваня – так, как нас зовут с детства. У русского человека имеется также отчество – семейное имя человека (для различения его в роду): Иванович, Петрович, Степанович. И обращения Степаныч, Иваныч, Петрович в ходу у русских как знак почтения и солидности. Фамилия – родовое имя человека – выделяет его в общине, в своей стране, так как фамилия – это имя по прозвищу или имени главы рода. Но есть и четвёртая составляющая человеческого имени – имя племенное – наша национальность. Русские выделяют у себя в стране по национальности среди татар, башкир, бурят, евреев, калмыков... Национальность – это часть русского имени, необходимая нам для различения своих и чужих в собственном государстве. И когда в российском паспорте у нас изъята графа “национальность”, у русских тем самым умышленно обкорнали имя, пытаясь замутить значимое для каждого народа различение своих и чужих.

Для международного общения существует иное – особое именование. Вспомним, как ещё в X веке в Константинополе называли себя русскими не только русские витязи, но и варяги, пришедшие вместе с русскими в Византию военным походом, так как было престижно принадлежать к русскому племени, известному в окрестных странах. Так и сегодня бурят или якут, даг или адыг не назовётся в Европе и Америке бурятом или якутом, дагом или адыгом, а непременно скажет, что он russian, чтобы определить свою принадлежность к великому государству русского народа. Точно так же граждане Китая, а там насчитывается более сотни различных народов, представляются как китайцы, а граждане США – того правильного котла народов и рас – как американцы. Всем им престижно принадлежать великой державе, и все они желают как можно определённое выразить своё гражданство.

Процесс прирастания людей иных национальностей к какому-либо великому народу и государству как раз и происходит через присвоение себе имени, сходного по форме с именем титульной нации. У нас в России нерусское имя или прозвище приобретает в таком случае облик и форму русской фамилии.

Давайте разберёмся, какие в нашем языке фамилии – исконно русские, а какие приспособились под русские, русифицировались.

Русские фамилии образуются с помощью особых окончаний: на -ов – Мионов, на -ев – Разуваев, на -ин – Палицын, на -ский – Петровский, на -их – Гладких. Русские фамилии происходят от крестных имен. Егоров, Егоршин, Егорычев, Егорин, Егоркин, даже Горкин – все они ведут своё начало от христианского греческого имени Георгий. Русские фамилии происходят от названий профессий: Кузнецов, Ковалев, Коновалов, Горшенин, Гончаров,

Бондарев, Бочаров, Чекмарев, Топоров, Сапожников, Рукавишников, Кожемякин. Возможны в русском языке и прозвища в качестве фамилий. Борода (видать, выдающаяся была она у человека) и Бородин (потомок этого самого Бороды), Глазун (глазастый товарищ) и Глазунов (из рода того Глазуна), Кривуля (что значит – одноглазый) и Кривулин (потомок одноглазого), Щербак (беззубый) и Щербаков (сын щербатого), Базан (этот отличался крикливостью) и Базанов (потомок крикуна). Или вот прозвище Шемяка – и фамилия Шемякин, их сложнее определить: оказывается, ши-мяка – “тот, кто мнет шею”, то есть забияка, драчун. Были на Руси и Рожемяки, те, кто не прочь намять не только шею, но заодно и рожу.

Русское прозвище било не в бровь, а в глаз, метко, жёстко, безжалостно высвечивало и высмеивало недостатки человека, как бы предупреждая окружающих о неожиданностях, которые ждут их при общении и делах с носителем такого прозвища. Ведь это же надо догадаться прозвать человека Гузном, а таких Гузновых, Огузовых, Гузких, Гузеевых немало бродило по Руси. Гузно, Гузка, Огузок – это зад, и прозывание таким имечком свидетельствовало о мерзейшем характере его носителя. Или вот Крысин, Крысюк, Крысько, понятно, что произошли от прозвища Крыса. И какой же надо было быть крысой, чтобы прилипло к тебе это противное прозвище!

Однако немало родовых фамилий достойно гордости и чести, не даром говорилось детям: не посрами фамилию, береги честь смолоду. Давайте проследим, как формировалась наследственная фамилия боярского рода Романовых, давших России трехсотлетнюю царскую династию.

У истоков этого генеалогического древа – выходец из русского рода Литвы Андрей по прозвищу Кобыла, потомок Ивана Камбилы, переименованного в более понятное русское прозвище Кобыла. Это прозвище не было унаследовано сыновьями Андрея Кобылы, они приобрели свои собственные прозвания, в том числе Семён Андреевич по прозвищу Жеребец и Фёдор Андреевич по прозвищу Кошка. Сын Семёна Андреевича Александр стал Жеребцовым, но имел и собственное прозвище Синий. Сын Фёдора Кошки Иван стал просто Кошкиным, а его внук Захар Иванов Кошкин положил начало новой фамилии того же рода – дети и внуки Захара стали прозываться Захарьиными. Внук Захара Роман дал новое имя своим потомкам, они уже именовались Романовыми: Никита Романович, его сын Фёдор Никитич Романов и его внук – первый царь династии – Михаил Фёдорович Романов.

Иногда бывает, что фамилия, по форме русская, происходит от местных названий – от деревни, поместного владения или города, где проживал человек. В старом фонде русских фамилий мы найдём лишь немногочисленные старинные дворянские прозвания: Борисоглебский, Печерский, Краснопольский. Сохранились и подобные фамилии духовных лиц – священников, дьяконов, дьячков, пономарей, их называли по именам приходских церквей, где те служили: Успенский, Рождественский, Предтеченский, Покровский.

Но вот среди массы русских фамилий лингвисты выделяют целые пласты иноязычных родовых имён, приобретших русский грамматический облик. Так среди относительно недавно документированных фамилий встречается очень много образований от местных названий – от городов и местечек, и это обычно еврейские фамилии географического происхождения. Фамилии Варшавский или Одесский исключительно еврейские, обозначающие лиц, прибывших из Варшавы или Одессы.

Иноязычная по происхождению фамилия, замаскированная под русскую, безошибочно указывает на нерусское происхождение её носителя. Выделим наиболее известные иноязычные корни в составе русифицированных фамилий России. Очень существенен в составе фамилий России польский элемент: Пржевальский, Циолковский, Врубель... Эти знаменитые люди из обрусевших польских родов. Белорусские отголоски найдём в фамилии Гастелло. Сербские истоки обнаружим в знаменитых фамилиях – Вучетич (вуче по-сербски – волчонок), Гурко (Гурк – правитель сербский из Гургий).

Фамилии тюркского происхождения в русской истории бытуют во множестве. Это Аракчеев, Деникин, Бегичев, Коллонтай, Куинджи, Шахматов, Юсупов, Шереметьев. Карамзин, Аксаков, Баскаков, Басманов, Мурзин.

Особая история с немецкими фамилиями в России. До XVIII века немецкие фамилии подвергались нещадной русификации, изменялись до неузнаваемости. Булахов, а также Булаховский – это географическое название района

Булах в Баварии. Носитель такой фамилии – из немецкого рода выходцев из тех земель. Миллеров, Крамеров, Шольцев – корни этих фамилий немецкие. Но в XX веке, особенно во времена двух мировых войн, их число в России резко сократилось. И если в современных источниках мы встретим немало немецких по форме фамилий, то это в большинстве еврейские фамилии. Ведь новоеврейские фамилии образуются в немалой части из генетически немецких элементов.

Оригинальный тип среди еврейских фамилий составляют фамилии-аббревиатуры. Кац, Катц или Коц не имеют никакого отношения к немецкому названию кошки. Они образованы из начальных букв ритуального титула, по-древнееврейски *kohenedek* – “жрец-праведник”. Многие еврейские фамилии представляют собой образования от личных имен. Например, Орлик – от Арон, Носик (Носсек) от Натан (Насан).

Значительное количество еврейских фамилий происходит от названий занятий, как традиционных профессий, так и культовых функций. Каган, Каганов, Каганович, Коган, Когановский, Коген по происхождению из древнееврейского – “жрец, священнослужитель”. Левит, Левитин, Левин, Левитан – тоже от еврейского “священнослужитель”. Сагалов, Шагал, Шагалов, Сагалаев, Сегалов, Сигалов, Сигаль – все эти слова имеют общую основу, составленную из начальных букв культового термина *seganlevieh* – “левит, слуга, помощник левита”.

Фамилии Шапир, Шапиров, Шафиров, Сапгир, Сапфиров происходят от древнееврейского корня женского имени Сапфира – “Прекрасная”. Перец, Перетц – из обозначения еврейского обряда обрезания. Под фамилией Викторов, а ещё и Вигдоров скрывается еврейское имя Авигдор, Абигдор, происходящее из португальского “судья”.

Русификация фамилий у евреев заходит достаточно далеко. Так же, как они меняют имена, преобразуя их в подобные христианским, – Борух становится Борисом (древнерусское имя Борислав), Гершель превращается в Григория или Георгия, Мойша мимикрирует в Михаила, как и фамилия Мендель превращается в Медведева, Соломонкин – в Соломкина, Шлёмов – в Шеломова.

На примере еврейских фамилий хорошо видно, как в культуре России происходило приращение людей иного рода-племени к другой нации и культуре через именованье, путём приспособления их родовых имён к русским условиям бытования. Бывало, конечно, что вслед за приспособлением имени сам выходец из чужого рода-племени постепенно обретал русское самосознание и постигал русскую культуру. Чаще всего в России это происходило с немцами, поляками, французами и итальянцами, умевшими и хотевшими деятельно, верой и правдой служить нашей стране. Но не все народы способны вращаться в нашу нацию безболезненно для русских.

### **“ТРОЯНСКИЙ КОНЬ” ЧУЖЕЯЗЫЧИЯ**

Чужие, мимикрирующие под русских, вносят в наш язык свои представления и устои, которые могут отчасти менять русскую языковую картину мира, образуя в ней искажённые чужими архетипами образы.

Об этом пагубном влиянии предупреждал ещё в начале XIX века великий русский просветитель А. С. Шишков: “Каждое вводимое в употребление чужезычное слово не только отнимает у разума свободу и способность распространять и усиливать свой язык, но приводит язык и разум в бессилие и оскудение”.

Бессилие и оскудение языка, а через него и разума приводят к оглуплению, отуплению нации, к неспособности человека опознавать за иноязычными словами замаскированную ими суть. В начале XIX века вместе с бежавшими от революции французами в России явилась мода на французский язык, который стал “знаком отличия” дворянского сословия от “тёмного и невежественного” народа. Французские слова, французские обороты речи наводнили высшее общество. Формы обращения, приветствия и прощания, весь языковой обиходный ритуал, соединявший наш народ вне зависимости от сословий и состояний в одно целое, стали у элиты особыми, иноязычными, уродуя мировосприятие дворянства и лишая его чувства братства со своим народом.



И тщетны были мольбы А. С. Шишкова, убеждавшего высший свет в великой опасности увлечения чужим языком. Приведу его слова в их убедительной полноте, ныне они звучат весьма современно: “Сами французские писатели изображали нрав народа своего слиянием тигра с обезьяною; а когда же не был он таков? Где, в какой земле самые гнусные преступления позволялись обычаями и законами? Взглянем на адские, изрыгнутые в книгах их лжемудрствования, на распутство жизни, на ужасы революции, на кровь, пролитую ими в своих и чужих землях: и слыхано ли когда, чтобы столетние старцы и не рождённые ещё младенцы осуждались на казнь и мучение? Где человечество? Где признаки добрых нравов? Вот с каким народом имеем мы дело!.. Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливая к нам яд свой и, наконец, нас же за нашу к ней привязанность и любовь уязвляет. Не постыдимся признаться в нашей слабости. Похвальнее и спасительнее упасть, но восстать, нежели видеть свою ошибку и лежать под вредным игом её. Опаснее для нас дружба и соблазны развратного народа, чем вражда их и оружие... Очевидный, исполненный мерзостей, пожарами Москвы осиянный, кровью и ранами нашими запечатлённый пример должен нам открыть глаза и уверить нас, что мы одно из двух непременно избрать должны: или, продолжая питать склонность нашу к эгоистическому народу, быть злочестивыми его рабами; или, прервав с ним все нравственные связи, возвратиться к чистоте и непорочности наших нравов и быть именем и душою храбрыми и православными русскими”.

Призыв А. С. Шишкова к очищению языка и нравов от французского влияния не возымел действия на русский высший свет. Восстание декабристов высветило всю пагубность этого влияния. Брожение умов и разложение нравственности в продолжение всего XIX века имели ту же самую чужезычную закваску. А потом в XX веке повторились на русской земле все ужасы кровавой французской революции: царь с царской семьёй — на плахе, поруганная вера, разрушенные храмы, младенцы, осуждённые к смерти в утробах матерей...

Сегодня слова А. С. Шишкова вновь звучат для нас современно и своевременно. Только касаются они англоязычного мира, захватившего Россию в свои лукавые сети. Не спеша, исподволь начиналась англоязычная мания. Сначала среди европейских языков, изучаемых в средних школах, стал самым популярным и востребованным английский. Возник бешеный конкурс в институты иностранных языков на переводческую специальность, хотя эта профессия относится исключительно к сфере обслуживания и сродни должности водителя, охранника и повара. Замелькали интервью побывавших в Америке, что-де “американцы очень похожи на нас, русских, такие же открытые, общительные, радушные люди”, что это “умный, спортивный, чрезвычайно предприимчивый народ, который свято верит в Бога, чтит свободу превыше всего, уважает чужие ценности”.

Сегодня мы, как и А. С. Шишков когда-то, принуждены признать, что были жестоко обмануты и, по простодушию своему, прижали к груди змею, впрыснувшую в нас свой зловредный яд. При ближайшем знакомстве с Америкой и американцами выяснилось, что они оказались крайне не похожими на нас. Язык английский хранит архетипы завоевания и стяжательства, а в идеалах американцев заложены себьялюбие и крайний индивидуализм. Злонамеренной ложью оказалась даже пресловутая “спортивность” и “деловитость” американцев, позорящих свою страну непомерной жирностью и паразитизмом жизни, а равно и глупостью, сопутствующей этим порокам. Но даже сегодня, когда пелена упала с наших глаз, мы продолжаем по инерции плутать, путаясь в старых сетях американских понятий, навязанных нам одновременно с болезненной манией любви к Америке.

Демократия, что так манила в конце 80-х годов, либералы, которые были властелинами дум в 90-е, правовое государство, которое оправдывало в конце XX века разрушение “империи зла” — нашей великой державы, — ныне уже истлевшие фетиши, которые народ метко перетолковал, сообразуясь с собственным опытом жизни: демократия прозывается дерьмократией, либералы — либерастами... Хитроумно внедрённая в нашу экономику приватизация обличена опамятававшимся народом как прихватизация, но обесцененные эти слова, словно троянские клячи, протаскивавшие в наше сознание

разрушительные для нации понятия, сменились новыми заимствованиями из американского лексикона. *Общечеловеческие ценности, толерантность* и угроза *ксенофобии* придавали всплески русского национального самосознания, термины *приватизации* и *инвестиции* маскируют преступления власть имущих, выражения *мировое сообщество* и *гражданское общество* прячут от нас диктатуру мирового правительства, проводником которой является так называемая российская элита, обслуживающая интересы глобализма.

Называть всё это своими именами трезво и честно мыслящим людям удаётся, но натиск американомании столь массивный и всеохватный, что глупцы не успевают разобраться в опасной сути маскирующих враждебные действия слов и продолжают глупеть дальше.

Ещё один пример того, как пагубно могут влиять чужеродные слова на нравственное состояние нашего народа. Благодаря влиянию их в СМИ разошлась по Руси страшная для русской души матерная ругань. Что такое мат? Открытое именование детородных органов, что издревле в русской среде считалось признаком наглости, нечистоты. Само слово “наглый” означало человека, способного обнажиться, явиться нагим на людях. Наглого русские с брезгливостью сторонились, как нарушившего завет целомудрия. Матерная брань – намеренное оскорбление человека клеветой. Это объявление в нецеломудрии не только его самого, но и его близких, родных. Нас часто пытаются убедить что матерщина-де возникла в глубокой древности и не имела, да и сегодня не имеет оскорбительного смысла, что-де русские люди были просты, как дети, их плотские отношения были беспорядочны, и это-де зеркально отразилось в языке. *Ложь!* Намеренная ложь с целью порушить в наших душах остатки чистоты!

На протяжении тысячелетий отношения в семье у славян и русских были основаны на строгой верности. Блуд наказывался лютой смертью или, в лучшем случае, битиём. Блуд являлся несмываемым позором для всего рода. До сих пор сохранилось оскорбительное наименование “ублюдок”, то есть рожденный в блуде. Даже намёк на блуд – оскорбление. А матерщина – это уже не намёк, это обвинение, это бесчестие семье и роду оскорбляемого.

Существуя на самой дальней периферии языка, эти запретные в быту слова вспоминались русскими очень редко. Но в считанные десятилетия XX века они заполнили разговорную речь, разойдясь сначала в среде мелких ремесленников и торговцев, затем попали в рабочие и солдатские казармы, оттуда перекочевали в крестьянские семьи. Специфика матерной брани в том, что она, будучи словом нечистым и запретным, несёт на себе огромный заряд злой энергии. Именно поэтому ею удобно было пользоваться всякому, кто хочет и не может выразить точным, образным, энергичным словом свою мысль, и заменяет её словом матерным, буквально разговаривая матом.

Ещё одно чуждое нам, пагубное языковое явление – криминальный жаргон. Жаргон – специальное наречие преступного мира, скрывающего за непонятными для непосвящённых словами свои тайные, опасные для окружающих намерения и планы. Такой жаргон называется блатным. А кто себя именует блатными? Сегодня это уголовный мир России без разбору народов и сословий, но само слово “блат” имеет давнюю историю. Оно ведёт своё происхождение из идиша, еврейского жаргона немецкого языка. “Блат” означает “кровь”. Так, с советских времён сохраняются у нас выражения “доставать по блату” или “у него там блат”. “По блату достать” – это когда твои единокровные тебе помогают добыть желаемое, а “иметь блат” – это когда в нужном месте в нужное время встречаешь своего, и он опять же тебе помогает. Когда уголовников называют “блатными”, тоже понятно, ведь они повязаны между собой кровью, только не собственной, а кровью своих жертв. Из блатного жаргона пришли в русский язык многие слова, которые сейчас кажутся вполне безобидными, на самом же деле они имеют оскорбительный смысл. Так, из блатного жаргона мы восприняли слово “быдло”, польское по происхождению, оно означает “скот, приуроченный к убою”. Жаргон вбросил в общее употребление и слово “лох”, оно тоже заимствовано из польского, где “льоха” означает “свинья”. Ребятишек на жаргоне называют “пацаны”, что в переводе с идиш означает “рабы, слуги”. Всё это попытка унижить и оскорбить, причём совершённая в тайне от непосвящённых. Блатной жаргон – не только и не столько язык, недоступный непосвящённым, сколько тайное оскорбление непосвящённых.

Уже эти явления – матерное сквернословие и блатной жаргон, и карточное поругание христианства, ставшие, как это ни прискорбно, принадлежностью русского быта и обживающие тихой сапой русскую культуру, – показывают, что мимикрия чужаков, не изменивших в русской среде архетипов своего прошлого мышления, оборачивается для русского народа тяжёлыми духовными болезнями, исцеление от которых требует времени и огромного напряжения национальных сил.

А чужаки, внедрившись в культуру, обосновавшись в политике, подделываясь под русских в быту и языке, торопятся для укрепления своих позиций в России навязать нам новые определения русского народа. Русские, – убеждают нас лукавые пришельцы, – это те, кто знает русский язык. Русские, – настойчиво внушают нам чужаки, – это все, кто живёт в России и считает её своей Родиной, и потому возможны русские буряты, русские калмыки, русские евреи... Натиском подобных, противоречащих науке и жизни внушений у нас отнимают главные признаки русскости – русскую кровь, русскую породу, русскую картину мира, русский тип поведения, размывают чёткие, выработанные тысячелетиями границы между своими и чужими, превращая Россию в плавильный котёл для выведения новой человеческой породы – россиянской. Наш дух противится этому, и надежда воскресения угасающих русских сил – наш язык, который, вопреки внешней экспансии, способен воспитывать и растить новые поколения истинно русских людей.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

## ВИХРИ РУССКОЙ МЕЧТЫ

### Одухотворённый Ямал

*Полярная звезда, её северный мистический свет влекут к себе русского человека, влекут своей тайной, своей красотой, своей мечтой, своей великой надеждой на идеальное, справедливое божественное бытие.*

Русские люди – это очарованные странники. Они очарованы великой родиной и великой мечтой, не только земной, но и небесной. Стремятся за линию горизонта, на край света. Туда, где, по их представлению, – благодать, жизнь без зла, без насилия, райские кущи. И такой землёй для русского человека был Север, загадочный, таинственный, влекущий своим полярным сиянием, своей неугасимой Полярной звездой. И они шли на Север – промысловики, первопроходцы, геологи. И дошли туда, где их ждало чудо.

И вот я на Ямале – среди неоглядных разливов, среди льдов, среди пронизывающих ветров, на кромке Ледовитого океана. И вот оно, ямальское чудо – завод по сжижению природного газа, СПГ. Грандиозный красавец полярных сияний. Этот завод в разобранном виде везли сюда по Северному морскому пути из Китая. Там его создавали – и по частям, по модулям грузили на колоссальные сухогрузы, и те в сопровождении ледоколов медленно пробирались через полярные широты. Причаливали к приготовленным пирсам, драгоценный груз переносили на гигантские многоколёсные платформы и тихо, осторожно, чтобы не продавить мерзлоту, везли на стройплощадки. Потом эти модули, похожие на пучки огромных стальных лучей, сгружались, ставились на мерзлоту, собирались, свинчивались, состыковывались, – и так возник чудесный завод. А рядом с ним – великолепный, прекрасный, точный, похожий на кристалл вахтовый город. По такой же технологии будут собираться на Луне лунные поселения, доставляемые сверхтяжёлой ракетой.

Дмитрий Анатольевич Фомин, хозяин всей этой стройки, принимавший самые первые модули, рассказал, как созидалось это чудо. Чудо, казавшееся невероятным для этих ледяных пространств, где зимой температура 50 градусов ниже нуля, а ветры с океана могут свалить с ног человека. В сражении с мерзлотой и с запасом прочности не только на весну, но и на климатические изменения, когда всё вокруг начнёт таять, сдвинется – и тысячетонные конструкции могут уйти в землю, в воду, в тундру. Каждый момент воздвижения завода требовал своего, пусть самого маленького, но открытия. Небольшого, но откровения. Здесь по-особому погружались в мерзлоту особые сваи, по-особому из особого бетона отливались огромные резервуары, куда

---

Продолжение. Начало в №1-3 за 2019 год.

стекал сжиженный газ, дожидаясь разгрузки. Здесь по-особому осваивают месторождения, по-особому ведут бурение, запуская под землю целый пучок, целый куст расходящихся скважин. И человек своей железной рукой осторожно шарит в подземелье, нащупывая могучие карманы с газом. Этот газ подаётся на завод, очищается, из него выделяются сопутствующие ему смеси, концентрат, конденсат. Он проходит через гигантскую криогенную установку, через реактор, где превращается в жидкость и откуда потом насосами подаётся в колоссальные цистерны и хранится там до прихода танкеров. И эти танкеры уже движутся к Ямалу с востока и запада по Северному морскому пути. Одни уже проходят Берингов пролив у Аляски, другие – только что отчаливают от Испании, куда они перекачали запасы газа, и движутся к порту, где океан ещё весь во льдах, где, поджидая караваны газозовозов, темнеют в отдалении ледоколы, дизельные и атомные.

Этот завод – национальное богатство. Но не меньшим, а то и большим богатством является коллектив, обеспечивший создание этого газового гиганта. Этим людям искали по всей России, отбирали, проводили тесты на их знания, умения, на их нравственные качества. Двадцатитысячный коллектив работающего и продолжающего строиться предприятия – люди великого трудолюбия, великой удали и даже молодечества. Люди колоссальной дисциплины и артельной коллективистской этики.

Игорь Олегович Часнык, руководящий производством, рассказывал, что создание здесь, среди этих полярных сияний, невыносимой мерзлоты и мороза, такого коллектива – огромный социальный труд, которого нам так не хватает в обычной жизни. На Севере один человек – ничто. Он погибнет, исчезнет. Выжить здесь можно только вместе, в братстве, помогая друг другу, принося самого себя в жертву за други своя.

Вахтовый посёлок – чёткий, кристаллический, красивый, где нет ничего лишнего, являющий собой фабрику для жилья. Здесь тепло, есть вода, электричество, комфорт, даже спортивные сооружения. Этот посёлок на 20, а то и на 40 дней принимает упрямых, дееспособных людей, истосковавшихся по настоящему делу, по крепким заработкам, по артельному коллективному труду, которым всегда была славна Россия. Наша Арктика сегодня – поражающая своими углеводородными богатствами, открывающая русским людям сквозь льды Северный морской путь, куда спускаются один за другим атомные ледоколы. Эта кромка Ледовитого океана является и рубежом обороны, где ставятся сверхмощные и сверхдальние радиолокационные станции, способные обнаружить противника по ту сторону полюса. Арктика сегодня является фабрикой нового русского человека. Не того “нового русского”, который явился после крушения Советского Союза и испугал весь мир своим безумием, расточительством, чванством и никчёмностью. А того нового русского человека, который является вечным русским человеком, исконным русским человеком, открывателем, создателем, героем, тружеником и великим удалцем, ибо он совершает здесь, в полярных широтах, огромное, важное, богатое русское дело. И эти люди, отработав здесь свои вахты, вернутся в Центральную Россию, обветренные арктическими ветрами, готовые к великим делам. Лучшие строители, лучшие управленцы, лучшие политики.

Генеральный директор завода Евгений Анатольевич Кот с упоением творца и большого хозяина рассказывал мне про абсолютно новую отрасль экономики, когда на смену дорогостоящим газопроводам приходят газозовозы, везущие сжиженный газ к местам потребления. Как странно здесь выглядят утверждения некоторых экономистов и промышленных стратегов, с презрением говорящих о газовой и нефтяной “игле”, на которую якобы села Россия. Пусть другие страны попробуют сесть на такую иглу, создать арктическую углеводородную цивилизацию. Она – результат великих технологий, великой науки, связанных с землёй, с людьми, с металлом, с химией. Это вершина экономики, способной освоить месторождения, не потерять при этом ни капли нефти, ни кубометра газа, обеспечив сохранность и чистоту окружающей среды, способной отыскать мировые рынки, где были бы употреблены эта нефть и этот газ. Выиграть схватку за эти рынки с другими нефтегазовыми державами. Первая линия завода работает вовсю, на полную мощность. Собирается у меня на глазах вторая могучая линия. Ещё немного – и через неё тоже пойдёт газ к пирсам. Уже монтируется третья линия, под которую делают расчёты финансисты, считая выручку, которую даст эта третья линия.

Но это ещё не всё. В программе – и четвёртая линия завода. Причем эту линию не привезут из Китая, с чужих заводов и верфей, – она будет создаваться здесь, в России. Уже разработаны технологии, найдены соответствующие производства, распределяются заказы, заполняя рабочие места и давая дополнительную жизнь всей современной российской индустрии. Здесь наглядно видишь, как выполняются майские указы президента, хотя на Ямале мало говорят о политике.

А ещё – развитие цифровой экономики, создание цифросферы, без которой невозможно было бы управлять этим огромным производством: от глубокой тундры, где стоят буровые, до огромного, днём и ночью функционирующего завода, с его сложнейшими технологическими процессами, до океанского порта с множеством пирсов и обслуживающих их ледоколов. Только взвешивая цифра, только компьютерная сеть способны синхронизировать это огромное производство. О каком ветхом жильё можно говорить в Сабетте, если по своему качеству, по наукоёмкости, по комфорту, по эффективности этот город напоминает лунное поселение? Вот – ничего нет. Но вот всё возникло – словно одним ударом, одним чудесным мановением жезла! Порт Сабетта, о котором ещё недавно мало кто знал, сегодня стал одним из самых восхитительных, самых важных мест России.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа – 30-летний Дмитрий Андреевич Артюхов, – должно быть, самый молодой из глав регионов России. Мы говорим: необходим рывок, рывок в будущее. Вот он, этот рывок. Губернатор – человек-рывок. Когда совсем недавно его предшественник и наставник, Дмитрий Николаевич Кобылкин, человек огромного опыта, потрясающего темперамента и настоящей северной закалки, ушёл в Москву, чтобы занять пост министра природных ресурсов и экологии всей России, здесь его сменил Артюхов. Подвижный, умный, страстный, темпераментный, владеющий английским языком, поработавший в Сингапуре и познавший тайны современного западного управления, правила мировых рынков, он – плоть от плоти этих северных мест. Не чужак, не карьерный губернатор. Он – преемник в самом высоком и прекрасном смысле этого слова. Он работал рядом с Кобылкиным, усвоил его философию, воспринял его стратегическую доктрину. И теперь, исполненный сил, на волне арктического ренессанса, продолжает его стратегический проект “Арктики XXI века”.

Этот проект грандиозен. Он включает в себя продление железной дороги – той, что ведёт через Северный Урал от Воркуты, от уральских экономических районов на Восток, к Салехарду, к Оби, не достигая порта Сабетты всего на пару сотен километров, – продление этого пути к комплексу “Ямал СПГ”, чтобы сюда быстро и надёжно доставлялись грузы с могучего Урала, со всей европейской части России. И вторая железная дорога, которая подходит к Оби с востока, соединяя Лабытнанги с северной Сибирью: Надымом, Новым Уренгоем и дальше, до Игарки на Енисее. И мост через Обь, который должен соединить Лабытнанги и Салехард, одновременно будет железнодорожным мостом, создающим этот “полярный Транссиб”, Северный широтный ход, соединённый железными нитями рельсов с портом Сабетта и растворяющийся в необъятных просторах Северного морского пути. В этом – будущее Ямала. В этом – его новая стратегическая роль в развитии России. В этом – осуществление старинных, давнишних, задуманных ещё в дореволюционные времена и частично осуществлённых в сталинскую эпоху стратегических замыслов по освоению и развитию Русской Арктики. Этот проект уже осуществляется. Проведены все расчёты, одобрен проект моста через Обь, найдены инвесторы. Реализации этого проекта будет посвящена вся дальнейшая деятельность молодого губернатора. Он продвигает этот проект, стремится убедить Центр в его стратегической необходимости.

Я провёл вместе с Дмитрием Артюховым несколько дней: в машинах, вертолётах, на строительной площадке Сабетты, в чумах ненецких стойбищ, среди оленьих стад, среди интеллигенции Салехарда... Мы говорили с ним о мечте, о великой русской мечте и о том, как эта мечта проявляется здесь, на Ямале, о ямальской мечте.

Конечно, это мечта благоустроить свой дом, свой очаг, свою землю. И нынешнему поколению русских людей, живущих на Ямале, уготована вечная русская миссия – осваивать эту планетарную неудобу, осваивать эти тундры и льды, вводить их в обиход не только русской цивилизации,

но и всего человечества. Конечно, это – мечта о добром достатке, о прочном домашнем очаге, о том, чтобы работа приносила не только честный заработок, но и глубокое внутреннее утешение. Ибо русский человек соскучился по настоящей работе, он соскучился по большим проектам. И сегодня Россия реализует два таких грандиозных проекта. Один – южный, крымско-средиземноморский. А второй – здесь, на Ямале и в Арктике, огромный северный проект, проект Полярной звезды. И эта Полярная звезда, её северный мистический свет влекут к себе русского человека, влекут своей красотой, своей мечтой, своей великой надеждой на идеальное, справедливое божественное бытие. Ибо эта надежда и эта мечта помогали русским людям преодолевать самые страшные чёрные ямы русской истории. Помогали на месте погибающего государства создавать новое – сильнее и краше прежнего. Помогали выигрывать самые крошечные на земле войны, в том числе – и последнюю, Великую Отечественную. Помогали одолеть уныние, печаль, страшные напасти, которые падали на голову русского человека, которые могли озлобить его, настроить раз и навсегда против своего государства, сделать вечно недовольным и бунтующим “протестантом”. Люди Ямала – это великие государственники. Чем бы они ни занимались – строили дорогу, бурили мерзлоту или отправляли караваны по Северному морскому пути, – они понимают, что делают великое, вечное государственное русское дело. Отсюда, с Ямала, эта государственная энергия, это государственное проектирование, несомненно, распространятся и на всю остальную Россию. Губернатор Артюхов увлечён своим новым делом, увлечён своим творчеством. Он хотел бы, чтобы здесь, на Ямале, появился свой летописец, свой художник и писатель, который смог бы написать восхитительную летопись о нынешней ямальской действительности, где родились и продолжают рождаться герои нового времени, где в сполохах полярного сияния, в огнях новых промышленных центров и городов бушуют невиданные раньше конфликты, где таятся и уже выходят на свет новые потрясающие сюжеты. Когда появится здесь такой молодой, озарённый творчеством писатель, он непременно напишет свой роман о ямальской мечте, о мечте Полярной звезды.

Природа Ямала – грандиозная, необъятная. Когда весной разливаются Обь, то кажется, что эта вода, которая идёт от горизонта до горизонта, – настоящий океан, в котором отражается тусклое полярное солнце. Летишь на вертолёт над тундрой – и внизу нет следов ни одной дороги, ни единого человеческого селения. Колоссальная пустыня, уходящая за горизонт. Стоишь на берегу летнего океана – в это время в России цветут луга, благоухает разнотравье, летают бабочки, стрекозы, крестьяне выходят на свои сенокосы. А здесь – льды: синие, коричневые, вплоть до самой кромки горизонта. Порой с вертолёта видны странные круглые озера, словно прочерченные циркулем. Это заполненные водой кратеры, которые образуются от выбросов подземных газов. И вспоминаешь строки Шекспира: “Земля, как и вода, рождает газы. И это были пузыри земли”. Газ, десятилетиями скапливаясь в глубинах вечной мерзлоты, находит выход наверх и вырывается на поверхность, разбрасывая вокруг тундровую землю. Такие выбросы очень опасны для обитателей тундры. Их источники могут быть настолько сильны, что если такой прорыв произойдёт по соседству с оленьим стадом, то погибнут и люди, и олени. Это часть мощной планетарной энергии, показывающей, что сфера жизни на самом деле является очень хрупкой, уязвимой и тонкой. Единичный вездеход, проехавший по тундре, оставляет рану, которая не зарастает в течение десятилетий. Так и проходит по тундре этот мучительный чёрный рубец. Нашествие людей, пришлых охотников и рыбаков на горную речку, где нерестится сиг, выбивает всю эту рыбу, уничтожает её нерестилища. И рыбы, которой прежде кишели северные реки и Обь, становится всё меньше и меньше, иные виды почти исчезли.

В Арктике, одна страшнее другой, громоздятся свалки от побывавших здесь когда-то геологических экспедиций или пограничных застав: горы ржавого металла, бочки от топлива, обрывки кабелей. . . Вся эта колоссальная, скопившаяся чуть ли не за полвека помойка превращает драгоценные хрупкие заповедные места в Арктике в места погубленные, неживые и отвратительные. И потому сегодняшнее освоение наших полярных пространств ведётся не теми подрывными и крошечными способами, которые бытовали здесь ещё несколько десятилетий назад. В Арктике прибираются, Арктику

чистят. Металлический мусор с береговой кромки свозится в одно место и оттуда баржами отправляется в Мурманск на переплавку. Сегодня арктическим поселениям, в том числе и в Сабетте, строго-настрого запрещено устраивать какие-либо свалки или помойки. Все отходы грузятся и вывозятся в места их складирования далеко от тундры. Все работающие здесь компании: нефтяные, газовые, железнодорожные – обязаны отчислять и отчисляют специальные деньги в региональный бюджет для восстановления природы. Экология на Ямале – не пустое слово. Завод СПГ Сабетты как своё продолжение, на деньги компании “Новатэк”, построил рыбовоспроизводящий завод, даже более изысканный и совершенный, чем само главное производство. Здесь выращивают мальков ценных сиговых пород и выпускают их в реки. Цивилизация, наносящая огромный вред природе, если она стоит на службе экологического сознания, экологической этики, способна и вернуть природе утраченные силы.

Но рядом с этими арктическими стройками, дорогами, мостами, тысячами летиями живут исконные северные народы: ненцы, ханты, селькупы. Они находятся под особой опекой, под особым, тонким и чутким, покровительством местной власти. Заместитель губернатора Александр Викторович Мажаров сопровождал меня в моих путешествиях по тундре. Его глазами видел я жизнь ненцев, этого удивительного народа, насчитывающего несколько десятков тысяч человек, кочующего по тундре и умеющего вписаться в долгие полярные ночи и белые летние негасимые солнечные дни. В лютые страшные морозы, от которых лопаются сталь, конструкции, и жаркое горячее солнце лета. Их поверья, их быт, их привычки завораживают, открывают бездонную глубину и гармонию, в которой живёт с природой здешний человек, и благодаря этой гармонии выживает. Чум – не просто “машина для жилья”, как понимает функцию своего обиталища сегодняшней цивилизованный человек. Чум – это место, где рождается ребёнок, где заключаются браки, где присутствует божество, которое покровительствует семье и роду. В чуме священо всё: и жерди, из которых он сложен, и олени шкуры для зимы, и берёста для лета, и очаг, лежки и занавески, и православная икона в углу, и дивной красоты языческий орнамент на рукодельной одежде. Олень здесь – священное животное. Он греет, кормит, переносит местного человека на огромные расстояния. Стойбище – это мобильное поселение, которое уходит от морозов и бескормицы, перемещается с одного пастбища на другое. У селькупа, ненца или ханта – космическое мышление, ибо они двигаются вслед за солнцем. А солнце здесь или поднимается в зенит, уже не заходя за горизонт в течение летних месяцев, или уходит куда-то далеко во тьму крошечную, долго-долго не появляясь над землёй. И жизнь тогда идёт среди сполохов северных сияний и мерцания звёзд. Но в чумах стоят телевизионные антенны, слышен несмолкаемый стук дизельного генератора, электричество которого даёт людям тепло и свет. В каждом стойбище есть рация, по которой можно в любой момент вызвать вертолёт с врачом, отправить в больницу пострадавшего, а в родильный дом – роженицу. Ненцы не являются исчезающим, умирающим народом. Напротив, они увеличивают свою численность. И среди них – множество интеллигенции. Ненцы оканчивают университет в Петербурге и приезжают на Ямал, становятся учителями, врачами, главами округов, посёлков, работают в областной администрации и в бизнес-структурах.

Но ядро народа не хочет сливаться с цивилизацией, как не хочет подчиняться стальным железнодорожным путям или вертолётным площадкам сама мать-природа. Ненцы, как многие другие наши народы, – это колоссальное достояние сегодняшней державной России. Каждый из них, пусть самый маленький, держит над собой свод местного космоса, не даёт ему упасть и разрушиться. Он вносит в наше рациональное сознание полузабытые или совсем забытые представления о природе, о духах неба, воды и ветра, представление о жизни, которая присутствует везде: в человеке, в олене, в камне. И это сознание коренным образом отличается от современного экологического сознания. Это нечто большее, это сознание мы вправе назвать благоговением перед жизнью. И чем дальше мы будем углубляться в цифровую реальность, в цифросферу, тем драгоценнее будет для нас это сознание, как драгоценен плод, который не знает, что такое семя, как драгоценен звук, который рождён из шума ветра или плеска воды. Россия, имперская, державная, состоящая из множества народов, культур и верований, тем и восхитительна, что



включает в себя множество красок, множество направлений, множество самых разных духовных форм, делающих её такой неповторимой и бесконечной. И на Ямале, как нигде, чувствуешь эту красоту, эту бесконечность. Ибо русская мечта — это и ненецкая мечта, и мечта ханта, и мечта селькупа, это мечта о благополучии, о благе своего народа и рода людского, о божественной справедливости, соединяющей человека и оленя, атомный ледокол и хрупкую рыбу в горной реке. Это мечта о божественной гармонии, о божественной симфонии.

На окраинах Салехарда, на краю реки, стоит деревянная крепость, острог, огороженный частоколом, а внутри него — храм, собранный из сосновых венцов, с горницами, с кузницей, — своеобразное поселение, созданное любовью и фантазией местных краеведов в память о первопроходцах, о тех казаках, которые когда-то в поисках легендарного Беловодья пришли сюда, в неведомые земли, и поставили здесь православный крест. И сегодняшние ямальские казаки — всё те же мудрые, энергичные, мирные русские люди, которые отслужили в армии, на пограничных заставах, на великих заводах и стройках, а теперь здесь, на Ямале, собрались в своё казачье братство, поблескивают серебряными и золотыми погонями, поют свои залихватские казачьи песни, обучают молодёжь, одевая своих сыновей в камуфляж, раздавая им шапки. Тут, среди этих золотистых срубов, хорошо поговорить за чашкой наливки о русском удалстве, о русском очарованном страннике, который очарован своей великой и загадочной родиной. Очарован русскими небесами, очарован долговечной русской мечтой. “Любо, братцы, любо...” — поётся в казацкой песне. “Любо — Ямал!” — вторит этой песне душа.

## ЯМАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

*Беседуют Александр ПРОХАНОВ и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий АРТЮХОВ*

**Александр ПРОХАНОВ:** Дмитрий Андреевич, сейчас одно из самых распространённых слов — “рывок”. О рывке, его необходимости говорит президент страны Владимир Владимирович Путин. Но мне кажется, мало кто понимает, что это за рывок. Люди живут своей обычной жизнью: работа, домашние хлопоты, досужие разговоры, информационные спамя... И вот я приехал на Ямал и почувствовал, что нахожусь в атмосфере рывка. Завод по сжижению газа “Ямал СПГ” в Сабетте, где я побывал, — это, конечно, рывок, мощнейший скачок по всем параметрам: экономическим, психологическим, инфраструктурным.

Но для меня самым интересным “рывком” являетесь Вы. Вы — человек-рывок. Появление на нашей политической арене такого молодого, ярко, интенсивного человека, как Вы, меняет атмосферу исполнительной власти на местах. Поэтому Ваше назначение важно не только для Вас.

Встречаясь с Вашим замечательным предшественником, Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, я в его лице увидел мощного русского пассионария, заряженного на творчество, на победу, на преодоление всех сложностей. И вот у него появился достойный преемник в Вашем лице. А как Вы пережили этот свой “рывок”? Ваши ощущения после назначения на эту должность...

**Дмитрий АРТЮХОВ:** Главное чувство — это ответственность перед ямальцами. От решений главы региона и его команды зависит то, как будет выглядеть наш округ через десять, двадцать, тридцать лет... При этом нельзя забывать о текущих, о плановых задачах: инфраструктурных проектах, строительстве жилья и социальных объектов, развитии экономики, науки, медицины и других сфер. Всё это требует своевременного и конструктивного подхода. Мне посчастливилось работать в команде Дмитрия Николаевича Кобылкина с первых дней. Действительно, это человек необычайной внутренней энергии. И все, кто был рядом с ним, заряжались ей.

История рывка Ямала начинается ещё с тех времён, когда здесь в один момент стали появляться целые города. Их поднимали всей страной: Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Муравленко, Губкинский — эти названия звучали

повсеместно. Люди произносили их с гордостью. Совершались производственные подвиги. Осваивались месторождения-гиганты, которые до сих пор остаются бюджетообразующими, созидают промышленность, являясь фундаментом развития страны.

Ямал – моя родная земля, я здесь вырос, прожил большую часть жизни. Именно поэтому ситуация в регионе для меня хорошо знакома. То же самое могу сказать о нашей команде. Это профессионалы, находящиеся на своём месте. Команда молодых, к слову сказать. Ямал – это территория, которая всегда была открыта для молодёжи. В округе каждый может показать свои способности и раскрыть свой потенциал. Один из наглядных примеров – выдающиеся первооткрыватели, геологи и строители. Они реализовали себя на Крайнем Севере и вошли в его историю. Сегодня у молодых людей ещё больше возможностей. Наш регион всегда был энергичным, и философия рывка вообще была свойственна этому месту, начиная с подвигов 1970–1980-х годов прошлого века до сегодняшнего дня.

Один из примеров так называемого рывка – уникальный завод “Ямал СПГ” в Сабетте, построенный на краю земли, далеко за Полярным кругом. Глава государства Владимир Владимирович Путин на открытии производства в декабре 2017 года отметил, что многие не верили в успех этого проекта. Но округ справился и доказал свою перспективность на многие годы вперёд.

Впереди у нас ещё более амбициозные проекты: строительство новых заводов по сжижению природного газа, развитие сети железных дорог, создание современной инфраструктуры. Это рывок к новым возможностям, источник энергии роста благосостояния региона и его жителей. . .

**– Вы сказали о грядущих планах и проектах. По-видимому, Вам придётся их вместе со всей страной реализовывать. Как я понимаю, Вы вместе с Вашим предшественником в каком-то смысле стоите у истоков создания этих проектов. Ведь это действительно один из новых проектов современной России, государства Российского. Советский Союз был страной проектов. Советские руководители мыслили категориями проектов – больших проектов, огромных масс. Советский Союз рождался как огромный красный проект. После крушения этого проекта у нас не было государства, и в этом смысле у нас не было народа, потому что нас расчленили, разбросали, мы вынуждены были заново рождаться. И мы это сделали. И поначалу, когда кончились проклятые 90-е, мы тоже не могли мыслить проектами, а мыслили лишь сегодняшним днём, поскольку всё время происходили то теракты, то войны, то чудовищные экономические аферы. И Владимир Владимирович попросту был лишён возможности мыслить проектами, потому что он должен был каждый день отбиваться от тысячи напастей, решать тысячи задач.**

Но вот мы прошли такие стадии нашего нового развития, что оказались способны запустить два проекта. Один – великий южный проект, связанный с возвращением Крыма. Севастопольская база, контроль над Чёрным морем, выход в Средиземное море, наши базы в Сирии, оперативный простор во всех океанах вплоть до Антарктики.

Второй проект – это Север, Арктика. Вы живёте в атмосфере великих русских проектов. Ямальский Северный арктический проект включает в себя мощную оборонную составляющую и освоение огромной линии Севморпути, а это новые рынки и многое другое. И Ямал – замковый камень данного проекта. А как могут быть реализованы эти инфраструктурные проекты?

– Не случайно ещё великий Ломоносов говорил, что Россия обращена фасадом к Арктике. Конечно, в XXI веке мы к этому уже очень близко подошли. И будущее, несомненно, во многом – в арктических проектах. Это уже понимают все. Не случайно к Арктике приковано большое внимание, порой даже тех стран, которые находятся в тысячах километров от неё. Мы видим, какое внимание уделяет ей Азия: создаются профильные центры в Китае, Сингапуре – в странах, которые абсолютно не ассоциируются у нас с Крайним Севером. И действительно, за Арктикой будущее, а важные проекты сейчас сконцентрированы у нас, на Ямале. Я уже говорил о запуске завода “Ямал СПГ”, совсем скоро заработают вторая и третья очереди этого предприятия. Президент поставил важную задачу – кратно увеличить объёмы перевозок по Северному морскому пути – до 80 млн тонн в год к 2025-му. Чтобы решить

задачу в обозначенные сроки, предстоит многое сделать. Арктическая инфраструктура будет развиваться ударными темпами и не без помощи железных дорог. На повестке дня стратегический проект – Северный широтный ход. Полярная транспортная магистраль по маршруту Обская–Салехард–Надым–Новый Уренгой–Коротчаево соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единый каркас. В результате наши центры добычи сблизятся с портами Балтийского моря. С точки зрения экономики – это прорывной проект: новые рабочие места и заказы для множества российских предприятий. Ещё одна важная цель – построить железную дорогу до арктического порта Сабетта. Он уже успешно функционирует для отгрузки сжиженного природного газа. А в ближайшее время должен стать универсальным транспортным пунктом и самым крупным восточным портом на протяжении всего Северного морского пути. Геологоразведка ещё несколько лет назад доказала, что моря арктического бассейна содержат огромные запасы нефти и газа, а также другие полезные ископаемые. Чтобы к ним подступиться, нужна современная инфраструктура. В этой ситуации Ямал – крепкий плацдарм, то место, откуда начнётся освоение этих территорий.

– **То есть вы – спецназ. Ямал – это спецназ, что захватил данный плацдарм и поведёт наступление на дно Ледовитого океана.**

– Можно и так сказать. Но скорее – мы те, кто знает, что нужно делать, те, у кого есть необходимые технологии и знания в данной сфере.

– **Встретимся с вами на дне Ледовитого океана, постараемся в скафандрах узнать друг друга.**

Я вспоминаю своё советское увлечение этой экспансией – освоением Севера. Я видел, как частями собирается Сургут, как собираются Нефтеюганск и Нижневартовск: модули, из которых строили города, привезли на сухогрузах, сгрузили на берег и там монтировали.

Но меня всегда интересует внутренняя энергетика происходящего, структура, синхронизация подвозок, смекалка, подбор коллективов. Там есть ещё нечто, что даёт возможность эти суперпроекты реализовывать. И на базе таких суперпроектов не только осваиваются углеводородные богатства, не только создаются оборонные пояса, а рождается для русских людей ещё нечто, что важно, что всегда было главным свойством русского народа: молодечество, удальство, стремление к историческому творчеству, понимание себя не как отдельно взятого человека, а как части огромной национальной артели. То есть философия общего дела. И ещё чувство какой-то вечной неутолённости. Потому что русский человек – неутолённый человек, ему всегда мало. Ему мало этого звёздного неба – он хочет все звёзды, ему мало своей околицы – он идёт за три моря, “туда, не знаю куда”. И вот он дошёл до Ямала, дойдёт до Полярной звезды и дальше двинется. Мне кажется, что в Арктическом проекте мы будем вырабатывать это качество русской пассионарности. И это, может быть, – один из важнейших ресурсов, которые мы будем добывать здесь, в этих широтах, и транслировать на всю Россию – чтобы залечить наши раны.

– Я с вами полностью согласен. Энергия Арктики – это её люди. А задачи, которые перед ними стоят, формируют тот самый, крепкий, северный характер. И дело не только в мегапроектах. В каждом населённом пункте Ямала, посёлке или городе, сосредоточены наша история, культура, традиции. Сегодня здесь живут дети и внуки тех первопроходцев, которые приехали в округ ещё в советское время. Наши люди прекрасно помнят, каким был регион в начале своего становления. Когда не было ни дорог, ни комфортного жилья. Работать приходилось без перерыва, невзирая на пятидесятиградусные морозы и пронизывающий ветер. В то время были открыты знаменитые месторождения, давшие жизнь проектам, реализуемым сейчас. И конечно, именно тогда появились герои освоения Севера, люди, на которых мы равняемся и сейчас.

Причастность к чему-то великому, необъятному всегда воодушевляла жителей нашей страны. Это и освоение космоса, и освоение северных земель. Прямо сейчас идёт вторая волна полномасштабного освоения Арктики. Эта та неповторимая атмосфера, которая поможет выявить пассионариев. Личностей, способных изменить мир вокруг себя.

– **Меня всегда коробило выражение “новые русские”. Как русские могут быть “новыми”? Это одёжка, что ли, или сапоги? Потом, когда эти**

**“новые русские” появились, подумалось: “Боже мой, неужели это русские?” И выражение “новые русские” стало синонимом беспринципности, стяжательства, безумных пьянок. Эта новая русская буржуазия сейчас сгнула. Она целое десятилетие присутствовала как эмблема “русских”: здесь набраться долларов, евро, в Европе их пропить, прогулять, набезобразничать.**

**А мне кажется, что Ямал – кузница настоящих новых русских. Это те новые русские, которые придут ожить и воскресить извечно русских. Поэтому я хочу понять ямальскую мечту. Это несколько, может быть, поэтическая метафора, но о чём мечтает ямальский человек, кроме достатка, кроме своего становления, самоутверждения? Конечно, ямальский человек мечтает о чудесном, о волшебном, по-прежнему мечтает о Беловодье, по-прежнему думает, что он приехал в Обскую или Тазовскую губу добывать газ, нефть. Но думаю, он ещё и надеется где-то там, за 4-й буровой, найти райскую землю.**

– Да, сюда всегда приезжали самые открытые, готовые к подвигам люди. Не случайно у нас есть памятник романтикам 70-х годов. Люди приезжали, конечно, не за материальными благами. Хотя, на первый взгляд, кажется, что это – главное. Нет, люди ехали в сложные условия, в абсолютно необжитые края за мечтой. Шли за тем, чтобы быть причастными к великим стройкам, развитию Западной Сибири, чтобы добыть первые кубометры газа, первую тонну нефти. Действительно, самые лучшие человеческие качества выявлялись Севером. Ямальская мечта – в созидании, в созидании жизни вокруг себя. Здесь за какие-то десятилетия с нуля построены целые города. Они комфортны, есть все условия для жизни, рождаются дети. У нас замечательная демография, мы прирастаем. Ямальцы не боятся создавать большие семьи. У нас много семей, где трое-четверо детей. Это самый лучший показатель того, что эта территория, несмотря на всю её суровость, комфортна и привлекательна для жизни.

Радует ситуация с коренными малочисленными народами, которые здесь живут веками. Они тоже численно прирастают. И увеличивается число тех, кто ведёт традиционный образ жизни. Я считаю, что одно из главных наших достижений – гармоничное сочетание промышленного освоения и сохранение традиционного уклада. Далеко не везде в России удаётся достичь таких результатов. Есть места, где коренные народы постепенно ассимилируются, оставаясь лишь на страницах энциклопедий. Сегодня в нашем субъекте мирно соседствуют ненцы, селькупы и северные ханты. По данным всероссийской переписи, на территории автономного округа живут больше сорока тысяч представителей коренных малых народов Севера.

**– Мы были на стойбище. Абсолютно счастливые люди, они были заняты своими делами: готовили еду, пасли оленей, дети играли. И у меня было ощущение, что от них исходит свет доброты и уверенности внутренней...**

– Абсолютно точно. Это счастливые и в то же время великие люди. Мы ими гордимся и называем истинными хранителями тундры. Потому что они, как никто другой, понимают, насколько она хрупка. Из-за недостатка тепла все биологические и физические процессы в Заполярье замедлены. Вследствие чего нарушенные ландшафты очень долго восстанавливаются. На то, что-бы появился новый моховой покров, требуются десятки лет.

Именно поэтому здесь очень многое зависит от работы исполнительной и законодательной власти. Ямал даёт стране огромные энергетические ресурсы. А полученные доходы позволяют решать самые разные проблемы во всех уголках нашей большой страны. Это ответственная миссия. Но нельзя забывать об экологическом балансе – об этом не раз говорил глава государства Владимир Путин, с этим полностью согласны члены правительства ЯНАО и руководители нефтегазовых компаний, работающих на территории округа. У нас разработан целый комплекс мер, направленных на экологическую безопасность. Это ежедневная совместная работа учёных, экологов и профильных специалистов.

**– Меня поразило во всех ямальцах, которых я встретил в своём странствии, что все они – государственники. Конечно, они мыслят своей семьёй, домом, кошельком, мыслят своим предприятием, корпорацией. Но все они – государственники: и рабочие, и монтажники,**

**и директора, и губернатор. Все мыслят категориями державы. Это настоящие державники. В этом тоже есть мечта. Люди не могут быть довольными и счастливыми отдельно в своей семье, своим двором. Они счастливы, когда вся держава счастлива, а может быть, и весь мир. Вот ещё одна составляющая ямальского мировоззрения.**

– Тут действительно есть это ощущение. И, общаясь с любым из ямальцев, юным или уже взрослым, опытным, ты испытываешь ощущение того, что причастен к великим государственным делам. Когда ты добываешь кубометры газа, когда создаёшь новые заводы, строишь дороги... Ямал – это отличное место для международной интеграции. Это место сочетания Запада с Востоком на территории России. Сабетта, проекты СПГ, которые успешно реализуются, – в них участвуют французские и китайские партнёры. И всё это во главе с российской командой действует чётко и слаженно. Это уникальный мировой опыт. Огромный завод был построен в сложнейших условиях точно в соответствии с графиком и в рамках заданного бюджета. В личной беседе иностранные партнёры признавались, что они с такой задачей не справились бы. А у нас всё было сделано, как изначально планировалось. То, что Ямал является площадкой интеграции и успешной экономической кооперации, – это тоже наша особая миссия, которая будет десятилетиями выполняться. У нас впереди очень много проектов, и они уже сейчас (это очевидно) будут совместными. Будут создаваться предприятия как с западными партнёрами, так и с восточными. Интерес к ним испытывают все ключевые игроки.

– **Вы имеете в виду проекты по освоению шельфа?**

– Шельф, заводы сжижения газа. Интерес проявляют японские, корейские, китайские партнёры, у нас есть совместные предприятия с представителями индийского бизнеса, арабские партнёры тоже с большим интересом смотрят в сторону Ямала. Регион, который когда-то считали краем земли, сейчас становится территорией кооперации разных культур, разных стран. И самое главное, под руководством российских компаний это делается эффективно, качественно. Партнёры остаются довольными и получают то, что хотели. Территория развивается, развивается благодаря этому и страна.

– **А как Вы управлялись с монстрами, которые здесь хозяйничают, – с суперкорпорациями? Как вы находите общий язык с Роснефтью, Газпромом, РЖД, Министерством обороны? Ведь это же серьёзные группировки, и с ними лучше не ссориться. Мне кажется, что для Вас это проблема тончайшей внутринациональной дипломатии.**

– Всё-таки это органы государственной власти. За годы работы нам удалось выстроить конструктивный диалог с крупнейшими компаниями. Причём руководители многих из них начинали свою деятельность здесь, на Ямале, или в близких нам, соседних регионах: Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте. Здесь жили их семьи, росли их дети. Поэтому долго говорить о том, как отнестись к этой территории, с ними не пришлось, – они и сами прекрасно понимали, что нужно помогать. На деле мы всегда привлекаем руководство компаний к совместной разработке инфраструктурных и социальных проектов. Благодаря механизму государственно-частного партнёрства строятся спортивные комплексы, больницы, культурные центры, детские сады и школы. Это пример успешной кооперации и в то же время планирования стратегии региона на 15–20 лет вперёд. Вы же понимаете, что для нефтегазовых компаний необходимо решать всё новые и новые задачи, и все они реализуются силами их коллективов. Если глава семейства работает в компании, то жена, например, работает врачом. Их дети ходят в детские сады, школы. Все понимают: для того, чтобы качественно развивать, в том числе нефтегазовые проекты, территория и живущие на ней люди должны чувствовать себя хорошо. Уже всем понятно, что будущее в XXI веке за качеством, за человеческой инициативой, за инновационностью людей. И эти качества проявляются там, где есть определённый уровень жизни. Конечно, ещё многое предстоит сделать. К сожалению, Север осваивался с отставанием социальной инфраструктуры. Главной задачей было производство. Сначала строились заводы, а потом думали, где жить людям, которые на этих заводах, на промыслах работают. Я уже не говорю про школы, детские сады. Очень важно сохранить те темпы, которыми Ямал развивается последние 10 лет. Меняются и преобразуются наши города, населённые пункты. Меняется и мировоззрение людей.

Уходит понятие “Большая земля” — место, куда так стремительно хотели уехать жители Севера, заработать деньги. Так часто называли Тюмень, Екатеринбург, различные города центральной России. Сегодня Большая земля — это наш Ямал, регион, где происходят события мирового значения.

— Мне кажется, что с 1990-х годов крупные компании, особенно частные, заимели скверную репутацию в народе. Да и теперь эта репутация не блестяща. У нашего народа, особенно советской части, предубеждение к частному бизнесу как таковому и предубеждение к вновь возникшим частным, да и отчасти к государственным компаниям. Это предубеждение надо преодолеть. Частные компании, например, “Новатэк”, сделали блестящую работу, построив этот завод. Я не вникал в их финансовые проблемы, но вижу, что это абсолютно созидательное ядро. И надо подумать о восстановлении репутации крупных компаний в глазах народа, потому что мы должны вернуться к солидарному обществу, которое живёт ощущением общего дела. В Сабетте на заводе в цеху вывешена целая программа о создании солидарной среды рабочих. Такая же программа должна быть во всей России. И в этом смысле, мне кажется, Ямал мог бы об этом говорить с полным правом.

— У нас очень хорошие, действительно созидательные планы у компаний, которые здесь работают. И всё больше и больше внимания уделяется не только производственным показателям, но и вопросам, связанным с командой, которая работает в организациях, и качеством их жизни. В современном вахтовом посёлке есть всё необходимое: современный спортзал, бассейн, магазины, созданы все условия для работы и отдыха. Совместно с “Газпромом” были реализованы проекты по развитию социальной инфраструктуры: построены жилые дома, детские сады, школы. У нас в Тюмени, куда наши ветераны переезжают по программам переселения, появились целые ямальские микрорайоны. Мы с Вами посетили в посёлке Харп рыбо-разводный завод, который строился совместно с компанией “Новатэк”. Это один из лучших примеров того, как компания соучаствует в вопросах экологии. К сожалению, за последние годы в силу неограниченного браконьерского лова популяция сиговых в естественной среде существенно сократилась. В этом году производственникам совместно с наукой удалось довести технологию воспроизводства до совершенства. И сейчас на предприятии начинается системный, постоянный выпуск мальков. Здесь же формируется маточное стадо муксуна, насчитывающее 16 тысяч производителей. Примеров взаимовыгодного сотрудничества действительно много. Есть успешные проекты с “Газпромнефтью” и компанией “Роснефть”.

Всё это рождает именно ту северную созидательную атмосферу, которой мы очень дорожим и которую стараемся поддерживать.

— Я убеждён, что у вас Всё получится. Конечно, у Вас будут огромные трудности, напряжение. Это сейчас Вы такой молодой, но Ямал может Вам состариться за это время. У Вас всё есть, и никаких Вам советов не нужно. Но всё-таки вот мой совет: найдите среди творческой интеллигенции молодого писателя, с новыми мозгами, с новым сознанием. Пригласите его сюда, и пусть он создаст книгу. Пусть напишет роман, в котором будет этот характер, эти схватки, где будет средствами большого художника и мыслителя сформулирована ямальская мечта.

— Спасибо, Александр Андреевич, обязательно подумаю.

*(Продолжение следует)*

ИГОРЬ ИЗБОРЦЕВ

## ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МИРЫ

*Вот и минуло двадцатилетие со дня блаженной кончины моего духовного наставника, старца протоиерея Валентина Мордасова. Вспоминаю минувшее, вглядываюсь в него сквозь призму времён года, вижу лица людей, небо, церковные купола...*

### ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МИРЫ

Невыносимо болела нога. Люба в нерешительности застыла у кладбищенских врат, расписанных изображениями святых и какими-то поучениями.

— А ты читай, читай, — сказала ей её спутница Акулина, с которой более часа брели они через бесконечное поле сюда, на погост Камно, к могиле старца Валентина. — Порадуй своё сердце, это из батюшкиных наставлений.

— Душевный покой приходит от откровения священнику грехов, — полушёпотом прочитала Люба.

— Вот-вот, так всё и есть, — согласно закивала головой Акулина, — но пойдём к батюшке, благословение возьмём искупаться в источнике.

Акулина проскользнула через арку ворот и заспешила к Георгиевскому храму, остановилась у церковных дверей, перекрестилась и тут же двинулась дальше, огибая храм с левой стороны. Люба поспеть за ней не могла, несгибающаяся правая нога сковывала движение и наполняла каждый шаг болью. Когда она подошла к могилке старца, Акулина уже успела прочитать молитву о упокоении и теперь стояла у креста, склонив к нему голову.

Люба видела, как у её спутницы двигаются губы, она словно беззвучно с кем-то разговаривала.

— Батюшка, — сказала вдруг женщина вслух, — вот привела к тебе страданицу Любовь, она у тебя в первый раз, надо бы ей помочь. Она, бедняжка, уж сколько операций после аварии перенесла, нога у неё не сгибается. И как же девице с этим жить? Кто её замуж-то возьмёт? Помолись, батюшка, ко Господу, пусть пошлёт рабе Божией Любове облегчение в страданиях или же полное исцеление дарует. И благослови нас искупаться в святом источнике для вящей духовной и телесной пользы.

Люба впала в оторопь, ей казалось, что говорят не о ней, а ком-то другом. Поэтому, когда Акулина призвала её подойти и поцеловать крест, не отреагировала.

— Да подойди же, — прикрикнула женщина, — возьми у старца благословения и попроси мысленно, чего тебе надобно. А чего тебе надобно?

— Мне бы исцелиться, — тихо произнесла Люба

— Вот-вот, — закивала головой Акулина, — проси батюшку об этом, целуй крест и пойдём на источник.

Люба плотно прижалась лбом к могильному кресту, мысли неслись хоромом: “Батюшка, помоги! Батюшка, помоги! Батюшка, помоги...” Она чувствовала, как набухают влагой глаза, как скользят по щекам слезинки, осоливают губы... Тело её вдруг наполнилось лёгкостью, ей показалось, что она летит, летит сквозь облака... Но нет, это Акулина вела её через кладбище, через поляну к крутому спуску к спрятавшейся в камышах речке Каменке. И далее – по деревянному мостку к ладно срубленной из янтарных брёвнышек купальне. Происходящее казалось Любе сном. Позже она едва сможет вспомнить, как окуналась в ледяную воду, как по крутой лестнице поднималась вверх, отсчитывая искалеченной ногой бесконечные ступени, как вновь оказалась на могиле старца...

Тяжело дышащая после подъёма Акулина бухнулась на колени и утопила лицо в густой траве, покрывавшей могильный холм. Люба повторила её движение и тоже опустилась на колени. Она не сразу поняла суть произошедшего, и лишь увидев ошарашенный взгляд Акулины, вскрикнула:

– Что с моей ногой?

А с ногой её как раз было всё в порядке, она ожила, она вернула себе способность сгибаться и разгибаться, как это свойственно всякой здоровой ноге.

– Батюшка, это он... – хрипло выдохнула Акулина, – услышал наше прошение, помог.

– Батюшка! – Люба плакала и улыбалась, улыбалась и плакала, всё время повторяя: – Батюшка! Батюшка!

\* \* \*

Погост Камно. Поздняя осень. Ноябрь. Низкие свинцовые облака замостили небо до горизонта. Они давят своей тяжестью, едва не касаются макушек деревьев. Но тех едва ли это беспокоит. Деревья льнут к каменным стенам Свято-Георгиевского храма, склоняя к куполам свои вершины. Они как вечные богомольцы, верные и преданные. Жёлтые листья на их ветках, словно зажатые в руках свечи, покачиваются и мерцают в неверном полувечернем свете.

Погост Камно чудесен в это время года, красив последней осенней красотой, не растерянной, не раздёрганной суетой мира, вечно сверкающего мишурой и гремящего во все свои колотушки. Он целомудренно сдержан, он исполнен отдохновения и свободы, он светел даже под этим ноябрьским свинцовым небом, он – средоточие жизни окрестного пространства, он – указующий перст в грядущую вечность. Не случайно и камыш под горой, скрывающий от глаз водную гладь реки Каменки, совсем не шумлив, как в русской песне, но молчаливо-сосредоточен. Здесь так тихо, что, прислушавшись, можно различить журчание святых ключей. Они наполняют живительной влагой источник святого великомученика Георгия, таящий в себе кладёзь благодатной, целительной силы.

Мы подходим к купальне, дверь её призывно полуоткрыта. Вхожу и завороженно любуюсь на бегущую по воде лёгкую рябь. Представляю, как через минуту погружусь в эту холодную водную стихию... и исчезну, растворюсь, превращусь в частичку застывшей здесь вечности... Раздеваюсь и с шумом трижды окунаюсь с головой... Переполняет радость, энергия, желание жить! Стрелой взлетаю по крутой лестнице вверх и поджидаю там остальных...

Минует кладбищенские аллеи и оказываемся на могилке протоиерея Валентина Мордасова, нашего дорогого батюшки. Это он вдохновитель и создатель всей этой красоты; им – его духовным словом, наставлением, памятью о нём – пронизано здесь всё...

Могилка по-монашески аскетична, тут нет мрамора и гранита, чугуна и стали, но лишь деревянный крест и земляной могильный холмик. И эта простота – тоже своеобразная проповедь. Ведь отец Валентин часто повторял, что священник, чтобы действительно научить паству добродетелям, должен сам преуспеть во всем, то есть стать образцом воздержания, нестяжания, терпения, смирения... Таковых духовных вершин и достиг батюшка, он был словно один от древних... Вот и могилка его напоминает о скромности и простоте; учит не превозноситься над другими, но со смирением склонять голову.



Батюшка, как же тебя не хватает! Время отделило твоё живое лицо от нас толстой стеной. Двадцать лет минуло с того июльского, 1998 года, “последнего целования”. Но “вечная память” звучала и будет звучать у места твоего последнего упокоения. А нашу временную память год от года продолжают будить слова твоих проповедей и наставлений, сохранённые на страницах душе-спасительных книг. Твои же молитвы будут вести нас по земной юдоли к будущей благой вечной жизни. Но сколько же надо для этого потрудиться?

“Здесь, на земле, — напоминал ты, — человек способен только предвкушать Царствие Небесное, и лишь потом, после смерти, после Страшного суда, человек, если выйдет оправданным, получит блаженство вечное. И с ним войдёт в будущую жизнь.

Но вечное блаженство даром не даётся, для этого надо человеку подъять великие труды. Даже на земле мы видим, что люди получают награды за какие-то заслуги. А за награды небесные, вечные много следует потрудиться, поститься, каяться, творить дела милосердия, подвизаться в выполнении заповедей Божиих. . .”

Испроси же нам сил для этой Божией работы! Не оставляй нас своим небесным попечением, дорогой батюшка! Моли Бога о нас!

Батюшку Валентина спрашивали:

— Как относиться к ближнему?

— Искренне уважай и люби всякого, — говорил он, — сочувствуй и доброжелательствуй всякому, жалея о согрешающем. Пользуйся любым случаем, чтобы сделать добро. Радуйся с радующимися, плачь с плачущими. Не думай ни о ком худо без достаточной на то причины. Не имей ни с кем вражды. Покрывай всех любовью и снисхождением. Смотри на согрешающих, как на немощных, как на больных душевно. Не плати злом за зло. Не давай в своей душе места никакому злу ни на одну минуту. . .

\* \* \*

Вот уж и февраль. . . Зимнее поле, через которое тянется дорога к погосту Камно, едва прикрыто снегом, повсюду проталины, как тёмные неряшливые заплатки. Воистину, что-то не так и с нами, и с природой. Дорога повесенному заплывает грязью, затягивается лужами. Она, эта раскисающая дорога, наверное, недоумевает: где долгожданный мороз, где спасительное ледяное отдохновение? Но нет мороза. Еду и слышу, как колёса машины черпают дорожный кисель. Вспоминаю, как ехал таким же февральским днём по тому же полю. . . без малого двадцать пять лет назад. . .

Февраль 1994 года. Стелется вдаль заснеженное поле — гладкое, чистое, красивое, — словно Ангел накрыл его своим белоснежным крылом. Ночью шёл снег, и дорогу основательно занесло, так что моя “копейка” (так в народе называли “Жигули” первой модели) ползёт вперёд с большим трудом, тем более что салон и багажник под завязку загружены пачками книг: с утренним поездом прибыла из Москвы “посылочка” для батюшки Валентина от православного издательства “Благовест”. Для меня это большая радость — поучаствовать в Божьем деле, впрочем, как и для каждого батюшкиного духовного чада.

Благодаря батюшкиной работе с православными издательствами\* в камновском Георгиевском храме едва ли не самый большой выбор книг. Чего тут только нет! И святые отцы, и старцы, и жития святых, акафистники, молитвословы, в общем, на всякую духовную потребу. В Камно за духовной пищей приезжает множество людей, и не только миряне, но и духовенство — настоятели храмов, насельники монастырей. Что там говорить, наши домашние книжные полки прогибаются от множества приобретённых здесь или подаренных батюшкой книг. Читаем всей семьёй!

Что же касается посылок от издательств, то возил я их и прежде, но вот по такому снегу ехать ещё не доводилось. . . Мотор натужно хрипит, кажется, что вот-вот что-то в нём оборвётся и. . . Нет, о том, что тогда может случиться,

\* Батюшка духовно окормлял несколько крупных московских православных издательств. Он был и цензором, и духовным отцом, и автором. В 1993 году под его духовным патронажем вышло 5 книг, в 1994-м — 13 книг, в 1995-м — 22, в 1996-м — 31, в 1997-м — 20.

думать совсем не хочется. Молюсь Богу, призываю всех святых, вспоминаю батюшку. Знаю, что он ждёт и наверняка там, в недалёком уж от меня храме, тоже молится. Сила Божия пока ведёт меня, кажется, вопреки законам природы...

Ну вот, подумал об этом и тут же увяз в снегу. Вот оно, тщеславие: только дал слабинку — и тут же в эту открывшуюся прореху ныряет враг. А где враг — там и овраг... Через пять минут тщетных усилий, рёва мотора и визга колес убеждаюсь, что окончательно и безнадежно застрял. Размышляю, что делать: бросить машину и бежать к батюшке? Или искать трактор? Только где его найдёшь? А тут ещё и снег повалил. В растерянности переминаюсь с ноги на ногу, стряхиваю с плеч снежный пух и уже не про себя, а в голос кричу батюшке: "Помоги!"

А дальше всё происходило, словно в сказке: снежная занавесь со стороны храма разверзлась и явила на свет огромный чёрный внедорожник, он двигался легко и свободно, снежный сугроб для него был, как для великана ручей. Я сразу обратил внимание на питерские номера. Поравнявшись со мной, машина остановилась. Открылись передние двери и наружу вышли два крепких, коротко стриженных молодых человека в одинаковых кожаных куртках. Про таких говорят: характерной наружности. Они стояли, молча разглядывая меня и мою доходягу-«копейку». Я же тем временем быстро прокручивал в уме все возможные варианты дальнейшего развития событий: "Я их прошу помочь найти трактор, они соглашаются, уезжают, находят, и я спасён... Я прошу их помочь перегрузить книги и довести их до храма, а сами жеinesi судьбами освобождаюсь из снежного плена... Я на их машине вместе с книгами еду к батюшке, а моя машина пусть спасает себя сама..."

— Что, застрял, браток? — спрашивает вдруг один из молодых людей. — К батюшке ехал?

— К нему, — киваю я головой и начинаю объяснять про книги, про поезд из Москвы, про батюшку, который ждёт посылочку.

— Трос есть? — прерывает меня другой парень.

— Да, — говорю я, не веря ещё в то, что сейчас может произойти. А оно происходит...

Парень, увидев моё удивленное лицо, даже не предлагает, а командует:

— Цепляйся к нам, поедем к батюшке...

И вот мы едем по белой бескрайней целине, без колеи, без ориентиров — дорогу полностью завалило-занесло. Моя машина зарывается в снег, её кидает из стороны в сторону, да и великану-внедорожнику, чувствуется, теперь не так уж и легко — кое-где и он пробуксовывает, ревёт мотором. Но вскоре все испытания остаются позади. Мы останавливаемся у Святых врат в церковную ограду. В храме святого великомученика Георгия Победоносца встречает нас отец Валентин. Он улыбается и смотрит такими глазами, словно всё уже знает о случившемся. Быть может, так и есть? Но я всё равно рассказываю, благодарю парней, а батюшка разговаривает с ними, как с добрыми знакомыми...

Как я узнал позже, они действительно приехали к отцу Валентину за каким-то важным советом. Я видел, с каким уважением относились они к батюшке — ведь и машины ради него не пожалели. Слышал, как один негромко посетовал другому, что сцепление во время буксировки подпалилось, однако вслух об этом ничего сказано не было. Парни спешили, и мне пришлось, почти не поговорив с батюшкой, двинуться в обратный путь — опять на буксире. Иначе пришлось бы невесту сколько ждать, пока какой-нибудь грейдер расчистит дорогу. Не поговорив... Теперь я с болью вспоминаю о каждой утраченной в те годы возможности побыть рядом с батюшкой, утешиться духовной с ним беседой... Увы, прошедшего не вернёшь. Ну, а тогда я мерил время другой мерой, впереди, как думалось, едва ли не вечность.

А на дворе стоял 1994 год, и до батюшкиной блаженной кончины оставалось чуть более четырёх лет...

Не знаю, как сложилась жизнь тех парней, что произошло с ними за минувшие годы. Надеюсь, что живы-здоровы, и думаю, что для них та встреча с батюшкой не прошла бесследно, как и для всех тех, кто приезжал к нему хотя бы однажды, бывал на службе, брал у него благословение, слушал его духовное слово, укреплял веру...

Быть может, таким же метельным февралем 1986 года протоиерей Валентин Мордасов через такие же снежные вихри и замети ехал к месту своего

последнего земного пристанища — храму святого великомученика Георгия Победоносца на погосте Камно. Здесь когда-то батюшка был венчан и вскоре рукоположён в священный сан. Можно сказать, что отсюда и началось его пастырское служение; здесь же ему предстояло и завершиться. . .

Батюшку можно было застать или в храме, или рядом, на крылечке его маленького ветхого домика, где он любил сидеть вечерами. Тут же или в церковном доме напротив батюшка беседовал с духовными чадами и прихожанами. Последние четыре года к о. Валентину стало приезжать особенно много людей. Ехали автобусы с паломниками из Белоруссии и Молдавии, из Питера и Москвы, из многих городов и весей России. . . За духовным словом, советом, за святыней. . . И всех добрый пастырь принимал с искренней отеческой добротой и простотой, открывал им великие, спасительные тайны учения Христова.

Однажды батюшку спросили, как он пришёл к вере?

— Через действие веры, — ответил он, — когда я ощутил в храме благодать Духа Святого. Когда вся церковь пела: “Верую во единого Бога. . .” — я почувствовал сердцем то, что до этого никогда не ощущал: внутреннюю радость, внутреннюю благодать. Потом уж я прочитал в одной духовной книге, что эта благодать дана верующему крещёному человеку ради заслуг Иисуса Христа.

Вот бы нам всем через действие веры укрепиться духовно, очиститься от наваждений и иллюзий мира, взглянуть друг на друга другими глазами, протянуть навстречу друг другу руки и, если будет необходимо, помочь пройти сквозь снег и буран, сквозь все метельные февраль жизни, не жалея при этом ни себя, ни своей машины, ни своего кошелька. . .

Отец Валентин, невзирая на то, что был достаточно начитан, образован и отлично знал труды многих святых отцов, всегда говорил очень просто, стараясь приблизить свою речь к пониманию рядового мирянина, не обученного, что называется, премудростям наук. Великое искусство — сделать сложное простым, не утратив при этом глубины содержания. Немногим это удаётся. Именно так преподавали народу учение о спасении православные старцы — Оптинские, Глинские, Псково-Печерские — десятки, сотни тысяч людей спаслись под этим мудрым духовным руководством. И протоиерей Валентин Мордасов был из ряда таких духовных руководителей, поэтому его проповеди и наставления спустя многие годы не утратят своей ценности, но всегда будут востребованы, актуальны, поскольку они есть плоть от плоти святоотеческого учения, от слова Христова, а *Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же* (Евр. 13, 8).

\* \* \*

Весна. 6 мая. День великомученика Георгия Победоносца. Престольный праздник. “Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие, — звучит под сводами храма, — и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богу принеслся еси. Темже и венец приял еси победы, и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение”.

В этот майский день небо над погостом Камно, как окно в вечность, прозрачно и бездонно. Заглядывают в это окно плывущие над землёю купола Георгиевского храма, благословляют окрестные поля и дороги, по которым, призываемые колокольным звоном, спешит в церковную ограду на молитву православный люд.

Здесь, в этом удивительном уголке земли Псковской, во всякое время года тихо и благодатно; когда бы ты ни приехал сюда, ничто не возмутит твоего духа. Но этот день особенный, единственный в году, и душа от того переполняется радостью. . .

А как, должно быть, радовался, как ликовал сердцем батюшка протоиерей Валентин Мордасов, когда совершал такие торжественные праздничные богослужения, когда возглашал во время молебствия: “О всехвальный, святой великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. . .”

И с каким умилением, с каким упоением духовным подхватывали верующие слова запева: “Святой великомучениче и победоносче Георгие, моли Бога о нас!”

Да, воистину велика радость веры! Чувство братского, христианского единства, пастырского тепла, заботы, отеческой молитвы! О, как всё это знакомо духовным чадам протоиерея Валентина Мордасова! Уж двадцать лет, как ушел он под вечные небесные кровы, в селения праведников. Но всё так же живо ощущение его присутствия рядом с нами: нет-нет, и почувствуешь вдруг благодатное тепло его пастырского благословения, услышишь его голос, призывающий жить по вере, покрывать всех любовью и снисхождением, побеждать зло добром...

Иду мимо батюшкиного домика, приостанавливаюсь, смотрю на знакомые до боли стены... И вдруг понимаю, почему замедлил шаг, остановился: причина – в странной надежде увидеть батюшку, увидеть его присевшим, как бывало это в прежние годы, для краткого отдохновения на скамеечку, поймать его внимательный и такой добрый взгляд, подбежать к нему, поклониться, обнять...

Двигаюсь через погост по каменным дорожкам, повсюду кресты, надгробные памятники. Вспоминаю батюшкины слова: “У Бога нет мёртвых, но все живы” (Лк. 20, 38). Трудно вместить эту мысль, трудно представить, что все, кто обрёл место упокоения на этом старом кладбище, все до единого, живы так же, как и мы, и так же, как и мы, чего-то ждут и на что-то надеются. Нет, скорее неопределённость – это для нас, обитателей земной юдоли, а у них всё определено: ждут они милости и молитвы от нас и надеются на милосердие Божие. Все богатства мира и вся его власть для них ничто, пылинка рядом с единственным “Господи, помилуй” на церковной службе...

Здесь, на погосте, где встречаются миры, где завеса над тайным приоткрывается для имеющих глаза, легко думается о вечности. Да, её невозможно объять и вместить, но можно признать её права и взглянуть на мир с её, вечности, точки зрения. Как это сделать? Да очень просто. Вот рядом с тобой честный рабочий страдает, едва влачит свою нищую жизнь, а зарвавшийся хапуга-чиновник живёт в довольстве и богатстве. “Где справедливость?” – спрашиваешь ты. Ты видишь, что умирает невинный ребёнок, а продавшийся ворами страж порядка наслаждается жизнью и здравствует. “Где Ты, Бог?” – уж в полный голос восклицаешь ты. А Бог рядом с тобой, Он поддерживает тебя под руку, чтоб ты не упал, и указывает десницей в вечность: “Там ваша подлинная жизнь, там вознаградится праведник и будет утешен страдалец, там обретёт наказание беззаконник”.

Вот так, с точки зрения вечности ты можешь разглядеть и понять, что любое земное, будь то страдание или наслаждение, коротко, по сравнению с будущим, грядущим, неземным. Что может сравниться с вечностью?

И чтобы понять это, не надо иметь семь пядей во лбу. Достаточно просто верить в Бога и быть православным христианином не на словах, а на деле. Так духовные чада отца Валентина, как правило, люди преклонных лет, из не знающих премудрости наук рабочих и крестьян, легко вмещали в себя представления о самых высоких смыслах христианского учения. Батюшка не требовал многих знаний. “Надо, – говорил он, – с благоговением, радостью и с благодарностью к всеблагому Отцу Небесному принимать к своему назиданию то, что доступно нашему разумению при руководстве Святой Церкви. Жаждущему, когда стоит у реки, не нужно выпивать всю реку, а довольно выпить столько воды, сколько потребно для утоления жажды; так и христианину из мирян нет нужды знать всё или даже очень много, а надо знать то, что необходимо для спасения души”.

Стою у могилы протоиерея Валентина. Служба закончилась, почти все прихожане разошлись, и я здесь сейчас один. Батюшка говорил, что при посещении усопшего хорошо прочитать правило Серафима Саровского. Читаю...

Почему-то всплыла в памяти беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели христианской жизни. “Радость моя! – сказал преподобный Мотовилову. – Молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда тысяча душ спасётся около тебя!” Нет, не только Мотовилову, всем нам сказал. Но выполняют этот наказ единицы, такие, как отец Валентин. Тысячи спасались рядом с ним при его жизни, и сейчас число это не умалется. А та благодать, которую стяжал он подвигами и трудами, по милости Божией ста-

ла благословением и самих этих мест. Вот почему так радостно здесь находиться и, коль побывал тут раз, хочется непременно вернуться.

Господи, как же легко здесь дышится! Уезжая, люблюсь небом, которое остаётся всё таким же прозрачным и бездонным... Над местом, где встречаются миры!

Батюшку Валентина спрашивали:

— А почему вы верить стали?

— Потому, — отвечал он, — что Бога вижу душой своей, ощущаю Его, поэтому верю.

— А как это?

— А так. Вот ты воздух не видишь?

— Не вижу.

— Ощущаешь?

— Ощущаю.

— Вот так и верующие, православные могут ощущать благодать Духа Божиего. Это ощущение зависит от Бога, а не от каких-то чудес. Это главное.

Отец Валентин, наделённый множеством духовных дарований, прятал эти сокровища от окружающих, и если кто-то вдруг говорил о его необыкновенной духовной силе, батюшка отшучивался или каким-либо другим способом пресекал похвалы.

Однажды мы с батюшкой сидели на крыльце его дома. Отец Валентин показывал новые книги. Вдруг поблизости появились две женщины средних лет. Вели они себя несколько эксцентрично, из чего можно было сделать вывод, что, скорее всего, эти гости прибыли в Камно из мирского любопытства, услышав какие-либо чудесные истории о здешнем священнике. Верующие держали бы себя иначе, по крайней мере, не разговаривали бы столь громко, не озирались бы бесцеремонно по сторонам. Я заметил, что батюшка тоже внимательно рассматривает прибывших. Тем временем, женщины подошли ближе, заметили нас.

— А где тут живёт прозорливый батюшка? — спросила одна из них, сделав ударение в слове “прозорливый” на втором слоге.

Отец Валентин, и до того улыбающийся, улыбнулся ещё шире.

— Это кто-то вам неправильно сказал, — ответил он и вдруг, мгновенно изменив выражение лица на “строгое”, продолжил: — Здесь живёт прозорливый батюшка.

При этом он также акцентировал ударение на том же втором слоге.

Женщины удивлённо застыли, переглянулись и поспешно удалились.

К слову сказать, батюшкин юмор иной раз мог помочь в самой неожиданной ситуации. Однажды в Георгиевский храм зашёл пьяный мужчина и стал требовать чуть ли не матом, чтобы ему спели какую-то песню. Мужчина был высокого роста и плотного телосложения, уговоров никаких не слушал, шумел и даже угрожал. Все растерялись: что делать? Неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы из алтаря вдруг не вышел отец Валентин. Он улыбнулся незваному гостю и весело ему сказал: “Ну что ты, наш хороший?” — и вдруг запел какую-то духовную песню. Мужчина удивлённо вытаращил на батюшку глаза, а тот взял его под руку и повёл к выходу из храма. Выглядело это совершенно необыкновенно: только что одержимый буйной злостью, человек вдруг разом успокоился и тихой овечкой пошёл рядом с батюшкой. И куда девалась вся его пьяная удаль?

Да, батюшка скрывал свои дарования, а ведь обладал ими в обилии. Все, кто близко знал отца Валентина, наверняка припомнят немало связанных с ним необыкновенных случаев и событий. Я — не исключение. В середине 1990-х годов мне в качестве редактора вестника Псковской епархии “Благодатные лучи” приходилось частенько приезжать к батюшке за духовным советом, наставлением. Собственно, без отца Валентина я ничего и не делал. Он рекомендовал мне материалы, книги, советовал, на что обратить особенное внимание, какие жизненные явления следует осветить, а о чём лучше умолчать, от каких ошибок и заблуждений предостеречь и т. д. Бывал я в Камно часто, и так как батюшку всегда окружало много духовных чад, прихожан храма, паломников, мне не всегда возможно было к нему приблизиться для разговора. Однажды я приехал по какому-то важному делу, батюшка

находился в храме. Служба завершилась, и он говорил наставительное слово в Никандровском приделе. Помню, людей было очень много и я, едва протиснувшись, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. “Скорей бы закончилось, — мысленно подгонял я батюшку и то и дело смотрел на часы. — Поскорей бы...”

— Вот некоторые всё спешат, — вдруг сказал батюшка, — смотрят на часы, говорят, скорей бы закончилось. Им кажется, что их дела важнее душеспасительного слова. Это ошибка. Надо стараться побеждать своё нетерпение и извлекать духовную пользу из всякого доброго наставления.

Эти батюшкины слова явным образом выпадали из контекста того, что говорил он прежде. Он словно вдруг обратился к кому-то из присутствующих. Впрочем, мне-то, конечно же, сразу стало ясно, к кому. Я едва не присел и, кажется, густо покраснел. А потом, поражённый, застыл... Тут следует пояснить, что с амвона, где стоял батюшка, разглядеть меня было невозможно, поскольку я не отличаюсь высоким ростом. Так что отец Валентин не мог меня увидеть, не мог заметить моё нетерпеливое ожидание. Но увидел — и не только меня, но и мои мысли. Быть может, случившееся имело касание к кому-то иному, теперь это не прояснишь. Как бы там ни было, я отношу это к себе, поскольку вижу здесь не только причинно-следственную цепочку событий, но, что самое главное, — нравственный момент, духовную пользу, то есть как раз то, чем завершалось всякое с батюшкой общение...

Как-то в 1994 году к нам в город для выступления в одном из храмов приехала группа из трёх человек, в которую входили писатель, богослов и преподаватель Духовной академии. После завершения лекции я предложил гостям навестить замечательного батюшку протоиерея Валентина Мордасова. Они согласились. Вскоре на своей удалой “копейке” я доставил всех в Камно. И вот мы уже сидим в домике для гостей. Паломники в этот день не приезжали, так что батюшка был свободен. Он долго разговаривал с нами, отвечал на вопросы, а потом, по своему обыкновению, стал раздавать духовные гостинцы, то есть различные книги душеспасительного содержания. Он давал каждому из присутствующих по одной книжке, сопровождая это каким-нибудь пожеланием или наставительным словом. Когда дело коснулось богослова, отец Валентин почему-то сказал: “А это для шофёра”. “Батюшка, это богослов”, — смущаясь, поправил я. Отец Валентин улыбнулся, кивнул головой, но когда наступал черёд богослова получить подарочек, мы опять слышали: “Это для шофёра”. Признаюсь, мне было крайне неудобно, я долго извинялся перед богословом, тот возмущённо пожимал плечами, но, кажется, успокоился и простил, списав всё на чудачество сельского священника. Прошло года два. Что-то в жизни нашего богослова изменилось. Обстоятельства потребовали от него стать водителем в одном из православных издательств. Колесил он на книжном фургоне по матушке-России и не раз бывал в Камно, в храме святого великомученика Георгия, настоятель которого охотно покупал хорошие душеспасительные книги. Выгрузив пачки и коробки, богослов подходил к отцу Валентину. Преподав благословение, батюшка просил помощниц: “Налейте-ка шофёру чайку с дальней дороги”. И тот, переводя дух за чашкой ароматного чая, быть может, с лёгкой грустью вспоминал про то, как ещё недавно был богословом...

\* \* \*

Лето. 19 июля 2018 года. Камно. Храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Ясный солнечный день. Небо высокое и почти чистое, лёгкие вкрапления облаков лишь подчёркивают его нежно-голубую бездонную глубину. Шуршит в кронах вековых деревьев ветерок и уносит прочь жару, так что здесь, у северной стены святого Георгиевского храма, прохладно и свежо. Множество застывших в молчании людей окружают аккуратно прибранный, украшенный цветами могильный холмик. Тут и белые хризантемы, и жёлтые лилии, и полевые ромашки — все это дань уважения и сыновней преданности, дань любви к духовному отцу и мудрому наставнику, учителю и молитвеннику — протоиерею Валентину Мордасову...

Кажется, что ещё вчера сам батюшка, живой и здоровый, встречал нас под сводами Георгиевского храма или у Святых врат на погост, или же на ска-

меечке у своего домика... Ещё вчера он благословлял нас при встрече и читал молитву в путь-дорогу на прощание... Ещё вчера... Но нет, уж двадцать лет минуло — целых двадцать лет! — как он оставил брентную землю, ушёл в путь вся земля, в блаженную вечность и теперь у Престола Божия, продолжая своё пастырское попечение, молится о нас ко Господу и ходатайствует за нас пред Всемилостивым Судией...

Быть может, об этом и думают сейчас люди, склонившие в молчании головы пред крестом, укрытым синей парчи покровцом... Вот-вот начнётся панихида. Где-то за спинами теснящихся у батюшкиной могилки людей уже позвякивает кадиллом диакон; появляется священник, за ним ещё один, и ещё... Настоятель храма о. Алексей даёт возглас, и панихида начинается... Всё очень просто, по-домашнему; певчие скрыты в толпе, и поэтому кажется, что поют все присутствующие, а может быть, так и есть... И не “может быть”, а наверняка так: благорастворятся воздухи, наполнивсь всеобщим единым гласом завета канона: “Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего...” Пускай нет в этом пении стройности, благозвучности соборного архиерейского хора, но есть душа, есть глубокое чувство, а это иногда важнее, существеннее профессионализма да и знания вообще...

“Сам Един еси безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдём, якоже повелел еси, создавый мя и рекый ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдём, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа”. Это звучит икос по 6-й песне канона. И будто бы слышится голос отца Валентина, будто бы он в этом хоре со всеми нами... Увы, не здесь и не сейчас, не в этом мире удастся спеть нам вместе с батюшкой. Да и не всем это будет дано, не все облечётся в “нетления одежду” и узрят “светлость Божественнаго Царствия”, но лишь тот, кого сподобит Господь; сподобит, быть может, по молитвам духовного отца и наставника протоиерея Валентина.

Протоиерей Валентин Мордасов ушёл в путь вся земля двадцать лет назад, но покинул ли он нас? Нет, его молитвенную помощь чувствуют на себе многие: те, кто получают исцеления при молитвенном к нему обращении, облегчения в болезни, избавления от скорбей, бед, напастей. Все они с радостной готовностью подтвердят, что батюшка рядом, что он всегда готов услышать и помочь. Поэтому число его духовных чад, его паства год от года растёт, всех он ведёт за собой, с глубокой отеческой любовью объясняет, где мы можем встретить Господа.

“В молитве, — объясняет он. — Имеется в виду молитва домашняя, внутренняя молитва, где мы прибегаем к Господу и наш дух соединяется с Ним, происходит встреча. Как апостол пишет в своих посланиях, что *соединяющийся с Господом есть один дух с Господом* (1 Кор. 6:17). Это и есть первая встреча. Мы можем встречать Господа в храме Божием. Тут ощущается Его особое присутствие. Сказано, что Господь везде находится — на всяком месте Его владычества. Мы знаем, что престол Его на небесах и в храмах Божиих. Так же особое присутствие Его бывает там, где совершаются Святые Таинства. Посему там мы встречаем своими душами Господа, там у нас бывает с Ним встреча.

Ещё мы встречаемся с Господом, когда мы берём в руки Божие слово, Новый Завет Господа Иисуса Христа, а из него особенно Святое Евангелие. Здесь мы слово Божие соединяем с Господом, здесь мы слушаем Господа, Который с нами говорит. Зачем Он пришёл в мир? Какая цель нашей жизни, для чего мы все тут живём? Что нас ожидает? Что такое Страшный суд, вечная будущая жизнь?

Мы встречаем Господа при чтении книг святых отцов, написанных Божиим Духом. Встречаем Господа, когда беседуем о нём, ведь Сам Господь говорит в Евангелии: *где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18:20). То есть, когда мы собираемся на беседы о Господе, беседуем вдвоём, втроём и так далее, то здесь и происходит эта встреча...

Вот так просто, доступно, но мудро и спасительно его слово. Таков батюшка был при жизни, и таким он остаётся сейчас. Его пастырская проповедь звучала и будет звучать для нас. Нам надо лишь проявлять усердие в чтении, в осмыслении и в применении прочитанного в своей жизни...

Господи, молитвами приснопоминаемого отца нашего духовного протоиерея Валентина, помилуй нас грешных!

ПАВЕЛ РУДЯКОВ

## БОРИС ОЛЕЙНИК: СЛАВЯНСКАЯ СТРАСТЬ И СЕРБСКАЯ ГРУСТЬ

*30 апреля исполняется два года, как скончался выдающийся украинский поэт, активный автор и друг “Нашего современника” Борис Ильич Олейник. Из Киева почта принесла статью, раскрывающую ещё одну важную грань личности и творчества великого Поэта и Гражданина. Её мы и предлагаем читателям.*

Борис Олейник – поэт глубоко и органично национальный, украинский до мозга костей. Если же говорить о нём под углом зрения национальной идентичности, то он, будучи истовым, истинным украинцем, в то же самое время был страстным славянином, для которого славянские скрепы в языках, культуре, истории отнюдь не были ни пустым звуком, ни глубокой архаикой. Украинская идентичность естественно выростала у поэта из славянской коренной системы, уходящей своим началом в глубину веков и тысячелетий. Украинское и славянское начала не противоречили друг другу. Их сочетание и совмещение не создавали почву для конфликта. Наоборот, они дополняли друг друга, сообщая новые черты и качества.

Если когда-нибудь мы созреем до того, чтобы подготовить и издать “Словарь языка Бориса Олейника”, окажется, что слово “славянский” в различных его вариантах и модификациях встречается в его поэзии, публицистических текстах очень часто. И всегда – с чётко выраженными позитивными коннотациями. Позволю себе в этой связи всего один-единственный пример из стихотворения “Забілили сніги”, положенного, как известно, на музыку: “Помолюсь крадькома на твоє праслов’янське обличчя...”. “Праславянское лицо” для лирического героя значит хорошее, красивое, правильное, такое, на которое можно и нужно молиться. Это – не случайность, а устойчивая закономерность. Всё славянское, праславянское и поэт, и его лирический герой воспринимают только в положительном ключе.

В поисках ответов на острые вопросы времени поэт часто обращался к славянской теме. Выступая на первом заседании “Минской инициативы”, он сказал: “Рискнув в состоянии эйфории от обретённой независимости включиться в современный дискурс, определяемый глобализацией, поодиночке, восточные славяне, привыкшие с давних времён жить вместе, одной дружной, неделимой семьёй, опалились лицом к лицу перед серьезнейшими вызовами. Одним из них стал императив выстраивания на новой основе и на новом уровне отношений друг с другом. Этот процесс шёл с переменным успехом, бывало, что



что-то выстраивалось, бывало, что, наоборот, ломалось и рушилось. В конце концов, дело приняло такой оборот, что сегодня нам крайне непросто прекратить ссоры и склоки друг с другом, и ещё сложнее – вернуться в лоно общего культурного, духовного, цивилизационного пространства. Того общего пространства, которое освящено многовековой, тысячелетней традицией. Того общего пространства, в котором восточнославянские культуры всегда черпали вдохновение и силу. Того пространства, вне которого каждая из культур, в особенности – украинская и белорусская, сталкивается с угрозой превращения в заурядную провинциальную забаву, малоинтересную для кого-либо, кроме самой себя”. Сказано о восточных славянах, но, следуя логике поэта, вполне может быть распространено на славянский мир в целом.

Осознание своей принадлежности к славянской общности следует считать одной из фундаментальных отличительных особенностей мировоззрения и мироощущения Бориса Олейника. Из него, в свою очередь, вырастает чувство славянской солидарности, замешанное на идее славянской взаимности, общеславянского единства как позитивной модели отношений между народами и государствами.

Подводя итог этому краткому “экскурсу” в мировоззренческий пласт личности Б. Олейника, вспомню один эпизод своего многолетнего живого общения с Мастером. Как-то попросил его прочесть доклад, подготовленный мной для одного международного мероприятия. Речь в нём как раз шла о славянской взаимности и идее славянской общности в новых исторических условиях. Среди прочего, в тексте было такое утверждение: “Мы – украинцы, мы – славяне, мы – европейцы, мы – земляне”. Борис Ильич обратил на него внимание. Его комментарий звучал примерно так: “С первой частью твоей формулы я полностью согласен. Что касается “нас – европейцев”, то это не более, чем абстракция. Ну, а “мы – земляне” – это вообще ничего не значит”.

Тема славянства – не эпизодическое вдохновение, но постоянный духовный родник, к которому поэт прибегает на протяжении всей своей творческой жизни. В “Оде Киеву”, написанной в дни празднования 1500-летнего юбилея древнейшего русского города, Борис Олейник особо выделил его восточнославянское значение: *“Калиновая зыбка // трёх мужей, // Что разметали // полчища Батыя, // Возрадуйся, // золотоглавый Киев, // Высокий щит // славянских рубежей!”*

Рубеж как символ предела, за которым отказ от своего многовекового прошлого, культурной православной идентичности, стал главным смыслом замечательной поэмы Бориса Олейника “Трубит Трубеж”. В ней о судьбе Украины вместе с поэтом размышляют Богдан Хмельницкий и Тарас Шевченко. О такой ли Украине они мечтали? Такую ли Украину построили “*вкраинолюбыв ревни*”? Поэт не идеализирует прошлое, но и от нынешнего состояния дел он далеко не в восторге. Вложенные в уста Шевченко слова о политических поводах народа звучат, как наше родовое проклятье: *“Они при всех режимах – на посту, // Им всё едино, власть доить какую, // Они святиню продадут любую – // Хоть красную, хоть // жёлто-голубую...”*. Поэт заканчивает свою тревожную повесть об Украине призывом отбросить всё суетное и мелочное, выполоть “осот розбрата” и явить себя миру единым народом. Увы, его призыв остался не услышанным и не понятым. Украину-таки загнали в те самые “мальтийские сети”, о которых он упоминал.

Глубокие и прочные славянские мировоззренческие корни, отличавшие Б. Олейника с самых ранних лет, с первых шагов в литературе, проявились, кроме всего прочего, в неравнодушии поэта к судьбам других славянских народов, в не ослабевавшем живом интересе к тому, что происходит в славянских литературах. Интерес, надо отметить, был взаимным: у славян творчество Б. Олейника всегда пользовалось повышенным вниманием, его много переводили на славянские языки, о нём писали. Весьма обширными, устойчивыми и во многих случаях плодотворными были личные контакты Поэта с коллегами по поэтическому цеху из славянских стран от Балтики до Адриатики.

Так случилось, что южные славяне, в первую очередь, сербы заняли в жизни и творчестве Б. Олейника особое место. Именно так: и в творчестве, и в жизни, в судьбе. Борис Олейник и Сербия – это отдельная большая тема для отдельного большого разговора. Всё начиналось, по-видимому, тогда, когда поэт в составе различных делегаций в 1960–1970-е годы побывал в Югославии, в Сербии. Среди тех, с кем он там познакомился, была

сербская поэтесса, живой классик литературы народов СФРЮ Десанка Максимович. Встреча, знакомство с ней послужили для Б. Олейника толчком для создания поэмы “Урок”. Той, в которой он открывает “закон сохранения памяти” и которая многие годы и десятилетия была неотъемлемым элементом наших школьных программ по литературе. Была, а теперь перестала быть. В “Уроке” поэт откликается на историческое событие времён Второй мировой войны в Сербии, описанное в стихотворении Д. Максимович “Кровавая сказка”: расстрел немецкими карателями школьников и учителей в сербском городе Крагуевац в 1941 году. Больше с сербской темой поэт не расставался.

В дни новой сербской и югославской трагедии в 1990-е годы, когда “старая” Югославия была развалена, а Югославия “новая” подверглась агрессии со стороны США и НАТО, он не раз бывал в югославских фронтовых окопах, выступал с яркими публицистическими эссе. Видя глубинную сущность того, что происходило тогда на Балканах, Б. Олейник поднимал свой голос в защиту сербов, разоблачая и осуждая brutальную агрессию, сопровождавшуюся бомбардировками городов и селений Сербии. Одно из его эссе – “Кто следующий?” – явилось горьким пророчеством поэта о том, что Югославия – не последняя страна, подвергшаяся глобализационной “демократизации” США и их европейских союзников. Вскоре они и ответили поэту на его вопрос. Следующими стали Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия.

Разумеется, не мог Б. Олейник не выразить отношения к югославской трагедии и в поэтических произведениях. Одно из наиболее пронзительных и набатных озаглавлено “Гей, славяне”. Оно о сербах, оказавшихся, как пишет поэт, “среди двадцатого века на смертной меже”, о Православии, на которое “замахнулся сатана”. Поэт взывает к общеславянской солидарности. Сказано всё это Олейником совсем не задним числом, не после, а в самый разгар кровавой расправы “цивилизованного Запада” над православными сербами. Голос поэта звучал прямо из сербских окопов. В стихотворении “Спасибо вам, сербы!” Олейник вернётся к теме сербской трагедии, попросив прощения за тех, кто остался в “норах и подвалах, дрожащими, как осиновые листья”, в то время, когда в Брюсселе, “обнявшись со смертью, смеялся сатана” в генеральском мундире. Повинившись, в том числе и за славянских собратьев, поэт обратился с благодарностью к гордым и неодолимым сербам. “Спасибо, сербы, неодолимо гордые! // Вы шли в огонь, отбросив все щиты, // Чтoб не исчезли меж народами, // Люцифером сожжённые мосты”.

Славянская страсть превращается в это время у Б. Олейника в сербскую скорбь. Сербские события и страшную беду, с которой сербы столкнулись в 1990-е годы, он воспринял как свою собственную, как беду своего народа. В формировании и упрочении именно такой позиции важную роль сыграло генетически заложенное, отшлифованное в течение всей жизни чувство справедливости и стремление защищать того, кто нуждается в защите. Когда мог и когда не мог, он всегда вставал на защиту тех, кого, по его мнению, обижали, унижали, преследовали. Подал свой голос поэт и в защиту сербов, которых западная пропаганда с подачи США вознамерилась провозгласить “геноцидным народом”, объявив злобными и злостными преступниками всех сербов от мала до велика.

О Сербии и о сербах поэт в разных формах, по разным поводам, под разным углом зрения, но всегда – положительно, с уважением и симпатией, писал не раз и не два. Судьбе было угодно распорядиться так, что эта часть славянского мира превратилась для поэта в один из приоритетов, стала постоянным источником переживаний, размышлений, вдохновения. Когда же сербское небо в 1990–2000-е годы заволочло плотным слоем грозных туч, когда главнейшей проблемой сербского государственного и национального существования стала проблема физического выживания, Б. Олейник не счёл для себя возможным оставаться в стороне. Трагедия братского славянского народа превратилась в личную трагедию Мастера.

В сербском “портфеле” Б. Олейника есть эссе “Сатанизация сербов: кому она нужна?” (в 1995 году его отдельной брошюрой издали в Белграде на сербском и на украинском языках). Очень мудрое, глубокое произведение, в котором антисербская политика США и коллективного Запада представлена как системное явление, требующее системного ответа. “Пробивался на Белград сквозь эмбарго, – читаем в нём. – Этим хмурым эвфемизмом хозяева нового мирового порядка маскируют очередной акт в вековой драме геноцида

сербов... Дорогие украинцы, ну, перестанем же, наконец, сместить мир своей святой наивностью... Ещё раз скажу: я никоим образом не отбеливаю или облагораживаю сербов. Но – кто, когда и кому дал право снимать вину с их противников? При такой “правде” мы никогда не узнаем истинной правды, и – хотим мы того или не хотим – только усугубим братоубийство”. Б. Олейник всегда и при любых обстоятельствах ратовал за правду в том её виде, который он считал настоящим. Всегда стремился к тому, чтобы не превращать никого в без вины виноватого, навешивая на него всех собак. И делал для этого всё, что мог, всё, что от него зависело, всё, что позволяли ему в тот или иной момент обстоятельства и возможности.

На Балканы, к сербам Б. Олейник продолжал регулярно ездить в течение 1990–2000-х годов. Одна из поездок состоялась в апреле-мае 1999 года, как раз тогда, когда Сербию и Черногорию бомбили США и НАТО в ходе акции, цинично названной её организаторами “гуманитарной интервенцией”. Ракетно-бомбовые удары по территории СР Югославии начались вечером 24 марта и продолжались до 10 июня. Сначала бомбили военные объекты, затем, вопреки заверениям из Вашингтона и Брюсселя, диапазон целей был расширен, и под смертельный огонь попало всё, включая жилые кварталы, мосты, больницы, редакции средств массовой информации и даже здание посольства Китая в Белграде. Сербская армия, хоть и уступала практически по всем собственным военным параметрам агрессору, оказывала достойное сопротивление. Не сидело сложа руки по подвалам и бомбоубежищам и гражданское население. Одной из форм активного протеста против агрессии стали массовые манифестации на мостах с целью их – мостов – защиты от разрушения. Б. Олейник принял участие в одной из таких акций в Белграде: однажды вечером он появился на Бранковом мосту. На тот момент он в Сербии был уже хорошо и широко известен как большой и верный друг сербов. Его узнавали, приветствовали, выражали благодарность и восхищение его мужеством. Был ли этот поступок героичным? Уверен, что да, – был. Сам же Борис Ильич с присущей ему скромностью так не считал.

Много внимания и времени столь милому и дорогому его сердцу “сербскому делу” Б. Олейник уделял и в Киеве. В Украинском фонде культуры регулярно проводились выставки и другие мероприятия по сербской тематике, включая презентации новых книг, празднование юбилейных дат сербских писателей, годовщин выдающихся событий сербской истории, культуры. Активно он поддерживал работу Общества дружбы “Украина – Сербия”, участвовал в ней. Все без исключения послы Югославии, Сербии в Киеве считали для себя честью и почётной обязанностью познакомиться с Б. Олейником, установить контакт с ним и его Фондом. Несколько раз такие знакомства происходили и в моём присутствии, при моём участии. Из посольства Сербии ко мне как-то обратились за помощью в подготовке представления для награждения Б. Олейника сербской государственной наградой. Я, конечно, помог, чем смог, но, увы, дальше представления дело не продвинулось. Награды от братьев-сербов Борис Ильич так и не дождался.

Свою последнюю попытку посетить дорожную для него страну на Балканах Б. Олейник намеревался предпринять в 2016 году. Как председателя Украинского фонда культуры его пригласили в Новый Сад. На радио и телевидении Воеводины, столицей которой, как известно, является этот город, задумали восстановить контакты с Украиной. Обратились ко мне с просьбой найти для них партнёра с украинской стороны. Думать над тем, кто бы у нас мог бы и должен был бы взять на себя такую миссию, долго не пришлось: ясное дело, Борис Ильич и Фонд культуры, кто же ещё? Олейник воспринял предложение благосклонно. Стали готовиться к поездке. Поначалу планировали лететь в Сербию весной, уже даже билеты были на руках, но из-за ухудшения физического состояния Бориса Ильича поездку пришлось отложить на осень. Осенью, к сожалению, история повторилась с ужасающей точностью: сборы, билеты, кризис здоровья, отказ в самый последний момент. Улучшения состояния его здоровья ни мы, ни сам Б. Олейник, увы, так и не дождались...

**Киев**

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

## ЗОВ ПУСТЫНИ

Саудовская Аравия – страна великих пустынь. Сейчас её пересекли авто-страды, железные дороги и трубопроводы. Но ещё недавно взаимодействие с пустыней в первозданном виде было частью жизни, борьбы, менталитета жителей королевства. Мы приводим здесь рассказ о том, как подросток – будущий король Фейсал – воспринимал и любил пустыню. Его брат – нынешний король Сальман – прошёл тот же путь, что и он, вместив пустыню в своё сердце.

... Подросток Фейсал с друзьями бродил по улицам и базарам родного города. В Эр-Рияде тогда жили несколько тысяч человек, к которым добавлялись заезжие бедуины и караванщики. Город был обнесён зубчатой крепостной стеной жёлто-коричневого цвета, которую его отец Абдель Азиз восстановил и укрепил ещё в 1902 году. Город назывался Эр-Рияд, то есть “Сады”, но на самом деле в нём было очень мало садов. Зато были выложенные камнем глубокие колодцы, главным образом в Батхе, которая представляла собой ответвление плодородной Вади Ханифа с её садами и пальмовыми рощами.

Сам Эр-Рияд стоял в открытой пустыне. Вокруг не было ни нависающих горных хребтов, ни обильной растительности.

Вот описание рынка в Эр-Рияде, оставленное англичанином Дж. Филби: “Рынок был полон народа – покупателей и торговцев. Кто-то продавал кадилъницу за 17 пиастров – последняя цена. Бедуин стоял у стада овец, люди подходили, рассматривали их и уходили. Рядом сидела пара женщин, продавая содержимое корзины с тряпьем... Повсюду разгуливали праздные зеваки. Мы прошли вдоль стены Большой мечети к северо-западным воротам, где женщины доставали воду из узкогорлых кирпичных колодцев, которых много на каменном плато, на котором стоит город. Здесь же поили скот. Мы с трудом протиснулись сквозь стадо возвращавшихся домой коз, за которыми на ослике следовал мальчик-пастух”.

Дома в Эр-Рияде были, как правило, одноэтажными. Окна в них заменяли треугольные или круглые проёмы для воздуха. Летом, в жару, спали на крышах. Лишь резиденция эмира, его дворец-крепость, была трёхэтажной. Город построили из местного камня и саманного кирпича-сырца желтовато-коричневого цвета. Мечети представляли собой простые строения, с низкими минаретами. Узкие песчаные улочки были завалены мусором и нечистотами. Нечистоты из отхожих мест выводили на стены, и их высушивало солнце и разносил ветер. Внутреннее убранство помещений было без украшений, но на влажной штукатурке ножом вырезали растительные орнаменты, а потолочные балки покрыли геометрическими рисунками – красными, чёрными или голубыми.

Воздух пустыни был бодрящим, за исключением тех летних дней, когда дул южный ветер или налетала песчаная буря. Тогда становилось трудно дышать, пальмы и вся растительность покрывались серой пылью, которая сохранялась до зимних дождей.

Случались ливни, которые вызывали опасные и бурные сели.

В середине зимы северный ветер приносил леденящий холод, температура падала до нуля, а камни и траву ночью покрывала изморозь. Никакого отопления в домах не было.

Это была земля крайностей. Может, поэтому многие люди здесь уповали на Аллаха более истово, чем где-либо ещё.

Вся Аравия, за исключением гор Асира, Йемена и Омана, была пустыней — от Персидского залива до Красного моря. Оседлое население жило поблизости от источников воды и в редких оазисах между Недждом и Хиджазом и в самом Хиджазе. Расстояния были колоссальные. Во времена, когда Аравия не знала ни телеграфа, ни телефона, ни радиосвязи, гонцы на быстром верблюде доставляли послания с побережья до Эр-Рияда за неделю. Огромная территория в начале XX века, как и в середине XVIII века, могла прокормить всего лишь 2–3 млн человек, большинство из которых было кочевниками.

Поездки по пустыне, кочёвки, встречи, беседы у костра под куполом чёрного неба с яркими звёздами, помощь друга в тяжёлую минуту и глоток воды в иссушающую жару — всё это становилось частью восприятия Фейсалом родины.

Аравийские пустыни — это каменистые вадии и чёрные, словно обугленные плоскогорья. Узкие ущелья и крутые перевалы. Дымящиеся барханы высотой во много десятков метров. Выжженные равнины. Ветер завивает песок в крутящиеся смерчи, и они танцуют вокруг караванов свою жаркую пляску. В дрожащем, раскалённом воздухе возникают призрачные видения пальмовых рощ на берегах речек — не игра ли это джиннов? — и редкие, занесённые песком полусонные оазисы, похожие на миражи.

Аравия — страна великая по размерам и великая своей историей. Зелёные островки оазисов теряются среди выветренных скал, бескрайних песков и безжизненных пространств. А как палит солнце в пустынях, где нет никакой тени! Сквозь задымленное марево всё кажется призрачным и колеблющимся.

В пустыне так трудно сохранить или увидеть жизнь, что радуешься любому её проявлению. Вдруг появляется нежная светло-зелёная трава там, где ничего не было, кроме песка и камней, или прозрачные ветви акации. И вновь — мёртвая пустыня. И вдруг — стайки птиц. Откуда они летят? Куда? Порой из жёсткого кустарника выскочит заяц, а на песке увидишь свежие следы газели. Несколько закопченных камней, оставшихся от путников, которые разжигали костёр и готовили здесь свою пищу. Иногда посредине пустынной долины заметишь колодец, к которому бедуины пригоняют своих верблюдов и коз.

Но кто они, эти бедуины? Дружественные племена, верные эмиру Неджда, или мятежники?

Бедуин представлял собой редкий образец приспособления человека к почти невыносимым условиям враждебной природы. Он появлялся на свет в жалком жилище, под испепеляющим солнцем или в пронизывающий до костей зимний холод. Неопрятная повитуха омывала его тельце в моче верблюдицы, благословляя на священное братство пустыни, и присыпала новорождённого сухим верблюжьим навозом. Если ребёнок выживал, а выживал, наверное, один из трёх, то всё его дальнейшее существование было вызовом нелёгкой судьбе. Ещё в детстве он усваивал уроки беспощадной борьбы за существование, закалял волю, познавал ничтожество и величие человека в пустыне. Но, несмотря на постоянные невзгоды, самый бедный из бедуинов, который и в самом деле побеждал нужду и суровую природу своим непреклонным духом, почитал себя лучшим из людей и никого не признавал своим хозяином. Для него внешний мир с его соперничающими и сменяющимися друг друга империями имел мало значения. Самым страшным преступлением для бедуина была измена товарищу.

Его преданность своему роду и племени казалась бесконечной, с врагами он был свиреп и жесток. Чужака, если он — не гость, его имущество, деньги, скот он считал своей законной добычей. Все его эмоции лежали почти на поверхности. Его характер был построен на неукротимом стремлении к свободе.

Лёгкий выпад против его чести и достоинства мог вызвать у бедуина ярость. Он уважал силу. Любой признак слабости он презирал. Однако для него была священна просьба об убежище, и отказать в ней — значило поступиться честью.

Бедуин высоко ценил личную привязанность, не забывая прикинуть, какую выгоду из знакомства он извлечёт для себя. Однако ему нельзя было приказывать. Аристократ по своей натуре, бедуин был демократичен в социальных контактах, самоуверен и самодоволен. Он был жаден до денег, но и бесконечно великодушен: был готов поделиться с гостем последним глотком воды, последней горстью риса. Когда он оказывал гостеприимство незнакомцу, которого он никогда не видел и никогда не увидит, он отдавал ему то, в чём сам крайне нуждался.

“Нет сомнений, что жизнь бедуина полна противоречий, — писал Мухаммед Асад, путешественник по Аравии. — Они отличаются как готовностью к насилию, так и образцовыми примерами доброты и щедрости, как склонностью к предательству, так и высшими проявлениями жертвенности. Они веками не знали того, что называют “прогрессом”. Тем не менее, это была развитая, зрелая культура, со своей жизненной позицией. Эта культура абсолютно отличалась от всех других культур. Всё это надо подчёркивать, чтобы понять, “как” и “почему” развивалась аравийская духовная и социальная история”.

... А как холодно в Аравии ночи зимой, когда колючий ветер как будто кусается и люди прижимаются друг к другу, чтобы согреться! Днём, спасаясь от солнца, они заворачивают платок вокруг лица, а вокруг кружатся хищные птицы в надежде, что кто-то не выдержит долгого пути. И как доказательство этого — изредка попадаются скелеты животных, полузасыпанные песком.

На стоянках бедуины разбирают палатки, каркас которых покрыт тканью из чёрной козьей шерсти.

В те времена отнюдь не все кочевники подчинялись эмиру Неджда. По ночам лучше было не разводять костров в незнакомом месте. Путники вынуждены были проводить ночи в полусидячем положении, держа винтовку между колен. Но если случалась мирная встреча с караванами или кланами из дружественных племён, люди собирались вокруг костра. Они беседовали о простых вещах: о жизни и смерти, о голоде и пище, о гордости, любви и ненависти, о похоти и её удовлетворении, о войнах, о пальмах, о далёких странах, о торговле. Гостей угощали полными чашами покрытого густой пеной верблюжьего молока, жирного, густого, особенно в начале весны, когда пустыни после дождей на короткое время покрываются зеленью. А иногда соревновались в импровизации стихов, что бедуины называют “мрад”.

Как и тысячу лет назад, у костров раздавались монотонные мелодии, рождённые во время перекочёвок. Под низкими крупными звёздами бездонного неба человек ощущал бесконечность и величие океана пустыни.

Но не дай бог путнику остаться в пустыне одному, в разгар песчаной бури, да ещё без бурдюка с водой. Солнце, как будто выкованное из красного металла, исчезало за тучами, и на стоянке вас наполвину засыпал песок.

Фейсал на всю жизнь полюбил пустыню, жестокую и прекрасную. И даже став королём, хотя бы раз в день он будет стараться вырваться с верными родственниками и друзьями в пустыню, чтобы глотнуть её острого воздуха, помолиться, поразмышлять о высоком и важном, набраться бодрости.

Иногда в пустыне устраивали верблюжий бега, в которых отличались беговые верблюды “оманийя”. Это было великолепное зрелище: большое животное, вытянув шею, буквально летело над пустыней. Недаром их называли “пьющими ветер”.

У арабов пустыни есть пословица: “Лучшая женщина подобна игривой верблюдице”. И все они сходятся на том, что “верблюд — величайший из подарков Аллаха человеку”. “Ты дорог для меня, как зеница ока, о мой верблюд! — поют бедуины. — Ты драгоценен для меня, как здоровье, о мой верблюд! Как сладок для моих ушей звон твоих колокольчиков, о мой верблюд! И сладка для твоих ушей моя вечерняя песня!”

Верблюд служил кочевнику живым и мёртвым. Из его шерсти ткали плащи, накидки, ковры. Делали тенты и верёвки. Молоко и мясо шли в пищу. Из шкуры делали кожи, а кости сжигали. Бедуины употребляли не только свежую верблюжатию, но и мясо, вяленое на солнце. Впрочем, чтобы разжевать его, нужно было обладать такими же крепкими зубами, как у кочевников.

Мозги верблюда ели лишь бедуинки, потому что, по местным поверьям, это блюдо делало мужчину слабохарактерным.

Верблюды могли пройти огромные расстояния без глотка воды или же пить солоноватую протухшую воду, утоляя жажду и голод хозяина прекрасным молоком.

В Аравии в донефтяную эпоху богатство человека определялось количеством верблюдов в его стаде. Лошадь была и остаётся роскошью.

Когда Аллах решил создать лошадь, гласит арабская легенда, он призвал южный ветер и сказал ему: “Я сотворю из тебя новое существо”. Он вдохнул в ветер жизнь, и появилась благородная лошадь. Однако она пожаловалась своему создателю: её шея была слишком короткой, на её спине не было горба, на котором можно было бы укрепить седло, а ее маленькие копыта тонули в песке. Тогда Аллах создал верблюда. Лошадь задрожала и чуть не упала в обморок, ужаснувшись вида того, кем хотела стать.

Скот, кожи, шерсть, масло бедуины продавали в оазисах, чтобы купить рис, который привозили из Индии, и финики. Для финиковой пальмы нужен жаркий сухой климат и обилие воды. Поэтому о ней говорят: “У неё ноги в раю, а ветви в аду”. Финиковая роща с тяжёлыми гроздьями жёлтых и красных плодов – незабываемое зрелище. Но для жителей оазисов, называющих себя “ахль ан-нахль” (“люди пальмы”), она, прежде всего, была признаком достатка и благополучия. Некоторые знатные бедуинские семьи, а иногда и целые племена могли владеть финиковыми рощами в оазисах и сдавать их в аренду феллахам. Финиковая пальма – королева деревьев – вместе с одnogорбым верблюдом-дромадёрном в донефтяную эпоху стала символом Аравии. Недаром её графическое изображение перекечевало на герб Саудовской Аравии.

.....

*Академику Алексею Михайловичу Васильеву исполняется 80 лет. Редакция с удовольствием поздравляет нашего друга и автора со славным юбилеем.*

*Редакция*

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### ГЛАВА 3

#### ПОЭЗИЯ И ПОЛИТИКА

24 апреля 1946 года Вадим записывал в дневник:

“Я поступил в Объединение московских юных поэтов при газете “Пионерская правда” — как гордо называется наша компания. Около 15 человек — поэтов и прозаиков собираются по четвергам в 8 час. вечера в редакции; читают стихи, спорят, бранятся и т. д. и т. п. etc, etc. Меня беспощадно раскритиковали, когда я 11 числа /IV — сего года выступил со своими, как я действительно теперь понял, подражаниями. На меня обрушился целый град: “банально!”, “сплошное подражание” etc, etc... Руководителем у нас на разборах Владимир Иванович Ошанин (брат Льва Ошанина, известного поэта-халтурщика) — литературовед и любитель поэзии. В объединении следующие лица: вот они в “моем порядке”.

Ада Левина, Афанасьев Виктор, Графский Юрий, Ястребцев Валерий, Криворучко Юрий, Грисман Михаил, Маршак Виктор, Аркин Илья, Устинов, Маркович Елена, Прохорова Ася...”

Меня сразу же привлекло в этом списке имя Виктора Афанасьева, автора “жэзээловских” биографий Кондратия Рылеева, Василия Жуковского и Михаила Лермонтова, Афанасьева, с которым я некоторое время был близко знаком, не подозревая о его товарищеских отношениях с Вадимом Валериановичем еще в послевоенные годы... Уже на склоне лет ушедший в монашество (он стал монахом Лазарем) Афанасьев так вспоминал о событиях той давней поры, заочно “уточняя” и “расширяя” “кожиновский список”:

“Нас было — отроков и отроковиц — около пятнадцати... Перечислю только некоторых из ребят, тех, с которыми я был ближе. Это — Вадим Кожин, Михаил Грисман (позднее публиковал переводы стихов с африканских языков под именем Михаила Курганцева), Илья Аркин — впоследствии советский педагог-теоретик, помещавший статьи в “Правде” и “Известиях”; будущий журналист Юрий Графский, Валентин Ястребцев (у Афанасьева — Валентин! — С. К.), впоследствии военный летчик, но рано скончавшийся; ученики Центральной музыкальной школы при Консерватории: пианист Лев Эпштейн, сочинявший “кавказские” поэмы под Лермонтова, и Марк Лубоцкий, ныне скрипач с мировым именем, а тогда писавший стихи “лесенкой” под Маяковского. Первые наши публикации были именно в “Пионерской

Продолжение. Начало в № 1-3 за 2019 год.



правде” в 1946 году. Замечательный редактор Елена Успенская (из рода известного писателя XIX века Глеба Успенского) очень внимательно относилась к нашему творчеству. Тогда, отроками, я и Вадим не без удовольствия видели свои стихи в “Пионерской правде” и слышали в “Пионерской зорьке” по радио, а она звучала каждое утро”.

“Пионерскую правду” того времени и сейчас можно прочесть с неким ностальгическим удовольствием и от души пожалеть, что эта газета в “новое время” практически полностью изменилась. Главным редактором её в те годы был детский писатель Виталий Губарев, чьи книги “Королевство кривых зеркал” и “В тридевятом царстве” выдержали не одно издание. Рассказы и статьи публиковали нерядовые авторы: Виталий Бианки, Рувим Фраерман, Константин Паустовский, фантаст Александр Казанцев. Фадеев печатал отрывки из “Молодой гвардии”, Шолохов – из романа “Они сражались за Родину”... Там же можно было прочесть и отрывки из дневников Миклухо-Маклая “На Новой Гвинее”.

И рядом с маститыми авторами – рассказы школьников, которым от тринадцати до шестнадцати, их очерки классной жизни, их первые поэтические опыты... 25 октября 1946 года газета отмечала пятилетие героической гибели Аркадия Гайдара. На одной странице со стихами Сергея Михалкова и заметкой Паустовского было напечатано стихотворение “Таким он шел в последний бой...” ученика 16-й московской школы Вадима Кожинова.

*Его я вижу в гимнастёрке,  
Взгляд устремлён всегда вперёд...  
Он юности писатель зоркий,  
Он коммунист и патриот.*

*Таким он был, когда, приехав  
На сбор торжественный в отряд,  
Он о делах и об успехах,  
Смеясь, расспрашивал ребят.*

*Перо сменил на автомат он —  
Писатель, воин и герой...  
Гайдар нам помнится солдатом,  
Каким он шёл в последний бой...*

Десятилетия спустя, отмечая свой последний юбилей, Кожинов вспомнил об откликах, которые вызвало это весьма непритязательное, хотя и ладно скроенное стихотворение. “В 1946 году (я был тогда учеником 8-го класса московской школы № 16) относится первое мое выступление в печати, посвященное всеми любимому тогда писателю Аркадию Гайдару, выступление, на которое откликнулись люди из разных городов и селений страны. И их письма, естественно, не могли не вызвать глубокого воодушевления у начинающего автора...”

К тому же со временем я осознал, что сам по себе факт получения мною тогда таких писем говорит о великой душе нашего народа... Ведь страна только начинала залечивать тяжелейшие раны, нанесенные страшной войной, а кроме того, переживала настоящий голод, порожденный катастрофической засухой лета 1946 года. И тем не менее в конце этого года люди откликнулись на сочинения школьника!

Приведу фрагменты из писем одной из моих читательниц – фрагменты, которые могут счесть слишком “простодушными”, но, с моей точки зрения, это придает им особенную ценность:

“Вадик, милый, прими много-много сил и здоровья в твоей счастливой жизни и учёбе. – Н. М. Бурмистрова. Прошу, будь добр, не посчитай за труд, ответь мне...”

Я тут же ответил, и пришло новое письмо от 6 декабря 1946 года:

“Разреши поздравить тебя с Новым годом и пожелать тебе, милоч, только отличных успехов в твоём начатом деле... Я живу, как тебе известно,

по адресу, в Северо-Казахстанской области, в маленьком колхозе “Советский Луг”, работаю уже 10 лет на учительской работе на одном и том же месте. В этом году занимаюсь с двумя классами, 1 и 3; я же заведующая школой и военрук, а также всё домашнее хозяйство лежит на моих руках. Муж служит в РККА, год рождения мой – 1920. Веришь ли, что с тобой переписку хочется продолжать...”

Последующих писем Натальи Матвеевны я не смог найти. Но и сегодня низко кланяюсь ей или её памяти, если она не дожила до 2000 года... Подобные ей люди – глубинная и необходимая основа отечественной культуры; правда, чтобы понять это со всей ясностью, нужно отчетливо представить себе жизнь страны в декабре 1946 года, когда заповедь “не хлебом единым жив человек” было столь нелегко соблюсти...”

(Эти комментарии к письму своей читательницы Кожиних писал в 2000-м, когда сама фамилия “Гайдар” для большинства народа ассоциировалось исключительно с “писательским внуком”, чьё имя у многих и многих превратилось в ругательство. Посему Вадим Валерианович счёл необходимым сделать подстрочный комментарий:

“Ныне в глазах многих людей на это имя как бы бросает недобрую тень его небезызвестный внук. Но последний родился через полтора десятилетия после гибели деда, а, кроме того, Гайдар не воспитывал его отца, так как мать последнего вскоре после его рождения разорвала отношения с мужем. Правда, впоследствии, когда Гайдар стал знаменитым писателем и героем, погибшим на Отечественной войне, его бывшая жена добилась, чтобы ее сын получил фамилию Гайдар – хотя это был только литературный псевдоним А. П. Голикова”).

... А за месяц с небольшим до Вадимовой публикации в одном из номеров “Пионерской правды” был опубликован следующий исторический документ:

“Товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины!

Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!

Сегодня мы празднуем ДЕНЬ ПОБЕДЫ над империалистической Японией.

Год тому назад Советский народ и его Вооруженные Силы победоносно завершили войну против империалистической Японии. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Советский народ и его Вооруженные Силы одержали победу и внесли этой победой огромный вклад в дело достижения мира во всём мире...

В ознаменование ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ над империалистической Японией – ПРИКАЗЫВАЮ.

Сегодня, 3 сентября, произвести салют в столице нашей Родины – Москве, в столицах союзных республик, а также в Хабаровске, Владивостоке и Порт-Артуре – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами...

Министр Вооруженных Сил Союза ССР  
Генералиссимус Советского Союза  
И. Сталин”.

И здесь чрезвычайно знаменательно то, как Вадим Валерианович через много лет вспомнил это событие, и не просто вспомнил – а прокомментировал его уже с башни конца XX столетия.

“У меня сохранился мой юношеский дневник... Можно цитировать целые страницы патриотического восторга и упоения. Причем, действительно, в сознании людей произошло резкое изменение. И правительство этому способствовало! Так, например, после победы над Японией, выступая по радио, Сталин произнес потрясающие слова. Я прочел тогда известную повесть Валентина Катаева “Белеет парус одинокий”, где говорилось о войне с Японией как о гнусном деянии царского империализма. А тут вдруг Сталин сказал: мы, люди старшего поколения, ждали этой победы сорок лет. То есть ждали с 1905 года! Это высказывание вождя буквально перевернуло во мне всё и вся. Потому что меня приучили считать, что мерзкая царская Россия напала на бедную Японию и, к нашему счастью, потерпела поражение. На самом деле всё было наоборот!...”

(Кожинов вспомнил здесь слова из “Обращения товарища И. В. Сталина к советскому народу 2 сентября 1945 года: “...Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции...”).

Действительно, в сознании многих наших соотечественников происходил кардинальный перелом. Крайне символичен один эпизод, о котором вспоминал в своих мемуарах многолетний неистовый оппонент Кожинова – критик Бенедикт Сарнов, поступивший после войны в Литературный институт им. А. М. Горького. После того как было предано печати знаменитое выступление Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками 24 мая 1945 года (“Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю этот тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение”) сосед Сарнова, большевик (что специально счёл необходимым подчеркнуть мемуарист), произнёс буквально следующую фразу: “Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский”. И подобное могли повторить тогда миллионы жителей многонационального СССР... Слишком долго само слово “русский” связывалось исключительно с понятиями “белогвардеец”, “контрреволюционер”, “черносотенец”...

Скорее всего, именно в это время у Вадима состоялся один из его немногочисленных откровенных разговоров с отцом. Валериан Фёдорович вспомнил о том, как в детстве его привезли к самому Иоанну Кронштадтскому. Деталей разговора Вадим Валерианович не вспоминал, только упомянул, что его отец обмолвился: замечательный человек, но, увы, черносотенец.

...Вадим рылся в домашних архивах и, овладев записной книжкой своего деда, прочитав запись ещё одного “черносотенца”, Василия Андреевича Пузицкого, о “домашнем учительстве” в доме внуков поэта, отправился тогда же в Мураново, в “тютчевскую усадьбу”. Принял его там внук Фёдора Ивановича и воспитанник Василия Андреевича, семидесятилетний Николай Иванович Тютчев. Кожинов успел вовремя – через три года Николая Ивановича не стало.

Встретили Вадима с покоряющим радушием. Объяснялось это не только врождённым аристократизмом хозяина, но и самыми добрыми воспоминаниями о Василии Андреевиче. Вадим был представлен сёстрам Николая Ивановича (одна из них – Софья – имела подлинный вид царской фрейлины). Сам внук поэта по случаю приема дорогого гостя облачился в костюм-тройку XIX века. Разговор, естественно, зашел о Тютчеве-поэте, которого Кожинов уже хорошо знал, потом, по закону живой беседы, стал перескакивать на самые разнообразные темы.

Раздались звуки, похожие на удары колокола. “Это что, звонят в здешней церкви?” – спросил Вадим. “Нет, – ответил Николай Иванович, – это – коль-хоз” (очевидно, выгонялось на пастбище колхозное стадо, или собирали колхозников на какое-либо мероприятие). От “коль-хоза” разговор перекинулся на новое законодательство о браке с чрезвычайно жёсткими ограничениями. Внук Тютчева отозвался о нём вполне благожелательно.

– Слава Богу, а то ведь Россия прямо-таки в публичный дом превратилась.

Вторая сестра Екатерина Ивановна гордо сообщила:

– А знаете, книгу нашего Кирилла Васильевича о Кутузове одобрил Сталин.

Кирилл Васильевич Пигарев был ее сыном, и с этим человеком Вадиму Валериановичу еще предстояло встретиться в стенах Института мировой литературы.

...Сердечно простились, приглашая гостя еще и еще раз посетить гостеприимную усадьбу. Вадим, естественно, приехал. И в следующий приезд его ждала, похоже, провиденциальная встреча.

К дому подъехал роскошный “ЗИС-110”, из которого вышел священнослужитель в полном облачении, которого хозяин сердечно обнял, как старого и дорогого знакомого. И тут же представил приехавшему Вадима: “А ты знаешь, кто это? Это внук Василия Андреевича Пузицкого, которого ты, я думаю, помнишь”.

“Гость улыбнулся, — вспоминал Кожин, — и протянул мне руку, но как-то странно, на уровень губ. Я же всё-таки родился и рос не в те времена и, несколько удивившись манере протягивать руку так высоко, осторожно пожал её. Кажется, это смутило моего нового знакомого...”

Этим “новым знакомым” был будущий Патриарх земли Московской и всея Руси Алексей I. Еще будучи Сергеем Симанским, он учился с Николаем Тютчевым в Катковском лицее и присутствовал в Мураново на уроках Василия Андреевича.

\* \* \*

Вадим писал не только стихи — он обстоятельно отвечал начинающим поэтам — таким же школьникам, как и он сам. Сохранилось его письмо неизвестному корреспонденту от 28 октября 1946 года.

“Дорогой Эдик!

Участники лит. объединения при газете “Пионерская правда” читали твои стихи. Отзывались о них по-разному: и плохо, и хорошо. Мне поручили написать тебе письмо-отзыв. Стихи твои в целом производят хорошее впечатление. В них есть целеустремлённость, свежесть. Но всё же в них немало существенных недостатков, о которых я и хочу написать тебе. Во-первых, часто ты меняешь ударения в словах. Это указывает на то, что ты мало работаешь над стихами. Ведь стихотворение всегда можно исправить не в ущерб смыслу. А ты, из-за нежелания сделать соответствующие исправления, коверкаешь русский язык.

Из 11 твоих стихотворений, присланных в редакцию, мне понравились три: “Материнское горе”, “Родимый край” и “После грозы”. Первое из них — стихотворение с хорошей мыслью, ярко выраженной. Но и здесь есть недостатки, которые портят его. Зачем сообщать, что у матери “материнские слёзы”? Это и так ясно. Конец этого стихотворения слабый, невыразительный. Читая это стихотворение, невольно ждёшь более яркой концовки, чёткого афоризма. А его нет.

Стихотворение “Родимый край” подкупает своей простотой. Но в нём нет основной идеи. Последнюю строчку:

*“Сердцу не сыскать милей,  
Родина, тебя”,*

нельзя считать идеей произведения. Это лишь избитые слова, которые повторяются в стихотворениях сотен авторов, начиная с русских народных песен. Хороша в этом стихотворении строчка

*“Сердца стук... Тревожно так...”*

Она верно передаёт настроение.

В стихах твоих попадают несуразные выражения: “Жнитво уже началось”, “С серпами, кто с косой”, “В гармошку поиграть”, “Спаханная земля”, “И синий простор необъятных небес, где юность промчалась моя”. Разве ты птица, чтобы жить в “просторе необъятных небес”?

Неплохо написано стихотворение “После грозы”. Мне хочется разобрать его здесь, т. к. пейзажная лирика — это как раз то, чем я занимался всё лето 1946 г. Стихотворение... написано... по-видимому, по личным наблюдениям автором июльской грозы. “Я стою у окна” — первая фраза, довольно шаблонная, говорит о месте наблюдения. Это понятно.

*“На блестящем стекле  
Как хрусталики капли стекали”,*

здесь у читателя сразу появляется недоумение. Каждый привык не так видеть природу после грозы. После дождя, летом, всегда открывают окна. В комнату врывается волнующий свежий ветерок, который пьянит и играет волосами. А тут поэт сидит за стеклом!

*“Освежённая зелень угрюмых садов*

(почему “угрюмых”?)

*И от сна пробудившийся лес”.*

Лес как раз во время грозы не спит! Скрипят сосны-великаны, ели кивают мохнатыми шапками, дрожат осинки. . . Лес не спит, он борется с грозой, с ветром. Но вот пролетит дождь, уляжется ветер, и мокрые, усталые ели поникнут и ждут солнца. В последней строфе стихотворения ты прилагаешь к предложению “солнце смеётся” пять деепричастий: блестя, играя, рождая, горя, отражаясь. Получается утомительный набор слов.

Стихотворение “После грозы” получилось бы значительно лучше, если бы ты брал более свежие, выхваченные из природы образы, приглядывался к природе побольше.

“Дорога войны” написана динамично, есть много хороших мест, но на стихотворении следы того, что ты мало работал над ним. “Кончив сидение, вышли мы в бой” — как это звучит на фоне войны, так хорошо нарисованным тобой! Здесь в “Дороге войны” плохие рифмы. . . страдает и размер стихов.

Мысль стихотворения “Ты ждёшь и веришь” взята полностью из стих. К. Симонова “Жди меня”, только выражена гораздо слабей и хуже.

Также отсутствует оригинальность (исключая “Снег колючий в окна плещет”) в стих. “Зима”. Надо много и упорно работать над стихами. Отдавай им больше времени, старайся, чтобы в них не было слабых мест. . . С приветом Вадим Кожин”.

В письме обращает на себя внимание обстоятельность, точность и доброжелательная взыскательность разбора, который устраивает своему сверстнику 16-летний (!) школьник. (Я уже много лет веду поэтические семинары молодых — и не очень молодых! — на разных творческих совещаниях, и думаю сейчас: Господи, если бы кто-нибудь из моих семинаристов сумел так же детально и вдумчиво, со знанием дела, хорошим русским образным языком разобрать стихи своего соседа! Может быть, когда-нибудь дождусь).

И здесь самое время сказать о наставнике Вадима на литературном поприще, появившемся двумя годами ранее на его горизонте, наставнике, о котором Кожин вспоминал впоследствии с неизменной благодарностью.

“Большую роль в моем становлении, когда мне было 14 лет, сыграл Игорь Сергеевич Павлушков. Это был человек из богатой купеческой семьи, после революции, естественно, ничего у него не осталось. Он учился в знаменитом Брюсовском институте — был такой предшественник Литературного института — и он знал всех лично: от Цветаевой, Мандельштама и Брюсова до Есенина; сам писал стихи — не скажу, что высокого уровня, но неплохие. С ним случилось несчастье — он оглох полностью и обычно общался через записки на бумаге. Из-за этого, кстати, у него испортилась речь — он стал говорить неразборчиво, косноязычно. И он стал нищим, самым настоящим нищим. Ни бомжем — у него была какая-то клетушка под Москвой. Но доходило до того, что он в пригородных поездах собирал милостыню. И вот этот человек пытался открывать молодые поэтические дарования. Он ходил по школам с соответствующей бумагой, где Маршак, который сделал ему такое одолжение, просил оказывать всяческое содействие. Пришел он и в нашу школу, меня к нему направили, мы подружились. Он многое рассказывал, читал стихи поэтов начала века, многие из которых были запрещены. И если бы не он, я, возможно, по-иному отнесся бы к докладу Жданова. С теми мальчишками, в которых ему виделась Божья искра, он возился самозабвенно, жил интересами литературы, именно благодаря ему я оказался в гостях у Маршака, который при мне прочитал мои стихи и направил меня в литстудию при Дворце пионеров. Я там был всего однажды, прочитал стихи, имел даже какой-то успех, но больше туда не ходил. Через Павлушкова же мое первое стихотворение было напечатано в “Пионерской правде” . . .”

Рассказ этот относится уже к концу XX века, он в целом точен, но какие-то детали покрываются плотной пеленой времени, а то и попросту забываются. Виктор Афанасьев, общавшийся с Павлушковым дольше и теснее Вадима, уточнил, что никакого отношения к купеческой среде Павлушков не имел, — он был сыном основателя Московской ветеринарной академии и до своей болезни (слух он потерял от менингита) работал библиографом в Библиотеке имени Ленина. “Он оставался человеком Серебряного века, — рассказывал Афанасьев, — ничего советского к нему не пристало... Павлушков был издавна дружен с такими знатоками литературы, как Дмитрий Дмитриевич Благой и Иван Никанорович Розанов... Жилось ему крайне трудно. После смерти отца и брата он остался совершенно один, не умел себя обеспечить, питался скудно, ходил в изношенной шинели и кирзовых сапогах, с вещмешком на спине, где ничего кроме книг, рукописей и черного хлеба не было. Иногда он, припозднившись, шел в темноте от станции Вешняки в свои Кузьминки (а это около трех километров по полю мимо кладбища), и случалось, что его оставляли грабители. Посветивши фонариком ему в лицо, они с разочарованием говорили: “А! Игорь Сергеевич! Ну, проходи”.

...Он неизменно располагал людей к себе. Потом, познакомившись с нами, он посещал наши дома... Благодаря Павлушкову я прошел большую литературную школу. То, что я узнал от него о поэтах, книгах, литературном быте эпохи, легло прочным фундаментом в мою будущую литературную работу, а я именно стал специалистом по эпохе Пушкина-Жуковского и потом написал ряд биографий поэтов, издавал и классику с предисловиями и комментариями... Вадим также говорил, что любовь к поэтам Пушкинской поры у него именно от Павлушкова...

Павлушков ходил к Вадиму домой (он жил на Донской улице). Но реже, так как стеснялся его отца, который был строг и, видимо, не весьма гостеприимен. Вадим, конечно бывал у нас, в нашей коммуналке — в здании бывшего Благородного университетского пансиона на Тверской улице (тогда Горького). Как-то в начале 1990-х годов мы говорили по телефону о нашей юности. Он сказал: “Я вспоминаю, как к тебе приходил... Ты был тогда жутко бедный!”. Действительно, наша семья голодала долго и после войны...”

В архиве Вадима Валериановича сохранился весьма любопытный текст — самодельная вариация неизвестного автора на последнее записанное стихотворение Есенина “До свиданья, друг мой, до свиданья...” (видимо, стихи были принесен Павлушковым). Мне не раз попадались в руки подобные апокрифические варианты (как правило, в начале идет есенинская строфа, а дальше следует “импровизация на заданную тему” с обязательным упоминанием, что “это и есть подлинный Есенин”)... Такого рода сочинения в изобилии ходили тогда по рукам.

А что касается доклада А. А. Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”...

Постановление о журналах, как и сам доклад на взгляд рядового обывателя, неискушенного в политических хитросплетениях, выглядело чудовищно по своей нелогичности. Концы настолько не вязались с концами как в постановлении, так и в докладе, что, естественно, возникла чрезвычайно удобная версия, объясняющая всё случившееся “прогрессирующим маразмом диктатора” и “очередным стремлением привести интеллигентную в оцепенение”, для чего был выбран, разумеется, тупой и неинтеллигентный функционер... Вадим, видимо, впервые познакомившийся со стихами Ахматовой (как и многие) именно из этого доклада, был восхищен их силой и энергетикой, а контраст между ахматовскими строчками и основным текстом был таков, что и думать не приходилось о каком бы то ни было согласии с заключениями главного идеолога... Как раз в момент чтения в Вадимовой квартире появился Павлушков и подошел к столу, любопытствуя, во что это с таким вниманием погружился его ученик... При виде газетной страницы с портретом Жданова у Игоря Сергеевича исказилось лицо, и он влепил щелчок в лоб идеолога так, что лист порвался... Как вспоминал Кожинов — это была для него лучшая и ожидаемая рецензия на сей документ.

Но думается, всё же Вадим Валерианович несколько преувеличил здесь свою зависимость от мнения наставника. При его собственной начитанности и погруженности в отечественную историю, которая, пока еще неосознанно, представлялась ему, как единое целое, при его постоянной работе

над изучением и описанием памятников отечественной культуры, он едва ли мог с минимальным благодушием внимать хотя бы подобным пассажирам:

“Дворянский Петербург, Царское Село, вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Всё это кануло в невозвратное прошлое!.. Старый Петербург, Медный всадник, как образ этого старого Петербурга – вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград, как центр передовой советской культуры..”

Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня. Мы уже не те русские, каким были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот..”

Помимо всего прочего, создавалось впечатление, что Жданов будто противоречит Сталину, словам вождя, произнесенным после победы над Германией и над Японией, не говоря уже о сталинском выступлении во время парада наших войск на Красной площади, когда он “осенял” русских солдат и офицеров (они все воспринимали себя именно русскими солдатами и офицерами!) именами Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова..

Это противоречие, эту загадку не могли разрешить не только взрослые умные и начитанные люди того времени (что говорить о школьниках!) – её не могли и, по сути, не хотели решать и в последующие десятилетия интеллигенты, заиклившись на теме противостояния поэзии государственной власти..

Что-то перевернулось в стране, – и далее события шли лишь по нарастающей..

Настала пора оканчивать школу. При выпуске Вадиму была вручена следующая характеристика:

“Кожин Вадим Валерианович был одним из наиболее одаренных учеников мужской средней школы №16 г. Москвы. Прекрасно развит, обладает выдающимися способностями и глубоким интересом к литературе и литературному творчеству, хорошо знает отечественную и иностранную литературу. Его сочинения всегда отличались интересным содержанием, обнаруживали умение самостоятельно и глубоко разбираться в литературном материале и были политически грамотными и безошибочными в смысле оформления языка и стиля.

В своих литературных произведениях Кожин умеет прекрасно выразить в художественной, глубоко эмоциональной форме патриотические чувства в связи с общественно-политическими событиями.

Работа Кожина на аттестат зрелости удостоена высшей оценки (5) и похвалы со стороны городского методиста по литературе.

Директор школы №16 Нивелин.  
23 августа 1948 г.”

Эту характеристику Вадим принес на Моховую в Московский государственный университет. Он поначалу мечтал об историческом факультете – но это был факультет идеологический, и поступить туда мог только комсомолец (а Вадим не пожелал вступать в комсомол – чем дальше, тем больше его мироощущение не смыкалось с господствующей идеологией, чем дальше – тем больше он погружался в XIX век и зачитывался откуда бы то ни было доставаемыми книжками века “Серебряного”...). Прямой путь был – на факультет филологический.

## О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ИЗ ДУХОВНЫХ СТИХОВ СИБИРСКИХ СТАРОВЕРОВ\*

*Мне посчастливилось в середине июля 2018 года побывать в окрестностях Белухи, священной горы Азии, называемой алтайцами Уч-Сумер — Три священных главы. На обратной дороге из Тюнгура я заехал в Верх-Уймон, село, где ещё сохранились традиции сибирских христиан дониконианского исповедования. Там я встретился со знаменитой Раисой Павловной Кучугановой. Это заслуженный учитель России, отличник народного образования, призёр премии “Лучшие учителя России”, заслуженный работник культуры Республики Алтай, основатель и научный сотрудник Музея истории и культуры Уймонской долины, историк-краевед, этнограф, фольклорист. А проще сказать, это величайшая подвижница. Из тех, на которых и держится современная Россия. От неё я получил тексты духовных песнопений староверов Горного Алтая и непосредственно Уймонской долины. Частично эти тексты присутствуют в новой книге Раисы Павловны “В поисках Беловодья”, которая является итогом многолетних трудов по сохранению русского духовно-культурного наследия.*

### О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ

*На осьмой ли тыще лет от сотворения  
Света белого настанет потрясение,  
Содрогнётся до основы мать сыра земля,  
С полуночи сотрясётся-заколеблется,  
Грозным грохотом до бездны недр каменных,  
В помрачении и страхе, преж неведомых,  
От полуночи до алой зори утренней.*

*Тут к нам спустится на Суд великий праведный  
Сам Исус Христос со Матушкой Владычицей,  
Со пресветлой Госпожою Богородицей  
И со грозным Михаилом ли Архангелом,  
Что ведёт с собою всюю силу Господа.*

---

\* Литературная обработка Владимира Берязева.



*Глядь — по леву руку встали души грешные,  
А по праву руку встали, словно свеченьки,  
Души верные, избегшие погибели.*

*А по леву руку будто головни горят —  
Просят души, молят души Мать Владычицу,  
Госпожу нашу пресветлу Богородицу:  
— Уж ты, Матушка Владычица пресветлая,  
Попроси-ка Ты Своёго Сына Божия,  
Ой, не может ли Он нас спасти-помиловать,  
Муки вечной и погибели избавити?*

*— Уж Ты Сыне мой, кровинка, Сын возлюбленный,  
А не можешь ли Ты их спасти-помиловать,  
Муки вечной и погибели избавити?*

*— Ох Ты, родна Моя Матушка Владычица,  
Пресвятая Ты Моя Богородица,  
Если хочешь вдругорядь Меня Ты видиши,  
Если хочешь вдругорядь Меня Ты слышати  
На кресте на окаянном, на распятии,  
Так бы мог Я их помилвати, грешников,  
Муки вечной и погибели избавити.*

*— Уж не дай Ты, Боже, слышати и видиши  
Во второй-то раз Тебя на распятии.  
Уж вы, ангелы, святые архангелы,  
Вы гоните, вон гоните души грешные,  
Вы гоните их во муку вечную,  
Чтобы слыхом не слыхала плача жалкого,  
Ни рыдания, ни скрежета зубовного.*

*И проклятия из бездны лишь доносятся:  
— Вы на что ж нас спородили, горю предали,  
Вы как же нам отныне и Отец, и Мать,  
Коль ко добрым ко делам нас не выучили?!*

*— Мы учили вас, учили, вы ж не слушали...*

### **ПРЕСВЕТЛЫЙ АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ**

*Пресветлый мой ангел Господен,  
И страж, и хранитель души,  
Ты милостью Богу угоден,  
Ко правде тропу укажи.  
Храни меня всяку минуту  
В отмеряны дни и года,  
Препон дай питанию люту  
И сил для любви и стыда.  
Ты дух, сокрушающий тленье,  
Ты послан мне Богом самим,  
Пролей же во грудь умиленье,  
Я жаждою правды томим.  
Здесь путь мой — и узкий, и тесный!  
Смогу ль его прямо пройти?  
Храни ж мя до воли воскресной,  
Чтоб душу сберечь и спасти.  
Меч пламенный в руце горячей —  
Врагов им во прах порази,*

У Божья престола парящий,  
Помилуй меня и спаси,  
Когда я явлюся, ничтожный,  
Пред светочем лика Христа,  
В чём будет ответ мой неложный,  
Напрасно ль отверзну уста?  
Ты жизнь мою знаешь земную,  
Ты верный сопутник души,  
Введи ж мя в обитель родную,  
Всю славу её покажи.  
Я здесь — неприкаянный странник,  
Я здесь — сирота сиротой,  
Отечества горнего стражду,  
Любови и Славы святой.  
Хвалы возглашу, ангел Божий,  
Я Там, во небесных садах,  
У Троицы райских подножий,  
Где радости песнь на устах.  
Там нету ни слез, ни печалей,  
Ни бед, ни стеснения пут,  
Там будто Творенья в начале  
Лишь реки блаженства текут.  
Венца испроси у Владыки —  
Прощенья для бедной души,  
Пускай прегрешенья велики —  
Страданья Ему покажи!  
Управься с моею судьбою,  
Во благе оставь, на свету,  
Хранитель мой, только с тобою  
Я вечный покой обрету.

### ОТШЕЛЬНИК МЛАДОЙ

*Отшельник молодой от начала начал  
Священную книгу постигнуть желал.  
В той книге прочел он, что тысяча лет —  
Пред Богом, как день: промелькнуло — и нет.*

*Сумленье напало на инока тут:  
“Лет тыща ведь всяко не тыща минут!”  
В священную книгу без веры глядит  
И видит, что в келию птичка летит.*

*Сияет и блещет цветное перо,  
А пух отливает в зерно-серебро.  
Когда ж свои крылья она распахнёт —  
То радугой вспыхнет, то золотом сверкнёт.*

*Та дивная птичка в полёте легка,  
Быстрее и нежнее весны ветерка.  
Присела у двери и звонко поёт,  
А радостный иннок тихонько встаёт,*

*Неслышно подходит, стоит, не вздохнёт.  
Рукой потянулся ко гостю, и вот...  
Вспорхнула, летит, а отшельник за ней  
В забвенье выходит из кельи своей,*

*Идёт за ограду и полем цветным,  
А птичка всё свищет и свищет над ним,  
Как будто бы манит, как будто зовёт,  
Как звёздочка, кружит над лугом, поёт.*

*Родной монастырь за пригорком исчез,  
Монах оказался под сенью древес,  
Певунья щебечет и манит вперёд,  
Под леса густой и неведомый свод.*

*На дуба вершину присела она,  
Уж пением чудным вся роща полна.  
Восхищенным сердцем, открытой душой  
В восторге внимает отшельник молодой.*

*Он миг наслаждения ловит, боясь  
С тем пеньем утратить предивную связь.  
Забылся... отраден забвения дым,  
Мир прежний исчез за туманом седым.*

*Но пенье умолкло, опомнился он:  
“Где ж птица-певица? Исчезла, как сон”.  
Взвилась, золотая, как будто стрела,  
Средь неба сокрылась, была — не была.*

*Вздыхнул инок добрый и в келью спешит,  
Казалось — лишь час, как покинул он скит.  
В тревоге. Пред братией должно предстать,  
Знать, к трапезе ждут и нельзя опоздать.*

*И вот монастырь, только чудно глазам —  
Ограда не та и неведомый храм,  
У входа часовня золотая видна.  
Дивится: откуда взялася она?!*

*Стучит он в ворота. Привратник идёт  
Ему незнакомый, не прежний, не тот.  
Не хочет пустить он в обитель его:  
“Не наш ты, не знаю лица твоего”.*

*“И мне, брат любезный, не ведом твой лик,  
Привратник наш молод, ты ж, вижу, старик.  
Отсея я вышел не боле, чем час,  
С чего бы сменился привратник у нас?*

*Служители Спаса — не здесь ли их дом?  
Поди же к игумну, поведай о сём!”  
Дивится привратник, игумна зовёт,  
Идёт за игумном весь причет. И вот —*

*Пред ними монах преклонился лицом...  
Но диво — игумен ему не знаком!  
Меж братии тож не признал никого —  
Он ищет, он ропщет, лик скорбен его.*

*Он братьям поведал своё, помолясь.  
Монахи внимали ему, изумясь.  
Тут мудрый игумен пришельца спросил,  
Какое он имя в служенье носил.*

*“Антонием назван в монашестве я,  
При мне был игумен отец Илия”.  
Монахи во страхе по книгам глядят,  
Нашли имена те лет триста назад.*

*“Антоний без вести в день Пасхи пропал.  
Так летопись кажет”, — игумен сказал.  
“Бог дивен в деяньях”, — приходец произнёс.  
И тут его вид, как возок, под откос*

*Повергся! Стал старцем. Взор юный угас.  
Три века в нём разом минуло, как час.  
Он пал. Он молился. Два дня протекли.  
Почил. И со честью его погребли.*

*Ах, Господи Боже, средь неба еси!  
Заплакали братья, дивясь чудеси...*

### **МОЛЕНИЕ О СПАСЕНИИ**

*Боже, зри моё смирение, зри плачевны дни мои,  
Зри с пороками боренье, со лукавым зри бои.  
Смертна тварь, я вновь дерзаю умолять свою Творца,  
Коя смело нарицаю как заступника-Отца.*

*Укажи пути к спасенью, утверди в груди Закон,  
Дай надежду к воскресенью за чертою похорон.  
Я тебе молитву малу, мой Создатель, возношу:  
Дай покой душе усталой, этой милости прошу.*

*Тишины лишь среди власти беззакония людей,  
Кои здесь творят напасти токмо волею своей.  
Не на то нам век дарован, чтобы ближнего губить,  
Человеком именован лишь умеющий любить!*

### **О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА**

*Человек живёт, аки цвет цветёт —  
Был по утру ал, а к ночи опал.*

*Таково знатё про житьё-бытьё:  
Днём он пьян и сыт, во пиру сидит,  
В вечеру ж дрожит, на одре лежит,  
К белой зорьке, глядь, да преставился.*

*Очи ясные помрачились,  
Уста сахарны заключились,  
Белы рученьки поприжались  
К ретивому сердцу остылому...*

### **БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА**

*Снег летучий украсил светлицы,  
Лёг у ног серебристой пыльцой.  
Вдоль хором златоглавой столицы  
Санки тащит лошадка рысцой.*

*Люд на улицах полон смятенья —  
Брань несётся и крики, и свист...  
Глянь, в санях, не приемля мученья,  
Лик боярыни — светел и чист.*

*Ввысь подъявши с двуперстьем десницу,  
Под тяжёлые звоны цепей,  
Вновь и вновь оглашает столицу  
Она верною речью своей.*

*Не страшны уж ни боль, ни страданье,  
Бремя пыток, клеветы и брань —  
Солнце истины, Божье преданье  
Озарило души её рань.*

*Поменяла пиры и палаты  
На угрюмый сырой каземат.  
Знать, бессмертною верой богата,  
Правда Божья дороже палат.*

*Уповает она — Слово древле  
И свободу мольбы сохраняя,  
Русь восстанет, подобна царевне,  
Свете ону боярыня внемле,  
Прожила ради этого дня...*

## **ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ**

*Житейское море — волна за волной,  
В нём радость и горе, в нём холод и зной.*

*Никто не ручится, прознав наперёд,  
Что завтра случится, а что — через год.*

*Сегодня богат ты — в пиру, во хмелю.  
А завтра — заплаты и рад сухарю.*

*По воле Господней — сума иль тюрьма,  
Змей подколодной — сухотка да тьма.*

*Во счастье и горе — живи, не гордись.  
В житейское море с любовью глядись.*

*На всё воля Божья! Волна за волной  
Стремятся к подножью судьбины земной.*

*По звёздам ветрила плывут тишиной,  
А ты, мой Создатель, навеки со мной.*

*Плыть горней дорогой начертано нам,  
Телесна итога не скрыть временам.*

*Но тщетно, скаженно для плоти трудясь,  
Кто пользы душевной не внял отродясь?!*

*О смертной кончине положено знать,  
Скорбеть во кручине, любить и страдать.*

*Придёт час печален и что принесёт?  
Чем лютой ответишь на гибель-исход!*

*Ни златом-именьем, ни плачем-мольбой  
Не удержишь косу, что свистит над тобой.*

*Тогда не утешат друзья и жена.  
Родителей помощь — уже не нужна.*

*Житейское море — и плавно лежит,  
Разумных и сильных оно не страшит.*

*Кто в духа зеркало умело глядит,  
Святое писанье с прилежностью читит,*

*Тот сможет в день бури и море проплыти,  
И муки, и скорби легко преносити.*

### **УМОЛЯЛА МАТЬ РОДНАЯ**

*Умоляла мать родная милу доченьку свою,  
Пред кончиною рыдая, упреждала на краю:  
“Распростишься со мной навеки, ненаглядный цветик мой,  
Заменить во свете некем матерью, данную судьбой.*

*Мне минута наступила жизнью здешню покидать,  
Скоро хладная могила у тебя исхитит мать.  
Ты, звезда в моёй деснице, не губи своей красоты,  
Пожалей себя, девица, не плети ж ты две косы.*

*Не меняй стезю златую на недолгие цветы,  
На дары, на честь земную, на заботу суеты.  
Хоть ты ныне не богата, среди мира не славна,  
Пташкой Божией — крылата, беспечальна и вольна.*

*Не забудь себя, родная, твой жених — на Небесах,  
Будь же девой среди Рая со фатой в волосах.  
Рай Христов, златые кущи, вечной радости страна,  
Хороводу дев поющих будешь, лада, отдана.*

*Царских краше там палаты, вертограды и сады,  
Терема, чертоги златы, дивны ягоды-плоды,  
А луга полны цветами, росы запах издают,  
Чудны рощи со древами, в коих ангелы поют.*

*Воды плавно катят реки, слёз кристальнее струя...  
Поселись же там навеки, дочь любезная моя.  
И не жди беды-напасти, горя-скорби никакой,  
Все в душе угаснут страсти, там — нам радость и покой.*

*Бди себя, другим на диво, осторожна будь в миру,  
И не пей вина ли пива ни в родне, ни на пиру.  
Не забудь сего совета, Бога чти и помни мать!  
Я ж середь Святого света тебя буду дожидать”.*

*Тут ещё она вздохнула, оградив себя крестом,  
Раз на девицу взглянула и уснула вечным сном.  
Дева слова не забыла, помнит материн наказ —  
Без страстей земного пыла ждёт суждённый Богом час.*

## АВБАКУМ ПЕТРОВ

*По Даурии дальней и дикой  
Воеводы ступает отряд.  
В том отряде во скорби великой,  
Обречённый на муку стократ,  
Протопоп непокорный шагает,  
С ним жена и малы сыновья.  
Охранит только Воля Благая  
Путь изгнания в глухие края.*

*Сколь жестокий за проповедь праву  
Царской волею вынесен суд!  
Слово веры греху не по нраву,  
Вот за что поруганье несут.  
То не солнце над ними сияет,  
То не отдых во радости ждёт,  
То мороз до костей пробирает,  
То бурян снежной плетью сечёт.*

*Уж от голода силы теряя,  
Глухо стонет во скорби жена,  
Дети жмутся к ней, горько рыдая,  
И пеняет на долю она:*

*“Ах, Петрович, и долго ли муку  
Нам за веру и правду нести?  
Кто подаст нам спасения руку?  
И доколе пустыней брести?”*

*Аввакум ей: “До самая смерти,  
Стал быть, Марковна, знать, до неё...” —  
Пред сияньем божественной тверди  
Молвил он это слово своё.*

*“Ии ещё побредём, правый Боже!” —  
Отвечала смиренно жена.  
Знать, ей вера и правда дороже  
Лет покоя, здоровья и сна.*

*Снова ветер Даурии дикой  
Заунывную песню поёт.  
Снова отзвуки речи великой  
Слышит русский христовый народ.*

*Этой речи со трепетом внемлют  
Поругатели правды святой,  
Но надежду и радость приемлют  
Все, кто верит заре золотой.*

ВЛАДИМИР КУЗНЕЧЕВСКИЙ

## “РУССКИЙ ВОПРОС”

Вынесенные в заголовок этой статьи два слова представляют собой название раздела новой книги, вышедшей в свет в январе 2019 года. А начинается этот параграф так: “Самую большую проблему современной России и отношений между её национальностями представляет русский вопрос, выступающий на современном этапе как наследие русофобской, наднациональной по своей природе власти в СССР. Установки на победу социализма в мировом масштабе и на использование **русского народа** в качестве ударной армии и резерва мировой революции, взгляд власти на него как на народ, обязанный, по В. И. Ленину, устранить исторически возникшее **по его вине** неравенство, обязанный, по И. В. Сталину, обеспечить “сближение и слияние” наций в СССР, способны были превратить в русофоба любого доброжелателя русских, если он попадал в высшие эшелоны и на самый верх власти в стране” (выделено мною. — **Вл. К.**) [с. 573].

Собственно говоря, в этих десяти строчках и заключен весь смысл и пафос рецензируемого произведения. Но прежде чем перейти к анализу самой книги, надобно сделать одно замечание.

При всём при том, что русские в народонаселении Российской Федерации составляют абсолютное большинство — по последней переписи более 80%, а если учесть и тех, кто считает русский язык своим родным с момента рождения, то и все 87 процентов, — и при полном официальном и неофициальном признании того факта, что русская нация представляет собой государствообразующий элемент в нашей стране, тема эта в течение почти всего XX столетия была жёстко табуирована в гуманитарной публичной сфере. И вот на исходе 2018 года историография этой темы обогатилась фундаментальным научным исследованием авторитетного и широко известного в России и за рубежом специалиста, профессора исторического факультета МГУ Александра Ивановича Вдовина\*.

Вообще-то в российском обществоведении и публично выражаемом общественном мнении в сфере национальных взаимоотношений жёстко табуированными (так уж получилось) всегда были по меньшей мере две темы: еврейская и русская. Первая свои корни тащит ещё с XIX века, с того времени, когда Александр III своими указами о так называемых “кухаркиных детях” запретил допускать безродных бедняков, а вместе с ними и евреев на государственную службу в России, а еврейскую молодёжь — в университеты.

---

\* Вдовин А. И. Русская нация в XX веке (русское, советское, российское в этнополитической истории России): монография. Научное издание. — Москва: РГ-Пресс, 2019. — 712 с.



У второго табу – у русского вопроса – причины были отнюдь не этнического, а политического характера, и происхождение своё они ведут, только начиная с Октябрьской революции 1917 года. Заключение оно, это табу, как теперь уже стало окончательно ясно и известно, в стремлении выставить в истории русский народ как якобы многовекового угнетателя всех остальных народов и наций на территории Российской империи. Как показывает книга А. И. Вдовина, эта вторая проблема выкристаллизовалась потом в стойкую русофобскую тенденцию в характере политической власти в СССР, которая (тенденция) потом во многом переключалась и в нынешнюю систему власти.

За подтверждениями этого вывода, пишет А. Вдовин, далеко ходить не надобно. В 1994 году известный советский и российский политический и государственный деятель Р. Г. Абдулатипов писал: “Могу заверить: издать книгу о русской нации ещё недавно было просто невозможно... “Русская” тема была запретной, хотя аналогичные материалы, касающиеся жизни других народов, публиковались регулярно... но на фундаментальные труды по социологии и политологии русской нации было наложено табу. Любое проявление этнического самосознания русских почему-то пугало, сразу раздавались истошные вопли о русском шовинизме”.

Книга А. И. Вдовина вышла сравнительно небольшим тиражом, но не заметить эту книгу не только специалистам, но и широкому читателю, проявляющему интерес к политической истории нашей Родины, вряд ли удастся. И не только вследствие остроты самой темы исследования, но в немалой степени ещё и потому, что автору на семистах страницах убористого текста удалось разместить более полутора тысяч ссылок на практически всю имеющуюся на этот счёт литературу (от сугубо научных до журналистских публикаций), которая вышла в нашей стране за всё XX столетие. На такой подвиг до сего дня не решался ещё ни один профессиональный российский историк.

*(Не могу, правда, не отметить непонятную для меня собственную скромность Александра Ивановича: в опубликованном им указателе имён авторов, пишущих по этой проблеме, почему-то отсутствуют ссылки на самого профессора Вдовина, а у него, между прочим, за весь период его творческой деятельности по этой теме опубликовано только один монографический исследованный и учебников более десятка. Ну, да это, видимо, действительно можно объяснить только поразительной скромностью известного учёного).*

Сам автор книги с первых её страниц и до последней особое внимание уделяет русскому народу, рассматривая его как “системообразующее ядро новой исторической общности, формирующейся на протяжении столетия”, а сам русский народ – как “государствообразующую нацию России”. Заявление не просто неординарное, но, я бы сказал, бесшабашно смелое, если учесть, что ныне действующая Конституция РФ 1993 года исхитрилась ни разу не назвать русский народ государствообразующим элементом в нашей стране, отметив, однако, как факт, что многонациональный народ Российской Федерации вокруг чего-то (кого-то), но всё же объединился и принял Конституцию Российской Федерации.

Политическую сложность этой проблемы автор книги рассматривает с исторических позиций, усматривая “запрограммированную противоестественность основ федерации, внутри которой были и есть государственные образования всех сколько-нибудь крупных народов, кроме русского”. Такое положение, пишет он, результат политики не нынешних деятелей, облечённых властью, а их предшественников, обещавших после своего прихода к власти обеспечить “расцвет” национальных культур “инородцев”, якобы сдерживаемый в прошлом русским “народом-угнетателем”.

Противоестественной или нет была советская федерация союзных республик, однако сама идея создания “русской республики” в границах Советского Союза не исчезала никогда, но всякий раз у руководства СССР находились аргументы не давать ей ходу. Так, в феврале 1923 года Сталин писал, например, что если мы создадим Русскую союзную республику в составе СССР, то Башкирия, Киргизия, Татарская республика, Крым “сразу же лишатся своих столиц (русские города) и вынуждены будут серьёзно перекраивать свои территории”.

Ничуть не проще обстоит ситуация и в наше время. В случае появления Русской республики, пишет А. Вдовин, “русское руководство республики могло спутать все карты анациональных интернационалистов, закрепившихся

у власти в столице, и формирующихся национальных элит в союзных республиках, поскольку интересы русской власти, как говорится, не всегда могли совпадать с их интересами. Именно по этой причине создание Русской республики и зародышей любой русской власти постоянно блокировалось партократическим режимом". Не только Сталин, Берия и Маленков в 1949 году в печально знаменитом "ленинградском деле" и совсем недавно Горбачёв "железно" (если использовать свидетельство его помощника А. С. Черняева) стояли против создания компартии РСФСР, против полного статуса России в качестве союзной республики. М. С. Горбачёв на Политбюро так прямо и сказал: "Тогда конец империи". "К сожалению, — пишет А. Вдовин, — глава нынешней России находится в положении, напоминающем сталинское и горбачёвское. Он не видит возможности стать "русским президентом" без риска утратить право называться "президентом россиян". Оставаясь же в этом последнем качестве, он не заинтересован иметь рядом с собой и помимо себя официального представителя интересов русской нации. Эта дилемма объясняет, почему нынешняя верховная власть России сохранила важнейшее отрицательное свойство бывшей власти и стесняется своей русскости. В этом же кроется действительная причина той лёгкости, с которой в стране с преобладающим русским населением живёт совершенно немыслимая при нормальном положении вещей русофобия" (с. 577). Куда как определённее в этом смысле высказался в декабре 1991 года Г. Х. Попов, когда произнёс, что СССР "всегда был формой господствующего положения русского народа... и эта форма режима должна быть разрушена". На что депутат Госдумы С. Н. Бабурин меланхолично, но ожидаемо заметил: "Цели, которые ставил себе гитлеровский режим 50 лет тому назад, для многих политиков святы" (с. 578).

Особого, на мой взгляд, внимания заслуживают размышления профессора Вдовина о так называемом "русском национализме", жупел которого в наши дни активно используют в современной идеологической войне с Россией и, конкретно, — с президентом РФ правящие круги американского Конгресса.

Очищая это понятие от негативных наслоений советского времени и перекидывая мостик от понятия "национализм" в позитивном и даже прогрессивном его содержании к понятию "патриотизм", автор исследования совершенно справедливо замечает, что к "русскому патриотизму ещё от революционных демократов начала XX века прилипло и сохраняется определение "реакционный". А ныне всякое проявление русского национального сознания резко осуждается и даже поспешно приравнивается к "фашизму", которого в России и не бывало никогда и который вообще невозможен без расовой основы, однорасового государства" (с. 589).

К несомненным достоинствам исследования следует отнести тот факт, что автор его не обходит своим вниманием такую острейшую идеологическую (и политическую) проблему, каковой вот уже почти век выступает вопрос создания Русской Республики в составе Российской Федерации, привлекая к своим размышлениям и крайне мало известные общественности исторические факты.

Поначалу, указывает он, после Февральской революции и Ленин считал не только возможным, но и необходимым сохранить в России Русскую Республику. "Предлагая внести изменения в программу партии, он (Ленин), — пишет Вдовин, — как о само собой разумеющемся писал о будущей республике русского народа. "Республика русского народа должна привлекать к себе другие народы или народности не насилием, а исключительно добровольным соглашением на создание общего государства" (В. И. Ленин. ПСС. Т. 32. С. 154). Но в 1922 году вождь вдруг поменял свою позицию, вернулся к резко негативным оценкам культурного потенциала русского этноса и охарактеризовал советский государственный аппарат как "море шовинистической великорусской швали" (ПСС. Т. 45. С. 352, 357).

Как уже сказано выше, автор рецензируемого издания историю рассматриваемого вопроса постоянно сопрягает с современностью. Так, замечает он, Д. Медведев в бытность его на должности президента РФ однажды выразился так: "Каждый гражданин любого государства должен, прежде всего, ощущать себя частью большой страны, и уже во вторую голову он должен ощущать себя представителем того или иного этноса. Иначе государство разваливается на части" (с. 540 рецензируемой книги).

Профессор Вдовин не торопится соглашаться с такой позицией и, комментируя это высказывание, пишет: “Тем не менее, уместен вопрос, не будет ли предлагаемое понимание единой российской общности и противопоставление “ощущений” вместо сглаживания национальных противоречий продуцировать их? Более надёжным представляется создание условий, при которых “ощущения” не противопоставляются, когда противоречия между ними сглаживаются и, в конечном счёте, устраняются, а гражданин в одинаковой мере гордится и принадлежностью к своему государству, и к своей этнической общности. Опасность же противопоставлений, с учётом настоящего экскурса в историю, на наш взгляд очевидна” (с. 540).

Читатель без труда может обнаружить в книге А. И. Вдовина подлинные изыскательские находки, имеющие прямое отношение к главной теме книги.

Так, на странице 502 читаем: “На форуме сайта пресс-центра М. Б. Ходорковского в 2004 году всерьёз обсуждался “план спасения России”, заключающийся в её присоединении к США, “благо и общая граница на Аляске есть”. При этом “остатки населения РФ переселяются в тёплые области, сворачивается собственная оборонка... и всё это вместе называется СШАЕА (Соединённые штаты Америки, Европы и Азии)”. А. И. Вольский утверждал: “Именно такой вариант будет принят, когда Ходорковский выйдет из тюрьмы (осуждён в мае 2005 года на 9 лет лишения свободы за мошенничество и другие преступления), и мы вместе с ним займёмся его реализацией. В этом и есть историческая миссия Ходорковского”. В публикации, поведавшей миру о такой идее, упоминалось, что известен был и аналогичный план МИДа”.

Вообще-то говоря, с трудом верится, что такой фантастический план поддерживал Аркадий Иванович Вольский, многолетний работник аппарата ЦК КПСС (заведующий отделом промышленности ЦК и помощник двух генеральных секретарей ЦК – Андропова и Черненко, создатель и бессменный (до самой смерти в 1986 году) руководитель РСПП. Но после распада СССР мы не один раз были свидетелями и ещё более головокружительных политических кульбитов.

И дело совсем не в том, что М. Ходорковский и А. Вольский не отрицали авторства названной выше идеи о фактическом уничтожении России как субъекта мировой политики и международных отношений и фактического же уничтожения русского этноса как нации. А в том ещё, что они совсем не были первыми в выдвигании этой сумасбродной идеи.

Когда в июне 1990 года М. Горбачёв и Э. Шеварднадзе приняли до сих пор не объяснимое решение безвозмездно передать Соединённым Штатам часть шельфа в Беринговом море общей площадью в 55 тысяч кв. км, президент США Джордж Буш-старший, придя к выводу, что существованию Советского Союза как государства приходит конец, дал задание Институту мировой истории США разработать проект возможной продажи Москвой Соединённым Штатам Сибири и Дальнего Востока.

План этой сделки под названием “Американская Сибирь”, в юридическую основу которого был положен Договор об уступке Россией американскому государству Аляски и Алеутских островов 1867 года, был представлен Д. Бушу летом 1992 года. Стоимостью сделки, по мнению авторов этого плана, должна была составить что-то около 3 трлн долларов из расчёта 1 тыс. долларов за один акр земли (0,4 га). Д. Буш к этому времени ещё занимал должность президента США, но Советского Союза с 8 декабря 1991 года уже не существовало, поэтому рассматривать эту химеру уже не было никакого смысла. Но, тем не менее, никто в США от этого плана официально не отказывался. По видимому, именно поэтому А. И. Вольский в 2004 году и рассматривал как имеющий практическое значение вопрос о вхождении России в состав Соединённых Штатов Америки.

Меж тем, под Сибирью план Института мировой истории США понимал территорию от Уральских гор до Тихого океана и предлагал создать на этой территории семь новых американских штатов. В документе высказывался своего рода прогноз, согласно которому после покупки Сибири в США создавалась возможность открыть по 20 тысяч новых рабочих мест в каждом “старом” американском штате в течение следующих 20 лет. При этом американская сторона должна была ежегодно выплачивать “оставшейся за Уралом России” по 200 млрд долларов, половина из которых выплачивалась бы наличными,

а вторая половина – поставками американских товаров по заказам российских потребителей.

Ещё проще предлагалось поступить с населением Сибири и Дальнего Востока, живущим там на момент заключения сделки. Все русскоговорящие жители славянского происхождения должны были стать полноправными гражданами США со всеми правами и привилегиями, а юридическое положение коренного населения Сибири и Дальнего Востока (якуты, чукчи, буряты, тувинцы, эскимосы и т. д.) должно было определяться теми “законами и правилами, которые правительство США будут время от времени принимать в отношении их”\*. (По-видимому, они должны были разделить судьбу индейцев на территории Северной Америки в эпоху колонизации этой территории. – **Вл. К.**).

Понятно, что когда вынашивались эти геополитические проекты, то живущие в нашей стране лидеры либеральной идеологии исходили из того, что набирающая на международной арене силу тенденция глобализации экономических и политических процессов ведёт к созданию, как считал тот же М. Б. Ходорковский, к формированию единого мирового правительства на базе Бейдельбергского клуба, Трёхсторонней Комиссии и подобных структур. Но к моменту написания профессором А. И. Вдовиным рецензируемого труда ситуация поменялась существенно, и глобализация, и либеральная идеология в целом показали свою принципиальную несостоятельность. Так, бывший в 1990-е годы активнейшим сторонником и пропагандистом либеральной русской революции член-корреспондент РАН Руслан Семёнович Гринберг сегодня отмечает, что “для мира, уже который год переживающего кризис, наступил “момент истины” – упоение “свободной” экономикой прошлого, уступив место разочарованию и усталости от радикального, безудержного либерализма”\*\*. Вот, собственно, на эту сторону мировых процессов и обращает внимание автор рецензируемого труда.

Нельзя не согласиться с высказанным автором книги мнением, что “осмысление пути русского народа через драматический XX век приводит к убеждению, что коренная причина разрушения Российской империи в 1917 году и Советского Союза в 1991 году заключается в отчуждении между государством и русским народом, в равнодушии наиболее многочисленного народа к судьбе “империи”, утрачивающей способность к выражению и защите его национальных интересов и ценностей” (С. 679).

Более или менее удачно сформулировав основное на сегодняшний день противоречие в развитии современного российского общества, профессор Вдовин в целом, как представляется рецензенту, верно определяет не только основное противоречие, перед необходимостью разрешения которого стоит в настоящее время наша страна, но и предлагает направление, по которому могло бы пойти это разрешение. Только направление, к сожалению, а не, так сказать, “дорожную карту”, но, по-видимому, к более конкретным рекомендациям наше общество ещё просто не готово.

Можно выразить “только сожаление о том, – пишет автор книги, – что в условиях революции 1917 года был упущен исторический шанс укрепить государственность по проекту, предлагавшемуся первоначально В. И. Лениным. Выступая в июне 1917 года, он ратовал за трансформацию Российской империи в Русскую республику (В. И. Ленин. ПСС. Т. 32. С. 269). Отдавая должное благородству таких намерений, нужно также признать, что время для установления соответствующей власти в России давно уже пришло. (Но) для этого требуется многое, – пишет Вдовин, – сдвиги в национальной политике в сторону акцентов на русском народе, “государствообразующем по факту существования России” (В. В. Путин), Православии, соединении советской и российской истории, державности. Требуется очищение исторического наследия от русофобства, выработка мер по преодолению негативных последствий разделённости русского народа, узаконения пропорционального

\* Подробнее см.: Юрий Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ “Самодержавная Россия: движение “встреч солнцу” и народы Сибири”. – Международная жизнь № 5 (май). 2016. С. 152–184.

\*\* См.: Л. Е. Гринин, А. В. Коротчаев, В. М. Бондаренко, Р. С. Гринберг. Юбилей Н. Д. Кондратьева в свете современных проблем мировой экономики. В книге: Н. Д. Кондратьев. Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из современности. М.: Учитель. 2017. С. 6.

представительства всех народов в органах власти, избавления от “асимметричного” федерализма. Политика не должна вступать в противоречие с аксиомой: только сохранение государствообразующей роли русского народа, укрепление его сплочённости и патриотизма, надёжная защита интересов его национального развития позволяют установить в России мир, о котором мечтал А. С. Пушкин. Ибо только в этом случае “будут гармонично развиваться и взаимообогащать друг друга в едином цивилизованном пространстве, и внук славян, и финн, и тунгус, и калмык, и все другие народы, издревле населяющие Россию” (с. 677–678).

Впрочем, гармония – гармонией, но своей центральной идеей автор всё же формулирует мысль о том, что без концептуального радикального решения “русского вопроса” вывести нашу страну из системного кризиса, куда её вверг геополитический распад Советского Союза, в течение ближайших 10–15 лет невозможно. Подробному описанию технологии, своего рода выписыванию так называемой “дорожной карты” решения этой задачи автор посвящает специальный (последний в книге) параграф под названием “Русская идея не противостоит российской” (с. 666–678). “Политика, – пишет он, – не должна вступать в противоречие с аксиомой: только сохранение государствообразующей роли русского народа, укрепление его сплочённости и патриотизма, надёжная защита интересов его национального развития позволяют установить в России мир” (с. 678). В конечном итоге, ведь совершенно прав оказался на 90-м году своей жизни В. М. Молотов, когда сказал, как выдохнул: “Коммунистическая партия ведь так и не решила русский вопрос – не решила, каким должен быть статус огромной РСФСР и русской нации в Советском Союзе”. Именно эта констатация “исчерпывающе отвечает на вопрос, почему Советский Союз в декабре 1991 года прекратил своё существование... Она говорит также о необходимости не только признать русский народ государствообразующим по факту существования России. Необходимо предоставить ему, наконец, соответствующий институциональный статус, который позволил бы практически решить проблему русской нации в Российской Федерации. Видимо, только в этом случае отойдёт в прошлое XX век российской истории, который можно смело назвать “антирусским”, что особенно жёстко проявилось и в девяностые годы” (с. 686).

В заключение не могу не обратить внимания на некоторые спорные, на мой взгляд, положения, изложенные автором этого уникального в целом исследования.

По-моему, несколько снижает порою творческую ценность рецензируемого труда то обстоятельство, что в стремлении оправдать во что бы то ни стало некоторые совершённые правительствами СССР (России) ошибки и провалы в противостоянии с агрессивным стремлением Запада (читай: США) нанести урон нашему внутреннему политическому развитию, автор начинает всерьёз подвергать анализу публицистические вымыслы наших геополитических противников.

Так, не совсем понятным для подготовленного читателя остаётся пристальное внимание автора книги к подробному анализу так называемого “плана Даллеса” по разрушению политической системы Советского Союза путём внутренней идеологической диверсии западных антисоветских спецслужб (см. с. 303–671). Во-первых, в литературе давно уже установлено, что директор американского ЦРУ Аллен Даллес (1893–1969) к так называемому “плану” по внутреннему политическому и моральному разложению советского (российского) общества никакого официального отношения не имел. Ни в официальных документах, ни в серьёзной публицистике “план” этот в английском оригинале представлен никогда не был. Иногда “планом Даллеса” называют меморандум 20\1 Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 года (NSC 20\1 1948), выполненный по запросу министра обороны США Джеймса Форрестала и представляющий собой аналитический документ о долгосрочных целях политики США в отношении СССР. Документ этот был позже обнародован в мемуарах прожившего более 100 лет автора так называемой политики сдерживания США в отношении СССР Джорджа Кеннона (1904–2005). Как неоднократно отмечалось в исторической литературе, текстовый анализ этого документа и так называемого “плана Даллеса”, подробно процитированный автором книги о русской нации, выказывает полное их несходство. Да автор книги и сам признает, что “план” этот впервые был

наиболее полно представлен в выступлении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (в миру И. Н. Снычев) только в феврале 1993 года, а ранее был опубликован только в художественной литературе (см. с. 304–312).

Книга профессора Вдовина представляет собой нелёгкое чтение. Надо сказать, что поначалу отдельные пассажи могут вызвать у читателя даже некоторое недоумение. Так, может показаться, что с точки зрения заявленной темы в книге представлено относительно много текста, не имеющего практически отношения к делу. В частности, не совсем понятно, зачем было автору столь подробно, на десятках страниц углубляться в тему политических репрессий 1930-х годов. С фактической точки зрения тема эта с 1956 года довольно полно описана и представлена в нашей исторической, научной и публицистической литературе (я уже не говорю о зарубежной, которая по объёму ничуть не менее представительна, начиная с двухтомной политической биографии Сталина Исаака Дойчера 1948 года). Ничего хоть сколько-нибудь нового автору рецензируемого исследования сообщить своим читателям по этой проблеме не удалось, а места в книге это заняло много. Но потом, правда, начинаешь постигать, что без этих пассажей трудно будет высветить (объяснить), что “самую большую проблему современной России и отношений между её национальностями представляет русский вопрос, выступающий на современном этапе как наследие русофобской, наднациональной по своей природе власти в СССР” (с. 573) и что корни этой проблемы восходят к Ленину, его национальной политике. Сталин в этом плане был по рукам и ногам связан обязательным для него соблюдением ленинских указаний. В противном случае он бы просто-напросто не выжил ни в политическом, ни в биологическом смысле.

В общественном мнении страны и вообще в среде образованной публики проблема ленинского русофобства никогда не была предметом серьёзного рассмотрения. В стране, в которой в течение целого века имя основателя советского государства по авторитету и популярности в массах на голову превосходило имя Сына Божия Иисуса Христа, тема отношения Ленина к российскому государству и русскому народу всегда была политически табуирована. И хотя сам вождь мирового пролетариата в собственноручно написанных им текстах много раз давал повод для обвинения его в русофобских настроениях, в советские времена и позже только диссидентствующие эмигранты решались на прямую постановку этой проблемы (М. Геллер, А. Некрич, В. Топольянский и другие).

Но и обойти молчанием надиктованные Лениным в конце 1922 – начале 1923 года работы, получившие общее название “Завещание вождя”, в которых основатель советского государства открыто выразил, как пишет А. Вдовин, “позицию автора... в отношении русской нации, названной “угнетающей” и “великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда” (с. 39), было затруднительно, поэтому советские историки тщательно избегали комментировать эти “неудобные” тексты. Но стремление советских идеологов и пропагандистов снять с Ленина ответственность за наличие элементов русофобства в практической деятельности всех без исключения советских правительств в XX веке не умирало никогда. Не умирает это стремление до конца и в наши дни.

“В 2003 году, – пишет автор рецензируемого труда, – увидело свет обстоятельное исследование В. А. Сахарова (профессор исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – **Вл. К.**), ставящее под сомнение авторство Ленина в случаях со статьёй “К вопросу о национальностях или об “автономизации”, “Письмом к съезду” и некоторыми другими текстами, традиционно включавшимися в состав его “Завещания”...

“Но В. А. Сахаров, – продолжает А. И. Вдовин, – ещё не решился поставить в этом вопросе все точки над і”.

Как представляется, дело, конечно, не в том, что Сахаров “не рискнул прямо назвать автора приписанных Ленину текстов”. Правильнее было бы сказать: “не решился” ввиду шаткости высказанных им позиций. С момента публикации Сахаровым своей “догадки” (с 2003 года) прошло полтора десятка лет, и за это время ни один профессиональный историк не то чтобы не поддержал высказанную Сахаровым догадку, но даже и не отреагировал на неё.

Лишь в 2017 году это сделал не профессиональный историк, а уроженец города Винницы (Западная Украина), бывший шеф-редактор журнала

*Playboy*, а ныне заведующий отделом культуры правительственной “Российской газеты” литературный критик Л. А. Данилкин, который утверждает, что название “Политическое завещание Ленина” было взято “с потолка” и “без согласия автора”\*. Большая часть текстов этого “Завещания” “обзавелась репутацией надёжной только за счёт свидетельств лиц, у которых могла быть заинтересованность в том или ином развитии политической ситуации”, а потому их автором могла быть только Крупская и никто иной: “Больше просто некому”\*\*. Профессор Вдовин склонен согласится с тем, что в биографической книге Л. А. Данилкина “Ленин. Пантократор солнечных пылинок”... автор убедительно доказывает, что их автором могла быть только Крупская и никто иной”.

Пока, впрочем, неизвестно ни одного профессионального историка, кто поддержал бы эти утверждения.

Но всё это нисколько не снижает огромной ценности рецензируемого исследования. Поэтому общий вывод: чтобы представлять себе во всей целостности историю нашей страны и чтобы разобраться в причинах нынешнего её состояния, надо читать книгу профессора А. И. Вдовина. И не только специалистам.

---

\* Иными словами, из текста следует, что и Данилкин говорит о том, что автором этих пассажей был всё-таки сам Ленин и никто другой?

\*\* Данилкин Л. А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия”, серия “Жизнь замечательных людей”, 2017. С. 755, 763.

АЛЕКСАНДР МОТОРИН

## ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: ПУТЬ КО ХРИСТУ

*Оставь дела, мой друг и брат,  
И стань со мною рядом.  
Даль, рассечённую трикрат,  
Окинь единым взглядом.  
Да воспарит твой строгий дух  
В широком чистом поле!  
Да поразит тебя, мой друг,  
Свобода русской боли!*

Ю. Кузнецов

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II великий русский поэт Юрий Кузнецов (1941–2003) в 1998 году переложил стихами на современный язык самое раннее из сохранившихся и, пожалуй, самое яркое и возвышенное сочинение древнерусской словесности: “Слово о законе и благодати” святого митрополита Киевского и всея Руси Илариона. Написано сие “Слово” было между 1037 и 1051 годами, и полное название (начало) его звучит так: “О законе, Моисеем данном, и о благодати и истине, Исусом Христом бывшии; и како закон отиде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простресе и до нашего языка русского, и похвала кагану нашему Влодимеру, от негоже крещени быхом; и молитва к Богу от всеа земля нашеа”. А у Юрия Кузнецова переведено так:

*Речь о Законе в лице Моисея суровом,  
о Благодати и истине в сердце Христовом.  
Только Закон погребли преходящие годы,  
новая вера сошла, воскрешая народы,  
принял тогда и наш русский народ воскрешенье.  
Князю Владимиру наша хвала за крещенье,  
Богу молитва от русской великой земли.  
Господи, благослови!*

Переложение стихами усилило присушие “Слову о законе и благодати” ритм и одухотворенный лиризм. Сам Кузнецов потом вспоминал об этом своем деянии: “Подстрочный перевод “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона сделал Дерягин. Я не владел старославянским. Десять лет он



лежал без движения. Затем я взялся и перевёл. Перевёл быстро, за десять дней. Вернее, моё “Слово...” – не перевод, не переложение, а со-творение. Иларион – ритор, а не поэт. Я вжился в текст, дал ему свой ритм, но он ведь всё равно за тысячу лет многократно менялся” (записано П. П. Чусовитиным).

Обращение к “со-творению” со святителем Иларионом было, конечно, не случайным, и не случайно замысел созревал десять лет. Современный поэт годами постепенно проникал сквозь почти тысячелетие напряженной русской истории, сквозь пространство державного строительства (от древней столицы, Киева, к новой – Москве) и восстанавливал значительно утраченную к середине XX века связь родной словесности с ее православным истоком, со всем духовным православным направлением, соединяющим череду культурных эпох.

“Слово...” святителя Илариона изображает движение человечества, народа русского и каждого прозревшего человека от мрака языческих блужданий к свету христианства.

По такому пути пошел и Юрий Кузнецов:

*Мы раньше молились не Богу,  
А пню среди тёмного дня.  
(“Деревянные боги”, 2003).*

Его поэзия – это постепенное, трудное, с неизбежными для мира сего заблуждениями возвращение к “Слову о законе и благодати” и движение дальше – в предназначенном свыше и предугазанном святителем Иларионом направлении: к благодати и свету Христовой Истины, к истинному просвещению народа. Лишь немногие проходят этот путь относительно далеко и прославляются Церковью как святые. Впрочем, за два тысячелетия собралось целое небесное воинство. Немало в сонме святых оказалось и поэтов – творцов боговдохновенных молитвенных песнопений. Примером для них стали царь-пророк, творец псалмов Давид и сама Богородица, воспевавшая хвалу Богу. По сути, поэтом был и митрополит Иларион.

Юрий Кузнецов не видел себя в этом сиятельном ряду. На вершине творческой зрелости он оценивал свои труды смиренно: “Моя поэзия – вопрос грешника. И за нее я отвечу не на земле”. В конце жизни поэт признался, что дар своего ясновидческого воображения обрел именно через покаяние: “В душе моей много грехов, но Христос отжал эти грехи, это очень страшно было. И мое воображение содрогнулось”.

В порывах покаянного художественного прозрения он даже видел себя низвергающимся до самых глубин ада, как признался в разговоре с В. Бондаренко: “В. Б. Видишь ли ты себя самого в аду? Ю. К. Еще как! В самом конце поэмы – “Мы оглянулись, и оба низринулись в ад...”. “Оба” – это с раскаявшимся разбойником, спутником поэта в его мистическом видении. Впрочем, в упомянутой здесь поэме “Сошествие в Ад” (2002), а затем в незавершенной из-за скоропостижной смерти поэме “Рай” (2003) автор видел и свое прощение Христом в числе некоторых других грешников, и вознесение с ними в Рай. Созерцая ад, постигал, каково там: “Я попал в Ад по своему поэтическому желанию”, – пояснил он замысел своей последней завершенной поэмы. Это было мучительным испытанием, чередой “кошмаров” вперемжку с кошмарными же вдохновениями:

*“Я раздувался, как труп, от гнетущего жара.  
Ужас загваздал меня, как болотная мшара.  
И почернел я, как ночь среди белого дня.  
— Господи Боже Исусе, помилуй меня!*

Спросишь, откуда такой опыт? Из моих кошмаров”.

В полном расцвете творчества и уже незадолго до смерти поэт собрал все лучшее из написанного в сборник и назвал его “Крестный путь” (сборник вышел уже посмертно с искаженным редакцией названием “Крестный ход”). Тогда же, на закате земной жизни, неожиданном для всех, но не для него, он окончательно понял и указал всем, что путь своего таинственного духовного восхождения начал рано: “Образ распятого Бога впервые мелькнул в моём стихотворении 1967 года – “Всё сошло в этой жизни и стихло”. Мелькнул

и остался, как второй план. Это была первая христианская ласточка. С годами налетела целая стая: “На краю”, “Ладони”, “Новое небо”, “Последнее искушение”, “Крестный путь”, “Призыв”, “Красный сад”, “Невидимая точка” и другие. После них я написал большую эпическую поэму “Путь Христа”. Это моя словесная икона. Последовавшая за ней поэма “Сошествие в Ад” – моё самое сложное произведение” (“Воззрение”, 2003).

Удивительное, необычное для XX века устремление светского, тем более, советского поэта к мистическим христианским видениям вполне проявилось и утвердилось, конечно же, не сразу. Казалось бы, откуда вообще такому настроению развиваться в душе, порывы которой изначально стирались бездуховным атеистическим воспитанием эпохи? Но предпосылки к тому были особые. Поэт родился накануне Великой Отечественной войны, 11 февраля 1941 года, и первые его сознательные впечатления совпали с общим содроганием души народа, оказавшегося на краю гибели. В такие времена воскресает народообразующая вера, каковой для России издревле стало Православие. Известно, какую свободу вероисповедания народ получил от государства в годы войны: открывались храмы, было восстановлено патриаршество. Впрочем, если бы этой внешней поддержки и не было, ничто бы не смогло в лихую годину сдержать покаянные порывы каждой души к Богу. И детская душа Юрия в первые пять лет жизни – самые важные для становления личности – конечно же, развивалась под влиянием возрождающейся народной веры. В ту пору примером и словом, несомненно, воздействовала на него бабушка, о которой он вспоминает в 2001 году: “Умерла в 1952 году и похоронена на тихорецком кладбище. Это была набожная старушка. Благодаря ей сестра и я были крещены в тихорецкой церкви”. Крещение произошло в Тихорецке, видимо, в 1944-м, вскоре после гибели отца на фронте под Севастополем. Близко знавший поэта и отслуживший литию на его свежей могиле во время похорон священник Владимир Нежданов свидетельствует в воспоминаниях: “Однажды Юрий Поликарпович вспомнил свою бабушку, как она любила собирать своих подруг у себя дома, читать Псалтырь, как в детстве она часто водила его с собой в храм на Святое Причастие, – правда, тут о. Владимир печально добавляет: – В этом месте его рассказа я говорил ему с горячностью: “Вот бы и вам теперь поисповедоваться, причаститься!”. Он же с мягкой нетерпеливостью перебивал: “Ладно, ладно” – дескать, потом или в другой раз поговорим об этом...”. Кроме влияния бабушки были, конечно, иные, противонаправленные: прочие родственники, школа, вуз. Это ведь и о себе поздний Кузнецов пишет:

*Кто на веру из нас не тяжёл!  
Кто по деду из нас не безбожник!  
(“Икона Божьей матери”, 1996).*

Собственное признание Кузнецова по вопросу о вере во время встречи с читателями в 1991 году, с одной стороны – слишком раннее, относящееся к началу его заключительного духовного поворота, а с другой стороны – уже и вполне православно-покаянное: “Верите ли вы в Бога?” Я не утратил психологию православного человека. Так как я продукт безбожной эпохи, то, лгать не буду, церковь я посещаю редко. Свечку ставлю – и всё. Я не хожу на службы. И я не хочу лгать. Но учёные люди, то есть люди, разбирающиеся в стилях, говорили, что моя поэтическая система допускает присутствие высшего начала”.

Однажды Юрий Кузнецов даже заметил, что поэт не может быть вполне православным, но само рассуждение звучит опять же православно: “Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковленная, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и потому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в жизни, конечно, а в поэзии”; на вопрос, – “возможно ли понятие “православный поэт” в строго догматическом смысле слова, Кузнецов ответил: “Это бессмыслица. Но, как мы уже говорили, поэзия связана с Богом, и прежде всего с Христом, ибо Он есть Слово. Мне хочется надеяться, что поэтическое творчество всё-таки богоугодно. Недаром в лучших своих образцах поэзия очень похожа на молитву”.

Священнослужители оценивали его поздние, по сути, христологические творения очень по-разному. Отец Владимир Нежданов вспоминает: “Не всё духовенство восприняло его новые поэмы о Христе, и Юрий Поликарпович болезненно это переживал. Ныне покойный, праведной жизни протоиерей отец Димитрий Дудко говорил, что это неприятие от непонимания, не надо мешать поэту идти своим путём познания Бога”.

Сам поэт в ответ на упреки пытался объяснять свои взгляды и творческое направление. Откликаясь в начале 2000-х на споры вокруг его трилогии о Христе, в частности – на разговоры, будто Церковь эти поэмы отвергает, он в беседе с адыгским писателем Исааком Машбашем сказал: “Это искажённые слухи. Не все иерархи читали. Да, читал и возмущался настоятель одного храма – бывший актёр. Увы, не все священники знакомы со святоотеческой литературой, и, к сожалению, они совершенно не понимают природу поэзии. Разумеется, религия может прожить без поэзии. У служителей культа можно заметить сухость религиозную. Но если взять псалмы или пророка Исаию. Это высокая поэзия. А они не чувствуют поэзию, видимо, читают псалмы как прозу. Не дано”.

Пожалуй, самое проникновенное определение сущности художественного направления Юрия Кузнецова в его поздних поэмах дал глубоко воцерковленный филолог, а впоследствии священник, И. Б. Ничипоров: “Творческое “я” поэта, бесконечно чуткое к звучанию Христова Логоса, подвижимо внутренним стремлением продлить это звучание в своей душе, наполнить им живой “организм” поэмы. <...> поэзная трилогия Ю. Кузнецова о Христе явилась уникальным в современной духовной культуре опытом творческого проникновения в надвременно-мистическую и социально-историческую составляющие Богочеловеческого бытия Спасителя”. Став через несколько лет доктором филологических наук и священником, отец Илия подтвердил и усилил свою оценку. На вопрос: “А что Вы думаете вообще о современной поэзии? Что Вам кажется в ней заслуживающим внимания?” – он ответил: “Появляются новые интересные имена, явления. Но если говорить о наиболее значительных поэтических исканиях и прозрениях в сфере духовной культуры, то я бы выделил завершённую в 2003 г. поэжную трилогию Юрия Кузнецова “Путь Христа”.

Озирая все творчество Юрия Кузнецова, можно сказать, что, несмотря на внутренние противоречия и внешние препятствия, он прошел по пути ко Христу, по пути православного художественного видения мира, быть может, дальше всех писателей-современников. Однако противоречий, препятствий было много, и движение совершалось с трудом.

В мелькающих событиях, образах Кузнецов ищет и находит общение душ, приводящее в природе к соединению, срастанию всего со всем:

*Через толпу наискосок,  
Как искра, пробежит цветок.  
Вниманья знак? Души привет?..  
Благоухает, гаснет след.  
<...>  
Жар мать-и-мачехи блестит  
И мелко воздух золотит.  
И золотится эта ветка  
В объёмной мысли человека.  
И обернулись тишиной  
Души сомненья и тревоги.  
Я шёл. Травой пропахли ноги  
И стали, собственно, травой.  
Легко, свободно было там,  
Где я читал стихи цветам.  
(“Цветы”, 1972).*

Сливаясь в пантеистическом экстазе с душой всего мира, душа поэта вдохновляется, вбирает в себя всю эту бесконечную бездну и становится ее голосом:

*Всё розное в мире — едино,  
Но только стихия творит.  
Её изначальная сила  
Пришла не от мира сего,  
Поэта, как бездну, раскрыла  
И вечною болью пронзила  
Свободное слово его.*  
(“Стихия”, 1979).

Лирический пантеизм во всех его переливах унаследован Юрием Кузнецовым от магической ветви русского романтизма XIX века, и поэт вполне осознавал свой источник: “Тютчевская дремота пантеична” (“Воззрение”, 2003). Позже он узрит в аду (в поэме “Сошествие в Ад”) своего вдохновителя по части пантеизма – Тютчева, причем посчитает, что тот достоин наказания именно за пантеизм (а также за прелюбодеяние как производное пантеистического типа сознания). Насколько справедлива такая оценка художественного направления и судьбы великого Тютчева – другой вопрос.

К середине 1970-х устоявшийся пантеистически осмысленный образ мира начинает постепенно меняться под веяниями библейского духа, которые поэт пытается пересадить на славянскую мифологическую почву. В поэме “Золотая гора” (1974) изображается христианское пробуждение души героя (а вместе с тем и самого автора)

*Не мята пахла под горой  
И не роса легла,  
Приснился родине герой.  
Душа его спала.*

*Когда душа в семнадцать лет  
Проснулась на заре,  
То принесла ему извет  
О золотой горе <...>.*

Здесь появляется не свойственная пантеизму тоска по бессмертной личной душе: “Душа без имени скорбит”. Посреди еще сказочно-мифологического языческого мира неожиданно посещает догадка: “Не Сатана сорвал ли злость?”.

Появляется в “Золотой горе” и Бог – уже личный, к Которому можно молитвенно обращаться:

*Безмерный подвиг или труд  
Прости ему, Отец,  
Пока души не изведут  
Сомненья и свинец.*

Впрочем, мистические веяния еще зыбки, переменчивы. Поэт тогда едва миновал таинственный рубеж 33 лет, и он видит себя “На повороте долгого пути, У края пораженья иль победы”. Он пока еще неуверенно ступает на этот неведомый путь, что позволяет проникать в глубины народной души, в глубины таинственной жизни Отечества, его истории и праистории. Этот путь – мифотворчество, художественное проникновение в суть бытия и при том – словесное миротворение, то ли самовольно-магическое, то ли смиренно-христианское, совершаемое в сотворчестве с Богом-Творцом. В этот переходный период обе творческие установки – магически-языческая и мистически-христианская – обычно сосуществуют, выражаясь либо в отдельных стихотворениях, либо даже внутри одного произведения:

*Я помню вечную швею  
Среди низин и дыр.  
В моё ушко продев змею,  
Она чинила мир.*

*Я прошивала крест и круг  
И тот и этот свет,  
Меняя нитки, как подруг,  
И заметая след.*

(“Игла”, 1978).

Крест и круг в обновляющемся мировоззрении Кузнецова — это два символических образа соответственно христианства и язычества.

Язычество, обреченное на бесконечную дурную повторяемость бытия, выражалось, например, с привлечением мифов о первочеловеке:

*Отпущу свою душу на волю  
И пойду по широкому полю.  
Древний посох стоит над землей,  
Окольцованный мёртвой змеей.*

*Раз в сто лет его буря ломает.  
И змея эту землю сжимает.  
Но когда наступает конец,  
Воскресает великий мертвец.*

*— Где мой посох? — он сумрачно молвит,  
И небесную молнию ловит  
В богатырскую руку свою,  
И навек поражает змею.*

*Отпустив свою душу на волю,  
Он идёт по широкому полю.  
Только посох дрожит за спиной,  
Окольцованный мёртвой змеей.*

(“Посох”, 1977).

К этому времени Кузнецов начинает постепенно понимать суть древних мифов и нового мифотворчества, сначала возрожденного романтиками начала XIX столетия, а потом продолженного писателями Серебряного века. Венец теории мифа поэт нашел в трудах А. Ф. Лосева, в частности, в книге “Диалектика мифа” (1930). Поначалу он не видит особой качественной разницы между христианским (шире — библейским) и языческим мифотворчеством, однако с годами библейское осознает как первичное и высшее: “Народ творит устами поэтов. А первый поэт — это сам Бог. Он сотворил мир из ничего и вдохнул в него поэзию. Она, как Дух, уже носилась над первобытными водами, когда человека еще не было. Потом Бог сотворил человека из земного праха и вдохнул в него свою малую частицу — творческую искру. Эта Божья искра и есть дар поэзии. Обычно этот дар дремлет во всех людях, как горячее вещество, и возгорается только в тех, кому дано “глаголом жечь сердца людей”. Пламя поэзии бушует в устном народном творчестве, в псалмах, в речениях пророков (все пророки были поэтами), в гимнах Ригведы, в русских былинах. В меру этого дремлющего дара люди чувствуют поэзию в природе, в земле, в воде, огне, воздухе, в земледельческом труде, в душе и натуре человека, и всюду, где есть упоение: во хмелю, в бою, и “бездны мрачной на краю”, и даже в такой абстракции, как числа. Творцами мирового эпоса были певцы. Естественно предположить, что первыми певцами были ангелы. Они пели хвалы Богу. <...> Люди же на земле пели гимны богам, творили мифы и сказки. Мифическое сознание неистребимо. Народы мира донине живут мифами, даже ложными, вплоть до газетных “уток”. Об этом сознании лучше всех сказал А. Ф. Лосев, глубокий знаток мифа: “Для мифического сознания всё явлено и чувственно ощутимо. Не только языческие мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и несравненную духовность этой религии. И индийские, и египетские, и греческие, и христианские мифы отнюдь не содержат в себе никаких специально философских и философско-метафизических интуиций или учений, хотя на их основании возникали

и могут возникнуть соответствующие философские конструкции. <...>” (“Диалектика мифа”). И далее поэт рассуждает о себе: “Я осваиваю поэтическое пространство в основном в двух направлениях: народного эпоса (частично греческого), русской истории и христианской мифологии. <...> Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православный верующий впитывает Его через молитвы”.

Себя Кузнецов мыслит как мифотворца, знающего тайну словесного миротворения: “Итак, миф не выдумка и не ложь. К настоящему мифу нужно относиться серьезно. Мифическое сознание в русской словесности проявлялось по-разному. <...> Я поэт с резко выраженным мифическим сознанием. <...> Первые стихи написал в девять лет и долго писал просто так, не задумываясь, что это такое. Я зачитывался русскими сказками, а потом набросился на сказки других народов. Все они оказали на меня глубокое влияние. Именно народные архетипы и бродячие сюжеты сформировали мою душу. Классическая поэзия отшлифовала только её грани. <...> В моих стихах много чего есть: философия, история, собственная биография, но главное – русский миф, и этот миф – поэт. Остальное – легенда”. Миф в душе поэта рождается так: “Всё, что касалось меня, я превращал в поэзию и миф. Где проходит меж ними граница, мне как поэту безразлично. Сначала я впитываю мир и вещи мира, как воду губка, а потом выжимаю их обратно, но они уже становятся другого качества”.

Одним из источников мифотворческого сознания для Кузнецова стала книга А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу (в 3-х томах, 1865–1869), которую он даже выпустил в издательстве “Современный писатель” в 1995 году. Воздействие этого труда он начал испытать раньше, с конца 1960-х: “В 1967 году у меня наконец прорезалось мифическое сознание в “чистом виде”. <...> Так я открыл свою поэтическую вселенную. К этому времени я прочитал три тома А. И. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” и уверился в себе” (“Воззрение”, 2003). В книге Афанасьева, точнее, в раскрытой там сокровищнице славянской мифологии молодой поэт увидел источник своего поэтического вдохновения: “<...> мои критики, находясь в магическом плену книжных ассоциаций и соображений литературного момента, утратили ключи к старым ценностям; в этом случае я бы посоветовал прочесть А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу”, возможно, три его тома дали бы кое-какое представление о народной символике, которую Бог надоумил меня взять для стихов”.

В языческой мифологии поэта особенно влекли образы кругового движения, основанного на повторе развития: “Историческое мышление человека разорвано и не улавливает связи начала и конца. Формально человек установил эту связь, когда спутники Магеллана обогнули Землю и окончили свой путь в начальной точке. Кругосветное путешествие – формальный образ вечного возвращения. Земля кругла – это похоже на ловушку. Как тут не вспомнить Мировое Яйцо и даже старые бесполезные споры, что было раньше: яйцо или курица? <...>. Кстати, “начало” и “конец” – слова одного корня, раньше было одно слово, выражающее цельное представление. Оно осталось невидимой точкой, вокруг которой вращаются представления начала и конца. Когда-то из этой точки вышли космогонические мифы о Мировом Яйце и Мировом Древе, которое тоже круглообразно. (Абрис корневой системы и кроны)”.

Свой врожденный ясновидческий дар Кузнецов объяснял отчасти в духе языческих мифических представлений, отчасти по-христиански: “”Будьте как дети” – это сказано давно и навек. Я помню, что в раннем детстве смотрел на взрослых со странным удивлением. Для меня они были людьми иного мира. Часто на мои вопросы они отвечали загадочно: “Много будешь знать – состаришься”. Я не мог понять, как это произойдет: неужели внезапное превращение? <...> Во мне рано обнаружилась одна особенность: в ребёнке, в его младенческих чертах я угадывал, каким он станет в старости, а в старике – наоборот. Наблюдая людей, я развил эту способность и мог видеть человека сразу в полном объёме, от рождения до смерти. Поэтому-то в моих стихах много детей и стариков, много связующих начал и концов”. Кроме очевидной отсылки к евангельским словам Христа о детях (24Мф. 18:2; 19:14), здесь заметно влияние М. М. Бахтина, который построил свою теорию карнавальности мировой культуры на осмыслении пантеистической природы языческой мифологии, творящей образы единства начала и конца, жизни и смерти.

В поэме “Сошествие во ад” поэт показал, что Христос разомкнул круг языческой мифологии с ее дурным вращением бытия: “Славен Господь! Он взломал колесо возвращений”. Особенно ярко и символично это свершилось при освобождении Сизифа от языческого заклятия, по которому тот должен был вечно вкатывать камень на гору:

— *Это Сизиф! — я воскликнул. И вздрогнул Сизиф,  
И обернулся. Воистину, жизнь — это миф!*  
— *Ухнем, Сизиф! — крякнул я, и вкатили мы вместе  
Камень на гору, и камень остался на месте.  
И улыбнулся Христос и во славу Свою  
Молвил Сизифу: — И ты скоро будешь в Раю.  
Жди не вечернего знака... — Сизиф преклонился  
Так, что огнём в одну сторону ад преломился.*

\* \* \*

В пределах нехристианского магического духовного мировосприятия все просто: художник не только причастен божеству, но и сам божество в миг вдохновения, ибо божество (иногда в обличье того или иного языческого бога) творит через него и тогда ему все позволено, границ его воображению нет. Он может созидать целые воображаемые и в духовном смысле действительные миры, населять их вымышленными людьми, ковать цепи любых событий, вовлекать в эти миры действительно существующих или существовавших людей, влиять на их жизнь, по сути — прописывать их судьбы.

Духом магического творчества проникнуты древние мифы, их отзвуки в сказках. Это понимание художественной словесности Кузнецов хорошо освоил и применял в своем раннем и начальном зрелом творчестве. Однако с течением лет, особенно с 1990-х годов, по мере углубления в православное мировидение, поэт начал понимать ограниченность и опасность магического словотворчества.

На самом переходе к православному слову он иронически изображает оставляемую им (не без сожаления!) словесную жизнотворческую магию, видит, как она пронизала собою весь мир, все человеческие души, так что вся жизнь человеческая пузырится магией совместного воображения:

*Мир звенит пустыми пузырями  
Праздных грёз и дутого стекла,  
Мыльными мгновенными шарами,  
Что пускают слава и хвала.*

*Наложи печати и запреты,  
Только ничего не говори,  
Потому что дети и поэты  
Всё же верят в эти пузыри.*

(“Пузыри”, 1988).

С мистической православной точки зрения, художнику слова запрещен произвольный вымысел, самочинно творящий небывалые лица и события. Нарушение этого запрета сродни первородному греху, попытке стать “как боги”, — по слову змия-сатаны (Быт. 3:5). Но художник, подобно Адаму в Раю до грехопадения, может быть сотворцом своему Богу: “И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его” (Быт. 2:15), причем художник слова может давать имена творимым от Бога существам, то есть может соучаствовать в определении их сущности, а значит, в их созидании (Быт. 2:1). Силою воображения художник видит то, что открывает ему Бог в Своем миротворении, и выражая свое видение словесно, он “воображает” увиденное, по древнему смыслу этого слова: придает увиденному овеществленные образы таинственной силой богоданных слов. Так силою сотворческого Богу человеческого воображения зиждется и расширяется пространство бытия, включая в себя не только неуловимые миги

настоящего, но и расширяющиеся пространства прошлого и даже возможного будущего, заключенного в Промысле Божиим о мире и открываемого ясно-видению пророков-художников. Смиранный вдохновенный художник видит то, что открывает ему Бог в прошлом и будущем, видит глубинный смысл потоков настоящего и передает все это в образах другим людям, приумножая разнообразие богоданного мира, существующего и во времени, и в надвременной вечности.

Состояние вдохновенного ясновидческого сотворчества с Богом Кузнецов передавал так:

*В самую тьму мы направились, следуя Богу.  
Внутренний свет выявлял где угодно дорогу.  
Из ничего проступали цвета и тона,  
Звуки и запахи. Я им давал имена.*

(“Сошествие в Ад”).

С Богом Рай везде, и утраченная в грехопадении Адамова райская способность сотворчески давать имена восстанавливается в душе поэта даже при сошествии со Христом в ад. Вдохновение поэта от Духа Свята, как и его общение со Христом – Божественным Словом – это и есть приближение к Богу, а значит – к былому райскому состоянию души.

Главная установка православного мистического словотворчества – обращение к Богу за помощью во смирении и любви, а значит – отказ от произвольного, самочинного, гордого вымышления, воображения, созидания бытия за Бога и вместо Него. Такое греховное созидание мыслится губительным для души богоборчеством, и плоды его расцениваются как мнимые, призрачные, вводящие художника и его поклонников в прелесть, приятное, но смертоносное заблуждение.

Главная трудность православного мистического словотворчества – это правильное осознание и осуществление своего сотворческого смирения перед Богом при одновременном распознании вездесущей гордости воображения и уклонении от нее. Православный художник слова непрестанно стремится к различению поддерживающей благодати Духа Свята и всегда обольщающих, обстоящих бесовских внушений, наущений, прелестей – нечистого демонического вдохновения, именовавшегося у древнерусских книжников “бесовским мечтанием”.

На пути мистического творчества много преткновений и ловушек, о которых духовные подвижники знали с древнейших времен. Православные книжники старались избегать произвольной игры воображения, искали и ожидали высший творческий дар – вдохновение от Духа Свята, благодатную поддержку духовных сил небесных – Богородицы, ангелов, святых. Без такого благодатного ясновидения прошлого невозможно было бы увидеть его живой целостный образ, а значит, невозможно было бы создать ни одного жития святого, ни одного летописного сказания, ни одной былины. Без такого благодатного ясновидения нельзя также описывать сиюминутное, но всегда ускользающее за пределы восприятия настоящее, и, тем более, – будущее, которое открывается в духовных видениях.

Кроме постоянной сотворческой Богу и часто незаметной работы ясно-видческого воображения в обычных видах словесного творчества, есть еще могучее проявление этого воображения в особом роде духовных, словесно запечатляемых развернутых видениях, где в свете вечности созерцается и прошлое, и настоящее, и будущее (порою – в сочетании времен). Церковь с большой осторожностью относится к таким изображаемым словесно видениям, но понимает их возможность, даже неизбежность и пользу в том случае, когда их источником становится Бог, действующий на душу художника прямо либо же при посредстве Его святых сил. Самое известное и внушительное среди таких признанных Церковью видений – “Откровение” (“Апокалипсис”) апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Не случайно в конце Евангелия, написанного им, оставлены слова: “Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь” (Ин. 21:25). Бытие Бога непостижимо и неохватно. Частично оно является в видениях, чудесах, которые, даже воспринимаясь чувственно, остаются духовными. Живой длящийся опыт богообщения может



записываться бесконечно. Сам апостол Иоанн Богослов оставил пример такой записи в своем “Откровении”, завершающем по воле Церкви канонический евангельский свод.

Именно на признанных Церковью видениях поздний Юрий Кузнецов учился видеть и отображать богоданный мир в его прошлом, настоящем и будущем. Поэт проникся духом видений апостола Иоанна, и вслед за апостолом он видит мир под знаком движения в Концу Света и Страшному Суду. По завершении поэмы “Рай” он надеялся написать еще и “Страшный Суд”.

По вере Кузнецова поэт в своих смелых созерцаниях неизбежно отрывается от обыденного человеческого сознания, предстоит Богу, и Судьей ему становится Бог, позволяющий общение с Собою: “Поэт, переживая, вживаясь в образ Христа, приближаясь к нему своим воображением, сам обо всем догадывается. Тут даже не у кого спрашивать совета. У духовника? Но кто ему даст ответ? А поэту дано внутреннее духовное зрение”.

В последние годы своей жизни Кузнецов старался постичь, чем подлинные видения отличаются от ложных, однако понимал и то, что различить их с полной уверенностью для человека с несовершенной духовной жизнью просто невозможно. Основа для подлинного различения была ему известна: непрестанное покаяние перед Богом во смирении и любви. За три дня до смерти он написал стихотворение “Молитва” (8 ноября 2003) в котором устами святого подвижника, обращавшегося к Богу, выразил суть смиренного покаяния: “Ты в небесех – мы во гресех – помилуй всех!”. Сам поэт постоянно молился Иисусовой молитвой и многократно повторил ее в поэме “Сошествие в Ад”: “Господи Боже Иисусе, помилуй меня!”.

К осмыслению сущности творческого ясновидения Кузнецов начал подступать довольно рано. Уже в речи на IV съезде писателей РСФСР в 1975 году он обозначил главную цель поэзии: “<...> уже лет двадцать в поэзии царит быт... А ведь назначение поэта в том и состоит, чтобы за поверхностным слоем быта узреть самое бытие”.

Пройдя долгий путь самопознания, поэт выразил природу своих духовных видений, то есть суть своего творчества, как живое смиренное общение со Христом – Богом-Словом, изрекшим Себя в начале Евангелия от Иоанна:

*Я сплю на Слове. Каюсь, Боже!  
Чудно сияет это ложе.  
Оно из молнии и грома,  
Из толщи звезд и невесомо.  
Лежу с открытыми глазами,  
Как жертва перед небесами.  
И пью из Твоего дыханья  
Сладчайшие благоуханья.  
Во мне струятся сны простые —  
Оранжевые, золотые.  
А пробуждение другое —  
Зеленое и голубое.*

(“Ложе сна”, 2001).

Постижение неразрывного единства творческого ясновидения, вещей снов и даже обычных снов проходит через всю зрелую поэзию Кузнецова. Осмысление этого единства выразилось в беседе поэта с критиком В. Бондаренко о поэме “Сошествие в Ад”: “В. Б. Несколько раз у тебя проскакивает: “И задремал во мгновение века сего...” И еще: “Жестко я спал, разметавшись во всю круговерть...”, “Я проснулся в тревоге...” Когда ты просыпаешься, где ты оказываешься? Переходишь из одного сна в другой? Поэма как система сновидений? Ю. К. Сны – тоже реальность, но особого рода. В моем творчестве много сновиденческих образов. В поэме сны не раскрыты, кроме двух, но это всего восемь строк. Мне приснился вертящийся глобус, “земля без небес” и сон Льва Толстого. Я даю возможность будущим поэтам написать остальные мои сны. Хотя бы сон в ожидании Христа – Он вот-вот выйдет из могильной пещеры. Мне, наверно, не какие-нибудь пустяки снились”.

Часто поэтические видения, то есть собственно духовная жизнь поэта, совершаются в привычном и доступном для большинства людей проявлении –

в сновидениях, и они так же записываются стихами, причем для поэта действительность, действенность этих снов-видений, так же, как и видений-яви, бесконечно сильнее яви обыденной, увязшей во плоти:

*Туча в сумерки. Буря огня.  
Тьму свою отдаю ради света.  
Я летаю во сне, и меня  
Люди сна ненавидят за это.  
<...>  
Вижу свет, он как будто зовет,  
Но туман продолжает сгущаться.  
Обрывается плавный полет.  
Тьма и трепет. Пора возвращаться!*

*...Подле вялого тела жена  
На постели сидела вдовою.  
— Что с тобою? — кричала она  
И трясла то, что было не мною.  
(“Ад над нами”, 1993).*

Люди в мире Кузнецова общаются через свои сны. Степан Разин в аду говорит поэту: “Где-то я видел твой сон? Признавайся, казак!..” (“Сошествие во ад”).

В видениях, как во снах, могут созерцаться любые времена: далекие, близкие, прошедшие, будущие, сиюминутно летящие – и протяженность времени не имеет значения, ибо в духовном созерцании осуществляется вечная жизнь, не причастная смерти:

*Сотни бед или больше назад  
Я вошёл в твой огонь, Сталинград,  
И увидел священную битву.  
Боже! Узы кровавы твои.  
Храм сей битвы стоит на крови  
И творит отступную молитву.  
<...>  
Начинается битва, где смерть —  
Явь и правда особенной жизни.  
(“Из сталинградской хроники. Посвящение”, 1995).*

Юный Христос во сне видит Свою божественную сущность:

*Отрок тринадцати лет улыбнулся во сне.  
Отроку снится: он — Бог, он — Сиянье сияний,  
Он — Красота красоты, он — Зиянье зияний.  
Он может всё... Он не может почти ничего!  
Он — человек, плоть зыбучая мира сего.  
(“Путь Христа. Часть 2. Юность”).*

В полусонных видениях воспринимают Христа Богородица, Мария Магдалина. Вознесение Богородицы совершается во сне-яви (без границы между плотью и духом). Условность границы между сном и явью переживают стражники:

*Люди Пилата пещеру три дня сторожили.  
Снился им сон. Светлый ангел явился во сне,  
Камень толкнул и на камне сидел в тишине.  
Стражи в пещеру вошли и проснулись от страха:  
Тело исчезло. Следа не осталось от праха.  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).*

И, конечно, весь мир – видение Бога:

*Видал Христос Утешителя скорбных людей:  
Он над водою носился, как пух лебедей.  
Видал Христос на мгновенье, что мира короче,  
Дьявола, спадшего с неба, как молнию ночи...*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

В потрясающих по размаху видениях трех своих последних поэм: “Путь Христа” (2000 – 2001), “Сошествие в Ад” (2002), “Рай” (2003, не завершена) – Кузнецов предается созерцанию вечности в самом смелом и чреватом духовной прелестью осуществлении: он зрит земную жизнь Христа, общается с Ним, спускается с Ним во ад и возносится в Рай. События человеческой истории соприсутствуют пред Лицом Бога, но и пред лицом боговдохновенного поэта, и даже перед лицом каждого человека, который, часто не замечая того, пользуется в меру своей веры и чистоты этой богоданной тайной бытия даже в каждодневном быту: вспоминая прошлое и предполагая будущее. В ясно-видческом вдохновении по благодати Бога время и пространство соприсутствуют Вечности. Поэту-пророку открывается и суть сей тайны:

*Молния духа в расщелину времени бьёт.  
Вызвал Христос во мгновение сна из былого  
Тень Моисея и молвил раздумное слово <...>.*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

Ведение надвременного единства бытия передается от Бога избранным людям, и на ясновидческих высотах оно почти нестерпимо:

*Вижу всё дальше! Открылось мне зренье такое.  
Сердце, ты страждешь! О, сердце моё ретивое,  
Если не вынесешь мук и двужильных страстей,  
Ангел не сыщёт нигде моих белых костей...*  
(“Сошествие во ад”).

В таком состоянии душа поэта прорывается из времени в Вечность и может пребывать везде. В разговоре с В. Бондаренко поэт поясняет свое духовное соприсутствие при отдаленных событиях как нечто редкое, но по сути естественное и необходимое в жизни верующего человека: “Во второй части поэмы “Юность Христа”, в Кане Галилейской, я сам был на свадьбе, был незримо, это видно по тексту поэмы. Ты мог бы задать вопрос: тебя же видели, подала невеста сама тебе, земному поэту, чашу. Разумеется, во имя Христа. Это значит, что поэт узрел Бога. А ты задаешь вопросы о Христе: почему? Христос везде присутствует в этих поэмах, пронизывает все пространство”.

Время по благодати Божией упраздняется, и поэту открывается возможность соприсутствовать евангельским событиям.

*Светлый Христос побледнел от высокого гнева.  
То не конь-блед через горный махнул частокол —  
Это Христос мимо времени бровью повёл,  
И торгашей окатил взором неба, как варом,  
И опрокинул столы и прилавки с товаром,  
Клетки разбил и на волю пустил голубей:  
— Это же ангелы ваших грядущих скорбей!..*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

Поэта нисколько не смущает, что в разрывах вдохновения для стяжания его новой волны он пользуется разного рода сведениями, которые потом, по возвращении вдохновения, питают огонь его воображения. Так, по свидетельству отца Владимира Нежданова, в “Сошествии в Ад” появились с некоторым запозданием пророк Иоанн Креститель и великомученик Меркурий: “Однажды я дерзнул его поправить: “А где же у Вас, Юрий Поликарпович, в поэме пророк Иоанн Креститель?” – увы, великий святой не был помянут в ней в сонме других святых. “Как нет?!” – Кузнецов даже как-то слегка опешил,

удивился и задумался. И за считанные дни он восполняет этот пробел. В другой раз показал ему в Житиях святых отрывок, где говорится о подвиге святого великомученика Меркурия, римского воина, пострадавшего за веру Христову. Этот святой на поле боя поразил копьем императора Юлиана Отступника, гонителя христиан. Юрия Поликарповича поразило здесь то, что этот святой, изображенный на иконе, исчезает из неё на время боя, совершает подвиг и возвращается в икону, но уже с окровавленным копьем. Чистая поэзия и в кузнецовском ключе! И в кратчайшие сроки поэма уже дополнена новыми строками”.

Работа, предваряющая накат вдохновения, может быть натужно-рассудочной. Скульптор П. П. Чусовитин записывает признание Кузнецова: “Продолжаю писать “Ад”. Кажется, придумал Наполеону достойную его бессмертия страшную казнь... Читал “Молот ведьм”... Ты не помнишь, как устроен “испанский сапог”?”

Постепенно складывался в видениях поэта образ ада. П. П. Чусовитин свидетельствует: “23 декабря 2001 звонил Кузнецов. Спрашивал, нельзя ли представить ад в виде лабиринта, и просил сохранить разговор в тайне”. Позднее, в записи от 16 декабря 2002 скульптор передает прямой речью слова Кузнецова о завершении поэмы: “Поставил последнюю точку 24 октября... От пространственной модели ада как лабиринта пришлось отказаться из-за тесноты, отсутствия простора. Мой ад – это долина, сень. Нет, я посетил ад не как турист, я там действую...”

Почти как шутка воспринимаются некоторые признания поэта о населении его ада различными историческими лицами (надо, впрочем, сделать поправку на то, что свидетельствует, быть может, с обострением выражений, явно ревнующий к его славе скульптор Чусовитин): “Многих в поэме нет. Нет ни одного архитектора, скульптора, художника... Я подумывал о Леонардо да Винчи... Улыбка Джоконды, пожалуй, тянет на ад, но вот написалось, как написалось... без неё...”. Однако поэт не шутил.

На пути видений неизбежны заблуждения, ошибки, как и вообще в жизни человека. Давид-псалмопевец изрек: “Всяк человек ложь” (Пс. 115:2). Но Христос сказал: “Невозможное человеку возможно Богу” (Лк. 18:27).

Вся поэзия Кузнецова – череда духовных ошибок попеременно с духовными прозрениями. То и другое он выражал необыкновенно ярко. Право и обязанность поэта предаваться творческому ясновидческому вдохновению и при том не бояться неизбежных искушений Кузнецов отстаивает, в частности, в споре-видении с выдающимся богословом XIX столетия святителем Игнатием Брянчаниновым, который в письме 1847 года, переданном Гоголю через П. А. Плетнева, упрекнул позднюю книгу Н. В. Гоголя “Выбранные места из переписки с друзьями” в недостаточной чистоте вдохновения: “Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши, воскресил его обновлением состояния. Если же человек будет руководствоваться прежде очищения истиною своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый: потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее. Применив сии основания к книге Гоголя, можно сказать, что она издает из себя и свет и тьму”. В споре со святителем поэт становится на сторону Гоголя, возражавшего на суждение святого Игнатия в письме П. А. Плетневу от 9 мая н. ст. 1847 года. Спор разворачивается в одном из последних стихотворений Кузнецова “Поэт и монах” (1 и 5 ноября 2003):

*То не сыра земля горит,  
Не гул расходится залесьем, —  
Поэт с монахом говорит,  
А враг качает поднебесьем.  
Монах недавно опочил.  
Но сумрак, смешанный со светом,  
Его в дороге облачил,  
И он возник перед поэтом.*

Монах вещает нечто уничтожительное для души: “Вся жива – сон. Готовься к смерти”. То есть земная жизнь призрачна и, по сути, надо с ней покончить. На земле смешение добра и зла, света и тьмы и одно от другого не очистить, иначе как отбросив эту жизнь, потому что она и так смерть – в этой “монашеской” логике легко прочитывается антихристианская гностика, родственная по пантеистической основе буддизму и внушающая жажду высвобождения безликих частиц божественного света, заточенных в человеческой плоти и вообще в темнице мира сего:

*В отмирном самоотверженье  
Я умерщвляю плоть, и кровь,  
И память, и воображенье.  
Они затягивают нас  
В свистящий вихрь земного праха,  
Где человек бывал не раз,  
Был и монах — и нет монаха.  
<...>  
В искусстве смешано твоём  
Добро со злом и тьма со светом,  
Блеск полнолуния с божеством,  
А время старости с последом.  
<...>  
Не мысли, не желай — и ты  
Достигнешь высшего блаженства  
<...>  
Искусство — смрадный грех,  
Вы все мертвы, как преисподня <...>.*

Поэт, напротив, отстаивает творческую свободу в борьбе за добро, в желании творчески преобразовать этот мир и прежде всего – преобразовать себя:

*Искал я святости в душе  
И думал о тебе порою.  
И вот на смертном рубеже  
Явился ты передо мною.  
Признайся, что не любишь ты  
Мечты, любви и красоты,  
Запросов сердца и ответов.*

В доказательство божественной силы поэзии и богоподобия истинных поэтов привлекаются слова Державина:

*А мощь Державина! Вот слог:  
“Я царь — я раб — я червь — я Бог!”.*

И за этими строчками слышится “Слово о законе и благодати” святителя Илариона, где о двуединстве природ во Христе сказано (в переложении Кузнецова) так:

*Как человек, принял уксус и дух испустил,  
солнце затмил и потряс эту землю, как Бог.  
Как человек, был положен во гроб, и, как Бог,  
ад разгромил Он и вызволил души на свет.*

Поэт помнит о немощах человеческой природы и отстаивает свое право и даже обязанность изображать с помощью Бога этот падший мир ради его просвещения и улучшения. Он объясняет свое творческое стремление на основе православного богословия, оправдывая двуединство духовно-материального мира, созданного Богом-Творцом и освященного, очищенного жертвенным боговоплощением, вочеловечением Христа:

*Искусство смешано. Пусть так.  
Пусть в нашем поле плевел много.  
Но Богу дорог каждый злак.  
Ведь каждый злак — улыбка Бога.  
А ты готов всё поле сместь  
За то, что плевелы в нём есть.  
Не слишком ли ты судишь строго?  
Что ж остается нам, творцам?*

*<...>*

*Ты умерщвляешь плоть и кровь,  
Любовь лишаешь ощущенья.  
Но осязательна любовь,  
Касаясь таин Причащенья.*

*<...>*

*Так умертви свои уста,  
Отвергни боговоплощенье,  
Вкушая плоть и кровь Христа  
И принимая Причащенье!*

В итоге оказывается, что прав именно поэт, поскольку под видом монаха ему явился и искушал его лукавый дух:

*При грозном имени Христа,  
Дрожа от ужаса и страха,  
Монах раскрыл свои уста —  
И превратился в тень монаха,  
А тень ослабленного рта —  
В свистящую воронку праха.  
И смешаны во прахе том  
Добро со злом и тьма со светом.  
И ходит страшным ходунюм  
Свистящий прах перед поэтом.  
Под ним сыра земля горит,  
И гул расходится залесьем.  
— Смотри, — поэту говорит, —  
Как я качаю поднебесьем.*

*Поэт вскричал: — Да это враг! —  
Окстился знаменным отмахом —  
И сгинул враг, как тень, в овраг...  
Но где монах? И что с монахом?*

Мысль о неизбежном смешении в искусстве тьмы со светом утверждает-ся “монахом”, но по сути подтверждается и поэтом, только с противополож-ной положительной оценкой, и вообще она не раз выражается Юрием Кузне-цовым в творчестве, закрепляясь и благословляясь, наконец, устами Самого Христа как поэта (“временами”) в “Сошествии в Ад”:

*Молвил Христос: — То, что видишь, — обман и подделка.  
Выпукло видишь, да только ни крупно, ни мелко.  
Вот что ты знаешь: поэт — это солнце и тьма.  
В этом ты прав. Но окстись на вершине ума.  
Бог может только всего человека заметить,  
Даже не глядя. — Мне нечего было ответить.  
— Вот что я знаю ещё, — я промолвил. — Христос  
Тоже поэт. — Временами! — Господь произнёс  
И, поглядев на меня, покачал головою:  
— Прав ты в одном. Остальное пусть будет со Мною.  
В сердце поэта есть тьма, но не самая тьма.  
Если б ты видел всю правду, сошел бы с ума...*

Полная тьма – небытие, пребывающее в сатане, как пояснил Кузнецов в разговоре с В. Бондаренко: “Это Христос говорит: “В сердце поэта есть тьма, но не самая тьма”. В самой тьме находится Сатана. А тьма в сердце поэта... Надо полагать, она та же, что и в Пушкине”.

В “Поэте и монахе” раскрывается главная опасность творческих видений – возможность ложных вдохновений от лукавых духов. В стихотворении это искушение с трудом, но преодолевается. Однако всегда ли так происходит? Конечно, нет. Кузнецов это понимает, но отстаивает право художника на свободную борьбу со злыми духами при поддержке Бога.

В лекции для студентов Литинститута “Ложь и обман как категории поэзии” Кузнецов напомнил: “Отец лжи – дьявол; откуда произошло искусство – от Бога или дьявола?” – здесь ясно указаны два противоположных и притом главных источника вдохновляющих внушений.

Каждый человек претерпевает непрерывные духовные искушения, подобно юному Иисусу в поэме “Путь Христа. Часть 2. Юность”:

*Отрок пятнадцати лет проходил стороной.  
С правой руки Дух Святой, его ангел-хранитель,  
С левой руки дух лукавый, его искушитель.*

Победа дерзновенного творца в духовной борьбе отнюдь не predeterminedлена свыше. Возможность подпадения губительному искушению изображена в стихотворении “Невидимая точка” (2001). Здесь словно бы торжествует точка зрения лукавого лжемонаха, представляющегося неким богом и внушающего поэту самоуничтожение в пору временно подступившего отчаяния:

*Смешалось всё и стало бесполезно.  
Я растерял чужое и своё.  
В незримой точке зазияла бездна —  
Огонь наружу вышел из неё.*

*И был мне голос. Он как гром раздался:  
“— Войди в огонь! Не бойся ничего!”  
— А что же с миром?” — “Он тебе казался.  
Меня ты созерцал, а не его...”*

*И я вошёл в огонь, и я восславил  
Того, Кто был всегда передо мной.  
А пепел свой я навсегда оставил  
Скитаться между солнцем и луной.*

В поэме “Сошествие в Ад” Спаситель временами предупреждает поэта о мнимых видениях (“Это подобье! – промолвил сурово Христос”). В аду, в области и власти нечистых духов, царят видения, внушаемые ими. Эти видения образуют особую призрачную область действительности, ибо и сам ад, как область зла, причастен небытию и вечному умиранию. В “Слове о законе и Благодати” святителя Илариона (в переложении Кузнецова, близком подлиннику) сущность внушений нечистых духов именуется “ложным виденьем”, “привиденьем пустым”. Однако это все-таки род действительности, которая может заражать живые души смертельной болезнью вечного умирания.

Возможность ложных, прельстительно-губительных внушений, приходящих извне, поэт познал уже в юности: “11 октября 1967 года я сидел один, грезил наяву и что-то писал. Вдруг стук в дверь. Оборотась, кричу: “Войди, если не сатана!” Вошёл студент и говорит: – Собралась круглая компания. Мы пригласили девиц из города, но один из нас отключился, и вышла недостача. Ты свободен? – Я готов, – и пошёл за ним. Вошёл и вижу: четыре девицы, трое наших, четвёртый спит, и я, опять же четвёртый, готов и спрашиваю: – Которая красавица? – Это я, – отвечает одна и улыбается. Была не была! Хлопнул стакан водки, потом ещё, музыка играет, мы танцуем. Окно стало вечереть. “Здесь ничего не видать, – замечаю, – пойдём, я тебе покажу свою комнату”. Она согласилась: была подвыпимши. Едва мы вошли, я запер дверь и ключ в карман. <...> осмелел, хочу поцеловать её в губы. “Нет”, –

говорит она на мою смелость и вьётся, как змея, даже лица не разглядеть. “Это куда не годится!” — говорю, обидевшись. И опять то смею, то робею. Ничего не выходит. Мне даже в голову громом ударило. “Или — или!” — кричу. “А что такое?” — спрашивает она и смеётся. Я говорю: “Или я прыгаю из окна!” Она стала, подбочась, и делает ручкой: “Ну так прыгай”. Я распахнул окно, вскочил на подоконник и глянул вниз. До земли далековато: шесть этажей. Но отступить от слова было нельзя, и я прыгнул. Конечно, я немного схитрил и прыгнул вдоль стены — на водосточную трубу, до которой был добрый шаг от окна. Я схватился за водосточную трубу, но не удержался и, обдирая рукава и брюки, стремительно полетел вдоль трубы вниз. На уровне четвёртого этажа (я успел это заметить) моя нога застряла в узком промежутке между стеной, скобой и трубой. Я провис так, что моя застрявшая ступня оказалась выше головы. Я не мог выпрямиться. Я поглядел на землю, и мне стало безразлично. Руки разжались, и я полетел вниз головой на асфальт и подвальную решётку, примыкавшие к стене. Почему я не разбился, никто не знает. <...> Недели через полторы меня выписали из больницы. Но всё же кто меня спас?..” (“Очарованный институт”).

Воспоминание символично раскрывает позднейшее понимание поэтом духовной подоплеки пережитого смертельно опасного искушения. Присказка “Войди, если не сатана!” — отсылает к евангельскому образу горницы души, в которую может входить не только Бог, но и нечистые духи. Выпитая водка (спирт, “спиритус” — лат. “дух”) означает, что лукавый дух все-таки вошел в душу, а красавица, которая “вьётся, как змея”, знаменует сатанинский оттенок этого духа, что закрепляется и силою нечистого внушения: “Мне даже в голову громом ударило”. В итоге поэт, побывавший на границе жизни и смерти, понимает, что жизнь ему сохранил, конечно, не сатана (источник смерти), а Бог.

Потом в автобиографической прозе Кузнецов не раз с пугающей достоверностью передаст вторжение потустороннего духовного бытия в приземленный быт души: “стуками”. Случай в дублинской гостинице), “голосами” (“Худые орхидеи”), причем вторжения эти были явно недобрыми, наводящими тоску, внушающими самоубийственные настроения: “<...> они (ирландцы. — А. М.) до сих пор слышат голоса эльфов. Кельтская старина гласит, что эльфы бывают светлые и тёмные. Голоса тёмных эльфов наводят на людей порчу и смерть. Наверное, одного такого тёмного эльфа занесло бурей в окно дублинской гостиницы, и я до сих пор слышу, как он дёргается и стучит за дверью, из-под которой дует” (“Случай в дублинской гостинице”).

Пережитое состояние белой горячки (временное беснование, с мистической точки зрения) Кузнецов разительно раскрыл в повести “Худые орхидеи”. Скульптор П. П. Чусовитин записал его сопутствующее признание: “Теперь не буду пить до самого 60-летия. Допился до глюков. И постоянно слышатся голоса <...> Вызывают на спор. Но я-то уже учёный. В прения с ними не пускался”.

Так и в поэтическом вдохновении Кузнецов порою слышит обитателей иного, недоброго мира: “Заговорили голоса из бездны <...>” (“Голоса”, 1984).

Ведением о возможности лукавых змеиных искушений-внушений определяется рассуждение поэта об особенностях своего вдохновения: “Конечно, в своей лирике я выражал себя. Но не только. Я часто глядел на себя со стороны. <...> Моя мысль большей частью всегда оставалась “за” словом. Мне хватало сноровки схватить словом только хвост мысли, а силы хватало на то, чтоб удержать её за хвост. “Мысль изречённая есть ложь”. Вот эта ложь и есть хвост мысли, а сама мысль трепещет и рвётся за пределами слова. Хорошо, если эта мысль — жар-птица, а ну как — змея: обернётся и ужалит из своей трансцендентности!..”.

Возникновению ложных видений могут способствовать всегда присущие человеческой природе тщеславие, гордость, которые, с мистической точки зрения, как раз свидетельствуют о вхождении в душу помыслов от лукавых духов. Эти душевные качества, несомненно, мешали поэту постоянно сохранять чистое духовное ведение — мешали даже в конце жизни, в пору работы над “Сошествием в Ад”. П. П. Чусовитин передает его похвальбу (пусть и не совсем пустую): “Я всё равно сейчас из-за экзаменов в литинституте нахожусь в Москве. Уже две недели из-за ихних дипломов и прочей гадости вылетело! Надо, понимаешь, отзывы сочинять... А я “Ад” пишу. Уже одну треть написал. Пора, пожалуй, Данте отодвинуть в сторону с его политическим памфлетом



<...>. Данте 12 лет писал, а я за полгода своротил!.. Небо — ключ, земля — замок... Это результат многолетнего изучения мирового фольклора...”.

Слышание голосов составляет самую суть пророческого ясновидения. В видениях сущность духовных существ выражается именно в голосах, а не в видимости:

*Я оглянулся. Где ангел? — Я здесь, — он ответил.*

*— Так покажись. Я твой образ имею в виду.*

*— Голоса будут довольно. Я рядом иду...*

(“Рай”, 2003).

Как и все сущее, в вечном духовном мире, по вере Кузнецова, некогда возникшие голоса хранятся и сосуществуют. Ничто возникшее не пропадает. Так Адам на возвратном пути из ада в Рай слышит свой древний, прозвучавший при изгнании из Рая голос:

*Замер Адам и услышал рыдающий голос —*

*Так на ветру осыпается зернами колос.*

*Голос все громче звучал, все сильнее трепетал.*

*— Это мой голос! — Адам наконец прошептал. —*

*Я в первый раз зарыдал в этой бедной долине,*

*Он сохранился с тех пор и рыдает поныне.*

*Плач покаяния! Как утешал он меня,*

*Отблеск блаженства навеки в душе сохраняя.*

*Впадины есть на Земле, где годами хранятся*

*Гласы былого и могут опять повторяться.*

*Так и возник из былого мой голос живой,*

*Снова пронзил, как под сердце, удар ножевой...*

*И, словно эхо, на голос изгнанника Рая*

*Сонмы святых зарыдали, его повторяя.*

*Вздогнуло сердце! Рыдай, моя лира, рыдай!*

*Плач покаяния есть возвращение в Рай.*

(“Рай”, 2003).

В целом Кузнецов не придавал большого значения опасности ложных видений, считая их неизбежной частью духовной борьбы: “Ошибок я не боюсь и переписывать поэму (“Сошествие в Ад”. — А. М.) не буду. Пускай живет сама по себе”.

От некоторой неразборчивости и беспечности в распознавании видений, их происхождения и качества, проистекают спорные места в его последних поэмах, например, повествование о земной любви юной Марии Магдалины ко Христу и отвержение этой любви Им, что послужило причиной ее позднейшего впадения в блудный грех, а затем — покаяния, очищения и духовной любви к Спасителю — уже в соответствии с евангельским рассказом. Так же вызывает сомнение рассказ о ранней встрече юного Иисуса с разбойником, который в дальнейшем будет распят рядом со Христом уже соответственно Евангелию.

Такой полет воображения вызывал возражения у части читателей, среди которых были и священники. В ответ Кузнецов оправдывал свои творческие порывы: “Вводить в жизнь Христа любовную линию — безумие для богослова, но не для поэта. Поэт всегда прав — эту истину я знал давно. Я ввел любовную линию, чем оживил поэму”.

Обобщенно на подобные упреки ответил хорошо знавший поэта священник Владимир Нежданов: “Есть разные пути к Спасителю, и кому-то он открывается через посредство красок, другому — посредством слова... А ведь Кузнецов нигде не искажает догматов, не отходит от канона... Он даже говорил мне сам (я его не спрашивал об этом): “Ну вот, как я представляю себе божественность Спасителя?... В нём было соединено — не слить, не разорвать — божественное и человеческое начало. И всё это — как качающийся маятник. То божественное приближалось к человеку — то удалялось...” Даже как-то жестом руки он показал этот маятник, что это всё — не разорвать, не слить... И это действительно так. Он это всё знал. Читал или не читал, — но он ни разу нигде не сказал какую-то еретическую в христианском смысле вещь.

Всё согласовано. И когда он пишет, что присутствует в Кане Галилейской на браке, он делает это совершенно как поэт, и этому веришь! Конечно, поэт может воображением переместиться в любой мир. Поэтому упрёки все эти, которым он подвергся, они несправедливы. И про пощёчину Марии тоже... Это не принципиально всё, не касается главного. Важно в главном иметь единомыслие, а во второстепенном можно спорить... Апостол Павел говорил о том, чтобы в главном не было расхождений”.

Много читательских недоумений вызвали образы самых разных знаменитых людей в аду. Очень сомнительно размещение там Гоголя, Тютчева. Да и всех остальных, пускай даже очень грешных людей. Насколько вправе поэт предаваться таким созерцаниям? Но он так видел и находил себе оправдание: “И попали они у меня в ад за прегрешения перед Богом. Тютчев – за пантеизм и прелюбодеяние, Гоголь – за чертовщину, а Данте – за великую гордыню”. Конечно, некоторые в ответ обвиняли самого Кузнецова в “великой гордыне”. Надо, однако, помнить, что Кузнецов различал переходный “ад”, где пребывают души грешников до Страшного Суда, и окончательный “Ад”, куда попадут все непрощенные грешники после воссоединения с телами и Страшного Суда. На различие адских пространств прямо указано:

*Это трещала развязка поэмы, не боле.  
— Кит погружается! — молвил Христос. — Свят, свят, свят, —  
Молвили ангелы, — ад погружается в Ад!*  
(“Сошествие в Ад”).

Впрочем, многие возражения критиков отпадут, если они не будут искать в христологических поэмах Кузнецова “Нового Евангелия” или “Откровения”, отчего неустанно предостерегал сам поэт.

Тем, кто вообще отвергал возможность словесного изображения Христа в поэмах, Кузнецов отвечал так: “<...> моя поэма, де, – это ересь. Им ли это говорить?! Они сами иудействующие, потому что впадают, сами того не ведая, в ересь иконоборствующих, которая с ходу ведёт в иудаизм с его запретом изображения. Это они еретики, а не я. Вот о чём нужно говорить. О культуре. Но у критиков моей поэмы нет культуры”.

Изображение богочеловеческой двуприродности Христа представляло особую сложность. Поэт выбрал мерцательное изображение: когда больше проявляется человеческая природа Сына Божьего, чаще звучит имя Иисус, и личное местоимение пишется со строчной буквы; когда преимущественно является Его божественная природа – звучит имя Христос, и личное местоимение пишется с прописной буквы. Такое разделение закрепляется устами Самого Христа:

*Времени мало, а дел у Христа очень много.  
Он возгласил на Голгофе печально и строго:  
— Прямо над нами закончились ветхие дни  
Для Иисуса... Вы дальше пойдёте одни.*  
(“Сошествие в Ад”).

Сам Кузнецов такой способ изображения Богочеловека особо пояснил: “Православие говорит, что в Христе человек и Бог неслиянны, но составляют одно целое. Сия истина выше человеческого разумения. Как христианин, я ее принимаю на веру. В поэмах Бог и человек в Христе пульсируют. Я это выразил образом маятника – качанием головы. Христос часто качает головой. Такова амплитуда маятника: то Иисус, то Христос. В первой поэме (имеется в виду “Путь Христа. Часть 3. Зрелость”. – А. М.) **Бог-Отец решил испытать человеческую часть Христа на крайний предел. Святой Дух перенес Христа в пустыню и оставил его (именно его, а не Его) наедине с дьяволом. Тот стал искушать Христа. Только на третьем искушении Христос понял, что остался один – просто человек, без Божьей ипостаси. Как только он выдержал третье испытание, к нему мгновенно вернулась Его Божья ипостась, и Он тут же испепелил дьявола. Во второй поэме (“Сошествие в Ад”. – А. М.), если ее читать внимательно, тоже видно, когда в Христе проявляется человек, а когда Божье. Например:**

*Бог огляделся во тьме и нахмурил чело...*

Тут, конечно, Бог. Только Бог может видеть во тьме. Сколько бы человек ни оглядывался во тьме, он ничего не увидит”.

Поэзия для Кузнецова — это прямая связь души с Богом, Который бесконечно премудр и непостижим. Бог — тайна, а потому и поэзия непостижима: “Поэзия не поддается определению. Она тайна. Легче схватить момент ее зарождения. <...> Человеческое слово — дар Божий” (“Воззрение”, 2003). Бог — Сам Поэт, то есть “Творец” в переводе с греческого. В поэтических вдохновениях, в видениях, исходящих от Бога, человек может улавливать лишь часть божественной Истины бытия, о чем предупреждает Христос своих спутников в аду:

*— Вот вам известность! — Он встал на обрыве крутом  
И начертал карту ада горящим перстом  
Прямо на воздухе. Вот она, Божия милость!  
Звёздная карта мерцала, горела, дымилась  
И трепетала, как утренний пар над рекой.  
Тут я услышал: — Лови! Только левой рукой!  
Остановил я виденье, плывущее мимо.  
Полной рукою схватил я от звёзд и от дыма.  
Пальцы разжал, а в ладони порожня весть:  
— Нет ничего! — И услышал: — А всё-таки есть.  
Хватит того, что поймал. — Но поймал я, однако,  
Только морщины, как с неба круги Зодиака.  
Бог усмехнулся: — А ты угадал невзначай.  
Только поймал ты иные круги, так и знай,  
И на ладони твоей не морщины, а карта,  
Правда, не вся, но и часть пригодится до завтра.*

Споры о духовных достоинствах и недостатках поэзии Юрия Кузнецова могут длиться бесконечно. Ясно одно: поэт не стремился создавать магические апокрифы, вроде тех гностических творений, которые были отречены Церковью в первые века, а напротив, в зрелом своем творчестве он боролся с магией, в особенности с гностикой, и свой незавершенный, оборванный смертью “Рай” по сути знаменательно завершил строками:

*Встретились в Риме однажды мудрец и святой,  
И завязался конец между ними такой:  
— Эй, Поликарп! Ты меня узнаешь? — молвил гностик,  
И задрожал его дух, как над пропастью мостик.  
— Я узнаю сатанинского первенца. Сгинь! —  
Так Поликарп Маркиону ответил. Аминь!  
Каждое слово его как звенящая медь,  
Каждое слово сбылось или сбудется впредь.*

Помянутый здесь Маркион — один из самых знаменитых гностиков, а борющийся с ним священномученик Поликарп, епископ Смирнский — ученик апостола Иоанна и учитель известного противника гностиков святителя Иринея Лионского. Священномученик Поликарп — небесный покровитель отца поэта, а по ранней смерти отца в бою — и покровитель самого Юрия Поликарповича. Священник Владимир Нежданов, общаясь с поэтом, заметил: “Из святых нередко поминал ещё священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, знал его житие, — потому что это святое имя носил его отец”.

Работая над “Сошествием в Ад”, Кузнецов признался в 2002 году П. П. Чусовитину: “Когда было написано уже около трёхсот строк, я вдруг испугался, что умру и поэма останется незаконченной <...> Всё время думал, только бы не умереть, только бы не умереть”. По завершении поэмы он почувствовал, что замысел должен развиваться: “Потребность в равновесии требует создания к поэме “Сошествие в Ад” уравнивающего продолжения под названием “Рай”. Поскольку в православии чистилища нет, то,

по всей видимости, окончательная композиция будет не трилогией, а дилогией”. И хотя его последняя поэма внешне выглядит незавершенной, он успел высказать в ней все, что мог сказать о Рае.

Мелькал в его душе замысел еще одной поэмы: “Страшный Суд”. Отец Владимир Нежданов вспоминает: “Дерзновение поэта было великое, как и помощь от Бога – великая. Помню последнюю нашу встречу – за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции “Нашего современника”, был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму “Рай”. И, прощаясь, вдруг остановился и спросил: “Знаешь, что последует за этой поэмой?” И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: “Страшный Суд!” Это были его последние слова в ту последнюю нашу встречу...”

Однако содержание новой поэмы должно было стать таким, каким и стало в свете поэтики вечности и духовной действительности: раб Божий Георгий отправился на малый страшный суд над своей душой, чтобы потом ожидать со всеми усопшими большого Страшного Суда над всем миром. Судя по воспоминанию жены поэта Батимы, отправление в пространство этой последней поэмы было спокойным и благостным. Кончина застала дома, когда поэт, как обычно, собрался на работу. Отец Владимир Нежданов передает: “А это ведь в сердце у поэта уже было, он жил уже ощущениями горнего, высшего. Ведь не случайно, Батима рассказывала, что когда он уходил, умирал, она спросила: “Юра, что с тобой?”. А он говорит: “Домой. Мне надо домой” (скорее!). Всё-таки – это поразительно, стал собираться на работу, а промолвил: “домой!”... То есть он был уже готов уйти...”

Пространство Вечности издавна стало домом для Юрия Кузнецова. Он входил в этот дом с каждым порывом вдохновения и огорчался, выходя обратно:

*Странно и сладко звучат невечерние звоны.  
Солнце садится, и тени ложатся на склоны.  
Сладко и больно последние листья ронять.  
Я возвращаюсь за письменный стол — умирать.  
Отговорила моя золотая поэма.  
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.  
Боже, я плачу и смерть отгоняю рукой.  
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.  
(“Сошествие в Ад”).*

И вот наконец поэт вошел в свой вечный дом, чтобы уже не возвращаться в поток времени, но, уходя, оставил открытый вход для всех читателей – свою поэзию.

.....

**Исполнилось 65 лет Александру Никитичу СЕВАСТЬЯНОВУ. Человек разносторонних дарований, пламенный публицист, серьёзный учёный, один из создателей русской этнологии, Александр Никитич заслужил признание коллег и читателей. Редакция с удовлетворением отмечает, что Александр Севастьянов ни одно десятилетие плодотворно сотрудничает с “Нашим современником”. В ближайших номерах журнал намерен опубликовать новую работу юбиляра.**

**Редакция**

ГАЛИНА ОРЕХАНОВА

## “ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...”

*Татьяна Петрова хорошо понимает, что без подлинной поэзии искусства русской песни быть не может.*

Валерий Ганичев

Я с радостным удивлением открыла для себя, что для Татьяны Петровой побудительным импульсом к общению с писателями всегда были книги. Прочла “Лад” Василия Белова – и целый мир для себя открыла, увидела опору для укрепления своей позиции в профессиональной деятельности. Прочла “Русофобию” И. Р. Шафаревича, и вот уже Игорь Ростиславович вместе с его деликатной, доброжелательной женой посещает её концерты, после которых иногда они подолгу беседуют с певицей. “Он меня всегда поражал, когда я в очередной раз убеждалась, что Игорю Ростиславовичу совершенно не знакомо чувство страха. А стиль его жизни? Поразительный! Его быт архискромнен, академик с мировым именем, а к нему можно прийти в любой момент, и дверь всегда будет для тебя открыта, он даже не запирает её на замок. Как он поддерживал меня! Сам не единожды преданный учениками (общение с опальным академиком могло испортить карьеру), он старался уберечь меня, делая это крайне деликатно:

“А как ваши ученики? Не оставляют они вас?”

Как-то Татьяна приехала возбуждённая, вошла стремительно и сразу, без всяких вступлений, заговорила: “Я принесла замечательную книгу о Шаляпине! Здесь дан анализ интересов Фёдора Ивановича как книгочея. Посмотрите, как увлечённо он работал с книгой М. О. Меньшикова, работа которого “Ошибки страха” и меня ошеломила”. Я знала о том, что Фёдор Шаляпин – кумир Татьяны, но, честно говоря, считала, что интерес её ограничивается певческой стороной его жизни. Здесь открывалось другое, и я сразу же принялась за эту книгу, пытаюсь понять, что так взволновало мою певунью. Прочла книгу залпом, и вот уже мы увлечённо обсуждаем её идеи. Мысль М. Меньшикова, подчёркнутая Шаляпиным: “Долг человека проявлять любовь благородную, духовную, размеренную, с готовностью на жертвы, но жертвы нравственные. Безнравственно любить трагически, играть жизнью своей и чужой; удовлетворение своего чувства – безнравственно. Такое чувство не любовь, а эгоизм, почему и вовлекает любящих в столь тяжёлые страдания”.

– Да, да! – воскликнула Татьяна взволнованно, – это сильная мысль!

Есть в репертуаре Татьяны Петровой песня “Грусть девушки”. Она нашла её для себя очень давно, и с тех пор песня не выходит из её репертуара. Когда бы она её ни пела, неизменно в душе слушателей остаётся надолго высокое

светлое чувство. Отчего? Для народных песен свойственна “мудрая простота”, она и поселяется в нас. Но это происходит только тогда, когда певица или певец профессионально соответствует открытию, найденному в своё время Н. Г. Чернышевским: песня рождается “не из желания блеснуть и выказать свой голос и своё искусство, а из потребности излить своё чувство”. Татьяна Петрова не только это понимает, но и знает, как попасть в нужную волну, которая выходит из стихии народной жизни и потом снова вливается в неё. В мелодии песни концентрируется характер музыкальной культуры целого народа, особенности интонационного, ладового, ритмического строя. Но главное — в ней сосредоточен народный духовный опыт. И потому лучшие свои песни народ переносит из века в век. С течением жизни они приобретают множество вариантов, и текстовых, и мелодических, но главная идея песни, её нравственная составляющая сохраняется.

Слова песни “Грусть девушки” написаны Алексеем Кольцовым, любимым современником Пушкина. Кольцов как истинно русский талант безупречно улавливал народное естество, как будто брал музыку стиха из воздуха; он развил и наполнил новым содержанием песенные формы русской лирики. Академик, исследователь творчества Кольцова Н. Н. Скатов в монографии о поэте подчёркивает: “Перед нами в виде песен Кольцова пребывает некая идеальная форма народной песни”. Да и музыку песни написал не безымянный композитор, а очень популярный в своё время Гурилёв, имевший яркую индивидуальность, и, тем не менее, составители сборников песен и романсов всегда помещают “Грусть девушки” в раздел “Народные песни”, ибо неразрывны стихи Алексея Кольцова с первоосновой народной жизни.

*Отчего, скажи,  
Мой любимый серп,  
Почернел ты весь,  
Что коса моя?*

В стремлении выразить тайну изболевшей души, как к живому собеседнику, обращается девушка к своему серпу, которому, как другу надёжному, только и можно доверить тайну сердечную. Мы слушаем песню, и нам представляется и знойный день, и поле, и девушка с грустными, мечтательными глазами, присевшая в траве, здесь же, на жнивье. И в нашей душе просыпается и всё более нарастает волнение: мы находим себя в ней, в этой страдальце, поглощённой огромным чувством навалившейся на неё любви, — так поёт Татьяна Петрова.

*Иль обрызган ты  
В скуке-горести  
По милу дружку  
Слезой девичьей?*

В традиции русского поэтического мышления одушевлять предметы, окружающие быт человека, это идёт из глубин крестьянской жизни, но мы и сегодня разделяем желание девушки довериться серпу. Да, серп как орудие труда почти вышел из крестьянского обихода. Но тогда почему становится так тревожно и сладко, когда поёт об этом Татьяна Петрова? Почему так трогает наше сердце эта простая история девичьей любви? Почему мы выступаем на глазах слёзы, нежданные, непрошенные, и ты не можешь не ощущать всем существом своим, что всё это касается тебя и только тебя? И в этой песне всё — гармония. И я всей душой тянусь к родной печальной певунье, которая творит со мной чудо, вознося мою душу. Вспоминаются картины В. М. Васнецова или русские лица известных исторических полотен В. И. Сурикова... Почему мы чувствуем, глядя на них, что всё это “про нас”? Не потому ли, что память эта хранится на генетическом уровне как самое сокровенное, необходимое нам, чтобы мы чувствовали себя людьми, укоренёнными в родной земле?

Поёт Петрова Алексея Кольцова, и слышится мелодия исконной России, дыхание её земли, и откликается заложенное в нас эстетическое народное чувство.

Мысль В. Белинского, что “русские звуки поэзии Кольцова должны породить много новых мотивов национальной русской музыки”, оказалась пророческой.

И нас интересует, в первую очередь, как это пророчество воплотилось в творчестве Татьяны Петровой.

С уверенностью можно сказать, что она — единственная певица XX века, создавшая объёмный, ярчайший по красоте и стилю лирический портрет Николая Клюева. Поэт-самородок, оставивший России наследие высокой художественной пробы, он щедро обогатил русское песенное искусство, и эту его уникальность уловил чуткий и острый ум певицы. Из всего сложнейшего поэтического мира она выбрала те стихи, которые наиболее ярко воспроизводят сказочный, мифологический, порой мистический мир очарованного певца своей земли, наделённого сердцем чутким и нежным. Выстраивая песенный ряд из стихов Николая Клюева, певица создаёт необычайно яркое и колоритное полотно русской жизни. А вслушиваясь в сплетение музыки и поэзии, помноженное на голос и душу певицы, мы с радостью открываем, что перед нами разворачивается правдивая, огромного охвата и силы картина русской национальной жизни. И всё это освещено мудростью и богатством душевных переживаний.

Редкий концерт Татьяны Петровой обходится без того, чтобы в нём не прозвучала песня “Вы деньки мои, голуби белые...” на музыку В. Панченко, счастливо уловившего музыкальный строй поэзии Клюева. В результате сложилось произведение, попадая в поле которого вы воспринимаете певицу так, будто это, к примеру, Хозяйка Медной горы, и она ведёт вас лабиринтами её волшебного царства, где всё играет и сияет в отсветах драгоценных камней, — так певица вживается в образ и стилистику творчества Николая Клюева и передаёт её слушателям.

*Вы деньки мои, голуби белые,  
А часы — запоздалые зяблики!  
Вы почто отлетать собираетесь?  
Оставляете сад мой пустынею?*

*Аль осыпалось красное вишеньё,  
Виноградё моё приувянуло?  
Али дубы, матёрые, вечные  
Буреломом, как зверем, обглоданы?*

К достоинствам певицы мы должны отнести здесь не только вкус и чутьё к образному богатству русского слова, проявленные в выборе текстов, но и понимание того, каким поэт должен предстать перед современным слушателем, практически заново открывающим для себя поэзию этого неповторимого мастера.

Надо отдать должное певице, которая потянулась всем сердцем к личности столь сложной. И прежде, чем подступить к сочинениям Николая Клюева, она прошла трудную школу постижения вершин русской поэзии, не без влияния ведущих писателей и поэтов России, таких, как выдающиеся исследователи наследия “есенинского круга” Станислав и Сергей Куняевы и Вадим Кожинов.

Не только красотой слова и пронзительностью любви к родной земле и природе покорила Татьяна Петрову поэт. Для неё этого было бы мало. В песне есть высоко ценимое ею: “Али веры ограда разрушена? Али сам я, садовник испытанный, не возмог прокормить вас молитвою?”

Вот о чём поёт душа Татьяны Петровой, вот к пониманию чего ведёт этот волшебный сказ: порушена вера? Так вслед за этим, знаете, что грядёт?

*...Что без вас с моим вишеньём станется?  
Воронью оно в пищу достанется.*

*По отлёте последнего голубя  
Постучится в калитку дырявую  
Дровосек с топорами да пилами,  
В зипунице, в лаптищах с опорками...*

Вот о чём болит сердце, о чём тревожится живая душа певицы. И она ведёт песню так, чтобы картина разрухи России, написанная в начале XX века,

становилась грозным предупреждением беспечным жителям земли Русской времён перехода в третье тысячелетие.

Известно, что на формирование духовного облика певицы Татьяны Петровой в своё время оказал большое влияние митрополит Санкт-Петербургский Иоанн.

— Он обозначил мне грань в творчестве, — уверяет Татьяна Юрьевна, — когда сказал: “Ты утешать людей должна своим пением, а не тешить их”. Какая бездна смысла в этих словах! Я стала думать об этом. Размышляла я так: как же развить то, что мне дано от природы? Господь дал мне жизнь, голос. Родители — здоровье, воспитание, нравственные ориентиры, образование. Я не уродлива, так скажем, то есть могу пользоваться своими данными. Куда их употребить? В какую сторону направить свои усилия? Может быть, надо совершенствоваться, развивая то, что получила в училище, в институте? И потом, может быть, когда-то увидеть результат воплощённым, к примеру, в своей внучке?

Ведь дети могут быть и не только кровные, но и духовные. Люблю же я Плевацкую, Русланову, Зыкину? Беру от них всё лучшее, что есть в их творчестве. Так и я схожусь кому-то. А если я буду просто продавать природой данные мне голос, внешность, какие-то сносные черты характера?! Что станет со мной? Что с душой станется? А вот так и будет: душегубство чистой воды. Так ведь? И когда я так об этом думаю, меня очень приободряют мои размышления. Хотя та же мама, которая очень жалела меня, когда замечала, как мне трудно, и которая воспитала во мне стойкость характера (может быть, даже чересчур; сама всегда все трудности брала на себя, и меня приучила), часто просила: “Танечка, доченька, пой что-нибудь полегче”. Она была обеспокоена моей судьбой, страдала, видя, как я бьюсь, словно рыба об лёд, и выбиваюсь из сил. Она очень любила, когда я пела лёгкую песенку “Черёмуха”, как искренне радовалась: “Ой! Как голос у тебя льётся!” Я очень много думаю сейчас о маме, особенно когда её не стало, и так рано...

Проницательный, отзывчивый слушатель обязательно разгадает это, едва услышит, как поёт Татьяна Петрова посвящение матери Николая Клюева, которая была талантливой сказительницей, плачущей. Какая высота в постижении судьбы народной в этих песнях, какая пронзительность в чувстве природы русского слова!

*Ноченька тёмная, жизнь подневольная,  
В поле безлюдье, бесплесье да жуть.  
Маётся душенька... Тропка окольная,  
Выведи парня на хоженный путь.  
Приснул в глаза огонёчек малёшенек,  
Темень дохнула далёким дымком.  
Стар ли огневицк, младым ли младёшенек,  
С жаркою бровью, с лебязьим плечом?  
Что до того? Отогреть бы ретивое,  
Ворога тёзкою, братом назвать...  
Лютное поле, осочье шумливое  
Полнятся вестью, что умерла мать,  
Что не ворохнутся старые ноженьки,  
Старые песни, как травы, мертвы...  
Ночь — домовище, не видно дороженьки,  
Негде склонить сироте головы...*

Станислав Куняев в статье о творчестве почти забытого поэта, предваряющей один из первых сборников его стихов, вышедший в конце 80-х годов прошлого века и знаменующий повторное открытие Николая Клюева, подчёркивал, что “Клюев вообще по натуре был художником аввакумовского склада. То, что у другого поэта могло быть сомнением, предположением, вопросом, у Клюева почти всегда становилось ответом и вырастало до морального и эстетического императива”. Поэт Клюев до конца дней своих пронёс убеждение, что “красотой купится русская радость”, и Татьяна Петрова подхватывает именно это положение, строит на нём своё понимание основы того, с чем поэт идёт в будущее России. Певица выстраивает лестницу к нему из песен Николая Клюева:



“Посадская”, “Хороводная”, “Дума”, “Солдатка”, “Вешние капли”, и перед слушателем открывается необъятный мир Родины, и от красоты его и величия русского духа заходится сердце.

*Ты взойди, взойди, невечерний свет!  
Земнородными положи завет,*

*Чтоб отныне и до скончания  
Позабылися скорби давние.*

*Чтоб в ночи душе не кручинилось,  
В утро белое зла не виделось,*

*Не желтели бы травы тучные,  
Ветры вяли сладкозвучные...*

Творчество Татьяны Петровой выпало на трудные времена в истории России, и именно это обстоятельство заставило её концентрировать в себе лучшие силы души, направляя их в русло трудного, но благородного служения во имя созидания. “Дух народа, как и дух честного человека, высказывается вполне только в критические минуты”, – написал в своё время Белинский в статье о Кольцове. Вот эту “окольцованность” и чувствуем мы, когда поёт Татьяна Петрова, и она отражается в полной мере в мощи её прекрасного таланта.

Говоря о своих главных ориентирах в творческих исканиях, Татьяна Петрова всегда первым называет имя Надежды Плевицкой, образ которой в нашем обществе и сейчас, к несчастью, не раскрыт в достойной её таланта мере. Невольно задаёшься вопросом: а что именно привлекает незаурядную личность современного художника в народной певице прошлого века? Сумбурная, с окрасом детектива, но очень яркая и интересная, а по большому счёту – трагическая судьба, о которой современные СМИ рассказывают, не забывая потоптаться на пикантных подробностях? Нет! Категорически нет! Здесь Татьяна Петрова определённа: “Как не стыдно опозлять трагическую жизнь уникального по характеру и таланту русского самородка?! Ведь это была Плевицкая, которая первой вывела на профессиональную сцену русскую песню! Она покорила содержанием этой песни и силой своего народного дарования буквально всю Россию сверху донизу, её пением восхищались все сословия русского общества начала XX века!” Силой своего таланта она задевала современников не на шутку. О “великолепии её чудовищного голоса” писал Владимир Набоков. Не без злой иронии сноба, он рассказывал о том, что “в артистической Фёдора Шаляпина висела её фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая щёку рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули: “Тебе, Федюша”.

О Надежде Плевицкой написано сегодня уже довольно книг. Из них можно почерпнуть следующее: “Девочка из деревни Винниково Курской губернии, послушница монастыря, в пятнадцать лет сбежавшая в балаган, а в шестнадцать – в кафе-шантан, певшая купцам в трактирах и государю в Царском Селе, снискавшая всероссийскую славу... История Золушки, для которой доброй феей стала песня! Она была женой польского балетного танцовщика, красного командира и белого генерала. Она умела безумно любить: за одним из своих любимых она пошла на фронт, переодевшись в мужскую фельдшерскую форму, а ради другого согласилась на преступление и погибла... Во имя любви? Во имя идеи?” (Елена Прокофьева, “Надежда Плевицкая”, серия “Женщина – миф”, изд. “Русич”, Смоленск, 2000). Но почему в этих книгах не говорится о том (или говорится очень мало), как ей удалось сделать доселе, казалось, немислимое: народной песней “сломать” предрассудки. “Она заставила знать и прочих “Божьих тварей” всех сословий поклоняться “русской бабе (каковой она и была изначально)”, – язвительно напоминал Набоков. Люди на концертах народной певицы не могли не рыдать и не стенать до самоотречения, не в силах унять разгулявшиеся чувства. О той силе духовного наполнения и сосредоточенности, с которыми Надежда Плевицкая каждый раз выходила к публике, как на эшафот, может рассказать только её песня. А об отношении к жизни и главных её приоритетах в ней, о доброте, широте,

душевности — она сама в двух написанных ею небольших автобиографических книжках. “Несравненная! Божественная! Восхитительная!” — так называли её в пору торжества её всенародной славы. А она писала в начале Первой мировой войны: “Ах, я ничего не понимала в политике и удивилась: какое отношение имеют мои вещи к убийству чужого принца в Сербии? И не знала я, что надвигается на нас горе великое. Вот оно грянуло — и содрогнулась земля, полилась кровь. Слава вам, русские женщины, слава вам, страдальцы! Вы отдали всё дорогое отечеству.

Россия закипела в жертвенной работе, всё сплотилось воедино, никто не спрашивал, како веруешь, — все были дети матушки-России. . .

Я сбросила с себя шелка, наряды, надела серое ситцевое платье и белую косынку. Знаний у меня не было, и понесла я воину-страдальцу одну любовь.

В Ковно, куда пришла внеочередная 73-я пехотная дивизия, я поступила в Николаевскую общину сиделкой и обслуживала палату на восемь коек. Дежурство моё было от восьми утра до восьми вечера. К нам поступали тяжело раненные, которые нуждались в немедленной помощи.

Русский солдат! Кто не полюбит его! Русский солдат весел и послушен, как ребёнок, а терпелив, как святой. Бывало, скажешь раненому, чтобы он не стонал и не мешал соседу спать, — он сейчас и притихнет. Мне так становилось жаль его, затихшего, что я едва сдерживала слёзы. У меня не доставало крепости, какую должна иметь сестра. Я подходила к страдальцу и тихо гладила ему руку, покуда он не засыпал. . .

Я им пела для праздника.

— И откуда ты, сестрица, наши песни знаешь? — удивлялись они. — Неужто сама деревенская? —

На мой утвердительный ответ я получала предложения. В конце концов, я всей палате обещала по жребию выйти замуж, только бы выздоравливали скорее. . .

Иногда мои песни требовались как лекарство. Помню, сестра пришла однажды ко мне в палату из офицерского отделения и просила помочь ей успокоить тяжело раненого, которому даже морфий не помогает. Сидя у его постели, я тихо мурлыкала песни, и под них он затих и уснул. Я долго-долго сидела, не шевелясь, так как он крепко держал мою руку. Не раз потом приходилось мне петь ему колыбельные песни. . .”.

Обратим же внимание на то, какие песни выбрала Татьяна Петрова из репертуара Плевицкой.

“Сказ о Волге”. Широкая, раздольная, как мать-река Волга, эпическая поэма, где дух захватывает от одного лишь распева. В нём слышится такая мощь народная, такая могучая сила и красота русской вольницы, такая сила веры в достоинство земли русской, что сердце наполняется неизбывной гордостью за принадлежность к народу — владельцу силушки превеликой, способному так радоваться жизни, так воспевать родные просторы. А певица ведёт, словно старинную былинку рассказывает, всё более крепнущую мелодию, любуясь и играя её красотой и богатством:

*Собирайтесь поскорее стар и млад,  
Звонко гусли говорливые гудят.  
А под говор их я песню вам спою,  
Быль старинную поведаю свою.  
Вот так.*

Это введение в старинный сказ наполняет ваше сердце воздухом той свободы-вольницы, которая, бывало, как говорят летописи, текла-бродила в жилах народных, крепла в боях за отчужденную землю, грозною силою стояла перед врагом, уважавшим характер и нрав твоего народа.

Но вот исторические дали тускнеют, и мы становимся свидетелем и судьей более близких событий:

*Было время, миновало всё давно,  
Как у Волги золотое было дно,  
Широка она, кормилица, была,  
Далеко по ней дорога пролегла.  
Вот как.*

*То не туча грозно по небу идёт,  
Стенька Разин в ней струги свои ведёт,  
В расписном шатре пирует атаман,  
Грозно хмурится над Волгою курган...  
Вот так.*

Думается, мало кого, кто хоть немного знаком с характером творчества Татьяны Петровой, беспокоит вопрос: почему она, найдя в репертуаре Надежды Плевицкой этот величественный, духоподъёмный, наполненный искренним патриотическим чувством сказ, прикипела к нему сердцем? Но почему певица сочла необходимым представить его публике именно в смутные 90-е годы? Время ли? Да самое оно и есть, в понимании Татьяны Петровой. Как луч спасительной веры! Как глас надежды! Как оживающий на глазах пример жизни твоих предков. И, наверное, не в одной голове зародится и ещё одна мысль: это что же? Надежда Плевицкая пела такие песни в Царском Селе самому царю-батюшке?! Плохо же мы знаем нашу родную историю! Однажды Вадим Кожин обронил, как плодородное семя, сакраментальную мысль: “Для понимания истории необходимо знать отечественную поэзию”. То-то! В этом смысле Татьяна Петрова – достойная ученица замечательного русского мыслителя XX века.

Как же воплощает она всё это в своей жизни и творчестве? Вскоре после того, как в 2000 году умерла её мать Галина Павловна, дочь Татьяна Петрова записала диск, где впервые принесла поклон советской песне. “Три года, как нет отца, нет теперь и мамы. И я почувствовала, что пришло время записать такой диск. Я назвала его “Нежность” и посвятила памяти родителей и их поколению. Допустим, я могла сделать это и раньше: мне предлагали, когда шоу-бизнес окончательно обанкротился и не знал, что делать. Тогда и вспомнили про советские песни – проверенные, надёжные, на них можно неплохо заработать! И пошла плясать беззастенчивая спекуляция! Я тогда встретила в штuki этот проект. Почему? Ведь в основе своей он верный. Но за осуществление его брались люди, которым чужд был высокий патриотический пафос советской песни. С профессиональной точки зрения они также выглядели постыдно, потому что даже не удосужились выучить музыкальный текст, уже не говоря о том, как был искажён образ советского времени и его человека. Понимаю: всё течёт, всё меняется.

Изменился и тип людей, живущих теперь в России и на всём “постсоветском пространстве”, как теперь принято говорить. Но для профессионала-исполнителя песни это не должно быть помехой.

Сначала проживи ту жизнь, выстрадай её, а потом берись за исполнение песен тех, о ком поёшь, не предавай их! Да, время их ушло безвозвратно. Но мы же поём песни и начала, и конца XIX века, и ещё более раннего периода нашей истории, не корёжа их внутренней сути! Те же романсы... Мы способны проникнуть в переживания, которые несли в себе люди и певцы той поры. И поэтому вывод один: изменилось ли время, не изменилось ли, но если ты не понял состояние души, отражённое в песне, не пережил чувство, заложенное в ней, песня не прозвучит. По этим причинам я тогда и отказалась от участия в проекте, и не жалею об этом. Да, это был очень выгодный проект с финансовой точки зрения, в него были вовлечены богатые и влиятельные спонсоры, которые готовы были мне помочь, но я не хотела принимать такой помощи. Моему характеру присуща поспешность, но здесь я не спешила: я спела советские песни тогда, когда выстрадала “тему”, когда передо мной уже не стоял вопрос: петь или нет, было совершенно выношенное решение – петь!

Возможно, кому-то хочется спросить: ну, и состоялось открытие чего-то нового? Может быть, с высоты набежавшего времени стало яснее, чем была обусловлена всенародная популярность советских песен? Почему они так нравились людям? Думаю, что главное состоит в том, что советские песни отражали то, чем жили люди, и основу их составлял народный характер, советский характер. Что это такое? В основе его всё тот же характер народа – сильный, не сентиментальный, окрылённый романтикой созидания, характер соборный и потому могучий. В этой связи можно вспомнить эпизод из кинофильма “Повесть о настоящем человеке”. Когда Маресьев в госпитале, пережив ампутацию ног, впал в уныние, его сосед по палате рассказал ему о лётчике Имперской

России Карповиче, летавшем без ступни. Сам смертельно больной и тяжело страдающий от невыносимых болей, этот мужественный военный человек (его играет колоритный русский актёр Николай Охлопков) находил в себе силы, преодолевая боль, думать о людях и поднимать в них силу духа. Настоящий человек, силой своего примера он вселял в них надежду. И на сомнения Маресьева в том, сможет ли он летать без обеих ног, отвечал: “Но ведь ты советский человек!” И советский лётчик Алексей Маресьев повторил это военной медицинской комиссии, когда та вынесла вердикт “Летать нельзя!”: “Но ведь я – советский человек!”

Я вспоминала своё детство, вспоминала, как дружно и с каким упоением пели мои родители и их друзья, когда собирались на праздники, и понимала, что обязана отдать советской песне дань любви, уважения и признания. Я глубоко переживала это своё возвращение в детство, но уже в другом качестве, и понимала, какую огромную ответственность беру на себя, приступая к записи диска. Работалось трудно, я была не очень довольна собой, всё время искала верный тон в каждой песне. Мне всё время хотелось вернуться к уже записанному, что-то поправить, что-то доделать. Я мечтала состояться и в этом, как бы ни было трудно. Ведь у меня всё-таки другое творчество: я очень люблю петь русские народные песни, люблю романсы, очень люблю петь поэтические тексты русских классиков”.

Песенной русской классикой давно стали народные песни “Ухарь-купец”, “Лучинушка”, “Во пиру ли я была” и, наконец, “Шумел камыш”, которые вошли в репертуар Татьяны Петровой из песенной сокровищницы Надежды Плевицкой.

— Обо всех этих песнях, хотя и очень разных и по вокализации, и по мелодии, всё же можно говорить как о песнях-романсах, в которых чуть по-новому претворяется в мелодии русский распев, а также особая вокализация отдельных слов текста. Это в полной мере, в первую очередь, мы можем отнести к “Лучинушке”, – разъясняет Татьяна Юрьевна, – и отчасти к издавна очень популярной в народе песне “Шумел камыш”, и, конечно, той, что названа “Во пиру ли я была”, покорившей в своё время Ф. И. Шаляпина настолько, что он позаимствовал эту песню у Плевицкой, создав для себя “мужской вариант”, известный как “Вдоль по Питерской”. Что же касается темпераментной музыки песни “Ухарь-купец”, то здесь, по всей видимости, нужно говорить о единстве жанрового своеобразия с выразительностью музыкально-поэтического образа. Здесь музыка выступает, скорее, как средство психологической характеристики.

Хотелось бы подчеркнуть одну приметную особенность нашего времени. Когда Татьяна Петрова привнесла в свой репертуар знаменитый, как теперь принято выражаться, шлягер “Шумел камыш”, многие восприняли это настроенно: слишком “запетою” была эта песня, если не сказать категоричнее – опошленной постоянным обслуживанием загулявших компаний. Помню, как трудно было певице вводить песню в концерты, и чтобы не отпугнуть публику, Татьяна Юрьевна, прежде чем запеть, обязательно рассказывала о Плевицкой, о её трудной судьбе, и только потом, с просьбой о доверии обращаясь к залу, она говорила: “Вашему вниманию предлагается совсем иной вариант песни, тот, который пела Надежда Плевицкая”. А дальше, когда, наконец, песня вступала в свои права, слушатель попадал в глубины такой человеческой драмы, что замирало сердце. Певица умела не просто заинтересовать слушателей, она с такой искренностью отчаяния и боли пела о поруганной чести молодухи, доверившейся силе покорившего её чувства, что слушатели мгновенно превращались во внимающих, понимающих, сострадающих грешнице доброжелателей. Песня побеждала пошлость на каждом концерте. И, в конце концов, одержала полную победу певица. Здесь хотелось бы подчеркнуть и ещё одну особенность названных произведений: все они – своего рода законченные одноактные пьесы, в которых соблюдены законы классического жанра, то есть это полноценная драматургия с завязкой, кульминацией и развязкой. И певица, как истинно драматическая актриса, играет эти драмы с полной отдачей, не только создавая впечатляющие образы, но представляя их в развитии со всем психологическим наполнением и достоверностью.

Начало XXI века отмечено в судьбе Татьяны Петровой не только невероятным творческим взлётом, ознаменованным и чрезвычайно смелым расширением репертуара, вплоть до оперных арий, и успешной попыткой записать

серию дисков, в которых певица представила диапазон своих приоритетных увлечений и открытий, не говоря о серии блистательных выступлений в переполненных концертных залах. Есть диск, посвящённый сугубо народной песне, есть — полностью отданный романсу, но диски, где превалирующая роль отведена музыкальным произведениям, в основе которых лежит русская классика, не содержат всё-таки категорических жанровых разграничений. Дело в том, что провести эту грань очень трудно, ибо «своеобразие жанра «русская песня» в творчестве русских композиторов связано с основным процессом выявления особенности русской песенной лирики». Эта мысль принадлежит автору книги, выпущенной в 1956 году в издательстве «Академия наук», В. А. Васиной-Гроссман, где представлено серьёзное и обстоятельное исследование под названием «Русский классический романс XIX века». Это своеобразие и является тем духовным стержнем, на котором держится песенная русская классика. Учитывая это, Петрова, выстраивая каждый раз программу очередного диска, идёт от духовного наполнения произведений, которые она включила в программу, и это и определяет общую концепцию диска, собирающего воедино необходимые краски в мозаичном полотне программы, объединённой общей идеей. Показательно, что XXI век выявил в Татьяна Петровой особую тягу к героической теме. В её репертуаре как одно из ведущих произведений и как камертон, определивший общее направление развития музыкального и смыслового движения, появляется «русская народная песня на слова К. Рылеева «Ермак», как обозначено в программке. Вот где смешение понятий, как может показаться на первый взгляд. Но нет! Недаром Васина-Гроссман подчёркивает: «В русском романсе (а на наш взгляд, это музыкальное произведение, как оно выразило идею личности Ермака, тяготеет к романсу) тема личности неотделима, как и во всём искусстве русских классиков, от темы родины, темы народа». Как серьёзный музыковед Васина-Гроссман настаивает (и в этом она, безусловно, права), что события в России, связанные с Отечественной войной 1812 года, вызвавшие духовный подъём небывалой силы, определили и направление развития русской музыкальной культуры. И поэты, и композиторы опирались на русскую народную песню. Более того, ведущую роль в том, какой широкий интерес был проявлен в то время к русской песне, играли художники, связанные так или иначе с декабристским движением. «Народная песня ими оценивается как выражение характера народа и его исторической судьбы».

*Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молнии блистали,  
И непрерывно гром гремел,  
И ветры в дебрях бушевали...*

*Ко славе страстию дыша,  
В стране суровой и угрюмой,  
На диком бреге Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой...*

Предваряя цикл произведений под общим названием «Думы» («Ермак» из их числа), Кондратий Рылеев сосредотачивает внимание читателей на мысли, что «напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с годами и творят храбрых для боя ратников, мужей доблестных для совета»... Эту самую цель имел и я, сочиняя «Думы». Татьяна Петрова, пройдя самыми рискованными дорогами, где «в поле безлюдье, бесследье да жуть», как писал Николай Клюев, пробираясь к правде жизни порой тропами смертельными, обстреливаемыми, что раскинулись по России конца XX века, в поисках единственно верного пути, предназначенного ей историей, здесь, с «Думой о Ермаке» выводит своего слушателя на «хоженный путь», завершая романс-кантату серией мощных духоподъёмных аккордов и тем самым утверждая славу жизни во имя Отечества:

*Нам смерть не может быть страшна;  
Своё мы дело совершили:*

*Сибирь царю покорена,  
И мы не праздно в мире жили!*

*Своей и вражьей кровью смыв  
Все преступленья буйной жизни  
И за победы заслужив  
Благословения отчизны!*

“Дума”, написанная поэтом-декабристом К. Рылеевым, получила звание “народная песня”. И вот в чём объяснение этому: народный разум, приняв за основу произведение поэта, воспевшего подвиг Ермака как народного героя, “подправил” русло авторского повествования, в котором лежит пространный рассказ о том, как погиб Ермак в пучине Иртыша. Народ переставил главные акценты, отодвинув строфы о гибели за ненужностью, ибо с точки зрения народной морали главное — историческая ценность личности народного героя, и она состоит в том, что он славен как создатель России, могучий, непобедимый землепроходец, и в песне народный разум выделил именно духоподъемные строфы. Такая песня и обрела жизнь в веках как наиболее точно отразившая народные чаяния. На это и откликнулось чуткое сердце Татьяны Петровой, точно угадав, насколько это важно для России XXI века. “Чувство социальной справедливости — одна из важнейших черт национального характера русского народа. Наш народ не может быть счастлив поодиночке: ну, есть работа и кусок хлеба, а рядом нищета — можно так жить?! Меня часто спрашивают: и долго ты собираешься петь по площадям? И я отвечаю: когда на мою страну обрушился кровавый 1993-й, занесший карающий меч над русской соборностью, мне долго перед этим казалось, что соборными силами можно что-то выправить в жизни, уродливо определявшейся в конце 90-х годов. Во мне жила вера, и я пела в надежде, что своими песнями помогаю что-то изменить к лучшему. Но мой народ потерпел тяжёлое поражение, утратив в результате событий 1993 года свои социальные завоевания. Это трагедия. И я винила и себя, упрекая в том, что, наверное, слишком много уныния было в моих песнях. Со временем я нашла в себе силы понять: как бы ни было тяжело, надо подниматься на новый уровень, в страданиях, несмотря на боль и отчаяние, но надо искать смысл жизни в надежде! Песня моя обязана давать её людям”.

В этот период в концертах певицы, где бы они ни проходили — в сибирских городах, столичных ли залах, на площадях городов срединной России или в деревенских клубах, да просто на полянах, среди лесов и полей Курской губернии или, к примеру, на Урале (а таких концертов в её творческой жизни очень много) — везде звучали песни на стихи Н. А. Некрасова, не забытые в народной среде: “Что ты жадно глядишь на дорогу...”, “Меж высоких хлебов...”, “Коробейники”. Все эти песни давным-давно поются как народные, и порой в концертных программах даже имя автора стихов не бывает указано, и в этом, с одной стороны, свидетельство истинности народной сущности песни, с другой — прослеживается заносчивая небрежность недостаточно культурных составителей программки. Ведь, к примеру, “Коробейники” — это же целая поэма, имеющая посвящение от автора “другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)”, более того, академическое издание собрания сочинений Н. А. Некрасова даёт примечательный комментарий:

“Коробейники” знаменуют собой новый этап в творчестве Некрасова: до той поры он много писал о народе, но его стихи для народа начались именно этой поэмой”.

С такими вот песнями народная певица Татьяна Петрова ездит по городам и весям глубинной России. “Та мелодия, что жива в людях на подсознательном уровне, едва коснувшись сердца, пробуждает его к жизни, — поясняет певица. — Когда мне задают вопрос: “Какова же твоя художественная идея, ради чего ты поёшь?” — я отвечаю: “У меня огромное желание привнести в современную жизнь национальную культуру России от её истока, показать в её полноте и развитии. Мне всё время хочется представлять образ русской женщины, которая живёт в песне, как образ матери-родины, как сердце России, преданное, любящее, страдающее, борющееся за её судьбу. И этот образ можно развивать и развивать: и в музыке, и в слове, и в драматургии. Когда мне удаётся осуществлять эту идею, во мне рождаются огромные силы, потому что это желание горячее, идущее от сердца”.

Нельзя не обратить внимания, что в исполнении Татьяны Петровой, казалось бы, так хорошо известных в народе песен мы слышим вдруг что-то совсем новое. Она и сама говорит об этом: “Нерв бесконечного поиска нового постоянно гудит во мне, не даёт останавливаться, и я этому рада, это одна из основ моего существования как певицы. Я убеждена, что, если ты художник, ты не можешь петь одно и то же постоянно, а если это так, то ты перестанешь быть художником”.

Но что можно привнести нового в хорошо известную, любимую народом песню на слова Н. А Некрасова?

К ответу подойдем несколько издалека. К 180-летию со дня рождения Н. А. Некрасова Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН выпустил последний (15-й, книга 2-я) том полного собрания сочинений и писем юбиляра. По этому поводу Пётр Бекедин, крупный петербургский искусствовед, учёный-исследователь Пушкинского Дома, опубликовал статью, в которой дал весомое обоснование пониманию того, какая глубина заложена в довольно категоричном утверждении: “К читателям пришёл весь Некрасов”. Оценивая современную ситуацию (нам важно это подчеркнуть), исследователь с горечью пишет: “Характерная деталь: если тираж первого тома Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова составлял 300 000 экземпляров (и в начале 1980-х годов на него не каждому из желающих удалось подписаться), то тираж последнего тома просто мизерный – 1000 экземпляров (библиографическая редкость сразу после выхода из печати!). В этих цифрах, словно в зеркале, отразились трагедии, беды и проблемы современной России и большинства её граждан, которым сейчас “не до Некрасова” – лишь бы выжить и накормить семью. Слабым, сомнительным утешением является тот факт, что и другие русские писатели – И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, например, – издаются более чем скромными тиражами”. И в этой связи просветительскую роль певицы, включающей в свой репертуар произведения классиков русской литературы, трудно переоценить. Мы знаем, что Татьяна Петрова не любит “запетые” песни, старается уходить от них, не включая их в свой репертуар. Но в данном случае она обращается как раз к тем произведениям, которые в иной ситуации мы могли бы отнести к разряду “запетых”. Почему? Доверим Петру Бекедину ответ на это “почему”: “Не секрет, что в XX веке Некрасов очень сильно (пожалуй, как никто из русских классиков) пострадал от грехов советского литературоведения, что привело к искажению подлинного лица поэта. И в школьных учебниках, и в вузовских пособиях, и в научных монографиях, и в академических “Историях...” образ его предстал однозначным, плоским. Порой дело доходило до курьёзов...”

Полное собрание сочинений и писем позволит Некрасову говорить своим голосом, а не голосами идеологически озабоченных литературоведов-посредников. Какое счастье остаться наедине с некрасовскими текстами!”

*Меж высоких хлебов затерялся  
Небогатое наше село.  
Горе горькое по свету шлялося  
И на нас невзначай набрело...*

Казалось бы, ну, что нам, жителям беспокойного и стремительного XXI века, настолько перевернувшего представления о жизни, что порой и сами-то себя не узнаём, что нам до затерянной в глухой русской провинции деревни, где “застрелился чужой человек”? Но зазвучала песня, проникновенный голос певицы пробудил твою заскорузлую в ветрах погони за деньгами душу, и уже есть тебе дело и до “горя горького, что по свету шлялося”, и до того, как развивались события в связи с этим горем, которое, как оказалось, народное! В страдании, которое слышится в голосе певицы, мы чувствуем то народное отношение к горю, которое хранили и культивировали в себе люди веками как единственно верный, сердечный отклик на боль человеческую. “Ну, и зачем?” – с презрением спросит “провднутый” отпрыск новой цивилизации. Ответим с христианским смирением: чтобы не потерять облик человеческий. А песня поверяет нам дальнейший ход событий, исходит болью сострадания:

*Суд приехал... допросы... — тошнѣхонько!  
Догадались деньжонок собрать:  
Осмотрел его лекарь скорѣхонько  
И велел где-нибудь закопать.*

*И пришлось нам нежданно-негаданно  
Хоронить молодого стрелка,  
Без церковного пенья, без ладана,  
Без всего, чем могила крепка...*

Татьяна Петрова – единственная, кто поёт эту песню, не выбросив из неё православного содержания. Кто знает, если бы на всём протяжении XX века русские люди пели именно так, может быть, настолько, как это случилось сейчас, не ожесточились бы сердца жителей России? Задавалась ли певица этим вопросом, безусловно, важно, как важно и то, что на протяжении всей своей певческой судьбы она отдавала творчеству Некрасова часть своего сердца и умела передать слушателям это чувство в своих песнях.

Что даёт силы певице так цепко держаться за эти глубинные опоры русской культуры? На наших глазах они исчезают из поля зрения современников, смело вступающих в третье тысячелетие и безжалостно уничтожающих духовные преграды на своём пути. Как-то мы размышляли об этом, находясь под впечатлением книги Г. В. Свиридова “Музыка как судьба”, вышедшей уже после его смерти в 2002 году. Эта книга раскрыла Свиридова как крупного русского мыслителя, который, в частности, к 70-м годам прошлого века пришёл, на первый взгляд, к парадоксальному заключению: “По прошествии более чем полувека выяснилось, что искусство, которое считалось архаичным, устаревшим, оказалось смотрящим вперёд, необыкновенно современным, благодаря своему духовному космосу, вселенскости, грандиозности образов. В то время как искусство, кичившееся своим передовизмом, называвшее себя искусством будущего, оказалось безнадежно устаревшим”. Время кардинальных перемен на гребне смены веков, до которого Г. В. Свиридов не дожид, подтвердило правильность вывода гениального русского композитора. То, “передовое” искусство времён революции, начала XX века, которое бросило смелый вызов времени и, как считалось, явилось отражением обновления, поиска новизны, в условиях контрреволюции конца XX века, повторив свои претензии на обновление, вполне определённо выявило свою несостоятельность, если подходить к осмыслению его назначения как импульса к гармоническому развитию индивидуальности, в основе которой человечность.

– Я думаю, – отвечала на это Татьяна Петрова, – что всё дело в том, что это “передовое” искусство безжизненно. Почему? Да потому, что оно без корней, и наше время год за годом и всё более весомо доказывает, что его назначение – душегубство.

– Снова, как и в начале века, встаёт остро вопрос об отношениях интеллигенции и народа, и некоторые крупные художники, разочарованные в том, как развиваются события в России, да и в мире, стали предъявлять претензии русскому народу: “Народ покорился тенденции развала, не противостоит разложению, идёт на “манок” “Смехопанорамы”, потерял свою национальную сущность”, и отсюда вывод: русская культура гибнет.

– Я могу судить только по тому, как воспринимают русскую музыку, русские песни люди на тех бесконечных концертах, которые и есть моя жизнь. И мне кажется, что душа у народа не оскудела. Она живая, понимающая, страдающая, ищущая. Особенно это видно, когда смотришь людям в глаза. Они приходят на концерт, мыслями ещё оставаясь в сумятице той жизни, которая окружает их повседневно. Но вот они постепенно вживаются в то, что происходит на концерте, и шаг за шагом они освобождаются от всего наносного, и начинает происходить внутреннее преображение, и уже к концу концерта устанавливается полное доверие и понимание. Это говорит о том, что народ поражён глубоким страданием. И всё же внутренне он свободен. Ведь он же привык жить в едином духовном пространстве. А оно у него сегодня отобрано, и народ тоскует по этому духовному пространству. А когда он находит, что оно всё же не утрачено окончательно, душа оживает. Время сейчас в России страшное, разруха ужасная. А народу-то подмоги нет ниоткуда: искусство народ предаёт. И всё же меня не покидает вера в то, что жестокой ценой, но народ вернётся к себе самому, своим корням.

Я переживаю совершенное откровение, когда стою на молитве в Храме. Куда бы ни заносила меня судьба с концертами, я всегда бываю в местных храмах, и могу судить о том, что вижу и переживаю. Народ потянулся в Храм. Его захватывает молитвенная простота, красота православной службы. Тихо.



Чисто. Душа обретает равновесие, рядом с тобой стоят русские люди, и ты чувствуешь, как вас объединяет общий строй мыслей, общие мечты, надежды. Люди живут одним, и это очень большая сила.

— В книге Г. В. Свиридова написано: “Мир Бога прост. Мироздание для Бога просто, ибо ему ведомы законы, которыми мир управляется. Напротив, для нас мир сложен и непонятен в каждой детали. Ибо нам неведом его тайный смысл. Точно так же божественная простота для нас непонятна. Мы становимся в тупик перед нею из-за её непостижимости”. В продолжение этой мысли нельзя не сказать, — продолжает Татьяна, — что то, что в людях живо на подсознательном уровне, это и даёт возможность им услышать себя, понять то, что происходит в душе, и если душа будет трудиться, человек обязательно придёт к Богу, а значит — обретёт духовную опору в жизни. Я очень люблю Глинку. Ведь и до него были русские музыканты, и они слышали и народные песни, и музыку полей и лесов, звучание рек и озёр, пение птиц и рёв ветров. И они жили среди русских людей. Но понять звуковую душу России до него не смог никто. Георгий Васильевич Свиридов замечательно сформулировал это: “Глинка был первой великой личностью, художником нации, увидевшим мир и, прежде всего, Россию и народ её крупно, объёмно, разнообразно, увидел Россию как целое, как художественную идею”. Для художника очень важно, когда бы он ни жил, почувствовать не только потребность в художественной идее, но и обрести её. Видимо, мы переживаем кризис ещё и потому, что в наше время не пришёл ещё художник такого масштаба личности, чтобы услышать современную Россию как художественную идею. Но я верю, Россия откликнется на зов души народной.

... Романс “Утро туманное...” известен в России с 1877 года как цыганский. В начале XX века его с огромным успехом исполняла Варя Панина. Жизнестойкость романса поразительна, он и в наши дни всевластия грохочущих ритмов не затерялся и довольно часто исполняем как любителями, так и профессиональными певцами. Когда поёт Татьяна Петрова, мы приближаемся к постижению этой тайны. Она выбирает в себя ту глубинную распевность, которая заложена в слог русского поэта как отражение песни души, выводит музыку композитора в ту интонацию, которой определяется мелодия русской песни.

*Утро туманное, утро седое,  
Нивы печальные, снегом покрытые...  
Нехотя вспомнишь и время былое,  
Вспомнишь и лица, давно позабытые...*

Ну, где ещё русская душа может так расправиться, так воспарить, как не в бескрайних русских просторах?! Ведь это они и пьянят, в них утопают сердце, потому и закружилась голова цыганская, сразу уловившая заложенную в стихе необъятную жажду свободы. А русская грусть, пьющая, как эликсир жизни, и этот туман, и влажный сырой воздух нивы печальной... Как тревожит певица твоё сердце этим голосом русской грусти! И историю восходящей любви Татьяна Петрова поверяет нам с нежностью, даря и возможность почувствовать огонь любви в тихих звуках любимого голоса, и пережить буйство сдерживаемой страсти.

И снова ты погружаешься в бесконечность русских далей. И тебе хорошо дома, в России.

*Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,  
Многое вспомнишь родное, далёкое,  
Слушая ропот колёс непрестанный,  
Глядя задумчиво в небо широкое...*

В исполнении Татьяны Петровой романс воспринимается скорее как элегия. Как утверждает Васина-Гроссман, “элегия привлекла живое внимание русских композиторов. И если с “русской песней” в музыкальную практику вошла народно-песенная интонация, то элегия вводит в русский романс интонацию русской поэтической речи, находившейся тогда в поре своего первого пышного расцвета. Особенно значительную роль сыграло обращение композиторов к поэзии Пушкина”. То есть Татьяна Петрова, обращаясь к высокой поэзии, поднимается как художник на более высокий уровень постижения жизни. В этой связи важно подчеркнуть и то, что она предпочитает выбрать стихи

А. С. Пушкина “Если жизнь тебя обманет. . .” на музыку А. Алябьева. Хотя существует и красивая музыка Глиера, поводом к написанию которой также стали эти стихи поэта.

Весной 2003 года мы вместе отправились в Крым. Нам удалось устроиться на территории “Артека”. Корпуса и территория лагеря были совершенно пусты, покоряла необычайная тишина: не слышалось переключки детских голов, дающей жизнь лагерю, он был “закрыт на реконструкцию”. По этой причине мы получили возможность подолгу гулять в сказочном парке, окружающая “пустынный” которого словно отражала смутное время, которое мы остро переживали, хотя и каждый по-своему. На берегу моря, вдаль от суетной Москвы, нам показалось на миг, что пришло умиротворение. И однажды, выйдя к Пушкинской скале, мы долго стояли молча, слушая шум прибоя, море бурлило, каждый думал о своём. Неожиданно Татьяна запела:

*Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись:  
День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живёт;  
Настоящее уныло:  
Всё мгновенно, всё пройдёт;  
Что пройдёт, то будет мило.*

Мелодия, которую она вела, легко и свободно ложилась на густую, прохладную морскую волну, мерно накатывающую на скалы.

Она пела, не напрягаясь, её чистый, звонкий, с мягкими обертонами голос лился ровно, согласно тому, как весь круг музыкально-выразительных средств романса отражал внутреннюю музыку стиха Пушкина. И всё же всё её существо было обращено туда, в дали морских просторов. Я замороженно слушала, чувствуя, как выпевает она смятение, теснившее душу. Было очевидно, что совсем нелегко ей это даётся — достичь смирения, о котором она пела. Что искала душа её, мятущаяся за горизонтом? О чём тосковала? К каким высотам стремилась?

Она, как всегда, ничего не объясняла, когда романс завершился, да я и не торопилась узнать, что встревожило её душу. То неожиданное открытие, что вылилось в пении (меньше всего я понимала его как что-то сугубо личное), настолько заполнило всё моё существо, что я почувствовала, будто вылетела из сердца белая чайка и закружилась над ликующей пеной морской, обнимая воздушным кружевом Пушкинскую скалу. Только значительно позже, вернувшись в Москву и обнаружив, как вплетён этот романс в чётко выстроенную программу её музыкального диска, я поняла значительно больше, что в теснине скал выпевала её душа. Открылось многое, пришло вдруг понимание, почему сейчас не обращается она к романсам широко известным, хотя многое в этом собрании русских музыкальных сокровищ близко ей по духу. Она выбирает свой путь. Тему лирики Пушкина открывает вальс С. Прокофьева. Он словно вводит нас в чертог грусти, сомнений, страданий. Вальс, исполненный музыкантами без участия музыки её голоса, не воспринимается, однако, как что-то отдельное от неё. Напротив. И приходит понимание психологической роли музыки танца в русском романсе, она выделяет лирическую тему в характере произведения как ведущую в нём струну. Этот вальс готовит нас к восприятию тайны:

*Под вечер, осенью ненастной,  
В далёких дева шла местах  
И тайный плод любви несчастной  
Держала в трепетных руках.  
Все было тихо — лес и горы,  
Все спало в сумраке ночном;  
Она внимательные взоры  
Водила с ужасом кругом...*

Что побудило Татьяну Петрову обратиться именно к этому юношескому (написано в 1814 году, когда Пушкину едва исполнилось 15 лет), произведе-

нию, к тому же почти забытому на Родине? Певица даёт романсу новую жизнь. И делает это в пору, когда в России властвует стихия нравственного распада, и трагическая история молодой матери, от безысходности оставившей “плод любви несчастной” у чужого порога, не новость в “новой России”. Следуя давно принятому для себя правилу – делить со своим народом его беды, какими бы страшными они ни были, – Татьяна Петрова верна себе. В её понимании романс превращается в высокую трагедию, поведанную слушателю со всем отчаянием и болью проникновения в тайну измученного сердца, на которую способна только отзывчивая, добрая и сострадающая душа. Более того, мы начинаем понимать, слушая певицу, как история грешницы становится символом глубокой душевной болезни народа, чувствуем, как это мучает певицу. Но разве так уж необходимо было обращаться именно к Пушкину, чтобы “поднять острейшую проблему современности”, как говорят политики? О, поверьте, есть здесь резон, есть! И он состоит в том, как мудро разъяснила Т. М. Глушкова 6 июня 1993 года, что “Пушкин был очень русский человек и воистину сын России, сын русского народа. . .

Я – это не просто я, но я – в кругу всех моих живых и мёртвых, в цепи поколений, в кругу павших, трудившихся, создававших и, кстати, задолго до меня читавших Пушкина и любивших его. Я могу не знать каждого из моих предков и даже – я не могу всех их знать: это же целый народ!

Но ощущать себя в таком многолюдном круге, в сфере духовной энергии соотечичей, живших прежде меня, ощущать токи их страданий и славы – радостно. В этом полнота, и это внутренне облегчает путь. Но вместе с тем и обязывает. Ибо как огромна ответственность человека, который чувствует, знает, верит, что на его поступки, дела смотрят незримые очи бывших и сущих соотечественников!”

Грех преступной матери. Нет ему оправдания. Но, может быть, услышав, как терзает, казнит себя героиня Пушкина, как бьётся в страдании и кается грешная мать (благодаря певице мы проникаем в глубины её страданий), вдруг встрепенётся наша современница, и готовая уже погубить себя душа вдруг прозреет?!

*...Ты спишь, дитя, моё мученье,  
Не знаешь горестей моих —  
Откроешь очи и, тоскуя,  
Ко груди не прильнёшь моей,  
Не встретишь завтра поцелуя  
Несчастной матери твоей...*

Возможно ли очищение через страдание? Люди верят, что возможно. Крутится диск, скрываются в дымке времени последние звуки смутившего душу романса, и новые аккорды, уже музыки А. Алябьева в романсе “Если жизнь тебя обманет. . .”, пробуждаются к встрече с тобой. И приходит озарение: душа просит возвышения, выхода на молитвенный уровень. Теперь в голосе певицы нет смятения, напротив, слышится что-то такое, что позволяет вздохнуть свободней, что укрепляет душевные силы – так певица “услышала” и поняла мысль русского гения. “. . . Величие Пушкина, – писал Достоевский в “Дневнике писателя”, – как руководящего гения состояло именно в том, что он так скоро и окружённый почти совсем не понимавшими его людьми нашёл твёрдую дорогу, нашёл великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был – народность, преклонение перед правдой народа русского. . . Пушкин по обширности и глубине своего русского гения до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и не понятый ещё предвозвеститель”.

В последние годы Татьяна Петрова всё чаще стала обращаться к творчеству Михаила Лермонтова. Возможно, Господь указал ей на то, что однажды высказал Достоевский, выстраивая линию укрепления традиции народности в русском искусстве. “. . . Остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного “печальника горя народного”. Во всяком случае, в том, как поёт Татьяна Петрова романс “Выхожу один я на дорогу. . .”, мы слышим этого народного печальника.

Существует компетентное мнение, что в русской вокальной лирике вплоть до 1840-х годов видное место занимают темы одиночества, неудовлетворённости,

разочарования. Тема одиночества живёт и в русском романсе, и наиболее простым и образным примером называют элегию “Выхожу один я на дорогу...” (с музыкой Елизаветы Шашиной), которая стала поистине фольклорной песней. В основу здесь легло стремление сделать музыкальную интонацию столь же общепринятой, как речевая. Возможно, именно поэтому наша певица, тяготеющая, как это мы уже успели отметить, именно к максимальному приближению авторского произведения к народной его составляющей, и выбирает его? Она поёт с оркестром русских народных инструментов, более того, музыка, им исполняемая, звучит в специальном переложении. И всё же, слушая певицу, владеющую народной интонацией как естественной для себя мы не можем не слышать особой, присущей только Татьяне Петровой трактовки широко известного произведения. Она уходит от его упрощения, напротив, усиливает значение его как элегии, наполняя не чувством разочарования и одиночества, а, напротив, духовной полнотой и, более того, радостью жизни и любви. Певица даёт нам почувствовать состояние души в стадии той духовной потребности постижения таинств мира, где стремление личности к уединению — условие творчества природы богатой и ищущей. И оттого её пение завораживает.

В 2003 году в репертуаре Татьяны Петровой появляется романс “Ангел”, музыку на стихи М. Ю. Лермонтова создал руководитель Кубанского народного хора В. Захарченко. В конце 90-х годов XX века и начале века XXI-го она много пела с этим ярким, сохранившим неподражаемый национальный колорит и стиль исполнительской манеры коллективом, неоднократно выезжала с хором в длительные гастрольные поездки. А чуть позже, уже в индивидуальном поиске, Петрова снова возвращается к М. Ю. Лермонтову. Теперь в её репертуаре появляется “Молитва”. Это стихотворение побуждало к творчеству многих русских и зарубежных композиторов. Есть романсы Глинки, Гурилёва, Листа, Направника, только в XIX веке свыше 30 композиторов написали музыку на слова “Молитвы”. Казалось бы, можно и растеряться. Татьяна Петрова выбирает музыку П. П. Булахова, и тем самым попадает в русло того духовного постижения окружающей действительности, которое найдено ею в романсе “Выхожу один я на дорогу...”. Более того, благодаря гармонии, что всегда свойственна этой певице, духовная сфера влияния её творчества в последние годы значительно расширилась. Талант её развивается стремительно, питаемый огромной работой в постижении новых высот вокального и драматического мастерства. И что особенно ценно для певицы, создающей сценический образ единолично (в театре работают на певца декорации, колорит спектакля, атмосфера оперной сцены), её художественные завоевания в искусстве воспринимаются людьми как естественное проявление огромного дарования русского самородка.

Внутренняя логика развития таланта Татьяны Петровой неизменно должна была привести её к Сергею Есенину. Что в творчестве его наиболее близко певице? Конечно, такой вопрос не мог заставить её врасплох.

— В своё время Георгий Васильевич Свиридов замечательно сказал, что у Есенина выстрадано и выверено каждое слово. Когда я пою его стихи, я переживаю такое чувство, как будто я нахожусь в высокой стадии молитвенного состояния, и каждое слово этой молитвы как-то по-особенному отзывается в душе. Я ощущаю всем своим естеством, насколько это слово страдающее, какое это кипящее в сердце слово. Это слово пронизано музыкой, и я очень жалею, что нет достойной музыки для его стихов. И тяжело переживаю, что не пришёл композитор, который бы выразил сердце поэзии Есенина. У Григория Пономаренко были удачные песни, но они “запеты”, и к ним я возвращаться не могу. Хочется открывать нового Есенина. Может быть, меня не оставит удача, когда я освою вещи, написанные для хора Георгием Васильевичем Свиридовым?

Есть в репертуаре Татьяны Петровой романс на стихи Сергея Есенина “Нищий с паперти”. Не знаю, намеренно ли певица опустила в названии слова “с паперти”? Возможно, и намеренно. Во всяком случае, короткое и хлёсткое “Нищий”, едва его произносил ведущий концерта, било, как выстрел, в самое сердце. Написанное в 1916 году, стихотворение это — сказ о грустной истории двух влюблённых, которые встречаются в церкви:

*Глаза — как выцветший лопух,  
В руках зажатые монеты.  
Когда-то славный был пастух,  
Теперь поёт про многи лета.*

*А вон старушка из угла,  
Что слёзы льёт перед иконой,  
Она любовь его была...*

Что, кроме сострадания, может вызвать этот тяжёлый рассказ, что, кроме слёз отчаяния? Слушая певицу, вы углубляетесь в это горе, не видя ничего вокруг. Но при этом вы чувствуете, что ваши слёзы не жгут ваше сердце, а в душе просыпается чувство, как будто живая вода прикоснулась к сердцу. Отчего?

3 октября 1995 года Россия отмечала 100-летие со дня рождения Сергея Есенина, своего национального гения. В. В. Кожин выступил в связи с этим с глубокой статьёй, начал которую так: “В классической эстетике трагическое определяется одной из форм прекрасного, причём высших форм. Однако в жизни люди воспринимают трагедию только в негативном плане. Но ничего не поделаешь – судьба человека трагедийна. Я думаю, что в известном смысле человек рождается для трагедии, и надо осознать, надо увидеть в этом высокий жребий и, в конце концов, – я скажу несколько выпендрено – божественность человека”.

Внимательный читатель обратит внимание, что в подборе стихов Сергея Есенина в свой репертуар Татьяна Петрова повторяет путь, уже пройденный ею, когда она обращалась к творчеству А. С. Пушкина. Ещё одно произведение, недавно вошедшее в репертуар певицы, это элегия (во всяком случае, она так звучит, когда поёт Татьяна Петрова), написанная в 1924 году, то есть в самое трудное в жизни поэта время, приведшее вскоре к его трагической гибели.

*Этой грусти теперь не рассыпать  
Звонким смехом далёких лет.  
Отцвела моя белая липа,  
Отзвенел соловьиный рассвет.*

*Для меня было всё тогда новым,  
Много в сердце теснилось чувств,  
А теперь даже нежное слово  
Горьким плодом срывается с уст...*

Зная, как чутко относится Татьяна Петрова к красоте русского слова, как тонко чувствует её, мы могли бы сосредоточиться на этом стихотворении как примере яркой художественности. И об этом мы будем и думать, и говорить, но прежде обратимся к рассуждениям Татьяны: “Что касается Клюева, я чувствую в первоначальном становлении Есенина его руку. В их творчестве есть очень похожие пласты, думаю, Есенин полюбил Клюева за многогранность его таланта, за космос или мистичность его стихов. Мне представляется, что цельность мировоззрения Есенина складывалась под влиянием Клюева. Конечно, они очень разные, но и одинаковые в своей гениальности, в своей любви к Родине. Я очень люблю петь Клюева, потому что слова его стихов песенные. Ведь он сам говорил: “Мне не себя жалко, а жалко своих песен, “пчёлки мои жалят моё сердце”. Когда я пою Клюева, мне кажется, что я побывала в своём детстве, каком-то таком детстве, которое я даже не знаю, которое было в моей жизни, но я его плохо помню. Когда его поёшь, погружаешься в какой-то чудесный мир. Это даже не слова, это мелодия русского языка, которого теперь уже почти нет, и этой мелодией владеют только они – Есенин и Клюев”.

*И знакомые взору просторы  
Уж не так под лунной хороши.  
Буераки... пеньки... косогоры  
Опечалили русскую ширь...*

*Это всё, что зовём мы родиной,  
Это всё, отчего на ней  
Пьют и плачут в одно с непогодиной,  
Дожидаясь улыбчивых дней...*

Сопричастность со всем тем, что переживает его страна и его народ, тугая личная привязь к её беде и страданиям роднит Татьяну Петрову с Есениным, не говоря уже о наслаждении певицей музыкальностью его стиха и упоении красотой родной земли. “Мне кажется, что сейчас мы доросли до Есенина, –

сказал в том разговоре, к которому мы уже обращались, В. В. Кожин. — Он, действительно, говорил со всей Россией, а не с какой-то её частью, он умел обнять всё, и в этом, кстати, тоже его превосходство. Потому что другие поэты, если даже они и обращались то в одну сторону, то в другую, то как-то поочередно, и были, и сейчас есть такие, уже пожилые люди, которые в своё время были “ужасно советские”, теперь они “ужасно антисоветские”... Есенин этим не грешил. Он стремился увидеть Россию целиком”. И тем глубже и сильнее его страдания и его неспособность оторвать себя от её “тела” и души. К чести певицы Татьяны Петровой нужно сказать, что своим исполнением русской классики она выходит на высоту понимания трагедии своего народа.

Ей выпала счастливая судьба расти и развиваться в среде лучших людей России, не только оценивших её талант по достоинству, но и бережно хранивших и опекавших его. И мы прибегаем к мысли В. В. Кожина не только потому, что это один из образованнейших и светлейших умов России, но и потому, что Татьяна Петрова хранит уникальные воспоминания о заветных личных встречах с этим свободно и широко мыслящим достойнейшим русским человеком.

— Как вы познакомились с ним? — спросила я однажды Татьяну.

... Об этом он сам не раз рассказывал. Шёл один из вечеров памяти Николая Рубцова, который проходил в Центральном доме литераторов. Вадим Валерианович был его ведущим. А дальше я буду говорить от его лица, он так это рассказывал: “Вечер начинал выдыхаться, выступающие стали совсем неинтересными, повторяли один за другим уже не раз сказанное, и я решил выйти покурить, стоял за кулисами и собрался было совсем уж уйти, как вдруг услышал поющий голос. Я стал прислушиваться, голос затягивал меня, я подошёл ближе к залу, дверь была открыта, Татьяна Петрова пела песню на слова Рубцова “До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста...”.

Мне аккомпанировал Юрий Клепалов и пианист Геннадий Ехлаков.

Как потом говорил Вадим Валерианович: “Это стало для меня потрясением. Я не ушёл, вернулся в зал и слушал, и слушал”. После, уже за кулисами мы познакомились, беседовали. А потом стали большими друзьями. У меня есть диктофонная запись, сделанная в “Татьянин день”, когда я впервые решилась сделать концерт в ЦДРИ.

На творческий вечер я пригласила Вадима Валерьяновича. Он пришёл по первому зову, его выступление храню, как зеницу ока, потому что он сказал тогда очень важные слова о моём творчестве. Это был удивительный человек, при его сложной жизни ему столько раз пришлось пережить предательство, суровый антагонизм, но дух в нём жил мальчишеский. Он так искренне, так по-детски умел увлекаться! Да, я знаю это. Раз и навсегда, влюбившись в твоё пение, он был постоянен в своём чувстве, как чистый восторженный юноша, всех допекал вопросом: почему же вы не ходите на концерты Петровой?! Это был его постоянный вопрос.

В комнате давно сгустились сумерки. Мы сидели, не зажигая огня, каждая по-своему переживая жестокую несправедливость его раннего ухода из жизни. И вдруг показалось, а может быть, так и было, что воздух стал заполняться волнующими звуками — звучали колокола, и такая атмосфера разливалась вокруг, и так красиво и вдохновенно вплетался в перезвоны хрустальной чистоты изумительный, волнующий, завораживающий женский голос. Этот голос вёл и вёл мелодию, и мелодия эта была песней любви. Она была уже повсюду, она становилась мелодией души, которая живёт в нас постоянно, мелодия бесконечно любимой прекрасной моей Родины:

*Вечерний звон, вечерний звон,  
Как много дум наводит он...*

# УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

## **ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННОК»**

### ***Окажет Вам квалифицированную юридическую помощь***

Представит Ваши интересы во взаимоотношениях с государственными органами исполнительной и судебной власти по гражданско-правовым и административным вопросам и спорам;

Поможет в государственной регистрации, защите и использовании авторских и иных интеллектуальных прав;

Окажет содействие в разрешении споров о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения за использование соответствующих прав, а также в выплате компенсаций в случае нарушений использования охраняемых законом прав;

Поможет в подготовке лицензионных и иных гражданско-правовых договоров; проведет правовую экспертизу договоров;

Встанет на защиту чести, достоинства и деловой репутации;

Компетентно поможет разобраться с правовыми особенностями коммерческих проектов, связанных с использованием информационного интернет-пространства (реклама, электронная коммерция, иные IT-проекты); разработает пользовательское соглашение, политику конфиденциальности, соответствующие договора;

Поможет в осуществлении регистрации товарных знаков, фирменных наименований, получении свидетельств, патентов, лицензий, разрешений.

*Окажет иную помощь правового характера.*

Эл. почта: [pt-pravo@yandex.ru](mailto:pt-pravo@yandex.ru)

тел. 8(495)625-57-45, 8(968)906-28-17

Жуков Анатолий Анатольевич

# В КОНЦЕ НОМЕРА

## Обращение к деятелям культуры, политикам, предпринимателям России

Великий русский писатель Василий Иванович Белов, один из родоначальников “деревенской прозы”, родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской области. После обучения в деревенской школе он окончил ремесленное училище в городе Сокол. Армейскую службу проходил в Ленинграде, а затем поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1964 года Василий Иванович жил в Вологде, не порывая связь с “малой родиной” – Тимонихой. Первые публикации увидели свет в 1961 году. Публикация повести “Привычное дело” (1966) принесла автору широкую известность, а репутация мастера “деревенской прозы” была упрочена выходом повести “Плотничьи рассказы” (1968). Этнографические очерки о народной эстетике, опубликованные в трудах “Лад” (1982), запечатлели русскую культуру, быт деревни и навсегда остались в сердце читателя. Правда жизни в трилогии “Час шестый” и других произведениях, изданных в последний год жизни мастера в семитомном собрании, несомненно будут востребованы в будущем.

Белов В. И. – Народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, почётный гражданин города Вологда. За свою деятельность Василий Иванович награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Государственной премией СССР, орденами Русской Православной Церкви и многими медалями. В его квартире сейчас находится музей автора, его имя носит улица города.

Всё созданное Беловым В. И., как и сама его жизнь, заслуживает народной памяти на долгие годы и установки памятника на его родине. Просим всех русских людей оказать содействие в финансировании создания памятника Василию Ивановичу в городе Вологда, в котором им написаны щемящие до боли книги о крестьянской жизни, исполненные любви и отчаяния за судьбы соотечественников.

### *Организационный комитет по установке памятника В. И. Белову:*

- П. Толстой — заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
- А. Грешневилов — депутат Государственной Думы ФС РФ
- С. Шаргунов — депутат Государственной Думы ФС РФ
- С. Бабурин — президент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры
- О. Белова — лауреат Государственной премии Вологодской области
- В. Крупин — сопредседатель Союза писателей России
- С. Куняев — главный редактор журнала “Наш современник”
- Н. Лугинов — народный писатель Якутии
- А. Михайлов — народный артист России
- А. Заболоцкий — засл. деятель искусств России и Республики Беларусь
- А. Шолохов — депутат Государственной Думы ФС РФ

1) В случае перечисления **ФИЗИЧЕСКИМ** лицом денежных средств на изготовление и установку памятника В. Белову, в обязательном порядке надо указывать свои **ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВО;**

2) В случае перечисления **ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ** денежных средств на изготовление и установку памятника В. Белову, в обязательном порядке указывать, является ли организация **ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ**, дату регистрации организации.

В “Назначении платежа” в обоих случаях обязательно указывать формулировку **“ПОЖЕРТВОВАНИЕ”**. Если будет указано другое значение (например, “благотворительное пожертвование”, “спонсорский взнос”, “на памятник”, или какое-либо другое), с этих сумм в бюджет государства в **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО 6% налога на прибыль)**





**Реквизиты:**

**РОО "СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ"**  
**ИНН: 7736246983 КПП: 773601001**  
**ОГРН: 1157700008630**  
**ОКПО: 45874920**  
**Расчётный счёт: 40703810201000023077**  
**Банк: ПАО БАНК ЗЕНИТ**  
**БИК: 044525272**  
**Корр. счёт: 30101810000000000272**  
**Юридический адрес: 119331, г. Москва,**  
**пр-кт Вернадского, дом № 29, офис 404**  
**Телефон: 8(909)916-04-06**

**Президент РОО "Славянская Академия": Бабурин Сергей Николаевич**

Не забудьте подписаться  
на "Наш современник" —  
на второе полугодие 2019 года!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на <del>газету</del> журнал		<input type="text"/> (индекс издания)									
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2019 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда <input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>			
(почтовый индекс)				(адрес)							
Кому _____				Линия отреза							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА		<input type="text"/>						
ПВ	место	литер									
На <del>газету</del> журнал		НАШ СОВРЕМЕННИК		(наименование издания)							
Стои- мость	подписки	руб.	Количество								
	переадрес.	руб.	комплектов								
На 2019 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		город									
(почтовый индекс)		село									
<input type="text"/>		область									
<input type="text"/>		район									
<input type="text"/>		улица									
дом	корпус	квартира	(фамилия и о.)								

Подписные индексы журнала  
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев — 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев — 72336

По каталогу "Почта России" — П4254

По каталогу МАП — 12625